

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ



АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ СТАВРОПОЛЬЯ

Хрестоматия

**Часть II
ПРОЗА**

Ставрополь
2010

УДК 016 : 882
ББК 91.9 : 83+83.3(2Рос-4)
А 72

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
ГОО ВПО Ставропольского государственного
педагогического института

Научный редактор

доктор юридических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
Е.Г. Пономарев

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор **Т.К. Донская**,
Заслуженный учитель России **Е.М. Шеронова**

Автор-составитель:

доктор юридических наук, кандидат филологических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
Е.Н. Атарицкова

А 72 Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Хрестоматия. – Часть II: Проза. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 352 с.

ISBN 978-5-91090-064-0

В хрестоматии представлены художественные произведения писателей Ставропольского края, позволяющие выявить истоки и проследить пути развития антропологической проблематики в региональной литературе. Внимание уделено не только известным изданиям и их авторам, но и незаслуженно забытым произведениям и писателям-землякам.

Материал хрестоматии способствует более глубокому познанию и осмыслению основ человеческой природы, процессов развития воспитания и формирования личности в различных жизненных ситуациях, ставших предметом литературно-художественной рефлексии.

Издание предназначено для учителей общеобразовательных учреждений, студентов гуманитарных специальностей педагогических вузов, родителей, учащихся.

Работа над хрестоматией выполнена сотрудниками ВНИК «Обеспечение антропологического контекста исторического и филологического образования в высшей и средней школе» лаборатории «Антропология детства», финансируемой Правительством Ставропольского края.

УДК 016 : 882
ББК 91.9 : 83+83.3(2Рос-4)

ISBN 978-5-91090-064-0

© Ставропольский государственный
педагогический институт, 2010

*Точность и краткость –
вот первые достоинства ПРОЗЫ.
Она требует мыслей и мыслей.
А. Пушкин.*



ПРЕДИСЛОВИЕ

Действующий Закон РФ «Об образовании» в качестве принципов государственной политики в области образования провозглашает «защиту и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства».

Этот принцип в современной системе образования реализуется в идее *регионализации образования*, под которым мы понимаем наделение регионов правом и обязанностью выбора собственной образовательной стратегии, создания собственной программы развития образования в соответствии с региональными условиями.

Названное положение особенно актуально для многонационального северокавказского региона, в котором доминирует диалог культур совместно проживающих народов.

На этот процесс вольно или невольно влияют и общество, и условия жизни, и национальные традиции и обычаи, и, безусловно, язык и литература как основополагающие источники духовности, нравственности, интегрирующие в себе культуру региона как часть мировой культуры.

Существует тенденция понимать под культурой все содержание жизни, которое характерно и для человечества в целом, и для конкретных сообществ людей (народов и стран, производственных и неформальных объединений и пр.), и для каждого человека (взрослого и ребенка¹).

Современная культура – культура диалога. Идея диалогичности культуры разработана в отечественной философской литературе В.С. Библером². Он отмечает, что культура несет в себе энергию и силу диалога, благодаря которым актуализируются любые смыслы культуры, а также формируется личность.

Понимание культуры как результата, процесса исторического развития было близко Ю.М. Лотману. «Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества, человечества. И потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь этот

¹ Здесь необходим небольшой комментарий о возрастных и временных категоризациях, к которым мы прибегаем в данной статье. «Детство» подразумевает в первую очередь так называемое «раннее детство» (early childhood, 3 года – 14 лет), но неизбежно фигурирует также и «подростковый возраст» (15–18 лет). В связи с распространением среднего образования в 1960-х гг. значительно увеличилось количество подростков, учившихся в школе. Такие подростки (тем более если они учились в городской общеобразовательной школе и жили у родителей) не считались «взрослыми» или «совершеннолетними» ни в законодательстве, ни в социальных практиках. Они проживали так называемое «удлиненное детство» (extended childhood), возникновение которого историки детства считают одним из главных явлений, характерных для «модернизации» семейных отношений (см. напр. [Cunningham 1995]).

² Библер В.С. Идея диалогичности в культуре. – М., 1974.

насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру – культуру человечества».¹

Процесс создания культуры уходит корнями в далекое прошлое человечества и продолжает совершаться постоянно. Анализ культуры как антропологического явления показывает, что она интегрирует природу и общество, наследие человечества и жизнь отдельного человека. Культура объединяет материальное и идеальное, время и пространство бытия человека. Она является одним из мощнейших факторов и важнейших условий его развития. В культуре объединяются как деятельность живущих ныне людей, так и наследие, в котором запечатлен труд всех предшествующих поколений.

В каком бы аспекте мы ни анализировали культуру, везде обнаружим присутствие человека. В начале XXI века возрос давно существовавший, но недостаточно ярко выраженный в отечественной науке интерес к человековедению. Необходимость включения человеческого измерения в самые разнообразные исследования признается представителями науки и искусства.

Антропологизация всех отраслей гуманитарных наук создала определенные условия для распространения гуманизма как идеи и как практики высшей школы, перед которой встала задача переосмысления сложившейся практики подготовки кадров.

Стало очевидным: в новых условиях достижения современных «антропологических» дисциплин должны быть направлены на разработку новой парадигмы образования, центрированной на человеке, так как накопленные к настоящему времени знания в человековедческих науках не увязаны в единую теоретическую конструкцию и потому существуют как бы сами по себе, оставаясь не учтенными в реальном образовательном процессе.

В последние годы ученые-методисты и учителя-практики пытаются найти ответ на вопрос, как организовать процесс обучения, чтобы антропологическая направленность предметов гуманитарного цикла не только не терялась за важной и трудоемкой теоретической работой на уроке, но и несла аксиологическую функцию.

Одновременно с попытками определения статуса педагогической антропологии в системе научных антропологических знаний исследователями предпринимаются усилия по разработке содержания новых учебных курсов в педагогических вузах и школах, а также учебников, пособий и хрестоматий.

В результате интенсивных поисков определились разнообразные пути решения этой проблемы:

1) усовершенствование курсов русского языка и литературы, истории и обществознания за счет усиления внимания к антропологической стороне изучаемых текстов культуры, с другой – за счет усиления функциональной направленности в обучении языку и литературе, что предполагает внимание к вопросам формирования коммуникативной компетенции;

2) попытка создать интегрированные курсы, например, русской словесности, исторического краеведения и др.;

3) подготовка разнообразных элективных курсов.

¹ Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи / В 3 т. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин, 1992. – Т. 1. – С. 202.

Впервые идею об антропологической подготовке будущего учителя, направленной на всеобъемлющее изучение человека, высказал основатель отечественной педагогической антропологии К.Д. Ушинский. Он полагал, что для овладения целостным знанием о человеке воспитуемом необходимо «устройство особых факультетов» – педагогических или антропологических. По мнению ученого, на таких факультетах должно быть организовано «изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным приложением к искусству воспитания».¹

Однако до конца XX в. эта идея не находила в России должного понимания, осмысления и поддержки. Более того, учебные программы советских педагогических вузов содержали очень небольшой антропологический компонент, ограниченный изучением возрастной физиологии, общей, возрастной и педагогической психологии. Только в начале XXI в. в связи с нормированием новой идеологии и культуры, развитием общественно-педагогического движения, заявившего о необходимости коренных изменений в системе образования, был поставлен вопрос о необходимости антропологизации педагогического образования.

Реализация новой системой российского образования функции сохранения и воспроизводства гуманистических традиций зависит от того, каким будет учитель – ключевая фигура XXI в. Стратегия высшей педагогической школы поэтому должна состоять в направленности содержания и форм образовательного процесса на становление духовно развитой культурной личности, обладающей целостным гуманистическим мировоззрением. Антропологический подход в этой связи выступает системообразующим фактором педагогического образования.

Этим объясняется направленность настоящей хрестоматии – антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя.

Литература извечно ставила перед собой вопросы, относящиеся к человеку: что такое человек, в чем смысл и цель его жизни и т.д. То есть основным объяснительным принципом литературы можно признать антропологический, который требует от писателя следующего: что бы ни изучал литератор (природу, общество, религию, мышление, язык, идеи, нравственность, совесть, науку и т. д.), все он должен показать, исходя из сущностных особенностей человека. Антропологический принцип познания исходит из того, что стройную систему представлений о природе, обществе, мышлении можно разработать, лишь поставив в центр концептуальных построений человека, рассматривая мировоззренческую категорию «человек» в качестве системообразующей в отношениях, логических связях философских категорий.

Исходя из того, что литература всегда была ориентирована на человека, задачи, которые пытается решить автор-составитель данного учебно-методического пособия, заключаются в углублении и расширении антропологического знания о человеке, ребенке; выявление феноменов детства, личности, культуры, развития, социализации, воспитания и образования и т.п.

Вопросы рассматривания антропологической проблематики в исторических и филологических источниках Ставрополя получили освещение частично

¹ К.Д. Ушинский Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Педагогические сочинения: В 6-ти т. /Сост. С.Ф. Егоров. – М., 1990. – Т. 5. – С. 15.

лишь в конце 1960-х годов, более активно – в конце XX – начале XXI веков. Прodelанной работы, в любом случае, недостаточно. Хрестоматийного издания, которое обобщило бы и систематизировало накопленный материал, расширило бы и углубило его за счет собственных изысканий, включая и архивные материалы, объединило бы вокруг единой идеи, показывающей взаимосвязь и взаимопроникновение явлений и событий, не было.

Специфика Ставропольского края заключается в необходимости сохранения и рационального использования национальных и культурных традиций, обычаев населяющих Ставрополье народов. Это потребовало особого подхода к созданию образовательных стандартов в преподавании литературы, словесности, русского языка и истории на всех ступенях общего образования и стало определяющим фактором внедрения Ставропольского краевого регионального компонента литературного образования.

В 2006 году был разработан авторский проект «Литература. Авторский проект регионального компонента государственного образовательного стандарта» (Ставрополь, 2006. – 47 с.)¹. Это образовательный региональный документ, носящий рекомендательный характер, определяющий необходимый и достаточный содержательный уровень подготовки учащихся по данному предмету как учебной дисциплине. В нем сформулированы цели изучения литературы; обязательный минимум содержания литературного образования по курсу «Литература Ставропольского края»; ключевые историко-литературные сведения; основные теоретико-литературные понятия; требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) школы по литературе.

Этот документ особенно актуален, когда мы рассматриваем региональный компонент учебных планов. Отсутствие государственного стандарта, учебников и учебных пособий вызывает у учителей значительные трудности при составлении программ, определении содержания, структуры курса, отбора качественного материала, характеризующего специфику местного колорита краеведческих курсов. В связи с этим перед нами стоит задача разработки тех ориентиров, которые должны помочь всем, кто интересуется культурными традициями своей малой родины.

В 2008 году вышел библиографический указатель «Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополья» (Ставрополь, СГПИ, 2008. – 65с.), реализующий принцип вариативного подхода к изучению учебного материала, поэтому допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах школьных курсов. Автор библиографического указателя предлагает учителю свободный выбор произведений, авторов и последовательности их изучения.

Библиографический указатель не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не определяет нормативы учебного времени.

¹ Конкурс на лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений, проводимый Фондом развития отечественного образования (г. Сочи, 2007г.), признал автора проекта профессора Е.Н. Агаршикову (СГПИ) лауреатом в номинации «Гуманитарные науки».

Библиографический указатель – это ориентир для учителя в образовательном поле. Это уровень знаний, умений, которым должен владеть ученик, осваивающий учебный курс.

В 2009 году вышла в свет хрестоматия «Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Часть 1. Поэзия» (Ставрополь, СГПИ, 2009. – 174 с.) которая составлена в соответствии со стандартом «Литература. Авторский проект регионального компонента государственного образовательного стандарта» и библиографическим указателем «Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя» для средних учебных заведений педагогических институтов.

В представленном издании «Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Хрестоматия. Часть II. Проза» предлагаются литературные публикации в местной печати произведений известных ставропольских писателей XX – начала XXI века. Мы надеемся, что будут возвращены из забвения имена некоторых писателей, закладывавших основу литературных традиций на Ставрополье. Это должно способствовать осмыслению их творческого наследия и обогащению нового поколения школьников знаниями литературного богатства своих земляков.

Автор-составитель стремился дать такие тексты в хрестоматии, которые позволили бы получить обобщенное антрополого-педагогическое знание о человеке, его развитии и изменении.

Основная цель хрестоматии – познакомить специалистов-гуманитариев определенных областей, студентов и учащихся с оригинальными прозаическими текстами разных авторов Ставрополя. Главный принцип – ориентация на аксиологическую историко-филологическую рефлексию.

При работе над восстановлением творческой биографии региональных писателей использованы материалы и документы Государственного архива Ставропольского края, Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, библиотек г. Ставрополя и Кавминвод.

Хрестоматия подготовлена научно-исследовательским коллективом преподавателей Ставропольского государственного педагогического института (ВНИК) «Обеспечение антропологического контекста исторического и филологического образования в высшей и средней школе» лаборатории «Антропология детства» в рамках научной программы «Антропологическое сопропровождение реализации региональной модели образования».

Коллектив не ставил перед собой задачу сбора в одном томе всех произведений, которые возможно включить в действующую школьную программу национально-регионального компонента. Предлагаемое учебное пособие может считаться лишь подспорьем в работе учителя-словесника и школьников, позволяя более плодотворно, творчески и интересно проводить уроки словесности и литературы.

Структура хрестоматии во многом традиционна. Однако при отборе текстов или отдельных сюжетов предпочтение отдавалось впервые вводимым и мало-доступным литературным источникам. Составители хрестоматии сочли возможным отказаться от воспроизведения часто издававшихся прежде литературных произведений.

Работы расположены в алфавитно-хронологической последовательности фамилий авторов. Это облегчает учителю и всем читателям поиск произведения автора и позволяет составить представление о формировании и развитии их литературного творчества. В хрестоматию вошли произведения, изучаемые в 5-11 классах средней школы. При отборе писателей Ставрополя – авторов художественных произведений составители стремились ввести наиболее яркие и цельные, нравственно и художественно ценные тексты, в которых проявились характерные черты того или иного жанра. Наряду с традиционными литературными источниками, изучаемыми в школе прежде, нами включены новые, впервые введенные в школьную программу.

Изучение литературы Ставрополя поможет молодежи составить представление об особенностях духовно-культурного развития нашего региона, глубже понять и осмыслить ход и взаимосвязь литературных событий, их качественный рост и динамику. Хрестоматия позволит лучше усвоить и региональный, и базовый компоненты отечественной литературы, приобщиться к духовной жизни нашего края, а также лучше узнать родную землю, ее людей, ее словесное искусство и богатство.

Автор-составитель выражает особую благодарность за помощь в сборе материалов, вошедших в хрестоматию, директору библиотеки Ставропольского государственного педагогического института Мамедовой Э.М., доц. Трембиковой А.А., доц. Морозовой А.В., ст. преп. Крупиной О.В., главному библиографу отдела краеведческой литературы и библиографии Ставропольской государственной краевой универсальной библиотеки (СГКУНБ) им. М.Ю. Лермонтова Трубицыной Г.А., студентам историко-филологического факультета: Волковой Е., Быковской Л., а также искренне благодарит своих коллег за поддержку, критику и конструктивные предложения, а также студентов, серьезно и творчески относящихся к изучению нашего предмета и активно влияющих на его содержание, формы организации занятий и способы подачи материала.

Надеемся, что настоящая хрестоматия окажет непосредственную помощь в решении задач, решаемых учебно-методическим комплексом (УМК) к курсу «Литература Ставрополя», включающим:

- Литература. Авторский проект регионального компонента государственного образовательного стандарта,
- Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: библиографический указатель;
- Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Часть 1. Поэзия;
- Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Хрестоматия. Часть 11. Проза;
- – Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Хрестоматия. Часть 111. Публицистика. Критика. Рецензии. Письма (в работе),

изданных и планируемых к изданию научной лабораторией «Антропология детства» Ставропольского государственного педагогического института.

Е.Н. Атарицкова, Е.Г. Пономарев



НИНА АВРАМЕНКО

(род. 1941)

Нина Ивановна Авраменко – великолепный учитель русского языка и литературы в МОУ СОШ №2 г. Михайловска, горячо любимый и почитаемый не одним поколением учеников. В наших хрестоматиях она предстает в новом качестве – как поэт¹ и прозаик.

Авраменко Нина Ивановна родилась в сорок первом году в многодетной семье. Отец погиб, и маме пришлось самой поднимать пятерых детей.

Поэтому очень рано Нина пошла работать и практически с пятнадцати лет жила с двойной нагрузкой: училась и работала.

Нине Ивановне всегда везло на хороших людей: в школе были замечательные учителя, мудрые и требовательные; к читающей и певучей семье тянулись добрые люди. Их судьбы всегда интересовали Авраменко, становились сюжетами для стихов и небольших рассказов, которые публиковались в газетах.

Поэт всегда верила в то, что все окружающие ее люди интересны и достойны уважения. Верила и верит в любовь. Верит, что конфликты можно разрешать мирным путем, что рано или поздно люди отречутся от войн, межнациональных и религиозных конфликтов. Верит, что только добро всесильно. С надеждой смотрит на своих питомцев и верит в будущее и светлую судьбу страны.

В опубликованных в настоящей хрестоматии рассказах «Рыбаки», «Вегетарианец», «ОРЗ», «Джельтмены», «Рассказ от третьего лица», «Сила слова» мы получили возможность прикоснуться к тайнам человеческой души, ощутить трепет беспокойного сердца, проникнуться заботами и тревогами автора прекрасных волнующих строк.

В ее произведениях звучит призыв сохранять все лучшее в себе, служить людям, не требуя ничего взамен, учиться состраданию и милосердию, любить свою родину и своих близких, верить и творить только добрые дела.

Антропологическая назидательность рассказов Н.И. Авраменко, ее духовно-нравственная тематика очевидна: она предлагает детям порассуждать над поведением героя, следуя традициям великого русского педагога К.Д. Ушинского, стремится к развитию у ребенка-читателя самостоятельности и свободы в суждениях. Как показывает анализ жизненного credo учителя, изложенного в ее произведениях, Н.И. Авраменко сегодня в пол-

¹ Агарщикова Е.Н. Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополя: Часть 1. Поэзия // Научный редактор Е.Г. Пономарев. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – С. 7-11.

ной мере готова к реализации идей гуманной педагогики в условиях современной школы: она в постоянном поиске подходов к школьнику, по-новому осознает природу и сущность Человека, а, соответственно, цели, содержание и средства образования подрастающего поколения.

РЫБАКИ

В большой и шумной семье Стожаровых двое младших выделялись своей привязанностью друг к другу. Куда один – туда и другая. Вместе что-то мастерили, вместе играли, вместе вечером подходили к бабушке Анюте, заглядывали ей в глаза и тянули дружно: «Бабушка, расскажи про девочку Козет-ту... Что было дальше?

Бабушка, переложив табачок от одной щеки к другой, начинала свой рассказ то про сиротскую долю девочки, то про злключения юного Оливера, то про несжатую полоску и крестьянских детей.

Но в этот вечер друзья изменили своей привычке, о чем-то шушукались, а утром поднялись чуть свет, вместе с курами. Кур в хозяйстве было вдвое меньше, чем детей. Две хохлатки и петух сосредоточенно рылись в земле или, когда повезет, клевали картофельные очистки.

Восьмилетний Алешка давно задумал сходить на рыбалку и уговорил младшую сестренку пойти с ним. Собирались основательно. Вырезали удочку. Она оказалась длинной-предлинной. Чтобы приладить крючок, положили ее поперек двора, долго копошились – сделали.

А червей-то забыли накопать! Побежали в конец огорода, стали ковырять слезавшуюся землю, хорошо удобренную прошлогодними листьями и всем, что оставалось от нехитрого хозяйства. Нет червей! Подняли камень, что лежал там с незапамятных времен. Вот они, голубчики! Живые, розовые то, что надо. Насобирали в жестяную баночку – и во двор.

- Леш, а Леш, а как он будет на крючке сидеть?

- Так и будет. Смотри! – и мальчик ловко насадил червяка на крючок.

- Все! Готово! Берем воды, хлеба и идем! Утром, говорил дед Максим, рыба хорошо ловится.

И дети побежали в хату за хлебом и водой. А в это время одна из куриц заметила извивающегося червяка. Ничего не подозревающая хохлатка обрадовалась добыче и проглотила наживку вместе с крючком.

Мать только руками всплеснула. Ну что же это за наказание?! Присмотрела во дворе тонкий прутик, да вмешалась бабушка:

- Не рутай, Леля, это ж дети!

Вечером семья дружно ела незапланированную лапшу. Дети радовались столь редким в их рационе кусочкам мяса, и только двое провинившихся тихонько всхлипывали и размазывали по щекам слезы. Бабушка с матерью горестно вздыхали, потом не выдержали, посмотрели на ребятишек и улыбнулись:

- Ну, а вы, горе-рыбаки, чего не садитесь?

ВЕГЕТАРИАНЕЦ

Мать не сразу заметила, что средний из ее ребят, Борис, не ест мясо. Да и как было заметить, если оно было редким гостем на их столе? Обнаружилось

это на Пасху, когда даже в самой бедной семье старались приготовить что-то вкусное, разговеться. Вот и приготовила мать, что смогла: наварила холодца, и борщ получился на славу. За большим столом сидели степенно, все ожидали, когда мать разрежет на кусочки пасочку и яйца, принесенные бабушкой из церкви. Отдали дань традиции и принялись за еду. Борис вышел из-за стола.

- Чего ты? Ничего не съел, может, заболел? – встревожилась мать.

Потрогала лоб: нет, вроде не горячий.

- Я потом, – успокоил ее сын. – Сейчас не хочу.

Не стал есть ни в обед, ни вечером. Поел винегрета немного и все.

- Что-то тут не то, – подумала мать. Он вообще какой-то странный стал, на себя не похож. Куда девались веселое озорство, выдумки, которые смешили всех? Насупится и сидит. Спросишь – огрызнется. То ли растет, то ли что-то на уме. Был бы отец, а тут попробуй: некогда в гору глянуть, с одной работы на другую бегать приходится.. Такую ораву и накормить, и одеть нужно. Привыкла вертеться как белка в колесе. Может, чего и проглядела.

А все дело было в Миньке. С соседским теленком они были неразлучные друзья. Весело было смотреть на них, когда мальчишка, сам бредивший футболом, гордившийся прозвищем Хомич (так звали известного всем голкипера), наряжал своего друга в гетры, на голову, где только-только обозначились рожки, надевал кепку вратаря.

И пошла потеха! Минька, казалось, тоже был прирожденный футболист, бегал за мячом, пытался боднуть его. Длинная веревка, которой был привязан бычок, натягивалась. Когда Миньке удавалось отбить мяч, он успокаивался и возвращался на место. Борька заливался смехом и снова подкатывал мяч дружку. Посмотреть на спектакль сбегались все соседи.

Набегавшись вволю, Борька подходил к телку, снимал с него вратарскую экипировку. Тот доверчиво тянулся мордочкой к фантазеру. После «матча», как положено, были водные процедуры. Мальчишка старательно обмывал Миньку, вытирал, бросал на ходу: «Все, Минька, хватит, у меня еще дела есть. Пока!»

А на следующий день снова какая-нибудь выдумка. Фантазия у мальчишки была отменная. Но бывало и так, что присмиревший подросток мог подолгу сидеть около своего любимца: то ли думал о чем-то, то ли что-то вспоминал. Ну, например, о том, что опять влетело от матери: чуть ли не последнюю картошку из дома отнес, кого-то подкормить надо было.

Все изменилось с гибелью Миньки, тем злосчастным днем, когда соседка принесла мяса.

- Отбегался Минька. На, Леля, свари ребятишкам, только Борису не говори.

Он все равно узнал, и детство кончилось – появилось прозвище: «вегетарианец».

СИЛА СЛОВА

Врач маленькой сельской больницы, умный и толковый, до самозабвения любил свою работу. Больничка сияла чистотой, в ней царили какие-то торжественные тишина и покой, а большим уделялось столько внимания, что вполне бы могли позавидовать пациенты районной, а то и городской больниц.

Матвей Филиппович к своему немногочисленному персоналу относился строго, а из методов управления хорошо усвоил только один – личный пример. Для него

не существовало выходных. Каждое воскресенье неторопливо обходил палаты, обменивался с больными короткими фразами, больше молчал да слушал. Работая в глубинке, понял, что селяне в больницу с пустяками не идут, чаще их привозят на телегах, когда совсем немогут. Работа его тоже любила. Приходилось поспевать лекарства в районе выбить, и пристройку к больнице сделать, а самое главное — о людях не забыть. Он же здесь один в нескольких лицах.

По воскресеньям приходили посетители из соседних сел: в другие дни работа не позволяла. После обеда он мог с ними поговорить. Иногда разговоры с родными пациентов были труднее, чем сама работа. Как заставить тракториста Погорелова пройти серьезное обследование в областной больнице? Подлечил его немного, но это ж не надолго. Упирается: «Сейчас самый сезон для работы. Кто, кроме меня, сядет за трактор? Мужиков раз-два и обчелся. Вот придет зима, там посмотрим... Да заживет все. Прихватило малость, теперь отошло, еще немного полежу здесь и пойду трудодни зарабатывать».

И так рассуждали почти все. Откладывали на «потом». Утихнет боль — и снова за работу. Матвей Филиппович и ругался, и настоятельно советовал, и требовал, да что толку? Его работягам и в колхозе надо было вкалывать, и дома работы хватало: село и есть село, здесь прохлаждаться некогда. Особенно трудное было женщинам. И в войну нахлебались, и после несладко пришлось. Некоторых вместо быков и лошадей впрягали в плуг. Тянули. Дома ребятишек куча, а они от зари до зари в поле. Для домашних дел ночи прихватывают: и печь истопить, и постирать надо, и похлебки на день сварить.

Одну из них, Ульяну, он узнал лучше других. Вот уже четвертое воскресенье отмахивает она семь километров сюда да семь назад, чтоб провести в больнице младшенького, девятилетнего Николку.

Высокая, худющая, лицо красивое, но строгое. Она и раньше улыбками не одаривала, а теперь и подавно. За горстку колосков в тюрьме побывала, город Лисичанск строила. Воз вратилась с открытыми ранами на ногах. А лечиться некогда: хозяин под Сталинградом погиб, ребят самой поднимать приходится. Один упал с лошади, чуть не умер. Оклемався, но работник из него какой? Вырос у парнишки горб.

А теперь вот с Николкой беда: сильно простудился. Думала, что коклюш. И березовыми почками отпаивала, и растирала, и горчицы сколько извела, надеялась: поможет. Пришлось в больницу везти. Оказалось, у парнишки не просто простуда, а гнойный плеврит. Дважды откачивали, а толку мало. Не идет на поправку и все, хоть плачь! Ходит еле-еле, кожа да кости, весь светится. От еды отказывается. Видно, не жилец.

Ульяна понимала, что врачу нечем ее порадовать, лишних вопросов не задавала. Сядет в углу на табуретку, возьмет Николку, посадит на колени, прижмет к себе и тихонько гладит шершавой рукой головку сына. Глаза сухие, но лучше бы она плакала. Смотреть на эту картину было невыносимо.

В это воскресенье Николка был какой-то беспокойный. Когда к ним с матерью подошел врач, он заглядывал им поочередно в глаза, будто о чем-то спрашивал. Услышал вчера малец, как мужики разговаривали между собой:

- Придется Ульяне гроб заказывать, — шепотом сказал один.

- Ты чего мелешь? – возмутился Погорелов Чего-чего... Видишь, толку нет. И колют, и таблетки дают, а целый месяц ничего сделать не могут.

- Тише ты, – прошептал Погорелов, еще услышит. Вылечат его, вот посмотришь, вылечат. Матвей Филиппович не даст пропасть! И Бог не допустит. Сколько ж той Ульяне горя выносить еще?

Мальчик понял, что разговор шел о нем. Он тихонько лежал в своей постели и безутешно плакал. Хотелось, чтоб кто-то большой, сильный подошел к нему, положил руку на голову и сказал, что все это неправда, что маленькие мальчики не умирают, что завтра воскресенье, придет мама, и все будет хорошо. И словно почувствовав немую мольбу ребенка и поняв, что мальчик все слышал, Погорелов громко, четко и убежденно произнес:

- Вот увидишь, Николка выздоровеет. Он еще в футбол будет играть! Он еще машинистом станет, будет поезда водить, понял ты или нет?

Сейчас, вопросительно поглядывая то на врача, то на мать, мальчик почувствовал, как что-то заклокотало в груди у матери, долго сдерживаемые слезы упали ему на голову. Он сильнее прижался к матери, обнял тонкими ручонками и, обращаясь к доктору, произнес:

- Вот увидите, я выздоровею! Я и в футбол играть буду, и машинистом стану! Так дяденька Погорелов сказал. Он знает!

Вот и славно, хлопчик, вот и славно! – подхватил доктор. – Ты только помоги мне. Ты должен хорошо кушать. Мы и молочка козьего для тебя разживемся, и медку у деда Прокопа найдем. Ты только держись! Нельзя, чтобы мамка плакала!

Что-то мешало врачу говорить. Он, не сдерживая волнения, повернулся и быстро зашагал к себе.

С этого дня Николку будто подменили. Он попросил разрешения лечь поближе к Погорелову. Тот тоже обрадовался соседству, все о чем-то рассказывал мальчику, а, заметив его интерес к технике, поощрил: Молодец, Николка, настоящий мужик должен с машинами дружить. Вот поправишься, возьму тебя с собой на трактор. Посмотришь, как он пашет. Куда там нашим сивкам за ним угнаться! А вырастешь – новые машины будут, лучше этой. Не будут наши мужики и бабы надрываться, помянешь мое слово. А ты станешь учиться, потому что умными машинами управляют ученые люди.

- Дяденька Погорелов, а кто такой машинист?

- Машинист? А это как раз тот человек, что умными машинами управляет. Я видел таких. Сидит в кабине паровоза, смотрит внимательно вперед, чтоб сигналы видеть, а к паровозу штук тридцать вагонов прицеплено. На них и лес, и уголь, и всякая всячина. Представляешь, сколько лошадей надо, чтоб все это перевезти? А он справляется. Богатырская машина! Значит, и машинист – богатырь. Вырастай, Николка, и ты богатырем будешь!

Так говорил добрый человек, а сам потихоньку подсовывал мальчику то кусочек сахара, то маленькую плиточку гематогена. Слышал, что при малокровии хорошо помогает. Когда выходил покурить, стал замечать, что мальчик тоже не хочет оставаться в постели, потихоньку спускал на пол дрожащие ножонки, подходил к Погорелову и молча становился рядом. Цigarка немедленно гасилась, двое друзей стояли на маленькой верандочке, облокотившись на перила, подставив солнышку изнуренные болезнью тела.

Тракторист домой все-таки выпросился, пообещав врачу сразу после осенней пахоты лечь в областную больницу. Выписали и Николку. Впервые в день выписки Матвей Филиппович увидел на лице Ульяны улыбку.

А вот это тебе на прощанье, герой, – сказал врач и протянул мальчику небольшую баночку с медом – царский подарок по тем временам, а Ульяне – прополис. Таблетки таблетками, а пчелиная аптека, как уверяет дед Прокоп, первейшее средство. Ему можно верить!

До конца осенней пахоты Погорелов не дотянул. Прихватило прямо в поле. Прицепщик, молодой парнишка, увидев, как тракторист корчится от боли по земле, метался около него, не зная, что делать. Спасло чудо: председатель на своей двуколке объезжал поля, подъехал к пахарям поздороваться. Увидев Погорелова, сразу понял: беда. Вместе с прицепщиком бережно усадили тракториста в тележку.

- Ну, держись, батя! Знаю, что тяжело тебе, но дорога, слава Богу, не расквашенная. Надо успеть, а там Матвей Филиппович что-то придумает. Тебе умирать нельзя! – твердил он потом всю дорогу, стараясь отвлечь Погорелова от невыносимой боли. – Ты нам всем нужен!

А Николке в эту ночь снился сон. По огромному полю едет, фырча и разбрасывая по сторонам пар, какая-то диковинная машина, а к ней много-много тележек прицеплено. Испугался Николка, а убежать почему-то не может, стоит, как зачарованный, и смотрит.

Остановилась машина около Николки, и выходит из нее дяденька Погорелов, большущий, красивый. Обрадовался мальчонка, а Погорелов схватил его на руки, подбросил высоко-высоко, как папка когда-то подбрасывал, и говорит: «Смотри, Николка, вот она, богатырская машина! Твоя теперь! Садись! Рули! Живи!»

РАССКАЗ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Удивительное дело! Из нее, бывало, слезы не выдавишь. Другие девчонки по поводу и без него были настоящими слезокапками, часто умело пользовались этим испытанным средством: добивались своего или избегали наказания. А эта... Впрочем, она и на девчонку мало походила: острижена под горшок, одета, как мальчишка, за себя, если нужно, постоять умела. Куклы ни разу в руках не держала, все больше – мячик, в мальчишечьи игры играла. По веткам лазала, как белка. Устроится на огромной шелковице и книжку читает, а то, как на турнике, на ветке висит головой вниз и хоть бы что. Синяки, ссадины и даже серьезные травмы слезами не обмывались. Одним словом, кремь-девчонка.

И если бы кто-то сказал, что она плакала, никто бы не поверил.

Была у нее еще одна особенность: стремилась уединиться. Летом убежит в конец сада, обхватит колени руками и сидит, облака рассматривает. Занятие это ей, видимо, нисколько не надоедало, смотрит и бубнит:

- Тучки небесные, вечные странники...

Или еще что-нибудь. Стихов она знала множество. В это время глаза ее становились влажными, дыхание перехватывало, и казалось, что долго сдерживаемое, какое-то неопределенное чувство вырвется из детской груди, освободит девчонку и улетит куда-то вместе с причудливыми облаками.

Сюда, в свой укромный уголок, прибежала однажды она, взволнованная, после того, как увидела на параде свою одноклассницу с отцом. Тот держал девочку за руку, дочка заглядывала ему в глаза, что-то весело щебетала. Он тоже улыбался.

Боль, отчаяние буквально захлестнули ее. Она упала на землю, билась о нее головой, звала отца, которого забрала у нее война.

Больше всего ее волновали песни. Она могла часами крутить пластинки.

Одну из них ставила несколько раз подряд. Ей и самой было непонятно, почему именно эта песня так волновала ее.

- Ты воспой, ты воспой в саду, соловейко, – доносилось с пластинки, и глаза девочки сразу начинало пощипывать,

- Ох маво голосу не ста-а-ло, ох маво голосу не ста – ло, – тихо, но властно вела свой рассказ песня. Жаловался на свою судьбу неведомый соловушка, что он и рад бы запеть, да «потерял – растерял свой голосочек, по чужим садам летая».

- По чужим, по чужим, по садам летая...

Горькую ягоду все клевал, – подхватывала девочка, а слезы, будто высвобождаясь, текли и текли по щекам.

- Горькую ягоду, ягоду калину, – рассказывал соловушка, и так жалко было его, такого маленького и одинокого.

Принести бы его в свой сад, сюда, где она любила сидеть в одиночестве. И может быть, снова бы запел соловушка, и с его веселой песней изменился бы и ее сиротский мир, а слезы бы стали не тайными, не тяжелыми, а светлыми, очищающими, детскими.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

Алиса никак не могла похвастаться добрым расположением к ней Джульбарса и Фантика. Когда она золотистым комом важно перекатывалась по двору, Джульбарс настороженно поднимал уши, скашивал глаза: нельзя же было показать какой-то кошке, что она его беспокоит. Алиса же, казалось, не замечала его грозного вида, а на звонкий, залиvistый лай Фантика просто не обращала внимания.

Своей красавицей любила поддразнивать Джульбарса. Отойдет на приличное, безопасное расстояние, уставится на него своими янтарными блюдами, гипнотизирует. Иначе отчего этот всеми признанный страж порядка вдруг прекращал свое наблюдение, покорно уходил с пути и скромно ложился: голова на лапы, глаза – на Алису. А что Фантик уже хрипит, так это его проблемы.

Так и жили: ни любви, ни ненависти, соблюдая кое-какие правила общежития. А как иначе? Хозяин дома раздоров не любит.

Алиса готовилась стать матерью. И уже место себе присмотрела. Хозяйка оказалась заботливой: подальше от людских глаз да потеплее гнездо ей устроила. Но надо же было так случиться, что в самый неподходящий момент хозяйева куда-то уехали, не дозвавшись любимицу, и она осталась во дворе.

Джульбарс и Фантик подремывали в своем просторном укрытии под домом. А может быть, просто спрятались, почувствовав, что надвигается гроза. При первом ударе грома они вздрогнули, но вскоре успокоились. Чего бояться? Укрытие надежное. Вот Алиса чего-то мечется по двору, той хуже.

А гроза распоясалась. В огненной пляске соревновались молнии. Один за другим спешили, сталкивались, воинственно гремя, раскаты грома. Испуганные друзья теснее прижались друг к другу. Кого не напугает стихия?

Кошка между тем, отчаявшись найти хозяйку и ставшее привычным место, заскочила к ним и как-то особенно мягко что-то промурлыкала, потом еще, еще, будто о чем-то просила.

А во дворе уже хозяйничал дождь: со всех сторон очень тщательно обмывал листья винограда, звонкими ручейками бежал по асфальтированному двору.

Первым из своего жилища выполз Джульбарс, за ним, скуля и поджав хвост, – Фантик. Алиса робко, как бы извиняясь за то, что потревожила неприветливых ранее хозяев, прошла на их теплое место. С очередным ударом грома Джульбарс и Фантик слышали какую-то возню и тоненькое попискивание.

Когда хозяева вернулись домой, прячась от дождя под зонтами, они увидели интересную картину. Собаки, промокшие и продрогшие, почему-то не заходили в укрытие. Заглянув туда, хозяин увидел Алису, спокойно облизывающую котят. Он понял все и по-доброму взглянул на джентльменов.

ОРЗ

Майским вечером к лавочкам во дворе потянулись пенсионеры всех возрастов: и новоиспеченные, и со стажем. Укрывали ковриками узкие скамейки, устраивались основательно. Переговаривались.

- Что-то Верочку не видно.
- Наверно, к дочке укатила. В пятницу пенсию носили?
- В пятницу. А сегодня-то уже среда. Она ведь там больше двух дней не бывает.
- А где ж она?
- В больнице она, – негромко вставил отставной военный.
- «скорая» забрала.
- С чего бы это? Такая крепкая баба и на тебе. Я звонил. Сказали, под капельницей. Вот тебе и ОРЗ!
- А, ну это пройдет. Больше недели держать не будут.

Верочка, в самом деле, была здоровой и, казалось, несгибаемой. Успевала все: и на работу и на дачу, и внучат приветить. Во дворе ее любили: разговор поддержать могла и найти теплое слово любому. А главное, за то, что не ныла, как-то легко относилась к трудностям. «А чего ныть? – объясняла она.

- Денег нет? Так их ни у кого нет. Вот только давление мучает. Встаешь по утрам, будто не отдыхал. Из стороны в сторону водит. Низкое. И цитрамон уже не помогает».

Слава Богу, дочка здорова. А станешь жаловаться, еще несчастье какое-нибудь накличешь.

Дочка и вправду была загляденье. Глаза, как кофе «Гранд», улыбка наповал! Лилька все рекламные ролики смотрела и для поддержания красоты требовала от матери все первоклассное. Одних пузырьков и тюбиков косметических было не перечить. Мать в душе кипела: зачем столько – девка и так на славу вымахала. Но вслух недовольства не высказывала. Жалела дочку. И так обделена. Без отца росла. Папенька так ни разу и не вспомнил. Укатил однажды, когда Верочка с дитем по больницам скиталась (у Лильки в младенчестве что-то серьезное находили, да, слава Богу, все обошлось, диагноз неправильно поставили). Укатил, а на память – Лилькины глаза да улыбка. Смотри, вспоминай и радуйся.

Ох, и хватила же Верочка горя! Помочь некому – кругом сама. В круглосуточную группу отдавать не захотела. Так соседи по очереди и нянчили, когда в ночную смену надо было идти. Одевала девчонку, как куклу, к чистоте приуча-

ла. Идет, бывало, и как светится. От бантиков до носочков – все как будто только что из пакета вынули. Гордилась: дочка всегда в первых рядах. На утренниках, на праздниках и поет, и стихи читает, и танцует. Часто в школу прибегать не получалось: приходилось и на второй работе подрабатывать, но, когда все-таки выбиралась, усталость как рукой снимало: девочка, по единодушному мнению учителей, умная, толковая, прилежная. Гордость школы, одним словом.

И Верочка «пахала». Когда поняла, что даже на две зарплаты далеко не уедешь, решила заняться бизнесом. Челночный труд не сладок, но что делать? Рынок вскоре стал для нее чуть ли не вторым домом. Благодаря своему общительному и незлобивому характеру, быстро сошлась с товарками, и те ей во многом помогли: как купить, как продать, когда сказать, когда промолчать. Дело пошло. Вовремя она сюда пришла. Потребности Лилькины увеличились: компьютер понадобился, английским стала дополнительно заниматься, да и в одежде не хотелось от других отставать. Сама к красоте приучила. А уж эту науку дочка усвоила хорошо: что попало не наденет.

Первое серьезное разногласие с дочкой произошло, когда та решила бросить институт и выйти замуж. Вот тогда она впервые и пожаловалась отставнику. Мужик умный, в жизни много чего повидал. И хоть жил бобылем, степенности и рассудительности не растерял и уважением в доме пользовался.

Тот давно уже приметил, что девчонка мать не жалела, ни в чем от других отставать не хотела. Но Верочка никогда на дочку не жаловалась, и он понимал, что на детей да на родителей жаловаться – грех. А тут не выдержала. Видно, достала доченька.

- И что мне с ней делать? В одну душу: брошу институт и все. Что толку, мол, все с высшим образованием на рынках торгуют.

- Сама ты ее распоганила. Все для нее, для нее. О себе совсем забыла. Ты ведь еще молодая. А раз сама о себе не помнишь, кто помнить будет? Вот и получается: сама воз волочешь, ее от трудностей все время ограждаешь. Кажется, добро делаешь, а поди, разбери, где эта граница, где добро превращается в зло.

Поговорили, да что толку с разговоров. Настояла Лилька на своем. Вышла-таки замуж. Поселились неподалеку, в двух часах езды. Но мать навещали редко: то зять без выходных работал, то гостей встречали. Понятно, молодые. Да и чего им мешать? Может, и вправду, как сосед говорит, о себе подумать?

Не получилось. Вскоре родилась внучка, и тут уже каждую свободную минуточку молодая бабушка тратила на малышку. И не только минуточку. Как деньжат подкопила, так быстро им ноги приделала. Не умела и не хотела копить. Незаметно научилась за дочкой донашивать. Благо, размер один.

Но однажды все-таки решила выбраться на вечеринку. Подруги пригласили. Верочка сразу вроде загорелась, а потом прикинула, что ничего «свеженького» нет. Надо бы туфли выходные купить. Пошла к знакомой, которая обувью торговала, и та выбрала ей отличную пару: чистая кожа, легкие, удобные, нога просто спит. Каблук высоковатый, но ведь не старуха же! С платьем примерила – красота! Вечеринка удалась. Без излишеств в питье, с хорошим разговором. Даже потанцевали. Поначалу Верочка стеснялась, боялась, что разучилась, годы да заботы отодвинули плясунью далеко-далеко. Но когда ее пригласил довольно симпатичный, степенный мужчина, вдруг почувствовала, будто молодость вер-

нулась, и после первых неуверенных шагов все вспомнилось, она отдалась танцу, легко и свободно закружилась в вальсе. Потом еще долго прокручивала в памяти эпизоды этого вечера, слышала робкий стук помолодевшего сердца.

На радостях решила внучку навестить, а заодно и похвастаться. Сначала думала денег признать, чтоб не с пустыми руками ехать, но потом решила, что поехать ей есть с чем, а денег отвезет в другой раз.

Лилька удивилась, что мать, как обычно, денег не привезла. Так, кое-какие гостинцы да шмотки новые для внучки. А когда намекнула матери, что, мол, хотели новый гарнитур на кухню купить, да вот немножко не хватает, та вдруг ответила:

- Я вот тоже потратилась. Туфли купила да еще кое-что по мелочи. А цены сама знаешь...

- И сколько ж ты за них отвалила? Зачем они тебе такие? Куда тебе в них ходить?

Верочка плохо слышала слова. Она видела только искаженное злостью лицо, потемневшие глаза. Что-то вдруг резко ударило в грудь, но она быстро справилась с собой, решила перевести на другое:

- А что это Олечка какая-то бледненькая? Уж не захворала ли?

- У нее ОРЗ, – бросила дочка.

Верочка поняла, что визит у нее оказался неудачным, хорошего разговора не получается, предложила помощь, в ответ услышала: «Я сама. Сиди!».

Смутно помнила, как приехала домой. Под левой лопаткой не переставало болеть, голова кружилась. «Опять давление понизилось, – подумала Верочка. На третий этаж помог взобраться сосед-отставник. Он и «Скорую» вызвал. Медсестра «Скорой помощи» измерила давление и ахнула:

- С таким высоким давлением вам надо срочно в больницу! У вас какой-то стресс был?

- Да внучка заболела, – ответила Верочка. – ОРЗ, говорят.

- Ну да, ОРЗ, – как-то загадочно повторил сосед-отставник.

- Очень резко завязала. И про себя добавил: «Первый раз доченьку не ублажила».

Когда дверь за матерью закрылась, Лиля как будто очнулась. Выглянула в окно. Мать пересекала двор. Шла уставшая, понурая. Потом присела на лавочку, сменила туфли на тапочки и пошла дальше. «Надо ее догнать», – подумала Лиля и бросилась к соседке.

- Любовь Ивановна, присмотрите, пожалуйста, за Оленькой, мне к маме срочно нужно.

- Надо так надо, не беспокойся, присмотрю, – ответила приветливо женщина, прочитав на лице Лили какое-то смятение.

Всего на пять минут опоздала Лиля к автобусу, который увозил мать. Ей посчастливилось: знакомые ехали в город, предложили подвезти и назад подбросить. Когда увидела во дворе родного дома «скорую», буквально влетела на третий этаж.

- Не волнуйтесь, полежите немного, подлечитесь, отдохнете, а внушка ваша поправится, – ласково журчал голос медсестры.

Лиля подскочила к матери, обняла ее, прижала к себе сидящую голову. От волнения ее голос прерывался:

- Mamochka, mamochka, nikogda... nikogda! – повторяла она, – nikogda!



СЕМЕН БАБАЕВСКИЙ

(1909 – 2000)

Семен Петрович Бабаевский родился 24 мая 1909 года в селе Кунье Харьковской губернии в крестьянской семье. Через год родители переезжают с ним на Ставрополье в маленький хуторок Маковский, что в 8 км от станции Невинномысской, где и прошли детство и юность будущего писателя.

В 1926 году семья Бабаевских вступила в коммуну «Стальной конь», впоследствии реорганизованную в колхоз «Красный пахарь». С этого времени началась новая жизнь С.П. Бабаевского. Он вступает в комсомол, много читает, пишет первые рассказы. В 1930 году С.П. Бабаевский поехал учиться на курсы пропагандистов при ЦК ВКП(б), после окончания которых работал в редакциях северокавказских газет «Красная Черкессия», «Орджоникидзевская правда», «Молодой ленинец», «Советский пахарь» и др.

Первый рассказ С.П. Бабаевского «В учениках» появился в газете «Советский пахарь» в 1929 году. Молодой избач (заведующий избой-читальней) хутора Маковского Кочубеевского района, где проживала семья Бабаевских, начинал рассказами свое творчество с весьма прозаическими названиями «Молотилка» и «Водка подвела», опубликованными в одном из ростовских журналов. В 1936 году в Пятигорске был издан сборник рассказов «Гордость».

В 1939 году писатель окончил Литературный институт им. М. Горького. С 1941 года писатель начал работать над «Кубанскими рассказами».

В годы Великой Отечественной войны С.П. Бабаевский – военный корреспондент фронтовой газеты. Совместно с писателем Эффенди Капиевым пишет книгу очерков «Казаки на фронте» (1942). В послевоенные годы повести С.П. Бабаевского были посвящены теме восстановления разрушенного войной хозяйства: «Белая мечеть» (1945), «Гусиный остров» (1945), «Казачки» (1946).

Главный литературный труд Бабаевского – роман «Кавалер Золотой звезды» (1947) и его продолжение – «Свет над землей» были удостоены трех Сталинских премий (1948, 1950, 1951 гг.). «Кавалер Золотой звезды» был экранизирован, по нему написана опера; он переведен на все языки народов СССР и 29 иностранных языков, издан в тридцати зарубежных странах. Это был расцвет и взлет нашего земляка. Сталин следил за творчеством Бабаевского и лично поддерживал его.

В пятидесятых годах Семен Петрович жил в Пятигорске, был активным читателем и автором газеты «Пятигорская правда». Он искренне любил Пятигорск, и деньги одной из своих Сталинских премий передал городу для восстановления разрушенного во время войны городского Дворца пионеров.

В 1950 и 1953 годах С.П. Бабаевский избирался депутатом в Верховный Совет СССР от Ставропольского края. Его литературный труд отмечен многими орденами и медалями.

Умер в Москве 28 марта 2000 года на 91 году жизни.

С. Бабаевский – автор книг, каждая из которых – песня о родном крае, любимом и дорогом ему с детства. «Сухая Буйвола», «По путям-дорогам», «Сестры», «Четыре Раисы», «Сыновний бунт», «Современники», «Родниковая роща» одниковая ро – повести и романы, посвященные жизни и быту кубанских и ставропольских колхозников. Он вслед за великими мыслителями пытался охватить реальное человеческое бытие во всей его полноте, определить место человека в мире и отношение человека к окружающему миру.

РОДНИКОВАЯ РОЩА

В мае 1930 года мне довелось побывать в верховьях Кубани. Было раннее утро. Из окна я видел палисадник, огороженный низким тёсом. В нём росли розы, анютины глазки и какая-то шелковистая трава на грядах. Яблоня стояла вся в пышном цвету, как в белом дыму. К её стволу были привязаны две осёдланные лошади. Они нагибались за оградку, как в ясли, звякали трензелями и лениво щипали траву, а на гривы им падали лепестки, похожие на снежинки.

Свежее с росой разгоралось утро над крышами станицы. На улицах было безлюдно. Золотой купол каменного собора поднялся в синеву неба и пылал озарённый первыми лучами солнца. Возле амбаров сыпного пункта выводком паслись воробьи, а к ним подползала на животе серая кошка.

За столом сидел Чердынцев и что-то писал. Гладко обритая его голова была склонена к столу. Кончив писать, он посмотрел в окно, надел курпеевую кубанку и сказал: – Все! Теперь можно ехать...

Взяв со стола набитую бумагами полевую сумку с газырями для карандашей, он торопливо пошел к выходу, стуча каблуками. Подойдя к лошади, он чуть только коснулся носком сапога блеснувшего стремени и уже был в седле. Вторая лошадь, к которой я боязливо подошёл, затанцевала, часто цокая подковами о мелкий щебен, и я никак не мог ни усмирить её, ни поймать ногой стремя. Чердынцев снисходительно посмеивался надо мной, надвинув на густые чёрные брови кубанку.

– Вот какие у нас легковики, сразу не сядешь, – сказал он и легко тронул плетью моего коня.

В переулочке, ведущем к выгону, нас обогнал «газик» с опущенным тендом и кипящим, как самовар, радиатором. Кроме шофёра, в машине сидело четыре человека, двое мужчин придерживали дверцы, которые не имели замков и поминутно раскрывались. Пассажиры сняли картузы и поздоровались.

– Эй! Путешественники! – крикнул Чердынцев. – Легче скачите, а то колёса расстережете.

– Догоняй нас, Арсений Михайлович! – сказал один, и все пассажиры дружно засмеялись.

– Наши райзовцы понеслись, – сказал им вслед Чердынцев, выравнивая поводом ход коня. – И что за народ! Окончательно замучили машину. На честном

слове бегают, за версту слышно. А ведь этому «газику» ещё и двух лет нет, но глянь ты на него. Обдёрванный весь, десять аварий имел, один раз даже с моста слетел. У нас район горный, сколько говорил, берегите машину для горячих дней, а пока выезжайте на конях... Нет же, газуют доупаду. Секретарю райкома, видishь ли, можно и на коне, а заврайзо нельзя, отвык бедняга от седла...

Чердынцев пустил коня рысью, а потом вдруг осадил его, круто завернул и, сказав мне, чтобы я его подождал, вихрем усакал обратно. Пыль из-под копыт, как дымок, вспыхивала и повисала в воздухе. Над амбарами тучей поднялись воробьи. Дробь копыт постепенно стихла.

Я не проехал и ста шагов, как Чердынцев уже полным галопом подлетел ко мне, держа в руке, как плакат, красочный лист разрезной азбуки. Кубанка теперь чудом держалась у него на затылке, он весь сиял, глаза горели, а смуглое, как у черкеса, лицо было опалено ветром и вспотело. Привязав повод к луке седла, он аккуратно сложил азбуку и сунул её в сумку с компасом.

- Чуть было не забыл...

- Что это за азбука, Арсений? – спросил я.

- Обыкновенная. В киоске купил.

- А куда ты её везёшь?

- Беда с этой азбукой, – сказал Чердынцев, покачиваясь в седле. – Приготовил, хотел было сунуть в сумку и забыл... А везу её Илье Гавриловичу Караулову. Живёт у нас такой человек в Родниковой Роще. По пути в Яман-Джалгу мы на минутку заедем к нему. Интересный казачина, отличный бригадир, а неграмотный. Даже букв не знает... Горько ему об этом думать. Пока жил единолично – ничего, терпел свою неграмотность, а пришёл в колхоз да ещё стал бригадиром – затосковал. Похудел, бедняга, а какая тому причина – никто не знал. И я не знал... Как-то раз он зашёл в райком, рассказывал о посевах люцерны, а потом сказал мне, что хочет научиться грамоте. «Только, – говорит, – чтоб никто об этом не знал. Совестно, ведь мне уже пятьдесят три года». Вот я и храню душевную тайну. – Чердынцев весело улыбнулся и, посмотрев на меня, добавил: – Смотри, не вздумай писать в газету...

Сразу же за станицей начались горы. Мелкие, вытоптанные стадами ложбины, с зияющими следами буйных дождевых потоков, подступали совсем близко к огородам. На дороге рябели следы кованых копыт и мережки автомобильных шин. Выхав на гору, Чердынцев ожёг плетью коня и дал ему волю. Засвистели в воздухе комья земли, мой конь чёртом заломил голову и пустился вдогон. Ветер растрепал похожую на шаль гриву, стряхнув с неё яблоневого лепестки.

На первом взгорье перед нами открылась табунная степь, изрезанная ярами и глубокими травянистыми балками. Под горой белела Кубань, саблей обогнув станицу, укрытую мягким покрывалом цветущих садов.

Часа полтора мы ехали рысью и вскоре поднялись на высокий курган. Теперь Родниковая Роща была близко. Зелёным крылом размахнулась она от песчаного берега Кубани до чуть заметно чернеющего на горизонте стриженного леса. По её пологому дну блестела стоячая вода и росли камыши, укрывая речушку. По косогору цепочкой расползались хаты, кирпичные конюшни и коровники, покрытые черепицей; то в одном, то в другом месте горели на солнце, точно серебряные шары, цинковые купола силосных башен. Под горой, среди садов, чернели крыши домиков. Чердынцев указал на них плетью и сказал:

- Это подворье Караулова. От него мы возьмём путь вверх вон к тому сахарному обрыву и к вечеру будем в Яман-Джалге.

На дне Родниковой Рощи было прохладно, пахло прелой травой. Лягушки перекликались с таким усердием, что звенело в ушах. Переехав вброд мутную речушку, мы поднялись на некрутой склон и въехали во двор давно обжитой усадьбы, с вёдрами и кувшинами на плетневых кольях, с бочками и кадками посреди двора, с лошадиной упряжкой и ярмами, висевшими под навесом, и ещё многой другой хозяйственной утварью. Домики, сделанные из амбаров, как кубики, обступили двор с двух сторон. Молодые яблоньки росли под окнами в три ряда, и только дикая груша, нарушая общий строгий порядок, кривым стволом подымалась прямо из плетня, опустив ветки на край крыши. Весь двор был покрыт грядами. Круглые и продолговатые, они были вымережены белыми камешками и напоминали клумбы. Но странно: на одной из них были посеяны цветы, на другой – ранний лук, а рядом с нежной, только что взошедшей гвоздикой, выбивался из земли пышный куст картофеля. В другом месте, рядом с чесноком росла мята и вечерняя фиалка. Между клумбами полотном расстилались дорожки, тоже убранные камешками, как белой кружевной оборкой. Одна дорожка вела к перелазу и дальше – в старый сад, лежавший на солнечном склоне.

Наши кони неслышно прошли по дорожкам, оставив дырявые следы подков и комы сдавленной грязи, принесённой с речки. Из домика выбежал седой казак и, не глядя на нас, поспешно собрал в полу бешмета комы и отнёс их в сарай.

- Сам Караулов, – тихо сказал мне Чердынцев, останавливая коня.

Илья Караулов был высокий и жилистый, с длинными, согнутыми в локтях руками. Седая голова коротко острижена, лицо сухое, коричневое, но без морщин. Горский нос, как у коршуна, – с небольшой горбинкой. Толстые в три пальца усы были прокопчены табаком. Глаза хитро выглядывали из-под насупленных бровей. Длинную жилистую его шею плотно охватывал воротник обильного бешмета.

Караулов не спеша подошёл к нам, вытирая пальцы о суконные шаровары, вобранные в шерстяные чулки.

- Илья Гаврилович, что ж ты гостей не встречаешь? – сказал Чердынцев, слезая с коня.

- Нехороший ты человек, Арсений Михайлович, – проговорил Караулов, продолжая тереть ладонь о шаровары. – Ты ж знаешь, что коней мы сюда не допускаем, а прёшь нахалом... А если бы, к примеру, в грязных черевичах да к себе в кабинет? А?

- Забыл, ей-ей, забыл, – смущённо ответил Чердынцев, помахивая плетью.

- Сенька, иди сюда! – гулким басом крикнул Караулов. Из домика выбежал паренёк с вихрастым белым чубом и в разорванной на плече рубашке. Долго он смотрел на нас пугливыми, как у молодого лошонка, глазами, а потом широко улыбнулся, сунул руки в карманы и важно подошёл.

- Сенька, отведи коней в стойло, да поклади им сено, – приказал Караулов, – Да живее води, а то чего доброго сдуру оправляться начнут.

Домики, куда мы вошли, стоял на высоких стояках из рыжего ноздреватого камня. Под ним мирно сидели куры и тут же лежала сука, окружённая щенятами. В домике находилась канцелярия с двумя столами и длинными лавками.

Дверь вела в комнату бригадира. Все стены и даже часть потолка были облеплены старыми, пожелтевшими плакатами, на которых изображались пасущиеся стада, куры на ферме, доярки с ведрами и лошади у высоких кормушек.

- Собрался иттить к полольщицам, – сказал Караулов, нагибаясь в дверях. – Бурьян нынче чёртом лезет из земли... Аж пищит, да лезет. – Он помолчал, взял у Чердынцева папироску и, закулив её, тихо спросил: – Привёз то дело?

Чердынцев кивнул и они пошли в соседнюю комнату. Чердынцев на ходу расстёгивал сумку. И хотя я знал о чём они будут говорить, но почему-то невольно подошёл к дощатой перегородке, в которой светились крупные щели.

- Привезти-то я привёз, да кто тебя учить будет? – сказал Чердынцев. – Учиться тебе обязательно нужно, но гляди, Илья Гаврилович, дело весьма трудное. Учиться в твои годы – это всё одно, что итти на крутую гору. Сил надо много. Учитель тебе нужен, а где его взять? Кто захочет приходить к тебе в стан? Нет ли у тебя в бригаде подходящего человека?

- Разве Сенька? – проговорил Караулов после краткого молчания.

- Он комсомолец?

- А как же!

- Вот и прекрасно, – обрадованно сказал Чердынцев. – Значит, учитель, можно сказать, есть, теперь дело за тобой, Илья Гаврилович. Придётся тебе ночи использовать. Хорошо ночью учиться. Тихо и никто не мешает.

- За мной-то дело не станет, – с грустью проговорил Караулов. – Раз я решился на это, то своего добыюсь... Только Сенька не захочет.

- Почему не захочет?

- Да я уже ему намекал...

- А он что?

- Говорит, что вечера зазря погибать будут.

- Как погибать? – удивлённо спросил Чердынцев и ударил плетью о голенище,

- Да как бы тебе выразиться поскладнее... Одним словом, полюбились ему Лушка, дочка моя... Известное дело молодецкое... Только по вечерам такая картина у них совершается, что ежели учесть его положение, то, пожалуй, он и прав... Сами были когда-то парубками. Кому охота со старым сидеть. – Караулов вздохнул. – А другого подходящего у нас нет.

- Ну, это ты, Илья Гаврилович, сущую чепуху придумал. Он комсомолец и обязан помогать взрослым в учёбе.

- Это, конечно, верно, так оно должно быть, а только на деле он не захочет...

- Ладно, я поговорю с Сенькой и возьму у него твёрдое слово, – сказал Чердынцев, прохаживаясь по комнате.

- Во-во! Заставь его, как комсомольца, – удовлетворённо проговорил Караулов и вполголоса добавил: – А это кто с тобой?

- Из газеты.

- А-а... Так, так. Ты ему ничего не говорил про меня? Чердынцев ответил не сразу. Было слышно, как он ходил по комнате, ударяя плетью о подоконник.

- Безусловно, – невнятно буркнул он. – Ну, пойдём к Сеньке, да нам пора ехать в Яман-Джалгу.

Чердынцев увёл Сеньку в сад, обнял его за плечи рукой, на которой болталась плеть. Минут через двадцать он вернулся. Улыбаясь он шёл по аллее, шёл-

кая кончиком плети набелённые камешки. Сенька стоял у плетня, грустно склонив чубатую голову к стволу дикой груши.

- Илья Гаврилович, всё улажено! – сказал Чердынцев, поглядывая на довольное лицо Караулова.

Чердынцев закурил, раскрыл полевую сумку и потребовал коней. Мы уже хотели ехать в Яман-Джалгу, как вдруг с грохотом ударилась о стенку дверь и в комнату влетел заврайзо. Уши у него были красные, лицо покрыто мелкими, как просо, каплями. Воротник рубашки расстёгнут, грудь и шея мокрые и запылённые.

- Арсений Михайлович, – сказал заврайзо охрипшим умоляющим голосом, и влажные его глаза помутнели. – Дай коня, Арсений Михайлович! Не для себя прошу, а для агронома. Ты ж знаешь его телосложение. Ему стоять тяжело, а пешком он никуда не годится.

- Что, снова авария? – спросил Чердынцев, сердито застёгивая сумку.

- Да нет... Пустяки. Заднее колесо, чёрт его знает чего, отлетело на десять саженей. Так задок и несло, как санки на повороте...

- Эх, санки, санки. Говорил бы прямо, что угробили машину. Беда с тобой, Егор, бесхозыйственный ты человек...

- Возле речушки стоим, – снова просительно заговорил заврайзо. – Мы и пешком пойдём, а вот агроном не может. Ему через час в совхозе надо быть. Там кустовое совещание по сеноуборке. Выручи, Арсений Михайлович, дай коня!

- Цыган из тебя был бы неплохой, – сказал Чердынцев, сдерживая улыбку. – Говорил тебе, Егор, выезжайте на конях. Не слушали. – Чердынцев умолк и по строгому выражению его лица и по нахмуренным бровям я догадывался, что он думает о моём коне.

- Да ведь я чуть не забыл! – вдруг громко сказал он и захлопнул сумку. – Мне тоже надо быть на этом совещании. Ты погостуй у Караулова, – обратился он ко мне, – а завтра утром я вернусь и мы поедем в Яман-Джалгу. Илья Гаврилович, вот тебе и гость, – весело сказал Чердынцев, не дожидаясь моего ответа.

Я не стал возражать и остался в бригаде Караулова. Чердынцев и заврайзо сели на коней и уехали, а Илья Гаврилович принёс с полведра зелёного хлебного квасу и начал меня угощать. Мы выпили по большой кружке. Караулов крикнул, смахнул с усов капли и не без гордости заметил, что такой квас умеет делать только одна его жена.

- Аж в нос шибает, – сказал он напоследок, и пошёл к полольщикам.

До вечера на стане властвовало дремотное спокойствие. Хорошо было слышно пчёл, летавших через стан в сад и обратно. Сенька сидел за письменным столом и чертил на бумаге графы для каких-то записей и рассказывал мне, какой необыкновенной величины растут в бригадном саду яблоки и груши. Но иногда он откладывал в сторону ведомость, вынимал из ящика стола крохотное зеркальце, заглядывал в него и старательно приглаживал рукой жёсткие волосы. – И что мне делать с таким чубом? Как проволока! – Сенька вздохнул, посмотрел на меня и спросил:

- Дядя, а вы, случаем, не знаете, какое есть масло для чуба? Что я ему не делаю, а он, чертяка, не лежит набок. Я уже его и коровьим маслом натирал и слюнями мочил – ничего не помогает. Люди говорят, что можно курдючным салом смазывать, да я еще не попробовал...

С ложбины тянуло сырým запахом болот и камышей. Родниковая Роща медленно покрывалась мутной темнотой. Под горой, точно звёзды в пруду, блестя огоньки в домах. Вскоре и совсем стемнело. И тогда, где-то далеко в степи, родилась песня. Дружные женские голоса взлетели в небо и поплыли над укрытыми мраком полями. Звуки песни, принесённые сюда тёплым ветром, были знакомы сердцу и радовали. Казалось что я где-то в горах уже слышал этот старинный казачий напев...

Услышав песню, Сенька выскочил на каменные ступеньки.

- Лушка! Это Лушка выводит! – сказал он. – Её голос на всю степь слышно!

Он вернулся в комнату, быстро снял разорванную на плече рубашку, надел новую с мелкими крапинками, потом стал мочить водой и приглаживать щёткой непокорный чуб.

А песня всё нарастала и нарастала. Вскоре полольщицы, с поднятыми на плечах тятками, весёлым хороводом вошли в стан, принеся с собой запах солнца и бурьяна. Стан ожил и наполнился разноголосым гомоном, смехом, прибаутками, перезвоном алюминиевой посуды, плачем принесённых к матерям грудных детей. По двору, как на полустанке, замелькали фонари. С фермы приехал подводчик с бидонами, запахло свежим молоком. Под навесом, где висели хомуты и ярма, забренчала балалайка, и кто-то ударил в ладоши и мелко затопал черевичками о сухую землю... Мимо меня пробежала девушка, на ходу повязываясь белым платком.

- Лушка, а вечерять! – крикнула ей вслед пожилая женщина.

- Мама, а я уже молока повечеряла, – ответила Лушка. Пробегаючи мимо Сенькиной канцелярии, она тихонько позвала:

- Сенька, я буду в саду.

После ужина, укладываясь на ночлег, стан ещё долго жужжал. Ещё долго надрывалась балалайка, и кто-то выделывал в темноте такого заудалого камаринского, что гудела земля. Но постепенно всё улеглось и смолкло.

Илья Гаврилович, обойдя все свои владения, где-то разыскал Сеньку и вёл его к себе. Караулов нёс два фонаря, и длинные лучи косо падали по двору, освещая белые мережки клумб.

- Горе у меня на сердце, – сказал Сенька, когда Караулов закрыл за ним дверь.

- Какое там горе... Такой молодой, и уже горюешь, – бурчал Караулов, перedвигая стол.

В канцелярии на лавках было разостлано сено, прикрытое сверху полостью. Постель вышла неплохая. Я лёг и сразу почувствовал резкий, пьянящий запах чебреца.

Стан уже спал. В ночной тиши отчётливо было слышно, как рядом с моей койкой, за дощатой перегородкой, Сенька вполголоса тянул: а-а-а, б-э-э... Следом за ним, с такой же монотонной напевностью, только грубым голосом, подтягивал Илья Гаврилович. Так они повторяли несколько раз подряд. Скучное это было занятие! От этого сонливого гудения слипались глаза, оно напоминало звуки ночного жука-носорога, пролетающего над ухом... Я укрыл голову буркой и уже стал засыпать, как вдруг услышал знакомый голос девушки. «Лушка... Её на всю степь слышно», – подумал я.

Дверь была открыта. Слышно было, как слегка затрещал плетень. Девушка, видимо, стояла на плетне у самого окна. Она пела грудным, идущим от сердца голосом:

- Голубок мой, голубок, – пела эта девушка, – голубок мой, голубок, сизые крылечки... Выйди, выйди на часок – подарю колечко.

Грустный, волнующий её голос то замирал, то снова взлетал выше крыши и уплывал в степь. А над степью уже гулял месяц, и в лучах его купались серебристые листья яблонь. Тень от домика упала на гряды, где росли, обильно покрывшиеся росой, цветы и лук. В раскрытую дверь пробивались, точно подпылённые лунным светом, сумерки... А девушка всё пела. Песня её будила стан, и, казалось, что вот-вот снова забренчит балалайка, заплачут дети и загремит посуда... Я услышал, как за перегородкой на минуту смолкло басовитое гуденье. Кто-то резко встал, загремела упавшая табуретка.

- Дядя Илья, – тихо сказал Сенька. – Я более не в силах... Ваша дочка режет моё сердце и я знаю, она теперь не уйдёт отсюда.

- А ты потерпи, потерпи, – уговаривал Илья Караулов. – Ты ж дал Чердынцеву слово...

Сенька ничего не ответил, тяжело вздохнул и стал тянуть: в-э-э, г-э-э, д-э-э...

А за окном пела Лушка:

- Голубок мой, голубок, сизые крылечки... Выйди к милой на часок – подарю колечко.

- Нету сил, дядя Илья, – жалостливо просил Сенька. – Мы лучше завтра будем учиться, дядя Илья.

- А ты не думай о ней. Пусть себе поёт... Эта буква как называется? Вот крайняя!

Сенька вздыхал и продолжал урок.

Уснуть я не мог. Мне захотелось увидеть Лушку. Я встал, оделся и тихо вышел. Огромная белая луна лежала на мокрой крыше. Стёкла в окнах блестели. Никогда, казалось мне, луна не светила так ярко, как в эту ночь. Брось на землю иголку и её будет видно, как днём. Крупинки росы на крышах искрились, точно живые. На колышках плетня висели кувшины и от света луны они казались новенькими, как будто их только что вынули из обжигальной печи.

Плетень подходил к окну. Возле окна цвела дикая груша, бросая тень на белую стену. На плетне я увидел девушку в белом платье. Она обняла руками кривой ствол груши, и непокрытая её голова была обрамлена венком живых цветов. Луна светила ей в лицо, и глаза её, устремлённые в окно, горели голубым блеском. Я сел на опрокинутую кадку и подумал: «Да, нелегко тебе, Сенька».

Лушка не замечала меня. Она пела, а ветки груши тихонько качались и скрипел плетень. Слушая Лушкину песню, я видел розовую ночь, блеск крыш, тени от домов, девушку в цветах, плетень с красными кувшинами. Песня проникала в сердце и вызывала воспоминания... Что-то близкое и знакомое было в её тоскующем мотиве и в этих простых словах, заставляющих вспоминать многое из того, что уже давно, казалось, было забыто и потеряно.

Прошло ещё несколько минут. Я услышал скрип дверей и Сенькин голос:

- Как хотите, дядя Илья, а я более не в силах терпеть!

Караулов ничего не ответил. Сенька торопливо приблизился к плетню и нерешительно остановился. Песня оборвалась. Груша покачнулась, застучали на колышках кувшины. Лушка мягко спрыгнула с плетня. Сенька молча обнял её; они пошли в сад и вскоре скрылись в листьях.

Грустно мне стало на сердце. И я не знал – от того ли, что вспомнилась мне когда-то любимая мною девушка, чем-то похожая на Лушку, или от сознания, что там, за дощатой перегородкой, одиноко сидит с разрезной азбукой в руках Илья Гаврилович Караулов... Долго сидел я на опрокинутой кадке, глядя в сад, куда ушли Сенька и Лушка. «Ошибся Чердынцев», – подумал я и пошёл к Караулову.

Два фонаря бросали тусклый свет на насупившееся лицо Караулова. Азбуку он прижал к груди. Глаза его были печальны.

- Ну, что ж, Илья Гаврилович, – сказал я, не зная чем его утешить. – Знать, не стерпело сердце молодецкое. Давай, видно, я буду обучать тебя сегодня азбуке...

Караулов молчал. В саду, далеко от дома, снова запела Лушка. Илья Караулов прислушался и сокрушённо покачал головой.

- Шельма, а не девка, – сказал он. – Никакой жалости к отцу.

Я взял у него азбуку, вспомнил, как флагом развевалась она в руке Чердынцева, пододвинул фонарь, сел рядом с Карауловым и почти до белой зари обучал его нехитрой грамоте.



ГЕОРГИЙ БАЕВ

(1929 – 2006)

Этого человека на его малой родине знали и мал, и стар. Знали в селе Михайловском, где родился Георгий Кириллович Баев 28 апреля 1929 года. Знали и во всей округе Ставропольского края: у него для всякого находилось доброе ласковое слово. И дети его слову верили и внимали. А если надо было узнать птичку по пению или по оперению, все обра-

щались к нему, так как это он знал, как азбуку. Вся природа Ставрополя была в его памяти, как на карте.

Георгий в любое время был готов прийти на помощь и старому, и малому. Сам ли стал таким или от Бога дано было ему помогать людям в беде? А может, Великая Отечественная война ударила семью Баевых, ох, как больно: отца отняла, брата Павлушу ...

Подростком стал табунщиком, на лошади с ветром наперегонки соревновался. Во время Великой Отечественной войны работал в колхозе на благо Родины. В юности закончил вечернюю школу, пошел трудиться на железную дорогу и цель одну вынашивал: учиться, чтобы писать в газеты, в журналы, чтобы поведать людям, что видел, слышал вокруг и чувствовал.

Окончил историко-филологический факультет Ставропольского педагогического института. Более пяти лет работал в Донской ЦШ № 6, несколько лет отдал журналистике. В этой отрасли прошел все должности: от литературного сотрудника до редактора, был собственным корреспондентом газеты «Звезда» СКЖД.

Наш земляк был делегатом Учредительного Съезда Конгресса интеллигенции Российской Федерации в 1997 году. Георгий Кириллович награжден правительственными наградами, Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, двумя Почетными грамотами губернатора края.

Все произведения Г. Баева написаны с любовью к Родине. Его книги пользуются большим спросом не только в нашем крае, но и за его пределами. О творчестве писателя положительные отзывы дали С. Михалков, В. Песков, К. Симонов, поместивший рассказ Георгия «Не останавливая поезда» в книжку «Спасибо вам, люди!», изданную в Москве.

Потом все, дети и взрослые, попались на его «волчью удочку» – так называл Г.К. Баев свою первую книжку. Вот уж, право, попались, потому что читали в первом классе учителя детям, читали десятиклассники, читали в школе и дома.

«Георгию Баеву не откажешь в наблюдательности. В этом убедишься, если прочитаешь рассказы из его второй книги «Тюльпаны в далеком саду»... Сразу вас позывает «Пастуший рожок» ... Не знаете мелодии пастушьего рожка? Ну, это не беда. Выйдите поутру раным-рано – и услышите, а ус-

лышите – не забудете... Когда он пишет о чем-нибудь, будто расцветает душа его красными маками и становится чисто-чистой, как лесная речушка Гремучка... В Георгии Баеве есть что-то от Богатыря Святорусского: что задумает, что скажет, что наречет, то и сбудется», – вспоминает о нем его землячка, учитель и друг З.А. Щербань¹.

Умер Георгий Баев в 2006 году.

В центре интересов Георгия Кирилловича стоит проблема нелегкого крестьянского труда детей и женщин в годы войны и послевоенное время, наблюдения о природе. Все действия рассказов развиваются на небольшом клочке ставропольской земли: в Михайловском, Русском хуторе, Татарке, Нижнерусском, Донском...

Его творчеству высокую оценку дал заслуженный деятель искусств РФ, профессор, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, председатель Воронежской композиторской организации, заведующий кафедрой Воронежского института искусств Евгений Борисович Трембовельский: «Хочу от имени Правления и всей Воронежской организации Союза композиторов России поделиться высоко положительным мнением о книге рассказов Георгия Кирилловича Баева «Сокол – птица гордая». С Георгием Кирилловичем познакомился на Конгрессе интеллигенции в декабре 1997 года, и я был поражен тем, как точно, своеобразно и оригинально этот человек может судить о жизни, людях, а главное – о природе и ее обитателях. Когда Вы прочтете эту книгу – Вы хотя бы в какой-то мере возрадуетесь вместе с нами тому, что в российской глубинке, как и всегда, произрастает колос истинного художественного дарования».

Книга «Сокол – птица гордая» вышла в 1997г. Как золотые песчинки, собирал Георгий Кириллович рассказы для этой книги. О ней не расскажешь – ее надо читать и перечитывать... пить небольшими глотками, как чистую-пречистую живую воду. И ума, и сил прибудет от каждого слова, как вот от первых слов книги:

*Напои, христианка, студеной водой,
страдальца, который стоит пред тобой ...*

ОРЛИК

(из книги «Сокол – птица гордая»)

Студеной зимой сорок третьего мы с табуном лошадей и крупным рогатым скотом стояли на Нижнем Русском хуторе.

Как только изгнали фашистов, вся жизнь села начиналась заново. Выбирали председателей колхозов, сельских Советов, проводились всевозможные районные совещания и слеты.

В первых числах февраля учетчик фермы Лютов предложил мне отвезти на конференцию в Михайловку хуторскую учительницу.

Солнце на закате, а невысокая щупленькая учительница в фуфайке, солдатской серой шапке и защитной юбочке с чемоданчиком в руке неотступно ходит за Нефедычем.

¹ Щербань З.А. Мой ученик Г. Баев. – 2003 (из личного архива Щербань)

- Уедете, уедете, – грубовато говорит ей учетчик. – Вот коня подберем – и в путь. В район на лошадях съезжались пораньше. Обычно на ночь.

Не спросив меня (я был старший табунщик и каждую лошадь знал лучше учетчика), Нефедыч вывел из конюшни Орлика.

У меня так и екнуло под сердцем. А точнее, бросило в жар. И не без основания. Этого коня я недавно обучил под седло. В бричке он ходил лишь однажды, да и то быстренько от нее избавился: разбил об угол сарая.

Потом, как змей с горящим хвостом, носился по полю, бороздя снег обломками брички. Вслед за ним летела волна клубящейся седой пыли.

- Ты что, спятил?! Куда посылаешь мальчишку на этом Горыныче? – строго спросил учетчика подошедший дед Серега.

- Уж, какая мама нашлась! Жаль пацана – езжай сам. А человека надо доставить.

- Разве ж коней нет помирнее? Ведь дело-то в ночь, – говорит сторож.

- Так и доложу председателю, что дед Серега сорвал поездку учительше на конхвиренсию, – ярится учетчик.

- Эх ты, конхвиренсия, конхвиренсия, – с горечью сказал дед Серега и пошел в сарай за сбруей.

- Вот так бы и давно, – злорадствуя, съязвил учетчик и захромал в жилую хату. Лютов не пожелал молоденькой учительнице даже счастливого пути.

Мы вдвоем с дедуней заложили Орлика в сани. Накрепко затянули хомут, гужи, дугу, зануздали ненадежного. Храпит, бьет копытами, озирается. Ждет не дождется, когда наступит его час, чтобы еще обо что-либо расколотить прицепленный какой-то груз позади. Он, Орлик, не из таких, чтобы им помыкали. Захочет, повезет! Воспротивится... лучше на месте с коня долой. Иначе пожалеть можешь.

Сколько риска, смелости и труда стоило, чтобы обучить этого коня под седло! Он-то и под седлом не выучен ходить как следует, а его в телегу впрягают. Эта затея Лютова не нравилась мне. Но куда денешься... Начальство есть начальство.

Ветром нас выхватил Орлик со двора фермы. Розваль без малого не зацепились о столбы широких ворот.

Конь пошел во всю рысь. Дорога была еще мало обозначена. Сани, набитые сеном, ходили из стороны в сторону.

- Держитесь! – крикнул я, обернувшись к учительнице, и направил коня через малую речку, чтобы сократить путь в гору. Она прилегла на бок.

Здесь преследовалась еще одна цель: пустить в галоп озверевшего Орлика. И с него слетит та спесь, с которой он выскочил со двора. Но не тут-то было. Не на того нарвались.

Конь понес нас в гору во всю мощь. Настораживало то, что он бежал рывками.

Хочет освободиться, подлец. Вырваться из оглоблей. Оглядывается, храпит, вскидывает голову и несет нас в гору пуще прежнего. Колокольчик под дугой то усиливает, то ослабевает свой звон, то иногда просто позвякивает.

Мешкать некогда. Скоро и подъему конец, не сдается, рвется и рвется вперед.

Нет, милоч! Дудки тебе. Я встаю на колени и крепко натягиваю вожжи. Скорость снижена. Перевожу на бег рысью. Остановить нельзя. Можно загубить разгоряченную лошадь. Надо постепенно осадить на тихий ход.

Оглянулся на учительницу. Она, распластавшись, лежит на сене вниз лицом, крепко уцепившись за перила саней, что возвышались над сеном с обеих сторон.

Выехали на ровную дорогу Симоновой горы. Она тянется от Нижнего Русского хутора до конца Верхнего Русского хутора, который почти упирается в железнодорожную станцию Палагиада, а там, за полотном, и Михайловка. Нам предстояло проехать по горе не менее десяти километров.

Жеребец шел веселым шагом, словно на боевом параде. Он ловко и красиво скидывал передние ноги и забрасывал демонстративно вперед.

Золотистой масти жеребец с длинной легкой серебристой гривой и таким же волнистым хвостом отлично смотрелся под луной. Грудь корабликом, спина гибкая.

Перед отъездом старый буденновец дед Серега сказал:

- Этот конь создан для маршальского седла.

Старик рвался сам отвезти учительницу, да я остановил его. Дедуня принимал. Это одна причина. И еще была причина ехать именно мне. Я лучше всех знал норов сильного, пугливого и огненного жеребца, обучал его под седло и ухаживал за ним персонально. Жеребцы, бугаи и даже породистые бараны не переносят большое количество ухаживающих за ними. А кого признают, тому, хотя и нехотя, но повинуются. Иногда даже ласкаются к своему хозяину.

Учительница ожила, отошла от бешеной скачки Орлика и приподнялась на локте.

- Садитесь вот так, как я. Спустите ноги на правую сторону, да держитесь, не забывайте. Чего доброго, торопнется Орлик и понесет вразнос.

Учительница уселась поудобнее на сене рядом со мной.

Я сидел, тоже свесив ноги направо. В левой руке крепко держал вожжи и не спускал глаз с коня. Я понимал его по движению любого мускула, тем более фырканию, храпу и нервному удару копытом.

Самому же до нетерпения хотелось познакомиться с учительницей и хотя бы малую малость перекинуться с ней словечком.

- Давно поселились на хуторе?

- Только что, третьи сутки. Уже ребятню собрала. Более одиннадцати в классе. Да жаль, что тепла нет. Фашисты при отступлении печь разломали. А знали, что школьное здание.

- Как же теперь будете?

- Эти дни стоя занимались. Не засиживались. То и дело зарядку делали. Детишки у меня как птенчики малые. Такие милые да послушные. Подельчивые. Смотришь, на перемене отламывают кусочки хлеба, друг другу подают. Меня угощают. А у меня слезы проступают от их добра да заботы обо мне.

Я приезжая. Из-под Ростова. Рукой подать. Домой бы ехать. Да сердце не выдержит. Отца и мать гитлеровцы расстреляли. Брат на фронте убит.

- За что же родных так германцы? – несмело спрашиваю.

- Фашисты расстреливали, мальчик, нас даже за то, что мы советские граждане. А к моим родным причина Пыла. Я закончила педучилище на Ставрополье. Здесь и к комсомол вступила. Здесь и в партизанский отряд «Жлим» записалась.

Фашисты дознались, что я партизанка. Со мною была однокурсница. Я сагитировала в отряд ее. Она трусом оказалась. При первой возможности смылась от парти. И, добравшись в Ростовскую область, предала меня.

Вот и расстреляли моих папу и маму.

Девушка немного отвернулась и смахнула слезу.

- Ставропольский крайком комсомола сюда к вам на хутор послал. Я хотела на фронт. Меня убедили, что детей учить надо.

Я не мог произнести ни одного слова. А только вкось всматривался в волевое лицо девушки и думал, думал. И еще завидовал той мальчишеской завистью, которая есть у всех детей моей великой Родины.

Мне бы хотелось тоже вместе с этой девушкой испытать партизанскую жизнь, побывать в разведке да подорвать бы какого-либо генерала в кресле или машине, забросать неожиданно гранатами фрицев.

Для меня теперь совсем другими виделись и солдатская серая шапка на учительнице, и защитная фуфайка, и юбочка, и кирзовые солдатские сапоги.

Какое-то время мы ехали молча. Высокая полная луна, озаренная снежная дорога, заснеженный тихий лес и февральский морозец настраивали на размышления об учительнице. Хотелось побольше о ней узнать.

- А как величать вас, – шевельнувшись в сене, спросил юную партизанку.

- Натальей кликали сверстницы. А теперь Наталья Васильевна. А тебя как кличут?

- Егорка, – ответил я не без гордости. Мне думалось, что табунщик – высокая должность. Да оно так и было. Без коней в войну никуда. И пахали на них, и сеяли, и хлеб убирали, и к Доватору ставропольских казаков на своих конях провозжали. Только из моего табуна пятнадцать лошадей для Красной Армии взяли.

Ух, какая гордость! Если эскадрон проносился на запад, и в нем под солдатами – твои кони быстрые.

Ни с того, ни с сего Орлик так дернул сани, что мы без малого не свалились в снег. Оглянулся. Наташа по-прежнему легла на живот и уцепилась руками за перила саней.

Жеребец пронесся метров триста, остановился как вкопанный. Из ближайшего кустарника мчались волки. Пошел, Орлик! Стоять будешь – брюхо распустят. Жеребец грозно заржал, взвился на дыбы. Затрещала дуга, оглобли. Ух, как хотелось ему высвободиться да стукнуть могучим копытом по волчьей морде. Но сбруя оказалась крепкой, и конь помчался по дороге что было духу. Я не сдерживал его, а только покрикивал да подбадривал длинным табунским кнутом, с которым нигде и никогда не расставался.

Волки бегут рядом, подпрыгивают впереди коня, стремятся впиться в горло. Орлик, несясь на такой скорости, успеваешь давать сдачи передними копытами. Пронзительный, тревожный звон колокольца поднимается в лунное морозное небо. Он сейчас напоминает бедственный перезвон церковных колоколов Древней Руси, когда на нее нападали вороги. Но на государевы колокола сбегаются ополченцы. А в глухой зимней степи спасти некому. Защищаться нечем.

Поравнявшегося с санями волка я хлестнул кнутом по морде, и он, ткнувшись носом в снег, пошел кубарем. Это разозлило его собратьев. А их пятеро, с горящими злыми глазами. Раскрытые страшные пасти с острыми зубами готовы были проглотить нас.

Вот один заходит сбоку. Опережает сани. Уши прижаты, хвост распущен, морда заострилась, вытянулась. Вижу, готов броситься к горлу коня.

Я круто дернул правую вожжу, и Орлик рванул вправо. Хищника так долбанула оглобля по голове во время прыжка, что он покатился в боярышник. Сани наскочили на кочку и резко накренились в одну сторону.

Норов коня взял верх. Он стал, что называется, бесноваться самым настоящим образом: взвизгивать на дыбы, бить задки не только по волкам. От саней летели щепы мне в лицо. Затем конь озверел и сам в упряжи бросился на бегущего рядом зверя. Сани пошли враскат. Ударились в кочку. Наташа вывалилась в кювет. Я крепко сидел в санях. Два волка тут же отстали. Несколькими прыжками они приблизились к своей жертве.

Я мгновенно бросил вожжи и спрыгнул в сугроб.

Волки на меня. Я хлестнул одного по морде, и они понеслись за Орликом.

Бегу к Наташе. Хлещу кнутом, кричу угрожающие слова.

Два волка замешкались. Стоят над лицом Наташи, опустив морды. И почему-то косятся друг на друга. Я вспомнил, дед Серега говорил, что при добыче волки иногда должны определить, кому первому начинать пиршество. Для этого надо померяться силами. И у зверья по этому поводу происходят между собой грозные схватки, не всегда, но бывают.

- Наташа, не шевелись! – кричу.

Любое зверье тут же бросается на жертву, если она совершит хоть малейшее движение. Попав в обстоятельства, где нужно экстренно решать, что делать, обязательно будешь решать, и, как правило, находить выход. Так устроен человек, так устроено в нем сознание. Чем меньше времени на обдумывание, тем правильное и точнее решение.

В те времена я отлично мог забросить аркан на коня и заставить его повиноваться. И сейчас у меня больше не было выхода. Не душить же волка голыми руками.

На конце длинного кнута мгновенно делаю петлю. Волки недолго косились друг на друга. Свирипое рычание – и схватка. Словно наскочивший вихрь поднял столб клубящейся снежной пыли. Затем он быстро осел.

Над поверженным зверем стоял другой зверь. Сильный и разъяренный. Пощады никто не жди. Но он, зверь, пока стоял лапами на собрате. Наверное, следовало убедиться в безвредности соперника.

Я широко расставил ноги и бросил петлю на голову волка. Миг – и я затянул ее изо всех сил. Решение было принято сразу: бежать, затягивать петлю ту же, не дать опомниться зверю. Несколько неровных прыжков вверх, в стороны, и волк упал в затянутой удавке.

Мы вместе с Наташей взялись за кнутовичку и потянули волка. На санях подъехал лесник Павлик. Он как раз объезжал владение.

Павел выстрелил в голову зверя, но тот даже не вздрогнул. Мы подошли и убедились, что волк был задушен петлей.

Лесник отвез нас в Михайловку. Орлик пристал к колхозной бригаде, что находилась возле прудов, где теперь продовольственный магазин. Он был ранен волком в левое плечо.

РАССКАЗЫ СТАРУХИ ТАТЬЯНЫ

(из книги «Сокол – птица гордая»)

В Михайловке жила одинокая старушка Татьяна. Вытащит, бывало, тачку с дровами на гору, опустит оглобли на землю и идет к нам, сгорбившись, пошатываясь. Ходила она, как ворона по пашне, чуть-чуть вприпрыжку, расставляя костлявые руки в стороны.

Несмотря на старость, она была жилиста и словоохотлива. Мы с нею подружились. Не однажды ночевала с нами в землянке. А утром прицепим ее тачку к молоковозке – и пошел рысью на деревню – только колесики у тачки распевают, попискивают.

- Тише-тише, дрова порастеряешь! – подпрыгивая на сене в бричке, беспокоится Татьяна. Но тревога напрасна. Мы ссадим старушку возле двора, отцепим тачку, закатим ее во двор и – айда до новой встречи с Татьяной. Благочестивая пела нам Божественный стих «Христос с учениками». Мы не шевелясь слушали его. Он и по сию минуту волнует мою душу и разум.

Христос с учениками из храма выходит

Пред крестного смертью своей.

Исполненный скорбью, прощальными словами

Учил Он любимых друзей. Скажи нам, Учитель, последнее слово,

Пока еще с нами живешь, Скажи нам, Учитель, когда это будет, Когда Ты судить нас придешь?

Услышите войны, военные слухи,

Восстанет народ на народ.

Наступят болезни и глады, и моры,

И братская кровь потечет. Уменьшится вера, угаснет надежда,

В сердцах охладет любовь. И многие люди тогда соблазняются: Прольют неповинную кровь.

Во храмах Святых вы увидите мерзость,

Так знайте, что Суд при дверях.

Глядите, чтоб двери не закрылись пред вами,

Держите светильники в руках (в сердцах). Великие скорби сольются на землю И люди так будут стонать, И солнце померкнет, и месяц и звезды С небесного свода сойдут.

И в эти минуты поищите смерти,

Но смерть от людей убежит.

И скажут народы: сокройте нас горы,

Но горы на них не падут. На небе появится крест лучезарный И станут народы стонать. Кто будет у поля, оставивши дом свой, То пусть он домой не спешит, не спешит.

Избранные чады увидят начало

И будут за облако взирать.

За ними последуют толпы народа

От края до края земли.

И вся содрогнется родная природа Пред страшным престолом Судьи.

Из мертвых воскреснут живые народы, Придут на Божественный Суд.

И скажет Владыко стоящим направо:

Войдите вы в Царство Мое,

И скажет Владыко стоящим налево:

Уйдите вы прочь от Меня.

Эта мудрая старушка рассказывала нам поучительные истории из крестьянского быта, которые и теперь помнятся.

АХ ТЫ, ЛОЖЕЧКА КУЦА...

(из книги «Сокол – птица гордая»)

Бывалча мы жили большими семьями. Ели все вместе из одной чашки, деревянными ложками собственного способу.

Угодилась к нам новая невестка, седьмая по счету. Пышнотелая такая, вся круленькая и ласковая. Знать, не из голодного краю и родителей недурных.

Свадьбу чин по чину сыграли. Микишка работающий был. Муж-то ее. Папаша и постарался для меньшего.

Так вот с этой невесткой такая оказия вышла. Налют нам хочь что: хочь борща, хочь супу, хочь холодцу положить. Она как завезет ложкой в чашке. Все кусочки мяса подгорнеть, зачерпнуть их, отвернется от стола и сидит, пожевывает, альнишь щеки раздымаются.

И раз, и два глядим на ее мудрость. За нею не поспеешь. Многим не попадает мяса. Бабы роптать стали и под коровами во время дойки и когда телят молоком поют. А в хате никто ничего. Мужикам не дело о сем толки наводить.

- Девка не плохая, – вслух мечтали батенька перед свадьбой. – Если Микишка обуздаст эту утробную девку, то с добрым заводом будет. Ребятишки пойдут тугоплечие. А это – главное для крестьянского двора. Парни должны за рога быка валять и плуг поглубже в землю давить, а девки под коромыслами не гнутья да снопы живо вязать. И вот всюду зажгли святы – и мы тоже. Посреди хаты за матицу подвешена лампа с широким хвिति-лем. Огонь, как язык красный. Зимой после дня не сразу ели, а поначалу размещаются по широкой лавке, что вдоль всех стен идет. Она только печку, примост да стол обходит. И кто что делает. Бабы волну в пряжи вправляют, мужики сбрую латают.

Батенька знали, что ему семью держать надо, иначе вразброд полезут. Он и суд, и голова в доме был. И все-таки ни нас, невесток, ни маменьку и черным словом никогда не назвали.

Больше на совесть напирал да на смекалку тех, кого это касалось. Никогда не кричал ни на кого и тем более не бил.

Были и такие свекры: дело не по делу – хватъ невестку за косу. А наш батенька не делали этого. Вот мы и почитали их, как отца родного. А стыда все тогда боялись. И учить нас надо было. Невесток много. У каждой свой нор. Одна за день на поле не разогнется, другая спинку подберегает, лишнюю травку из кустика не дернет. Картошка или кукуруза там была, все сажали. Этим и жили.

Да что ж я, старая, вкось пошла. Ныне про стеснительную дело.

И вот расселись все по своим местам на лавке, возятся, работают. Глядю я и другие глядят: батенька берут чашку с ложками, перекаладывает ложки, ищет что-то, ищет какую-то.

Взял ложку стеснительной невестки, чашку в поставец сунул. Все замолкли. Пряжи затихли. И свекор молчит, но супится. Видим, решает что-то, затылок поглаживает, на ложку поглядывает и большой бородой по сторонам водит. Очами на всех смотрит. Пошарил в кармане сюртука, достал бечевочку, сделал петлю и затянул ее на конце ручки ложки. Повесил ложку вниз, как веретено. Кончик бечевочки привязал за матицу, что лежала через весь потолок по середине. Там множество гвоздей было, чтоб шапки вешать.

Поглядел на ложку со всех сторон, как на живую. Она под его очами вертится на бечевочке, все стороны показывает. А мы глядим, глядим, что дальше будет.

А стеснительная невестка ни живая, ни мертвая.

Батенька вышли в сенцы. Развернулся с живчиком (маленьким кнутиком). Подходит к ложке и кнутиком ее, кнутиком ее, а сам не молчит теперь, а причитает: «Ах ты, ложечка куца, не хватай по два куса! Ах ты, ложечка куца, не хватай по два куса!»

Молодайка глаза словно вздула, выпучились они, чуть не повыскакивают, что не чью-то, а ее ложку наказывает свекор.

А батенька опять: «Ах ты, ложечка куца, не хватай по два куса! Ах ты, ложечка куца, не хватай по два куса!» – Аж кнутик посвистывает.

Ложки в ту пору метили. Кто-то крестики ставил на них, кто ручку подрезал, кто и край немного выкусывал. Чашка была общая, а ложка у каждого своя.

А батенька все ложечке науку дает, сам как и не смотрит ни на кого. Но из-под нависших бровей густых посверкивают добрые глаза на виновницу.

Взгорели щеки у молодойки, чуть кровь ни брызнет. Сидит, не дышит. Ми-кишка поерзывает на лавке с зажатым хомутом меж колен, как будто и его отец постегивает. Муж ведь, его сударыни ложка.

Батенька затем отвязал ложку, положил ее в общую чашку без всякого там гнева. Вынес кнутик и напомнил маменьке про еду.

Бабы облегченно вздохнули, мужики откашлялись. Заговорили все разом. Но никто не посмел упрекнуть молодую невестку, что было с ее ложкой.

Шумно сели за стол вечерять.

Стеснительная невестка села ровно к столу, как и все, а раньше бочком садилась, чтобы отвернуться и акомьяживать зачерпнутые куски мяса. А теперь и сидеть, как все, и есть, как все: и жижочку почерпнуть, и кусочек мяса взять не больше других.

К чему это я рассказываю вам? Иной отец или мать разодрать надвое готовы своего дитя даже не за великую провинность. А наш батенька не били, не кричали на нас, а учили по-старинному – стыдом.

ЗЛЫЕ ВОЛКИ

(из книги «Сокол – птица гордая»)

Я эту басню часто молодым людям рассказываю. Они все «расскажи да расскажи». Вот я и говорю. Ваня да Сережа стерегли овечек. Ваня жил у рабочих, а Сережа хозяин. Своих овечек стережет.

Ну, захотели есть. Сели обедать. А туманок вокруг, имжичка. Лес рядом. Кусты глухие, глухие. Никак не продрасться, только вокруг гуляй.

Сидят, обедают. Сергей и говорить:

- Иван, овечек наших что-то не видно. Пойдем поглядим.

- Да вот сейчас кусочки доедим и тогда пойдем. Кусочки эти доели и еще, что тамочка у них было. Пошли. Хвать, а овечек как и не было. Туды, суды, туды-суды. Овечек нету.

Туман еще гуще стал, заплетает глаза, вешается на кусты, катица по земле. Ну тогда бежать дальша. Бегали-бегали. И кричали, и свистели, и тюкали. Ни-ково нету и ничиво нету.

Тада стали большими кругами бегать. И найдуть их уже битыми. Волк побил. Поначалу отлучил от нас подальше. На ету хитрость волк уподобен. Потом разогнал их и стал бить. А овечек было много. По всему выгону и у конца лесу.

Глядеть пастушки, где битые насмерть, где ободранные, ды изорванные, где две-три в кучечку сбились. Стоять овечки согнутые, колотятся от страха. Ну-ка с волчагами увидеться, да в тумане таком. Ниоткуда и никакой им помощи. Вот колотятся от страха до сих пор.

Некоторые овечки бегают голые, кричат, наступают на не спущенную до конца шкуру. Ваня и Сережа тогда швыдком домой.

- Ай-яй, ай-яй! Волк овец у нас отнял и побил. Ну тогда дяди Гаврика не было дома. Братка и батенька мои были.

Верхом на коней, похватали ружья и в степь, искать овечек. Собаки волнуются, забегают вперед. Ваня и Сережа с ними скачуть впереди. Они-то знали, где ето все случилось. Мальчикам было лет по десять.

Позади бегуть, грохочуть брички. Кони резвые, пугливые.

Ну понашли они тогда своих овченок, а зверь спрятался, укрылся. Можа, и тут же в кусте сидел. Но нет! Собаки учуяли б. Хотя этот шельмец на всякие мудрости уподобен. Найдет место, где каталась лошадь или корова. Выкатывается сам, и животом проползет, и носом пропашет. Словом, духу мирных животных наберется и пошел на охоту. Из-под собачьего носа ягненка украдет, и пес не учует, потому что запах всюду знакомый, запах лошадей, овец, коров.

Дык воточа. Понашли они овечек и битых и небитых под кустами и на чистом поле. Туман разошелся, аж страшно стало. Как глянули вокруг, а их видимо-невидимо. Делать нечего. Подогнали брички и стали собирать да грузить и битых и небитых. Ну небитых отдельно и недобитых отдельно. Тут же их прирезали чабанским ножом и грузили. Такую овцу не грех есть. Несколько подвод пришло в село с битыми волком овцами. Привезли овечек и у Шеховцовых на дворе на солому свалили. Какая изодранная, а какая изорватая. Были такие, с которых прямо содрана кожа, а она живая. Он же как чирканет с головы и до хвоста, а кожа сама тянется. Овца сама цела и брюхо цело, кожа только содрана.

Ето я сама все видала.

Мяса много, убыток большой. Теперь-то не верят в бога, а тада все верили в бога. Ну и к батюшке, что батюшка скажет. Говорят люди:

- Ежели волк убил овцу, ее нельзя есть.

Ну если есть нельзя, может, позакопаем их. Она и овчина на лоскутьях вся. Ето мы все меж собой советовались. Тогда все ж пошли к батюшке.

- Батюшка, батюшка! Ды вот такой-то у нас случай. Волк усех овечек побил. А их сотни, а не то что десятки. Столько убитых. Такое горе. Что же теперь делать. Побросать жалко, а есть боимся. — А батюшка и говорит.

- Ешьте и не бойтесь ничего, такой убыток, такой случай не всегда.

И батюшка благословил нас.

- Я благословляю, если не верите, принесите мне тушечку. При вас сварю и начну есть. А что живые со спущенными шкурами прирежьте и продайте, или как там. Ну чтобы новых овечек завели.

Так они и делали. И к батюшке понесли тушечку. Батюшка при них изжарил или отварил там. Ну вот смотрите, я кушаю, и вы кушайте, не стесняйтесь. И

благословил. Приехал на двор к Шехавцовым, окропил святой водой все тушки. Тогда они посолили, разложили по кадушкам, кто как мог, и ели.

А сколько было волков, никто не знает. Или шайка была или один какой да лютый. Ну, один столько не побьет. И считают старики, что они не голодные были и был не один волк. А знать никто не знает. Никто не видел.

Большую массу овец побили. Ну какие отбились, тут Симочка у горы жил у самого лесу, где известку жгут или как там. Прибились под стеночкой штук тридцать. Стоять, трусяца от страха, колотятца все чисто. И тогда и понашли всех. Люди себе чужое не брали. Всех овечек возвратили Масюриным, нам и еще чьи были живы.

Мы ходили глядеть их, бедняг, перепуганных. Это было перед маслиной. Ну как теплушко стало и погнали пасти овечек.

В те времена на масленицу в мечку на выгоне играли. Не каждый год. А бывало. Даже овес сеяли. Эти моменты называли хевральские окна. Ну считают, что волки не голодные были. Ни единой овцы до конца не съели. А разорвать да бросить, начать ды бросить.

И вот я эту басню или как там случай такой часто рассказываю крестьянским пацанчикам, ребятам. Вот и вам рассказала. Но тут все до единого слова правда.

СВЯТОХА

(из книги «Сокол – птица гордая»)

Она была недурна собой: чернявая, глаза, как вишни, густые длинные волосы всегда переброшены наперед, под ними вздымается молодая сильная грудь. Руки и ноги как налитые, крепкие. Вид глуп, но мил. Сидит обычно на примосте, свесив босые ноги.

Она у отца и матери была одна, и никогда ничего не делала, за что и называлась Святоха.

Вот встала утром, умылась, расчесала гребенкой волосы и сидит-посиживает на примосте, на цветном ложнике да ножками покачивает, словно люльку качает.

Покличут завтракать. Ест. На обед, также и на ужин. Вот и все ее занятия. Да еще поспать не дура. Встанет вся тепленькая и на полдник.

Хоть ничего и не делала, а отец и мать кормили.

Святоха иногда ходила в церкву. Крестилась редко, но широко, со вздохами. По ей не угадать, что ее донимало. Она всегда стояла кротко. Редко такое было, а было: с ее вишневых глаз капали крупные слезы. А что в этот раз думала, никто не знал. А вот стояла она кротко.

Ну, тогда она понравилась одним людям.

- Сватайте, идите, – говорят родители Святохи. Согласиться – согласились старики на выданье дочки, а сами судить да рядить стали, что да как.

Баба в слезы.

- Ну чаво-то дурь сычими глазами пускаешь. Пришло время: пусть мужа знает. Не сидеть же ей век на примосте.

- Може зятка примем? – несмело молвила мать, прикладывая косынку к заплаканным глазам.

- Да ты что, глупая баба! Позор на себя положить. Все тюкать станут. «Не годна дочь Меланьи, что за двор не взяли», – так прямо и скажут. Молода, правда, девчина, семнадцатый только.

- Ой! Дед, дед! И то горе: не держать же ее, пока на груди блуза тресня.

На святках (это когда волки шайками бегают) подкатили сани. Кони в красных бантах. Сват здоровый такой, в распахнутом тулупе шагает, с виду злой-презлой. Мать аж ахнула. Было поздно. В хату куча людей валит. Рослый красивый парень понравился Свято-хе. Это заметила мать и легче вздохнула.

А Святоха так и заирделась вся. На царицу похожа. Собой куда тамача. Не изношана. Жаркая такая, сидит в кофточке без рукавов. Руки выше локтей сильные, налитые. Щеки так и рдеют, хоть повырежь: красные да сочные, как осенние яблоки.

И вот начали свататься. Отец говорит:

- Она у нас ничего не умеет делать.

Сват, приглаживая пятерней взбитые волосы, сказал:

- Мы научим.

- Убьете и не научите.

Меланья в слезы. Подумать надо. Такому грозному свекру дочь попадет.

- Так воточа, мать. Слюни не пускай. Вишь, дочь улыбается.

Худенькая маленькая старушка запричитала:

- Убьють и не научугь. Дура я набитая. Лучше б я била, лучше б я ругала Катеринку да научила б работать. А то и носочки из серой шерсти, что на ней, я сама вывязала. Ой, ой, ой!

Парень наклонился к свату, отцу своему сказал, что понравилась невеста. И Катюха тоже что-то шепнула матери на ухо.

Надевая тулуп, сват говорит:

- Мы вашу дочку и бить не будем, и делать все научим. Семья у нас большая. Семеро вот таких соколов, как этот, – и отец положил на плечо сыну широкую ладонь. – Да и невесток теперь буде столько же.

И вот отдали Святоху за этих людей, первых сватов и первого жениха. А он собой рослый, ясноглазый. Рубаха льняная без одной складочки на плечах. Тугой сам весь такой, ну как бычок-третьячок. Наступило первое утро у жениха. Святоха встала, умылась, расчесалась – и гоп на примост. Обстановка тогда у всех одинаковая была. Русская печка возглавляла хату, иконы сердца унимали, а так возле стен широкие лавки деревянные да стол в святом углу. Примост и поставец тоже в каждой хате были. Пряхи, правда, всегда тарахтели.

Все начали работать с самого утра: бабы коров подоили, молоко процедили и готовить еду начали.

Мужики худобе корм задали, в конюшне почистили. А она сидит на примосте, как у отца сидела.

Сошлись все в хату, разделись. Свекор подходит к столу и всех по именам приглашает поест. Режет хлеб на большие куски, берет кусок и говорит: «Это тебе – ты коров напоил, это тебе – ты овец на баз выпустил (на морозе шерсть крепче бывает, поэтому овец в сараях держали только ночью), это тебе – ты молоко процедила». – И так дал каждому по куску хлеба. А сами не смели взять. Ложки под каждого положил.

Свекровь стала борщ душистый подавать на стол. Запах на всю хату. Какой же борщ вкусный, когда постоит в устьях русской печи после приготовления. Он там пропаривался.

Все едят с таким аппетитом. А ее за стол не сажают. Она поглядывает. Есть-то хочется. Но раз не работала, надо сидеть. Самой стыдно двинуться к столу.

Обедать опять всех батенька сажает, опять всем по куску дал. И приговаривает:

- Ты свиней кормил, ты коней поил, ты овцам сена подбросил, вы, девчата, в хате работали. — А девчата по трое детей имели. Ну вот, свекор продолжает: — Ты собакам тоже кинул. У нас свой закон: кто робить, тот и исть, кто робить, тот и исть.

Ну, а сам продолжает куски раздавать. А хлеб мягкий, пахучий. Мы чесночком корябушки натираем. Уже на столе борщ дымица. А папаша свое: «Кто робить, тот и исть. Кто не работает, тому нету еды».

Она сидит, бедняжка, ни живая, ни мертвая. Есть-то хочется. А в чужой семье не попросишь. На обед мясо было, баранина жареная, блины, от которых запах через трубы на все село разносится. Узвар был холодный из яблок, груш, вишни, чернослив и кизила. Сыченный такой, ну сладкий, с лесным запахом.

Маменька заваривала его на ночь в русской печи. Стоит до утра в сенцах. Холодный-холодный. Простуды не боялись. Холодным запивали обед.

А она сидит, бедняжка, чуть щеки от стыда не полопаются. Они у нее чуть вперед выходили. Кровью налиты. Волосы спущены до икор. Она перебирает их, словно посчитать хочет. Может, бедняжка, думала, что батенька это за работу возьмет. Нет, детка, у нас упорный свекор. Куска не даст, кто по двору или в хате не работает. Может, поэтому наш крестьянский двор и жил неплохо.

Зажгли светы, ну лампы. Садимся вечерить, а батенька опять:

- Кто не робить, тот не исть.

С тем и легла наша молодая: ни крохи в рот не занесла. Мужу пожаловалась, что есть хочет.

- У нас, Катеринка, батенька не кормит, кто не работает.

- А наш папа кормил меня, хоть и не работала я.

- А наш батенька и куска не даст, кто не работает.

- Возьми хоть корку хлеба, — она просит мужа. Тот потихоньку встал, принес немножко сухого хлеба, что на окне залежался. Это счастье, что собакам не выкинули.

И вот Катерина натянула одеяло на голову и, не жевавши, без воды проглотила хлебец.

Микишка заснул. А она разозлила живот — есть дюжей захотелось. Мечется с боку на бок, уснуть не может. Всякие мысли пошли.

Маменька привстала на примост, облокотилась на край печки и подала Катерине кусочек мягкого хлеба, один блинчик и стакан молока.

- На, доченька, ды ешь швыдче, а то дед голову мне открутит. Невесток он не бьет, а мне попадает. Только утром, детка, работу проси. А то и с голоду помереть можно.

Зашевелился батенька на примосте. Маменька сухоньким лицом к нему. Спит. Слава богу.

Наутро встает Святоха. Живот подтянут, глаза потускнели. Есть хочет. Вся семья тоже на ногах. Кто постели с земли убирает (мы спали на соломе в хате и горнице). Солому накрывали ложниками, попонами и катались свободно. По две-три семьи взрослых ложилось, а папанва в отдельном кутке спала. Маленькие в люльках.

И пошли опять по делам — всяк по своему.

- Боже мой, надо сразу взяться, – решает Святоха, да как подойти к этому свекору-зверю. Глаза, как выдавленные, черные брови вверх торчат, словно роги крученые, повороты резкие. Весь как глыба огромная. Страшен батюшка. А что и делать – такой на роду написан. Нет. У маменьки спрошусь.

И вот Святоха сдвинулась с примоста. Убралась, как все, чтоб во двор можно ходить. Надела валенки на босу ногу, полушубок – на безрукавную блузу, собрала волосы вокруг головы и накинула шаль. Красива собой хоть одетая, хоть раздетая, а щеки хоть повырежь красные, глаза сверкают смелостью. Словно хочет с дерева прыгнуть.

- Маменька, что мне работать? – спрашивает она. Ну, раз спрашивает работу у маменьки, она по своей части говорит, что делать.

- Иди, дочка, курам посыпь.

Вот Катерина набрала в сито пашанички из рундука, вышла на порожки и стала сыпать, а куры не бегут. Она опять, а куры как копались возле лошадей, овец, коров, так и копаются.

Я как раз молоко из-под коровы несла. На глазах Катеринки стоят слезы. Отвернулась – и в хату. Зацепилась о порог и все зерно в сенях рассыпала.

Упала на примост и навзрыд заплакала. Только плечи сильные подрагивают да икры подергиваются из валенок.

Заходит батенька – и сразу к ней.

- Ты что, детка, кто донял?

- Хотела работать, а не знаю, как курей кликать, не знаю.

- Вот, умница, вот молодец какая...

Батенька приподнял ее, сел рядом. Вытер слезы тыльной стороной ладони на жгучих щеках невестки и говорит:

- Вот что, Катеринка, курей кличь так же, как у вас, так и у нас.

Она мигом выхватила из-под руки свекра и выскочила в сенцы. Набрала еще пашанички из рундука, смела веником ту, что рассыпала, подобрала и стоит на порожке и кричит громко, громко: «Как у вас, так у нас! Как у вас, так у нас!»

А куры не бегут. Подходит свекор и говорит: «Вот так, детка, надо звать: «ти-ти-ти» или «цыпа-цыпа-цыпа», а сама посыпай зерно».

Святоха стала так звать, как батенька поучили. И куры посбеглись со всех сторон. А она радостно посыпает им пашаничку. Покормила кур – опять к маменьке.

- Что еще делать?

- Пошшитай свиней. Они в закутке лежать.

Свекровья посылает ее, чтоб дед видел, что молодая работает, да и разминается нехай, разламывается – пусть ходит. Пошла свиней считать. Она же счета не знала. А хочется есть, ды и стыдно перед другими, что ее не кормят и Святохой зовут.

Как они лежали, она видала. Пришла и говорит: «Да лежать они там рыльце с рыльцем; да туды да суды рыльце, да рыльце наверх».

Кто-то хихикнул. Батенька как жиганули – глазами – все так и замерли.

- Молодец, доченька, правильно посчитала: пятеро их в закутке.

Потом они ее будут учить: «раз-два». А теперь пошли завтракать. Она разделась – и на свое место, на примост.

- Нет, детка, за стол садись, ты работала. – Так ласково ды хорошо говорит свекор.

Вся семья за столом. Батенька первой подал кусок хлеба Святохе, ей ложку, сам рядом сел.

- Ешь, дочка, ешь, заработала. Ты не гневись на меня. У нас закон: кто робить, тот и исть. А не работали б и хлеба не было, а то сама видишь, есть чего поесть.

Позавтракали и, перекрестившись, свекор опять стал грозным. А может быть, так надо было. Он у нас не молился, как маменька, та даже ночами вставала. А перекрестится и пошел работать. А тут задержался. Окинул всех взглядом, а глаза-то, каштановые да как выжатые, всех видят. Поправил косоворотку спереди и сказал:

- Больше не называть Катерину Святохой, а только по имени: Катерина, Катя, Катюша.

Ответа не ожидал. Батенька знал, что его слово – закон в семье.

Вот вам и присказка старинная. *Она подо всех нас подходит: будешь работать – будешь кормиться, не будешь работать – будешь голодать.*

Через недельку к Катерине приехал отец. Надо проведать. Они, должно быть, уже забили ее, а работать не научили. Или совсем в дуры произведут. Пурга. Метель. А ехать надо.

Приехал отец. Она ходит по хате, все чисто делает. Веселая, румяная. Щеки соком брызжут. Сама вся сочная. Кофточка чуть не треснет.

Отец глазам не верит. Как вошел в хату, так и стоит в тулупе, только шапку баранью снял, чтоб не супротив христианства было.

Батенька пригласил свата раздеться. Сват на лавке сидит, глядит во все глаза на дочку: она и не она. Подвижная, веселая, говорливая. Подходит к отцу, обнимает.

- Тятя, тятя! Ты что-нибудь делаешь, а то у нашего батеньки такая привычка: кто не робить, то не исть.

Катерина думала, что ее отцу есть не дадут, и сунула ему в руки пучок шерсти.

- Папа, на, выбирай кожучки, да пошвыже, а вы меня не отгоняли от стола. А тут закон другой...

Батенька заметил это. Подошел к свату, взял шерсть и положил в печурку.

- Это мы твою дочь так учили. Гляди, бегают по хате, гляди, высасывают на двор. И курам посыплет, и свиней посчитает, и коровку подоит. Пока одну ей дал. Пусть обучается. Гляди, все, что надо, делает. И только один денек я не дал поесть ей, и не бил, и не кричал, а только приговаривал: кто робить, тот и исть, кто робить, тот и исть. Смекалистая дивчина. Сразу поняла мой нрав. А других лежебок-невосток и по два, и по три дня так учил. А твоя Катеринка – умница. Не ошиблись, что в семью взяли. Сват, больше не называй ее Святоха, она трудовая дочка у нас. Вишь, ягнят молочком поит да обласкивает каждого лопухого.

Отец посмотрел в окно на Катерину. Она еще краше стала. Щеки горят на морозе, полушубок полотенцем подхвачен, платок пуховый серый свежее лицо обрамляет, глаза жадностью к работе горят. У отца и слезы выступили. Он встал, подошел к свату, поцеловал его прямо в губы:

- Благодарствую за дочку.

Старуха Татьяна неловко свалилась на подушку, уснула, а я долго-долго не спал, все думал о старике с выпученными глазами и Катерине.

Через недельку к Катерине приехал отец. Надо проведать. Они, должно быть, уже забили ее, а работать не научили. Или совсем в дуры произведут. Пурга. Метель. А ехать надо.



ВИКТОР БАЙДЕРИН

(1916 – 1979)

Байдерин Виктор Александрович родился в 1916 году в Челябинске. После школы ФЗУ работал турбинистом на Челябинской ГРЭС. Был журналистом – вначале работал в уральских газетах, затем с 1955 по 1978 годы – собственным корреспондентом газеты «Известия» в ряде республик и областей страны.

Участник Великой Отечественной войны. В армии вступил в ряды КПСС. После войны переехал на постоянное место жительства в Ставропольский край. Поселился в маленьком хуторе Садовом под Ставрополем.

В 1954 году был принят в Союз писателей СССР. Им издано свыше двадцати прозаических книг для детей дошкольного, школьного возраста и для юношества: «Клад под старой липой», «Ночной патруль», «Родимое пятнышко», «Удар на себя», «Инспектор милиции» (1980), удостоенная дипломов на всесоюзных литературных конкурсах, проводимых Союзом писателей и МВД. Один из последних рассказов писателя В. Байдерина «Тревожные дни в Садовом».

Умер В.А. Байдерин в 1979 году.

Доминирующая тема произведений Виктора Байдерина – человек в погонах, проблема советской милиции. Каждый человек, был убежден В.А. Байдерин, «представляет собой человеческий род, чистый или смешанный, и всегда обладает общими чертами: чертами своего времени и своего народа, своего социального слоя или более узкой человеческой породы, человеческого типа или среды».

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ В САДОВОМ

Село Садовое, если посмотреть на него с высоты окрестных гор, производит очень благоприятное впечатление: крупное, поделенное на четыре ровные улицы, оно кажется белым от сложенных из силикатного кирпича домов и зеленым от деревьев. Чинары, тополя, белые акации высажены вдоль улиц в несколько рядов, да к тому же и каждом дворе свой сад из яблонь, слив, вишен и груш. В палисадниках буйствуют сирень, жасмин, рябина.

Сразу же за селом, вдоль широкой и ровной долины, раскинулся громадный колхозный сад, занимающий более двухсот гектаров. От этого сада – главной достопримечательности села – пошло и его название. Прежде стоявшее здесь сельцо именовали Неприступным. Такое название оно получило еще в далекие суворовские времена. Колхозный строй изменил облик села, дал ему и новое название.

За последние годы село стало заметно превращаться в поселок. Тут появились два промышленных предприятия – плодоконсервный завод, построенный колхозом, и швейная фабрика – филиал городского комбината. Более ста женщин стали швеями, изготавливающими платья, халаты и красивые детские кос-

тютючки. До города, открывшего филиал своей швейной фабрики, было далеко. Да и до соседних сел тоже неблизко. Садовое окружали небольшие черкесские, абазинские и карачаевские аулы, разбросанные на склонах гор. Их население трудилось в основном в животноводстве.

Мирно, неторопливо шла жизнь и на склонах гор, и в широкой, благодатной долине.

Но в последние дни мая все население большого села испытывало глубокую тревогу. Произошло здесь чрезвычайное происшествие: исчезла молодая работница швейной фабрики Мария Светловидова.

Эта невысокая двадцатипятилетняя женщина, мать двух шустрых мальчишек, работала на фабрике с тех пор, как окончила среднюю школу. Была она хороша собой. На белом, круглом лице ее особенно выделялись глаза – большие, черные, блестящие, словно виноградины, промытые ключевой водой. Волосы Мария заплетала в толстую косу, которую па украинский манер обвивала вокруг головы.

Муж Марии – Макар, был мужчиной хоть и молодой, но какой-то суетливый и неприметный. Вот уже пять лет он заведовал клубом на швейной фабрике.

Жили Светловидовы дружно, спокойно. Макар, целые дни крутившийся среди соблазнительно красивых и общительных фабричных работниц, не увлекался никем из -них, но в первые годы после женитьбы, случалось, ревновал жену без всяких причин и поводов. Ходил мрачный, молчаливый, а Мария обычно с усмешкой говорила: «А что, возьму и влюблюсь в нашего завскладом Федотыча – чем не кавалер?» Мать Макара всегда держала сторону невестки и называла сыновьи муки ревности «дурацким наваждением».

В последние же несколько лет в доме Светловидовых не стало раздоров. Росли мальчишки. Макар, убедившись в верности и глубокой порядочности жены, успокоился. Иногда лишь поворчит, что Мария много времени отдает общественным делам. Но втайне гордился, что ее ценят и уважают не только на фабрике, но и в районе, что портрет жены красуется на фабричной доске Почета.

Вот эта-то Мария, красавица, скромница и веселая подруга фабричных работниц, не вернулась домой с вечерней смены. Она должна была появиться в доме в одиннадцать часов. Но наступила уже полночь, а ее все не было.

Свекровь встревожилась первой. Она вышла из комнатки, где жила, растолкала крепко спавшего Макара и сообщила, что Марии все еще нет.

Не заблудится твоя Мария! – сердито поворчал потревоженный сын. – Какое-нибудь собрание-заседание...

В полночь-то?

А им что? Могут заседать и ночью. А Мария – на всех заседаниях. Активистка... Угомону на нее нет.

Мать постояла, посмотрела на темные стекла окон, словно могла за ними что-то рассмотреть, вздохнула и поплелась в свою горенку. Вдруг раздался стук в окно. Женский голос с улицы позвал:

- Маша! А Маша! Не спишь?

Старуха вышла из горенки в большую комнату. Приникнув к окну, узнала соседку Клавдию Маринину, тоже работавшую на фабрике вместе с Марией. Вышла на крыльцо.

- Что надо-то? – спросила Анна Емельяновна.

- Мария спит уже?

- Она еще домой не вернулась...
- Как не вернулась? Смена когда еще кончилась...
- Вот я уж сама тревожусь...
- Она ведь раньше всех ушла. Торопилась. Утром в город собиралась. Вот я и хотела попросить ее в аптеку там зайти. Деду нашему какое-то лекарство выписали, может, там есть.

- Не знаю, Клавдия, что и подумать, – сказала Емельяновна.

- Извините, что потревожила. Спокойной ночи!

Но никакого покоя Емельяновна не ощутила. Она растолкала безмятежно спавшего Макара, сказала:

- Клавка Маринина прибежала, спрашивала, дома ли Мария. Говорит, с фабрики она давно ушла. Должна уж дома быть. Слышишь?

- Да слышу, не глухой. Не кричи, детей разбудишь.

- Надо бы пойти, – настаивала на своем старуха.

- Пойти, пойти... Заладила. А куда? Село большое, ночь темная на дворе...

Он свалился на постель и тотчас же захрапел, а мать, будто отбывая какое-то наказание, до рассвета простояла у окна, вздыхая и всматриваясь в ночную тьму.

Было тревожно на душе.

«Может, опять меж ними какая кошка прошмыгнула? Жены дома нет, а ему хоть бы что. Сон его, вишь ли, сморил. Не иначе как Макар крепко обидел Марию. А вдруг она совсем из дому ушла?»

Утром Емельяновна вышла к колодцу. На улице повстречался Егор Калинин, председатель сельского Совета. Он поклонился старухе, приподняв белую кепочку, спросил:

- Маша-то вернулась?

- Нет, Егор Трифонович.

- Надо в милицию звонить.

Дежурный по районному отделу внутренних дел внимательно выслушал Калинина, записал его сообщение и сказал:

- Высылаю в Садовое наряд милиции. Пожалуйста, организуйте помощь.

Вскоре в Садовом появился милицейский газик. Машина подъехала к зданию сельсовета. Из нее вышло шесть работников милиции. Розыск Марии Светловидовой начался.

На начальной стадии его возглавлял майор милиции Дмитрий Иванович Здобушко, начальник районного отдела внутренних дел. Был майор невысок, коренаст, крепок в плечах, с седыми курчавыми висками и пронизательным взором темно-карих глаз. В милиции он служил давно, в районном отделе – восемь лет. Знание людей в селах, аулах, на хуторах помогало ему в работе. Да и сам он был человеком общительным и любознательным.

Председатель сельского Совета Егор Калинин хорошо знал майора Здобушко. Увидев группу работников милиции, Калинин воскликнул:

- Дмитрий Иванович, да куда ж ты столько людей поднял? У нас в селе отродясь больше двух милиционеров не было.

- Нам же нужно пропавшего человека найти. – спокойно ответил майор. – Дело это нелегкое. А действовать надо быстро!

- Да уж нелегкое.

- Что ты сам думаешь об исчезновении Светловидовой, Егор Трифонович?
- Просто ума не приложу, куда она делась? Собеседники замолчали. Майор задумчиво постукивал карандашом по столу. Хозяин кабинета свирепо дымил трубкой.

- Где ее искать? – наконец нарушил тишину Егор Трифонович. – Я просто растерян, скажу честно. И тебе, Дмитрий Иванович, сочувствую, не знаю, за что тут можно зацепиться...

- Ох, Егор, нам-то частенько приходится начинать с нуля. Но дело надо делать. Не может быть, чтобы шестеро дотошных мужиков из милиции не разобрались в этой истории.

На швейной фабрике нашлись две работницы, которые в тот злополучный вечер были свободны от работы, вместе шли по улице и видели Марию, деловито шагавшую по направлению к своему дому. Поздоровались и разошлись.

- Далеко ей еще было идти? – спросил майор милиции Здобушко.

- Может, метров пятьсот, может, чуть больше, – ответила одна из работниц. – Ей еще нужно было завернуть за угол, на свою улицу. Но этого мы уже не видели.

- А были в это время люди на улице?

- Знаете, ни души. В деревне ведь рано ложатся спать. Даже кто программу «Время» по телевизору смотрел, уже в это время сны видел. Нет, никого не было, -убежденно и твердо сказала все та же работница.

Другая добавила:

- И мы с подругой давно спали бы, да ходили навестить **мою** сестру. Она только вернулась из родильного дома.

Майор спросил:

- А когда разминулись на улице с Марией Светловидовой, не слышали шума какого-нибудь или крика? Я имею в виду – женского крика о помощи?

- Нет, – покачала головой одна из работниц. – А разве кто кричал?

- Не знаю, – ответил Здобушко. – **Я** только высказываю предположение.

Женщины подписали свои показания и ушли.

Лейтенанту милиции Кокареву майор Здобушко поручил побывать у родственников Марии Светловидовой и побеседовать с ее мужем. Протянул ему листок с адресами.

- Побывайте по всем пяти адресам. Не заходила ли вечером или ночью Мария Светловидова к кому-либо из своих родственников? Не говорила ли ранее о каком-нибудь предполагаемом отъезде? Поподробнее поговорите, по душам.

Милиционер Шарон получил задание обойти всех подруг Светловидовой и поговорить о том же.

- А вы, – сказал майор младшему лейтенанту Хорькову, – ступайте в сельскую гостиницу. Она, правда, невелика, но – кто знает? Поговорите с дежурной, что за люди ночевали в гостинице, как себя вели, все ли находились и находятся на месте. Главное –

кто из них где был с вечера и ночью. Ясно?

- Понял, – ответил младший лейтенант.

Майор остался в кабинете лишь с директором фабрики и капитаном милиции Василием Бескаравайным, своим заместителем. Бескаравайному Здобушко вручил прихваченный еще в райотделе список ранее судимых мужчин, про-

живающих в Садовом. Надо было выяснить – все ли они в селе, чем занимаются, как характеризуются, где каждый из них был минувшей ночью.

Постучавшись, в кабинет вошла пожилая работница, председатель фабкома профсоюза Наталья Семеновна Ильиных.

- Там наши женщины, – кивнула она на дверь, – собираются идти на поиск Марии. Встревожены все необычайно. Но ведь ни одна не представляет толком, что надо делать. Я не знаю, как их остановить от этого самостоятельного поиска, не знаю, что им сказать.

- Скажите им, пожалуйста, – ответил майор Здобушко, – что вы посоветовались со мной и что я одобрил идею участия работниц в поисках Марии Светловидовой. Пусть женщины оставят свои адреса и идут сейчас домой или на работу. Когда потребуется, мы соберем их и дадим задание. Вы поняли меня?

- Поняла. Спасибо. Так и скажу.

- Вскоре она вручила майору два листика, вырванных из школьной тетради. На них были записаны имена, фамилии и адреса тридцати пяти работниц, пожелавших принять участие в розыске Марии.

Спустя какое-то время лейтенант Константин Кокарев доложил, что ни у кого из своих родственников минувшим вечером и ночью Мария Светловидова не появлялась. Чуть позже такую же весть сообщил милиционер Шаров, навестивший подруг Марии.

Младший лейтенант Хорьков, побывавший в гостинице, доложил, что там ночевало всего трое приезжих мужчин. Один был пенсионер, он приезжал приторговывать дом себе под дачу. Два других, как это бывает иногда с некоторыми командировочными, с вечера ухватились за водку, будто с цепи сорвались, выпили почти по бутылке каждый и теперь только-только просыпаются. В течение второй половины вчерашнего дня и ночью из гостиницы не отлучались. Хорьков хотел добавить, что удивлен этой жаждой командировочных к выпивке – то ли им дома жены пить запрещают, или они не хотят прослыть пьяницами среди знакомых и сослуживцев, но попойки в гостиницах – просто какое-то бедствие. Но Хорьков тут же подумал, что майору эта «философия» ни к чему, и он просто доложил, что узнал.

Поведение ранее судимых не вызывало тревоги. У всех оказалось, алиби. Майор Здобушко связался с начальником областного управления внутренних дел полковником Иваном Лукьяновичем Пospelовым и вкратце доложил обстановку в Садовом. Полковник ответил по-военному кратко:

- Выезжаю в Садовое.

После этого майор Здобушко отпустил своего заместителя капитана милиции Бескаравайного.

... День клонился к вечеру. Поиск не продвинулся ни на шаг.

В деревнях односельчане вроде знают друг о друге все. Жизнь каждого – как на ладони. А вот исчезла женщина, и все беспомощно разводят руками. И ему, майору Здобушко, в этой неизвестности за целый день не сверкнул хотя бы крошечный лучик надежды.

Дмитрий Иванович Здобушко вспомнил, как волновались работницы фабрики. Хорошая, значит, женщина была эта Мария Светловидова.

«Почему была?» – ловит себя на мысли майор, и горькая усмешка трогает его губы. Наивно, конечно, человеку с его опытом работы толковать об интуиции. Но

и отрицать ее начисто Здобушко не желает. А интуиция эта самая подсказывает, что случилось что-то непоправимое. Рыдает, убивается свекровь Марии Светловидовой – Анна Емельяновна. Тоже интуиция? Майор шагает по комнате.

Анна Емельяновна, как только узнала о приезде работников милиции, прибежала к майору.

- У меня два сына, Макар и Илья. Так вот, одна Мария мне ближе и дороже обоих сыновей, – сказала она, горько плача.

Ее сын Макар – муж Марии. Здобушко еще не встречался с ним, дождался, что тот сам поторопится прийти. Но за весь день Макар Светловидов не пришел. Факт для размышления? Может, здесь зацепочка? Майор решает: утром сразу же вызвать Макара Светловидова. И вообще надо умножить темпы поиска. Сейчас же следует составить план участия работниц фабрики в поиске.

Садовое засыпает, как обычно, рано. Допоздна светятся окна лишь в сельском Совете, где обосновался майор Здобушко, да в горенке Анны Емельяновны Светловидовой.

Утром лейтенант Кокарев отправился к соседям Светловидовых, чтобы разузнать, всегда ли в миру и согласии жили Макар и Мария, не замечал ли кто каких отклонений от нормы – появления пьяного мужа, ссор в доме, какого-либо мужчины, равнодушного к Марии. Да мало ли какие семейные неурядицы порой отравляют жизнь людей!

На фабрике майор Здобушко попросил собрать работниц. Когда около тридцати женщин заполнили кабинет директора, он дал им, на первый взгляд, простое задание: обойти село, побывать по возможности в большем количестве домов и спросить, не замечал ли кто позaproшлой ночью чего-нибудь необычного – одинокой женщины, группы подвыпивших мужчин, драки, криков, просьб о помощи.

Женщины разбили село на небольшие участки и разошлись.

... А вот и Макар Светловидов. Вошел торопливо. Дойдя до стола, так же быстро вернулся и притворил неплотно закрывшуюся дверь. Поздоровался.

- Вам не кажется странным, что мы встречаемся только сегодня? – спросил майор Здобушко:

- Так не вызывали же, – скороговорочкой ответил Макар и поднялся со стула. – Можно было и вчера...

- Что вы думаете об исчезновении вашей жены?

- Ничего не думаю. Что тут можно думать?

- У меня уже побывали десятки людей. Они беспокоятся, предлагают свою помощь.

- Вас разве не волнует судьба Марии?

- Как же! Очень даже волнует. Жена ведь...

- Что же вы сделали сами, чтобы разыскать ее?

- Так я думал, что она уехала в город.

- Но ведь еще вчера утром стало ясно, что ее нет на совещании.

- Тут уж милиция приехала. Вы то есть...

Майор устало откинулся на спинку стула. Конечно, у этого человека вроде есть железное алиби.

Он улегся спать около восьми часов вечера. Так утверждает его мать. А ей Дмитрий Иванович верит. И все же просто не понятно равнодушие этого человека к судьбе жены, матери его детей.

... В Садовое прибыл полковник милиции Поспелов. Это был высокий, худощавый мужчина с ясными голубыми глазами и без единой сединки в черных волосах.

Полковничья форма сидела на нем ладно, выглядел Поспелов бодро, уверенно. Его сослуживцы по областному управлению втайне завидовали стройности фигуры полковника и восхищались его неторопливостью, спокойствием при решении самых сложных и мудреных задач.

«Ему бы врачом быть, а не полковником милиции», — заметил кто-то из сослуживцев. Поспелов, узнав об этом, улыбнулся. Вдумчивость и осмотрительность нужны всюду — и в профессии врача, и в профессии работника милиции.

Прибыв в Садовое, полковник Поспелов выслушал краткое сообщение майора Здобушко о предпринятых мерах и сказал:

- Нужно немедленно расширить район поиска. Можем мы создать еще одну группу из работниц фабрики? Это очень хорошо. Давайте соберем ее сейчас же.

По распоряжению директора фабрики от работы было освобождено еще десять швейниц. Полковник Поспелов поставил им задачу: осмотреть окрестности села в радиусе примерно пяти километров. Расспрашивать встречаемых людей, особенно тех, кто живет близ села, — не замечали ли они вечером, ночью, утром чего-нибудь такого, что невольно привлекло их внимание, не находили ли на дорогах, в степи, в кустарнике предметов женской одежды, обуви, какого-нибудь платка, свежей тряпицы, наконец.

Была уже вторая половина дня, когда две работницы, осматривавшие местность в районе животноводческой фермы, зашли к сторожу и разговорились с ним. Сторож сообщил, что минувшей ночью видел силуэт всадника, скакавшего по берегу горной речки. «Куда это он?» — задался вопросом сторож. Он вышел на тропу, по которой промчался всадник, и нашел на земле кофточку — белую, в цветочках. Работницы забрали эту кофточку, всю измятую, в бурых пятнах.

Анна Емельяновна, увидев кофточку, потеряла сознание.

Другие работницы фабрики сообщили: на окраине улицы Северной пожилая гражданка Трофимова, проживающая в доме номер тридцать шесть, выходила ночью в хлев, где в это время телилась ее корова. Будучи во дворе, гражданка услышала короткий, но довольно громкий голос женщины, выкрикнувшей: «Помогите!» Трофимова остановилась посреди двора, подождала, но крик больше не повторился.

Никто из жителей соседних домов крика не слышал. Голос женщины донесся с пустыря, оставшегося незастроенным.

Таков был итог второго дня поисков.

Вечером полковник Поспелов собрал в здании правления колхоза всех работников милиции. Их уже набралось более двадцати человек.

- Рано утром, — говорил полковник, — еще расширим осмотр местности в радиусе десяти километров от Садового. Привлечем для этого наших добровольных помощниц со швейной фабрики.

И первые же часы утреннего поиска дали новое неопровержимое доказательство, что над Марией Светловидовой было совершено насилие, возможно, она убита. Одна из работниц фабрики и шедший рядом с ней милиционер Михаил Шаров нашли в степи женские туфли. Это были туфли Марии Светловидовой.

Попозже лейтенант Кокарев, возвратившийся в Садовое, сообщил, что в степи он обнаружил остатки небольшого костра. В золе заметил застужку-молнию. До прихода экспертов Кокарев оставил у костра работницу фабрики.

Выслушав этот доклад, полковник тотчас же позвонил в город, в управление внутренних дел и попросил эксперта Полянского срочно прибыть в Садовое.

Затем полковник съездил в степь, осмотрел кострище, заменил работницу милиционером Шаровым.

- Этот пепел, — сказал полковник, — сдается мне, заговорит и скажет многое. Вертолет, вызванный полковником, долго летал над долиной, окружающей Садовое. Однако ничего особенного замечено не было.

А в селе, по предложению полковника, шли беседы с жителями о Марии Светловидовой. Выяснялось, не было ли у нее тайных, скрытых врагов, завистников, соперниц, кого-то, кто мог бы припомнить ей обиды многолетней давности. В эти разговоры были вовлечены сотни людей — от молодежи до глубоких стариков.

К милиционеру Михаилу Шарову обратился восемнадцатилетний житель села Николай Уступов. В беседе с Шаровым он сообщил, что живет недалеко от пустыря на улице Северной, был на улице примерно в то время, когда гражданка Трофимова явственно слышала женский крик о помощи. Однако Уступов крика не слышал. Уверял, что никакой женщины на улице Северной в это время не было. Но он видел мужчину, который показался на пустыре и вскоре исчез, так как двигался в сторону, противоположную той, где находился Уступов. Этот мужчина был обут в сапоги или на нем были очень узкие брюки.

- Это мог быть и не наш сельчанин, — высказал предположение Уступов, а кто-нибудь из чабанов с окрестных пастбищ.

Милиционер Шаров доложил об этих словах полковнику. Действительно, вокруг Садового, как в широкой долине, так и на склонах гор, было немало колхозных пастбищ.

Полковник, обдумав это сообщение, сформулировал свою мысль четко:

- Выяснить и доложить мне, кто из чабанов в ночь на двадцать четвертое мая находился в Садовом, — приказал полковник трем милиционерам, отправляя их на пастбище, окружавшее село.

Вновь наступили сумерки.

- Тянем мы с этим поиском! — недовольно проговорил полковник, обращаясь к своему единственному собеседнику — майору Дмитрию Здобушко. — Ох, не похвалят нас за медлительность!

- Да вроде бы принимаем все зависящие от нас меры, — возразил майор.

- Все, да выходит — не все. Топчемся на месте.

Ну что было возразить полковнику? Убийца не найден. И неизвестно — убила ли Светловидова. Сторож фермы видел всадника, обронившего кофточку Светловидовой. А может, и не им брошена эта одежда. Да и вообще загадка: почему кофточка найдена в одном месте, а обувь совсем в другом, километра за три от той тропы, по которой скакал всадник? Неизвестно, кто жег костер в степи, где была найдена застужка-молния. Кстати, эксперт, прилетевший на вертолете, уже занялся этим кострищем.

Вошел эксперт. Он доложил, что в пепле костра обнаружены спекшиеся комочки шлака. Именно в такие комочки твердого шлака обращаются вещи из химических

волокон. Возможно, на Светловидовой была одежда или чулки из капрона. Если, конечно, предположить, что в костре сожжено белье исчезнувшей женщины.

На рассвете 27 мая майора Здобушко разбудил телефонный звонок. Председатель сельсовета Калинин сообщил, что ночью в степи сгорела скирда соломы.

- Ну что ты, Трифонович, крутишь мне мозги? – с досадой отозвался Дмитрий Иванович. – Пусть колхозное начальство само разбирается в этой бесхозяйственности. Жгут солому, а потом будут возить корма откуда-нибудь из-под Воронежа...

- Погоди, погоди, Дмитрий Иванович. Там беда приключилась.

- Что еще?

- На пепелище найдены человеческие кости...

- А у вас, смотрю, тут не соскучишься, – невесело пошутил майор Здобушко. На другом конце провода послышался тяжелый вздох.

- Да вот уж такая оказия, – снова зарокотал в трубке бас Калинина.

- Ты откуда звонишь? Где находишься? – спросил Здобушко.

- На хуторе Вольном. Неподалеку от этой проклятой скирды. Это двенадцать километров от Садового.

Вскоре полковник Пospelов и майор Здобушко уже были на месте происшествия. Их встретил Егор Трифонович Калинин. Здесь же находился председатель колхоза имени Мичурина Иван Гаврилович Шовкопляс. Чуть поодаль беседовали еще двое мужчин.

- Иван Гаврилович вот говорит, что это может быть самосожжение, – произнес Калинин.

- Что это такое? – спросил Пospelов. Слово «самосожжение» он слышал впервые.

- Не знаете? – вмешался в разговор председатель колхоза. – Это у мусульманских женщин есть такой способ самоубийства.

- Из-за чего?

- Ну вот, к примеру, жене изменил муж. Обманутая женщина подвергает себя самосожжению. Дескать, если я больше мужу не нужна, то и самой себе я тоже не нужна.

- Не слыхал я о такой форме самоубийства, – сказал полковник.

- Вы, вероятно, не жили среди мусульман.

- Нет. Я работал в Магнитогорске и два года в Альметьевске. Там таких случаев никогда не было.

- Да и у нас тоже уже лет тридцать об этом никто не слыхал. А вот теперь...

- Так что же случилось?

- Ночью тут сгорела скирда соломы.

- Знаю.

- Так вот, утром, когда все прогорело, в пепле найдены кости. По-видимому, женщины.

- Почему женщины?

- Если самосожжение?

- Далось оно вам.

Председатель колхоза показал на стоявших в стороне мужчин, потом пригласил их подойти.

- Это наши колхозники. Они ночью заметили пожар. Они и сообщили мне...

- Расскажите, что вы видели, – предложил полковник Поспелов, обращаясь к колхозникам.

- Мы с кумом шли по дороге, там вон, в низинке. Зарево заметили издали. А как поднялись на пригорок, тут уже все полыхало.

- Светло было кругом от огня, – заговорил другой колхозник. – И я вдруг увидел человека на коне. Он проскакал вон туда, в степь, в самую темень.

- Откуда, с какого примерно места он поскакал? – быстро спросил майор Здобушко.

- А от тех вон двух деревьев, от них и поскакал...

Полковник Поспелов и майор Здобушко торопливо направились туда, откуда, по словам колхозника, поскакал всадник. Вскоре они увидели на мягкой земле четкие следы конских копыт. «Надо сохранить эти следы, пусть их исследует эксперт», – подумал Поспелов.

«Всадник! Снова всадник! Не один ли и тот же?» – взволнованно подумал Здобушко.

Полковник послал в Садовое свою машину. Она привезла трех милиционеров и эксперта Полянского. Всем им были даны задания. Кроме того, полковник договорился с председателем сельсовета о выяснении в соседних аулах, не исчезла ли там где-либо женщина. Поиск продолжался по многим направлениям. Огромнейшую помощь оказывало милиции население.

Сразу же по возвращении в Садовое полковник начал с майором такой разговор: – Безусловно, мы проверим версию о самосгорании или как там называется этот дикий обычай...

- Самосожжение, – уточнил майор.

- Но думаю, что ни сгорания, ни сожжения там не было, – закончил свою мысль полковник.

- Всадник на пустыре в Садовом и всадник возле горящей скирды... – начал Здобушко.

Полковник согласно кивнул головой и спросил у майора:

- Есть какие-либо данные о чабанах или вообще о работниках пастбищ, приезжавших в Садовое двадцать третьего мая?

- Есть такие данные, – ответил майор. – Днем в Садовое приезжал старший чабан Степан Николаевич Сопов. Он привез в районную заготконтору отчет за четыре месяца работы.

- На чем приезжал? Каков его возраст?

- Приезжал верхом на коне. Возраст Сопова – двадцать семь лет. Женат. Жена и двое детей живут здесь, в Садовом.

- Домой заходил?

- Очень ненадолго, перед тем, как отправиться в заготконтору.

- Не заметила жена – был он трезв или выпивши?

- Говорит, был трезв.

- А вечером он дома появлялся?

- Жена говорит, не был, ему нужно было поскорее возвратиться на пастбище.

- А вообще он часто бывает в Садовом?

- По словам жены, не чаще, чем раз в месяц.

- И что вами предпринято?

- Я послал двух милиционеров, чтоб доставить этого Сопова сюда.

- Вот что еще важно, – сказал полковник Пospelов. – Мы должны точно знать, на каком коне он приезжал. Это – первое. Второе, надо посмотреть у него или в конторе копии отчета, чтобы знать, каким числом они датированы. И еще: нет ли у него, у этого Сопова, друзей или друга в заготконторе, с которым бы он мог в этот вечер выпивать. И, наконец, самое главное: знаком ли Сопов со Светловидовой, не было ли у них каких-либо взаимоотношений в прошлом, не было ли конфликтов, ссор. Словом, вы сами понимаете, что я имею в виду.

- Вас понял, – ответил майор и отправился выполнять поручения полковника.

Конечно, сам майор Здобушко лично выполнял бы эти поручения не один день. Но он подтянул из района несколько опытных офицеров милиции, группу сержантов и рядовых и теперь, быстро распределив задания, сам взялся за главное – узнать, не были ли прежде в каких-либо отношениях между собой Светловидова и Сопов.

То, что узнал майор, удивило его. Конечно, Светловидова и Сопов, как жители одного села, знали друг друга, но всегда – со школьной скамьи и до последних дней – жили как совершенно чужие люди. Не разговаривали, не встречались, не интересовались жизнью друг друга.

Майору же почему-то казалось, что когда-то, где-то их пути скрещивались. Может быть, еще в пору юности у них был роман. Казалось ему это оттого, что у него все более крепла уверенность, что виновником смерти Марии был этот самый Сопов. Об этом майор решительно никому не говорил ни слова и не намекал даже – о каких-то отношениях Сопова и Светловидовой возможно говорить лишь тогда, когда станут известны твердые, проверенные и подтвержденные факты.

Пока майор устанавливал – были или не были какие-то взаимоотношения между швеей Светловидовой и чабаном Соповым, его подчиненные раздобыли ответы на все вопросы, поставленные полковником. Было установлено, что в Садовое с отчетом 23 мая Сопов приезжал на своем коне, которого постоянно держал на кошаре. На копии отчета, сданного Соповым, черным по белому была проставлена дата: 23 мая. И выяснилось, что хотя особо близких приятелей в заготконторе у Сопова нет, 23 мая в конце рабочего дня здесь была устроена знатная пирушка.

С места, где сгорела скирда соломы, прибыл эксперт Георгий Полянский. Он доложил полковнику, что след коня зафиксирован с максимальной точностью. Сообщил также, что в скирде сгорела женщина, сгорела почти дотла. Испепелились все кости, за исключением правого колена. Тут почему-то уцелела не только кость, но остались даже тонкие прослойки мышц. Чтобы определить группу крови, потребовались познания специалистов судебно-медицинской экспертизы.

А версия о самосожжении мало-помалу гасла. Люди, посланные полковником Пospelовым в окрестные аулы, доложили, что все женщины там живы и здоровы. Может быть, из какого-нибудь дальнего аула забрела несчастная сюда, к скирде? Но это было и вовсе маловероятно. Но кто же сгорел в скирде? Кто? Может быть, Мария Светловидова? Тогда при каких обстоятельствах это произошло? Кто, какой безумный злодей сунул тело женщины в пылающую скирду? Тот всадник, следы коня которого так тщательно зафиксировал в специальной пасте эксперт Полянский?

Иван Лукьянович Поспелов с заметным нетерпением ждал, когда будет доставлен чабан Степан Сопов. У полковника был наметанный глаз. Первое впечатление от встречи с человеком было очень важно.

В кабинет вошел рослый мужчина, кудрявый, одетый в гимнастерку военного образца, в узкие брюки и хромовые сапоги. Лицо сумрачное, брови сведены к переносице. Но глаза смотрят смело, держится он свободно.

Ни тревоги, ни испуга, ни подозрительных косых взглядов не заметил полковник у Сопова. Однако ему сразу бросилось в глаза: на левой щеке три продолговатые ссадины.

- Где повредили щеку? – спросил полковник после обязательных вопросов о фамилии, имени, отчестве, семейном положении, месте работы.

- Прошлой ночью в тумане искал отбившихся овец. Конь споткнулся, упал. Упал и я. Ободрал лицо о кусты.

Полковник тотчас же пригласил судебно-медицинского эксперта Ивана Ивановича Мухина.

- Прошу подробнее определить, когда появились на лице вот эти царапины, – сказал полковник.

Эксперт приблизился к Сопову, осмотрел ссадины невооруженным взглядом, потом посмотрел на них через лупу и сказал:

- Судя по корочкам, эти ссадины нанесены трое-четыре суток назад.

- А вы когда упали с коня? – обратился полковник к Сопову.

- Минувшей ночью.

- Конь не повредился?

- Повредился. У него ушибы на передней левой ноге, на боку. Конь хромает. Седло порвалось.

- Сейчас конь где?

- На кошаре, где я постоянно живу.

Полковник вызвал майора Здобушко и приказал ему съездить на пастбище, где работает Сопов. Посоветовал взять с собой ветеринара, чтоб осмотрел коня.

- Есть! – козырнул майор и вышел.

Полковник, оставив Сопова под присмотром двух милиционеров, вышел вслед за майором Здобушко.

- Дмитрий Иванович, – окликнул он майора. – Вот какая мысль пришла мне сейчас в голову. Осматривать коня и седло отправим эксперта Полянского с ветеринаром. Надо ведь зафиксировать следы копыт этого коня. А вы сходите, пожалуйста, домой к Сопову и поговорите с его женой. Не заходил ли он все-таки двадцать третьего мая домой после гулянки в заготконторе? И не забудьте спросить – заметила ли она, что у мужа ободрана щека, и когда она это заметила.

Майор кивнул:

- Будет исполнено!

Полковник вернулся, чтоб допросить Сопова. Майор отправился в дом чабана. Жена Сопова явно взволновалась, увидев майора Здобушко в своем доме.

- Вот что нам неясно... – начал майор, после того, как поздоровался с хозяйкой дома. – Когда ваш муж сдал отчет в заготконторе, там была устроена небольшая, но крепкая попойка. После нее муж заходил домой?

- Заходил... Часов в двенадцать ночи.

- И остался ночевать?
- Нет. Говорил, что много дел на пастбище. Переоделся только.
- Переоделся?
- Ну да. В контору ходил в новом костюме. Переоделся в рабочую одежду.

Взял коня и уехал.

- Понятно. А не заметили вы у него царапин на щеке?
- Заметила. Три царапины на левой щеке.
- Вы спросили у него, где он ободрал щеку?
- Спросила. Сказал, не мое дело.
- Значит, вечером, после попойки в заготконторе, ваш муж пришел домой с поцарапанной щекой?
- Да. Так друзья за угощение уплатили.
- Это верно, – улыбнулся майор. Потом спросил:
- И часто муж выпивает?
- Раньше не пил. Теперь пьет часто.
- А работает хорошо. Премии получил...
- Премии заработала вся бригада. И ему дали. Дружки покрывают его пьянки. Мое только горе... Но про то ни у кого голова не болит...

Помолчав, она робко произнесла:

- А можно мне узнать...
- Пожалуйста. Что именно?
- Это женщина оцарапала ему щеку?
- Что вы имеете в виду? Какую женщину?
- Так все же село гудит: потерялась, исчезла Мария Светловидова. Я было подумала...
- Что вы подумали?
- Да так, ничего...
- Ваш муж хорошо знал Светловидову?
- Знал. Как не знать. Все мы тут знаем друг дружку. А Мария – такая красавица...
- Продолжайте.
- А что говорить? Лучше уж вы мне скажите, за что Степана в милицию взяли?
- Откуда вам это известно?
- В селе вес про всех знают. А у меня из ума не идет эта Мария.
- Покажите мне костюм мужа, в котором он ездил в заготконтору, – сказал Здобушко, повернувшись к жене Сопова.

Минутное замешательство. Потом женщина решительно поднялась, достала из чулана какой-то узел и бросила его на пол. Присела, развязала узел.

- Вот он, его новый костюм.

Одежда была помятой, грязной, с засохшими бурыми пятнами. И в то же время было видно, что это – новый, дорогой костюм. Теперь он безвозвратно погиб.

Майор Здобушко, войдя в кабинет председателя колхоза, где полковник продолжал допрос Сопова, сел за боковой столик и написал короткую записку полковнику о том, что сообщила жена Сопова.

Полковник прочитал записку и вида не подал, какую важную весть принес ему майор.

Продолжая допрос Сопова, полковник сказал:

- Эксперт утверждает, что ссадины на вашей щеке оставлены острыми ногтями. С кем вы дрались три или четыре дня тому назад?

- Ни с кем.

- В тот вечер, когда вами был сдан отчет в заготконторе, вы встречались с Марией Светловидовой?

- Нет.

- Кто же ободрал вам щеку? – Я же говорю, упал с коня...

- Но ваша жена уверяет, что после сдачи отчета вы пришли домой со свежими царапинами на щеке.

- Жены – они всегда ревнивы, а особенно моя...

- Упали вы с коня минувшей ночью, а царапины были уже в ночь на двадцать четвертое мая. И вот еще что нам не ясно – много ли денег затратили вы, чтобы угостить водкой работников заготконторы?

- Да нет, немного, что-то около сорока рублей.

- И долго длилась эта попойка?

- Нет, без закуски долго за столом не просидишь.

- Куда вы пошли из конторы?

- Домой.

- А в котором часу были дома?

- Вероятно, в полночь.

- Вы же говорили, попойка длилась недолго...

- Ну, я еще погулял по селу, чтобы хмель прошел.

- И кого вы встречали во время этой прогулки?

- Никого.

- Не крутите, Сопов. Кто вам ободрал щеку в ночь на двадцать четвертое мая?

- Говорю же, упал с коня.

Майор Здобушко вышел из кабинета и тотчас же вернулся, неся узел с одеждой Сопова. Полковник выдвинул ящик стола, достал оттуда блузку Светловидовой, ее туфли.

Сопов опустил голову. Сказал хрипло, словно прорывал:

- Моя вина.

- В чем ваша вина?

- Ну, я убил ее.

Наступила тяжелая пауза. Как ни привычен был полковник Поспелов к откровенным признаниям преступников, как ни много он перевидел на своем веку трупов, его всегда глубоко возмущал факт убийства. Не мог привыкнуть, до конца понять причины зверства человека, убивающего другого.

- Вы, что же, прежде знали Марию Светловидову? – спросил полковник. – Были когда-то в нее влюблены?

- Знать – знал, видел на селе. А любить... Что мне ее любить?

- Ну, а свою жену вы любите, Сопов?

Ни словом не ответил Сопов на этот вопрос. Опять затянулась пауза.

- Рассказывайте, Сопов, все подробно о своем злодейском преступлении. Где вы встретили Светловидову?

- Тут же, в селе, недалеко от ее дома.

- Дальше. Продолжайте.

- Сказал, что нужно поговорить. Она ответила грубо, обругала меня.

Так шаг за шагом Степан Сопов рассказал об изнасиловании и убийстве Марии Светловидовой.

В степи сжег белье женщины. Часть одежды и обувь по дороге растерял. Тело спрятал в речке, в прибрежных камышах, прижав его камнями и забросав мусором.

Поздно ночью приехал на пастбище. На кошаре все спали. А утром, увидев Сопова, стали спрашивать. Он нашелся:

- Да ночью же у меня овцы ушли. Искал. Сорвался с конем с тропы, ободрал щеку, ушиб коня.

А когда узнал от людей, проезжавших мимо кошары, что в Садовое нагрянула милиция, сильно перетрусил. «А что, если заглянут в прошлогодние камыши на речке и найдут труп?»

Кое-как дождался ночи. Взвалил на храпящего коня окаменевшее тело женщины, отвез его к скирде, с превеликим трудом втащил наверх. Скирду поджег сразу с четырех сторон.

Под утро подъехал к сгоревшей скирде. Понял, теперь все кончено, никто ничего не найдет. Успокоился, будто камень с души сбросил.

И вострепнулся лишь тогда, когда дверь кошары распахнулась и вошли два милиционера.

... Накануне отъезда из Садового допоздна засиделись Дмитрий Иванович Здобушко и Егор Трифонович Калинин.

- А ведь я поначалу грешил на Макара Светловидова, – продолжая разговор, произнес Калинин.

- У нас тоже было подозрение против него.

- Вот, вот. Все село в тревоге. А он как истукан какой...

- Сложно устроен человек, Трифонович. Ох, сложно... Егор Трифонович посасывал уже потухшую трубку.

- Живешь среди людей, а мало что толком о них знаешь. Все суета сует какая-то, дела бесконечные. А вот в эти тревожные дни люди по-новому раскрылись. И девчата фабричные, и тот же Макар...

- Что и говорить, жители Садового нам очень помогли.

- А жена Сопова! – воскликнул Егор Трифонович. – Казалось, тише и неприемней ее никого у нас не было. А тут какой характер показала! Она приходила ко мне документы оформлять. Завербовалась куда-то на стройку. С двумя детьми не побоялась стронуться с места. Не каждая деревенская баба на такое решится. «Я первой прокляла этого насильника и убийцу, – сказала она мне. – И не хочу ни одного дня оставаться здесь. Чтoб на моих детей никогда не, показывали пальцем».

В раскрытое окно донесся запах сирени. Ночь была тихой и теплой. – Благодать какая! – тихо произнес Здобушко.

- Ты, Дмитрий Иванович, не забывай нас, – сказал председатель сельсовета и улыбнулся. – Не по службе, конечно. Не по службе. Для милиции у нас серьезного дела, почитай лет тридцать не было. Хочу надеяться, что больше вообще не будет. А вот, скажем, в отпуск приезжай. С семейством, со всеми домочадцами. Места у нас благодатные.



СЕРГЕЙ БЕЛОКОНЬ

(1952-2000)

Родился Сергей Белоконь в 1952 году в селе Преградном Красногвардейского района Ставропольского края в семье сельских учителей.

Преградное... Бескрайние просторы с коврами цветов, и бездонное голубое небо – высокое, синее, таинственное – целый мир – что на земле, что на небе. Во дворе раскидистые деревья, большой ухоженный огород, а там, вдали – знаменитые ставропольские холмы, поля – необозримая даль. Вечерами, по заведенной традиции, в доме, где рос Сергей, читались вслух книги.

Мать Сергея работала в школе учителем математики. Отец, местный Кулибин, – учитель труда. Вечно что-то изобретал со школьниками. Десятки медалей были привезены им и его учениками с ВДНХ.

Образование давала Сергею и школа, и природа. Воспитывала извилистая речка с интересным названием Калала, таинственный лес и степь Ставрополя.

Окончив школу, в 1970 году Сергей Белоконь поступил в Ленинградский государственный университет на филологический факультет. Женился на ставропольчанке, учившейся в ЛГУ, Галине Дагджевой, и после окончания университета они вместе поехали в Семипалатинск по распределению. Оба преподавали на филологическом факультете местного пединститута. Рождение дочери Ольги заставило дружную семью вернуться в Ставрополь.

Поработав немного в Обществе охраны памятников истории и культуры, Сергей ушел в газету «Молодой ленинец» корреспондентом, а вскоре стал ее главным редактором. Был некоторое время ответственным секретарем журнала «Агитатор Ставрополя». Много сил и времени отнимала работа в центральной газете края «Ставропольской правде», куда он был назначен заместителем главного редактора.

Достаточно быстро Сергей Белоконь – уже известный в крае и за его пределами журналист, писатель, литературовед. Он пробовал себя в разных жанрах: репортажах, фельетонах, очерках... Они были живые, динамичные, обнаруживали наблюдательность, глубокий аналитический подход к жизни, четко проявляли собственную позицию автора.

Его книги: «Неизбежимый жребий» о дуэли М. Лермонтова, «Синий магистр» о Я. Неверове, директоре Ставропольской гимназии середины девятнадцатого века, сборник очерков «Время таянья ледников», многочисленные публикации в местной и центральной печати – знакомы и полюбились российским читателям, стали явлением в литературе Ставропольского края, Северного Кавказа. Да и не только.

Он реализовал себя как журналист, как писатель и как пытливей исследователь, и во всем был талантлив. С. Белоконь писал и стихи, думал издать свой поэтический сборник, но не успел.

Умер в 2000 году.

Люди, которые были интересны С. Белоконю и которые становились героями его книг, – это люди с частицей света, любви, люди, о которых обычно говорят: «живёт с Богом в душе». Они заставляют нас почувствовать и понять, что такое красота, в каких бы она формах ни проявлялась: в поэтических, природных или музыкальных образах, красоте человеческого поведения и поступков или человеческого духа.

Он писал обо всем на свете: о выставках, о селе, о заводах, о художниках, о доярках. В этих материалах, как в капле росы, отражался мир семидесятых годов XX века.

Что привлекает нас в его книгах? Наверное, доверительность, вдохновенность, трепетность, лиризм, откровенная и чистая интонация... И еще язык – яркий и сочный, и культура слова...

СКАЗАНИЕ О ЦИЛИНДРЕ

(отрывок из повести)

В зеркале отражалось крупное лицо с тяжелыми, ниспадающими чертами, кустистыми бровями, небритое, заспанное. С утра Котов опять позвонил Верочке и предупредил, что до обеда задержится. Проснулся он рано, но не вставал, дождался пока проснется Наталья Федоровна, пока она оденется, позавтракает. Он лежал, закрыв глаза и слушал, как они с дочерью собираются. Шумела вода, гремела посуда на кухне. Потом он услышал голос жены:

- Лена, сходи разбуди своего отца. Он, наверное, на работу не собирается.

- Вот женщина, вздохнул Котов. Уже сколько дней ни слова не скажет. Как не пытался ей объяснить, ничего не хочет понять. Прямо ненормальность какая-то.

- Папа, пап? Ты что, заболел?

- Нет.

- Вставай.

- Мне сегодня попозже можно. Передай маме, что у меня ненормированный рабочий день, – громко сообщил Котов так, чтобы жена услышала.

Наталья Федоровна сердито загремела кастрюлями и угрожающе произнесла:

- Ничего, этот ненормированный день и у меня скоро будет.

- Какие-то странные вы оба, – сказала Леночка.

Скоро хлопнула дверь, и Котов остался один. Он еще немного полежал, послушал тишину, поднялся, крадучись прошелся по всем комнатам, накинул на дверной запор цепочку и только потом подошел к зеркалу.

В зеркале, несомненно, отражалось его лицо, и он остался им не совсем доволен. Но это, в сущности, не имело никакого значения. Станислав Иванович принес общую тетрадь, отставил ее на вытянутую руку и став так, чтобы видеть свое лицо в зеркале и тетрадь, откашлялся. Потом еще раз обвел взглядом свое изображение в мятой пижаме, огорченно вздохнул. Нет, все-таки надо было переодеться, он должен был знать, как будет выглядеть перед кино-, теле- и фотокамерами. Он надел белую рубашку, черный строгий галстук и черный выходной

костюм. Выбритое и аккуратно одетое изображение привело его в радостное и довольное изумление. Он отставил тетрадь, с выражением начал читать.

- То, что я сегодня хочу сказать своим согражданам, несомненно, вызовет бурю. Бурю негодования, недоверия, растерянности и может даже ненависти ко мне, как к человеку, сделавшему это, безусловно, необходимое, хотя и столь же безусловно опасное открытие. Да-да, толчком послужила статья в газете. А чем занимался в это время я?... Очень сложной работой. Прежде всего я на государственных деньги приобрел картину художника, на которой он изобразил это место. Я стал внимательно изучать это произведение и обнаружил: во-первых, что оно написано маслом; во-вторых, что краски несомненно цветные; в-третьих, лежат они довольно толстым слоем, а внизу... а внизу обыкновенная деревоплита. Я с лупой в руках облазил все уступы этой картины и пришел к выводу, что нет, она не может быть связана с цилиндром, а ее автор, некто Акваров, не является инопланетянином. И тогда я сказал себе абсолютно вешко: не пройдет. Не пройдет у тех, кто попытался сбить меня с толку, с истинного следа. Картина – это подсадная утка, но не для таких охотников как я...

В этом месте Станислав Иванович выдержал многозначительную паузу, поклонился, поблагодарил за аплодисменты и продолжал:

- Да-да, я уже шел по следу. Я уже держал нос по ветру. Долгое время я наблюдал странное существо, проживавшее в одной из квартир многоэтажного дома напротив. Я видел это существо в облике женщины во всяком виде утром и вечером, пользуясь сильно увеличивающим, но не искажающим биноклем. Я обратил внимание на странные вещи: во-первых, на протяжении многих месяцев моих наблюдений в окне я не видел мужчин. Но это отступление – в сторону, вернемся к сути. Так вот, еще более удивительным, прямо скажем, непостижимым фактом было то, что это существо – женщина прохаживалась перед окнами совсем без всякого, так как это принято у них, что очень выпукло было видно в бинокль. Налицо разложение нравов, налицо аморальное поведение, что, конечно же, настоящая женщина не позволила бы.

Я произвел разведку и проник в квартиру подозреваемого существа. И что я увидел? То же, что и прежде. Но когда в полной тьме я вылез из-под кровати и хотел тихо уйти, оно, это существо, не открывая глаз, сказала, что не хочет меня видеть. Это было произнесено два раза без свидетелей в темноте и с закрытыми глазами. Доказательством могут служить мои туфли, оставшиеся там.

Котов передохнул, вытер платком пот со лба.

- Далее, я хочу обратить ваше внимание на еще одно странное окно в нашем городе. Это дом напротив моего кабинета. Странные, вполне понятно, существа в нем круглыми днями заняты непонятно чем, но пьют, едят, волочатся за женщинами. У подъезда вечно стоят сверхмощные машины, за городом, куда они часто выезжают, у них чего только нет. И даже, на что я обращаю ваше внимание, бетонные посадочные полосы. Для чего, спросите вы? Я тоже спросил себя так и ответил: они готовят эти полосы для встречи инопланетян... Они уже здесь, среди нас. Вглядитесь друг в друга, и вы заметите, что кое-кто ведет себя не так, как большинство... Это и есть инопланетяне. И они хотят захватить власть, чтобы насадить свои, чуждые незнакомцам законы. Их нужно изолировать. Таково мое предложение.

Он опять переждал аплодисменты, поднял руку.

- А цилиндр? Цилиндр – это уловка для простачков... И мы на нее не попались!

И погрозив пальцем своему изображению в зеркале, Котов вдруг замер с раскрытым ртом.

- Э, – сказал он своему изображению. – А ведь ты как-то странно себя ведешь... А ведь ты, братец, обожди-ка, обожди...

- Зажав под пышкой тетрадь, он, медленно отступил назад, дошел до двери, не спуская с зеркала глаз, потом быстро выскочил, навалился, с обратной стороны на нее, подержал. В дверь никто не стучал и, выждав несколько минут, Котов выбежал в переднюю, потом на улицу и запер дом на все замки.

- Теперь не уйдешь, – облегченно вздохнул он – Теперь сиди, пока за тобой не придут.

«ДНЕВНИК» ПЕТРА ДИКОВА

(публикуются наиболее важные фрагменты дневника)

АУЛ КИРК

Вчера я приехал в аул. Он лежит в верстах в 25-ти от Пятигорска. Дорога к нему идет через немецкую колонию Шотланку. Порой ровная и гладкая, а большей частью каменистая и неровная, она украшена прекрасными и разнообразными видами. Подошва Машука огибается ею, и за поворотом открывается прекрасная панорама Пятигорска. Далее лес – под гору и в гору, ухабы, рытвины и в заключение – довольно скверный яр, где красуется зеленая лужа, вероятно, следы дождей, но, может быть, здесь и пробивалась когда-нибудь речонка – питомец тающих снегов. Когда наш тарантас медленно поднялся на гору, от этого болота открылась славная картина колонки Шотланки, и гладкая поляна раскинулась далеко. После часовой езды я увидел аулы. Маленькие домишки их кажутся издали ульями. Мне были давно знакомы аулы, но я с любопытством глядел на все, что только встречалось моим взорам. Высокий минарет пред низенькой дрянной саклей господствовал над всеми строениями. Мы въехали в аул, нас встретила стая дворняг и толпа почти нагих мальчишек. Из сакель выглядывали молоденькие, иногда хорошие девушки, безобразные бабы, мужчины кланялись...

Народы, обитающие здесь, называются Бештау-Кумскими, они мирны, не воинственны и занимаются успешно хлебопашеством.

- Где же наша ставка? – спросил я у моего спутника.

- А вот...

Я взглянул... Беленький, довольно красивенький домик стоял на ровном месте. В четверть версты от него раскинулись два больших аула. Этот дом называется ставка пристава. Мы въехали во двор и слезли у крыльца этого дома.

ТОТ ЖЕ АУЛ

Раннее утро. Багряное солнце выкатывается из-за горизонта, теплые лучи его озолотили степь. Воздух напоен ароматами цветов и зелени. Я с жадностью вдыхаю его свежие струи, которые вносятся в комнату через растворенное окно.

Пробежал вчерашние строки. Этот дневник в гимназии заставил меня часто переноситься в мирный аул.

Но, увы! Мы сейчас его оставляем и едем в Пятигорск. Верховые лошади наши готовы... Из аула, сверх чаяния, мы выехали ровно в пять часов пополудни...

Прекрасна природа посреди широкой разгульной степи. Я с жадностью глотал ее свежий воздух, глядел на нее и любовался дивными картинами. Но вот полуденный жар стал погасать, и длинные тени ложились от строений. В это время мы выехали из ставки. Нас конвоировал один молодой здоровый казак. Переехавши мутную Куму, проехавши два соседних аула, мы выехали на небольшую возвышенность, и здесь перед нами потянулась широкая степь; там мелькали хлеба, скошенные и съеденные саранчой, а вдали, куда ни кинешь взор, аулы и аулы мелькают и пестреют.

Мы ехали медленным шагом, и ранние сумерки застали нас при въезде в немецкую колонию Шотланку. Славная колонка! Дома беленькие, чистые, и выстроены очень порядочно, и совсем не похожи на станичные, дрянные куреньки или хаты линейных казаков. Церковь, что, конечно, относится к чести поселян, очень хорошенькая. Нужно заметить, что эта колонка во время курса чрезвычайно полезна всем пользующимся и здоровым приезжающим, и жителям, потому что доставляет овощи, сыр, масло, домашних животных, одним словом – это хутор Пятигорска. Кроме того, туда почти каждый день ездят блестящие кавалькады «en ripigne»; и там, у мадам Рошка, они находят приют, обед, чай, кофе, различные фрукты, прекрасные букеты. Конечно, все за хорошую цену. Сады и огороды окружают колонку... От колонки дорога опять тянется по лесу.

1. На пикник (фр.).

2. Принято написание – Рошке.

«Однако темнеет, поедом скорее», – сказал мне путник, и мы поскакали...

В лесу, на протяжении дороги от Шотланки до Пятигорска, стоят несколько дневных и ночных постов, поэтому дорога совсем безопасна. Лес стал редеть, дорога пошла лучше и ровнее. На западе я заметил комету, она была тускла, как звезды в осеннюю ночь. Проехавши несколько минут шагом, мы поскакали снова. В глазах все у меня пестрело, предметы мешались, мы скакали полною рысью.

ПЯТИГОРСК

Право, мне грустно, и не шутя. Разлука с родными сжигает мое сердце. Много, много несвязных мыслей бродит в голове моей. Вчерашняя дорога оставила на душе тяжелые впечатления.

Вечером, окончивши дневник мой, я лег спать, но мне чудились страшные грёзы: я видел двух врагов, которых жизнь зависела от полета одной слепой пули. Страшно раздавался в ушах моих роковой выстрел, и холодный, бездушный труп – боже мой! – бездушный труп поэта лежал на сырой земле. Лежал, и не было там ни одной души, которая сжалась бы от тоски и холодное тело омочила слезами. Лишь одно лицемерное сочувствие окружало, быть может, священный труп, сосуд великой поэтической души... Над гробом последнего из наших усопших братии должны замыкаться уста злоязычия... слово мира и прощения должно сопровождать отдание последнего христианского долга, а тут, быть может, чей-нибудь дерзкий язык проговорил: «Ну! Теперь уже не будет над всеми насмехаться, подедом тебе!» Я говорю, что, может быть, было это. Было, было оно, ибо я слышал и теперь речи, отягощающие священную память поэта, и я был в аду. Если бы меня пытали, мне было бы легче, я страдал

бы только телом, но тут грусть, тоска, ужасная злоба и досада терзали мою душу, и язык мой непрестанно порывался высказать всю грозу души.

Я убегал суждения о Лермонтове, но желание узнать о нем что-нибудь, запечатлеть это в моей памяти побудили меня слушать, слушать и мучиться, и записать слышанное, пока живы те люди, которые видели и знали его и могут сказать о нем; умрут они и с ними умрет драгоценная тайна.

В 1841 году Лермонтов во время курса был в Пятигорске. Квартировал он на краю города, под самой Машукой. Место прекрасное! Весь город внизу расстилается разнообразным ландшафтом. Вдали серебряной нитью прихотливо тянется Подкумок, а тут, куда ни взглянешь, стоят горы, из-за них выглядывают горы, всюду горы! Вблизи гора, Вдали гора, И на горе Гора с горой. Облака, одевающие иногда Машук, стелются по поляне, отделяющей эти пограничные домишки Пятигорска от самой Машуки. Старичок Чилаев помнит Лермонтова. Домик небольшой, с палисадником. Несколько деревьев – вишен, яблонь – растут в палисаднике, и ветви их врываются в окна. С боковой стороны его бывшей квартиры стоят несколько высоких яблонь и груш. Из ворот идет поляна к Машуке в лес. Воздух здесь свеж и не засажен серой, как в некоторых других частях города. Вот бывшая квартира поэта! Наш дом стоит в соседстве с этим домом, но прежде, в то время, на нашем дворе был другой дом – генерал-майора Верзилина. Они разделялись одною каменной стеною. И в этом доме квартировал Мартынов. Говорят, что Лермонтов с Мартыновым были сперва друзьями (может быть, только с виду). Мартынов бывал у Лермонтова в доме довольно часто, они были соседями. Но чаще всего сходились они в доме генерал-майора Верзилина, который был тогда наказным атаманом линейных казаков.

В Пятигорске Лермонтов знакомых имел немного, а потому большею частью проводил время в доме Верзилиных. Здесь были три молодые девицы, только что выпущенные из института. Кроме того, этот дом в Пятигорске был домом высшей аристократии. Здесь Лермонтов был хорошо принят и убивал большую часть дня. Он здесь обедал, пил чай, танцевал и ужинал. Каждый день дом был полон гостями. Гремела музыка, и молодые кавалеры и дамы непременно составляли кадрили... неслись пары, музыка не умолкала, и веселились часов до двух утра. Лермонтов был первым кавалером на этих вечерах и танцевал без усталости (нужно заметить, он танцевал, как мне говорили, довольно легко и грациозно). Здесь, во время этих танцев, он был очень весел. Остроты и самые злые сатиры сыпались на танцующих. Он ими убивал каждого, и против яда его насмешек ничто не могло устоять.

Лермонтов смеялся над всеми и всем. Даже в доме, где он был так радушно принят, он говорил иногда колкости, и молодые девицы ссорились с ним (конечно, как всегда ссорится их прекрасный пол – шутя). Но Мартынов именно был щелию, куда он сыпал без умолку свои насмешки или колол Мартынова. Если (что бывало очень часто) они сходились в доме Верзилиных, и было здесь большое общество, Лермонтов не позволял Мартынову сказать ни слова или после каждой фразы ставил его в такое положение, что тот краснел и умолкал невольно. Здесь Лермонтов ловил каждое его слово, взвешивал и одурачивал, и все это мгновенно... Эта история повторялась всегда, Лермонтов своими сарказмами преследовал Мартынова ужасно. Говорят, что часто после подобных сцен Мартынов, возвращаясь уже домой, дружески говорил Лермонтову: «Я прошу тебя, Лермонтов, чтобы ты перестал шутить надо мною в обществе...».



СЕРГЕЙ БОЙКО

(1932 – 2008)

Известный ставропольский писатель Сергей Павлович Бойко родился в 1932 году.

Говорят, счастье человека в том, чтобы с детских лет угадать свое призвание и не изменять ему всю жизнь. Сергею Бойко это удалось.

Еще в школьные годы, вечерами, у керосиновой лампы, Сергей Бойко клал перед собой школьную тетрадку, обмакивал перо № 86 в чернильницу и... уходил в иные миры. Перо бежало по бумаге, и строчка за строчкой, глава за главой рождался очередной приключенческий «роман». Сами названия детских «опусов» говорят об их содержании: «В стране краснокожих», «Пират Джафар», «Двенадцать разбойников в королевском лесу», «Необычный плацдарм»...

Сергею интересно узнавать, как человек придумал бумагу и научился писать, как он построил первый корабль и отправился в дальние страны, как человек изобрел воздушный шар и взлетел в небо. Мальчик хотел знать о пирамидах Египта, о висячих садах Семирамиды, о Новом Свете, который открывали не раз, о тайне греческого огня, о пропавших галеонах с золотом и, вообще, обо всем чудесном, таинственном и загадочном. И этот интерес к невероятному не угасал с годами, а разгорался все сильнее.

Пусть эти ученические работы были еще очень слабы, но пока мальчик держал перо, он дружил с индейцами, воевал с колонизаторами, стоял у штурвала белопарусной каравеллы, опускался в жерло вулкана и взбирался на горную вершину. А ночью, ложась в постель, придумывал новые сюжеты. И не знал десятилетний мальчишка, что эта игра через многие годы станет делом всей его жизни, и его детские грезы превратятся в темы будущих книг.

Не случайно Сергей Бойко выбрал профессию историка, поступив в Ростовский государственный университет на исторический факультет. Здесь, во время учебной практики, он участвовал в археологических раскопках и лицом к лицу столкнулся с древними цивилизациями.

После окончания университета молодой человек все свободное время сидел в библиотеках, архивах, посещал музеи и читал о загадках древнейшей истории, а потом сам стал писать – о том, что волновало с детства. Так появились книги: «Загадки древних стран» (1974), «Первобытные архимеды» (1977), «Что за прелесть эти сказки» (1982), «У истоков великих открытий» (1984), «Корона императора Тиберия» (1988), «Кунсткамера» (1991), «Волшебная страна Шарля Перро» (1992), «Чудесные зонтики Оле Лукойе» (1996), «Великие сказочники мира» (1997), «В волшебной пушкинской стране» (1999).

Сергей Павлович Бойко прожил интересную насыщенную жизнь, наполненную постоянным творчеством и поиском ответов на загадки истории. Не стало этого удивительного человека – сказочника с детской душой – в 2008 году.

Он стал знаменит прежде всего теми своими произведениями, которые показывают, что же таится на страницах древнейшей истории. Отсюда интерес к сказкам, в которых хранится много неразрешенных загадок.

Один из немногих в российской литературе Сергей Бойко просто и доступно рассказал детям и взрослым, что скрывается за страницами сказок, какие реальные исторические факты прячутся за сказочными героями, вещами, за самой сказкой.

Разве не удивительно: от первой до последней все его книжки о загадках древнейшей истории Земли (все то, что интересовало его с детства). Не случайно книги С. Бойко полюбили уже не одному поколению российской детворы.

БЕЗРУКИЙ ПИСЕЦ

Одним из основателей арабской каллиграфии был художник и писец Ибн-Мугла. Книги, написанные его рукой, и сегодня являются гордостью любой библиотеки. И сама его жизнь – пример верности любимому делу.

Красиво, талантливо писал Ибн-Мугла. За это его даже назначили одним из визирей арабского халифата.

Но однажды вечером в его комнату ворвался отряд воинов.

- Вы обвиняетесь в том, что участвовали в дворцовых интригах, – сказали Ибн-Мугле.

Мстительный халиф решил отнять у него самое дорогое.

- Повелеваем! – приказал он. – Дабы непокорный визирь больше никогда не смог писать против нас возмутительных писем, отрубить ему правую руку!

И при большом скоплении народа искусному каллиграфу отрубили правую руку. Ту руку, искусней которой в те времена не было на всем Востоке!

Но вскоре на глаза халифу попался документ, совсем недавно написанный удивительно красивым почерком.

- А говорили, что вашему Ибн-Мугле нет замены! – засмеялся халиф. – Вот рука, равная ему! Ну-ка, позовите ко мне этого писца!

И к нему привели ... Ибн-Муглу. К обрубку его руки была привязана тростниковая ручка – калам. Так и писал теперь этот великий писец. Ничего не сказал арабский халиф, только в молчании отослал его.

Не все люди умеют оценить подвиг своего современника.

РУКА БОГИНИ

Современники долго не признавали творения Микеланджело и ставили их много ниже произведений античных скульпторов. Это, наконец, надоело Микеланджело, и он сделал вот что. Он тайно изваял мраморную статую и вложил в нее все свое искусство, весь свой гений. Потом он отбил у нее руку, спрятал ее и, придав скульптуре с помощью известных ему красок, цвет античной статуи, зарыл ее ночью в том месте, где в скором времени должны были заложить фундамент здания. Когда рабочие, копая землю, нашли статую, отовсюду стали стекаться любители редкостей, чтобы полюбоваться несравненным творением.

- Вот самая совершенная вещь, какую когда-либо видели! – слышалось со всех сторон.

- Эта статуя принадлежит Фидию! – говорили одни.

- Она создана Поликлетом! – говорили другие.

- Как далеко до нее изваяниям нынешних скульпторов! – говорили все, – но как жаль, что у нее не хватает руки, ведь у нас нет никого, кто мог бы восстановить ее!

Микеланджело, пришедший, как и другие, на место находки, имел удовольствие слышать преувеличенные восторги любителей редкостей и более обрадованный их оскорбительными для него речами, чем был бы обрадован их похвалами, сказал, что у него есть мраморная рука, которая, возможно, могла бы заменить недостающую.

Его слова были встречены смехом, но каково же было изумление собравшихся, когда Микеланджело принес руку и приставил ее к статуе: все увидели, что скульптор, которого они ставили ниже древних, и был «Фидий» или «Поликлет».

ТАКУЮ КРАСОТУ ГУБИТЬ НЕЛЬЗЯ

Царица племени саков Зарина была необычайно женственна, величава как жар-птица, но и очень мужественна. Конь под ней стоял как вкопанный или летел быстрее ветра. И на скаку царица сакская исполняла самые трудные приемы конного боя. Когда она скакала впереди своей рати, распустив из-под шлема золотистые волосы, она казалась прекрасной птицей, и сакские воины любовались ею. Ну а если уж скрестятся в бою мечи, то враги чувствуют неженскую силу, и не один десяток врагов пал от наотмашь нанесенного удара красной Зарины. Не было в ее сердце жалости к врагам.

Пришла пора – вышла Зарина замуж. Супругом ее стал парфянский царь Мермер.

- Раньше Парфия подчинялась Мидии, – сказал он, кладя к ногам Зарины дорогие подарки, – а теперь я отдаю свою страну вам, сакам.

Но царь Мидии Астиар не был согласен с таким решением парфян. Он объявил сакам войну и бросил против них войска. Зарина возглавила рать, в которой опять было много женщин. Состоялась битва. Зарина несколько часов не сходила с коня, и ее золотой шлем видели в самых горячих местах схватки. И вдруг вырос перед ней великан-мидиец Стриангей. Поднял он на дыбы своего огромного коня и сбил с шага коня Зарины. Не сумела выправить его девушка, и копьё Стриангея ударило о кольчугу. И рухнула на землю непобедимая доселе Зарина. Поднял копьё Стриангей, чтобы добить вражеского вождя и вдруг увидел, как из-под слетевшего шлема разметались по траве длинные золотые волосы. И понял он, что перед ним девушка. Он был так поражен ее красотой, что поднял на руки Зарину и приказал не трогать ее, а отпустить на свободу: «Такую красоту губить нельзя!»

Услышала Зарина эти слова богатыря и прониклась к Стриангею нежностью. И когда в следующем бою мидийцы были разбиты, и Стриангей попал в плен, царица сакская приказала отпустить его на свободу.

- Этого не будет! – возразил ей муж, – Если врага не убить, он снова поднимет свой меч!

- Ладно! – подумала оскорбленная царица. – Ты не хочешь выполнить мой приказ? Так умрешь ты! – и она приказала заколоть Мермера. С Мидией был заключен мир. Парфия была возвращена Астибару. А в столице сакского царства Роксонаке встретились Зарина и Стриангей.

Ей очень нравился молодой великан, но на его предложение выйти за него замуж она ответила отказом: «Следует быть крепкой духом не только против врага, но и против вождедений, и ради минутного наслаждения не навлекать на себя долгих бед».

Новые битвы ждали Зарину, и она больше не хотела связывать себе руки.

Много сделала для своего народа Зарина, и когда умерла, подданные соорудили ей гробницу, какой еще не делали никому – огромную остроконечную пирамиду, на вершине которой поставили колоссальную золотую статую царицы.

ХОЗЯИН СТЕПИ

В 921 году по степи на плато Устьюрт двигался торговый караван в 5 тысяч человек. С ним ехало к волжским булгарам арабское посольство, секретарем которого был любознательный человек по имени Ибн-Фадлан. Он оставил нам драгоценный памятник от затерянного во мгле веков X столетия – свои записки. Вот одна из записей.

... В один из дней на караванной тропе появился человек, тощий и жалкий. Незнакомец сказал: «Стойте!» И караван остановился. Потом он сказал: «Ни один из вас не пройдет». И никто не двинулся с места. Наконец он попросил хлеба и, получив лепешку и маленькую тыкву с водой, смиловился над купцами и пропустил их дальше.

Один против пяти тысяч! Возможно ли такое?

Возможно: могущество одинокого путника заключалось в том, что за ним стояла сила всей степи.

Каравану, в котором ехал Ибн-Фадлан, предстояло преодолеть почти месяц в безводной степи. И он бы неминуемо погиб, если бы не выполнил главный закон степи: дружелюбие и милосердие. Тогда по степи разнесется о тебе добрая слава, и тебя пригласят в оазис, накормят, напоят, покажут дорогу.

Кочевник – хозяин степи, даже если он и один, сильнее целого каравана, охраняемого сотней всадников

ЗАВЕЩАНИЕ ЦАРИЦЫ

Некогда в городе Вавилоне умерла царица по имени Никторис. Перед смертью она приказала воздвигнуть себе гробницу прямо перед воротами в самом оживленном месте города и вырезать на ней надпись: «Если кто-нибудь из вавилонских царей после меня будет иметь нужду в деньгах, пусть откроет эту гробницу и возьмет сколько пожелает. Однако без нужды пусть напрасно не открывает ее».

Долгое время гробница оставалась нетронутой, пока вавилонское царство не перешло к Дарию.

- Почему мне не взять этих сокровищ? – подумал он. – Тем более, что они как бы сами приглашают владеть ими.

И он приказал вскрыть гробницу.

Денег в ней не оказалось. В гробу лежал лишь скелет да глиняная табличка с таким текстом: «Если бы ты не был столь жадным, то не разорил бы гробниц покойников».

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Давно я не видел Оле Лукойе. Каждую ночь я жду его, а он не приходит. Значит, дела... В Волшебной стране у Оле Лукойе есть и свои обязанности.

Я весь световой день просиживаю в библиотеке. Уточняю и расширяю рассказы датского волшебника. Иногда нахожу строчки, слово в слово повторенные моим другом. Значит, мы с ним читали одну и ту же книгу!

О ком мы с Оле Лукойе будем говорить при встрече? О Синдбаде-Мореходе, о Золушке или Морском змее? Интересно, что ни в одной из книг нет биографий волшебных героев. Отдельные факты о них можно найти в научных книгах, но дети читать их не будут. Значит, я иду по непроторенной дорожке?

- Здравствуйте, писатель! – слышу я милый голос.

Как глубоко я задумался. И не услышал шагов друга. Да и немудрено: он ведь ходит в одних чулках.

- Оле, я думал, ты сегодня уже не придешь.

- А я пришел! – улыбается Оле Лукойе и кладет на кровать свои зонтики и опускается с ними рядом. – Мы с тобой ещё не закончили работу.

- А как контроль? Выздоровел?

- Конечно! В Волшебной стране такие волшебные травы, которые и мертвого поднимут!

- А мы поговорим о волшебных травах?

- В этот раз нет, дружок. Ты же пишешь книгу о волшебных героях, а не о волшебных вещах, правильно?

И я согласился с ним.

- Знаешь, о ком мы сегодня поговорим?

- Не знаю.

Оле загадочно мне улыбнулся, потом посмотрел на дверь и крикнул:

- Красная Шапочка!

И тут же в комнату вошла маленькая девочка в коротком голубом платьице с фартуком и ярко-красной шапочке. В правой руке она держала плетеную соломенную корзиночку.

- Садись, девочка, – пригласил ее Оле.

И Красная Шапочка, расправив концы платьица, села на кровать поближе к моей подушке. А я так разволновался, что вдруг выпалил.

- А можно тебя обнять, девочка? – мне ведь редко приходилось обнимать волшебных героев.

- Конечно, можно! – улыбнулась девочка, и улыбка у нее вышла такая добрая, что я от всего сердца прижал ее к груди и даже поцеловал ее в розовую щечку.

- А что у тебя в корзиночке? – спросил я.

- А вы разве не знаете? – лукаво улыбнулась Красная Шапочка. – Я иду проводить бабушку и несу ей пирожок и горшочек масла.

И я – о чудо! – могу дотронуться до этого легендарного горшочка, описанного Шарлем и Пьером Перро.

- Девочка, ты знаешь, какая ты красивая? – восхищаюсь я.
 - Знаю.
 - А еще можно тебя спросить?
- За девочку ответил Оле Лукойе:
- Спрашивай, что хочешь, писатель, я ее за этим и пригласил.
 - Девочка, – волнуясь, спрашиваю я, – а ты знаешь, что волки злые?
 - Знаю, – спокойно ответила она.
 - А ты знаешь, что одной нельзя ходить по лесу?
 - Знаю.
 - А что с волками в лесу разговаривать нельзя, знаешь?
 - Я все знаю, господин писатель, – спокойно отвечает девочка, и ямочки играют на ее щеках.
 - Так почему ты не возьмешь с собой маму?
- Тут улыбка исчезла с ее губ, и девочка очень серьезно ответила:
- Сказку исправить нельзя.
- Я посмотрел на Оле, а тот протянул свою руку с тонкими пальцами, поправил на девочке ее красную шапочку и задумчиво так сказал:
- Она говорит правильно. Сказка складывалась веками, и не нам ее править.
 - «Красная Шапочка»? Веками? Ты, наверное, шутишь, дорогой Оле. Какие века? Такие же девочки живут и сегодня и так же ходят проводить свою бабушку.
 - Но они не разговаривают с волками! – наизидательно поднял палец Оле Лукойе.
 - Так это писатель выдумал! – не сдавался я.
 - И они не выходят из брюха волка, как Красная Шапочка!
 - Ну, можно придумать и такое!
- Оле Лукойе плотнее надвинул на глаза свою серую треуголку и нахохлился. Я еще не видел его таким сердитым.
- Писатель, не суди о том, чего не знаешь! Сказка «Красная Шапочка» создана очень и очень давно! – он встал и медленно зашагал по комнате.
 - Конечно, давно! – приподнялся я на локтях. – Целых триста лет назад! Ее написали отец и сын Перро.
 - Не написали, а записали! – остановился возле меня Оле Лукойе и снова сел на одеяло. – Это большая разница.
 - Что значит «записали»? – не понял я.
 - Это значит, она давно-давно была известна народу, а отец и сын Перро лишь записали ее заново.
 - Она жила еще раньше? – Я снова откинулся на подушки и взял тоненькие пальчики девочки. – И все время эти пальчики несли бабушке горшочек масла? Да что же тут интересного?
- Красная Шапочка осторожно высвободила свою руку и даже немножко отодвинулась от меня, а я все еще ничего не понимал.
- А Оле Лукойе очень серьезно сказал:
- Когда эту сказку создавали, а было это в незапамятные времена, никакого горшочка масла еще не было.
 - А что же было? Может быть, и Красной Шапочки не было?

- Нет, она была. Герой волшебной сказки уже появился. Только это была не девочка.

- А кто же? Я ничего не понимаю, Оле!

- Потому что ты не знаешь истории сказки. Ты знаешь, что значит слово «красный»?

- Красный? – я задумался. – Это красный цвет... Ну, иногда это обозначает «красивый».

- А ты можешь вспомнить, о ком еще говорят «красный»?

- Конечно. Например, красное солнышко!

Красная Шапочка вдруг захлопала в ладоши, а потом вдруг обняла меня и поцеловала в щеку.

Я ничего не понимал.

А Оле торжествовал:

- Вот ты и узнал главного героя мифа, из которого и родилась сказка о Красной Шапочке.

- Красное Солнышко?

- Конечно! – радовалась девочка. – У меня потому такая шапочка, что когда-то я была Красным Солнышком.

- Ну ладно, писатель, – сжалился Оле Лукойе, – не буду тебя томить. Слушай. В том древнем мифе, из которого родилась сказка о Красной Шапочке, были почти все те же герои: был волк, было Красное Солнышко, охотники догоняли зверя, убивали его, и из брюха животного невредимым выходило на небосклон Солнышко.

- Так рассказывали когда-то сказку «Красная Шапочка»? – понял я.

Красная Шапочка закивала головой, и глаза ее радостно заблестели.

Оле поправил зонтики под мышками.

- Да, писатель. И называлась эта трагическая история «Миф о космической погоне». Первобытные люди пытались в нем объяснить, куда ночью девалось солнце. И вправду, куда оно девается? Почему его нет на небе ночью? – Оле говорил негромко, но внятно, и Красная Шапочка губами вторила его словам. – Первобытные люди были охотниками. Им было понятно, почему исчезает с неба птица, сбитая их стрелой, или животное, рухнувшее в заранее выкопанную западню. «Наверное, по той же причине, – думал охотник, – исчезает с неба и солнышко: за ним тоже устраивается погоня». Чудовище в виде волка, в конце концов, догоняло его и проглатывало Солнышко. Но утром оно снова появлялось на небе. Почему? Ну ка, Красная Шапочка, подскажи! Что ты учила в школе?

Когда Оле Лукойе смотрел на девочку, взгляд его теплел и голос становился ласковым.

- Солнышко возвращалось на небо потому, что его спасал небесный охотник! – громко и четко отвечала девочка. – Он догонял волка, убивал его, распарывал ему брюхо, и Красное Солнышко выходило на свободу.

- Молодец, девочка, пятерка! – засмеялся Оле. А когда обернулся ко мне, взгляд его снова стал серьезным. – Вот, писатель, о чем рассказывал миф о космической погоне.

- А про картинки почему ты не рассказываешь? – легонько толкнула она в плечо Оле и сняла прилипшую нитку.

- Конечно, расскажу, спасибо, что напонила, девочка!

И я приготовился слушать еще одну историю. Она оказалась очень любопытной.

- В далекой древности, писатель, книг не было, но иллюстрации уже были. Первобытные художники очень любили рисовать. Нередко они иллюстрировали мифы, например, миф о космической погоне. У вас в России на Шишкинских скалах – это в Сибири – сохранился древний рисунок: голова огромного зверя с распахнутой пастью, а в зубах ее – Солнце. Такие же рисунки есть и в Африке, и в других местах Земли.

- А можно я добавлю? – Красная Шапочка, как в школе, подняла руку.

- Конечно, девочка! – повернувшись ко мне, Оле сказал: – Слушай, она отличница, очень много знает.

- Я хочу добавить, что древние люди не рассказывали свои сказки, а показывали их, как в театре. Правда, дядя Оле?

- Как это? – устался я на девочку. – Как в театре?

- Да, мой дружок, – ответил за девочку волшебник. – У первобытных людей был театр. Актерами в них были старики. Тот, что изображал в мифе о космической погоне Солнце, надевал на голову тыкву, выкрашенную в красный цвет. Костюм другого, что «играл» за чудовище, был тоже искусно сделан: пасть с огромными зубами растягивалась до самой земли. Все его тело было покрыто шерстью (травой). Ну, а охотнику и гримироваться не надо было: он был во всеоружии.

(Я слушал Оле Лукоие, как зачарованный. Красная Шапочка тоже не сводила с него глаз).

- Спектакль шел долго, – продолжал Оле Лукоие. – Зрителями его были мальчишки, которые обучались в «первобытной школе», они исполняли обряд превращения мальчика в мужчину-охотника. И все время звучала музыка – барабаны, трещотки. И пел хор – о победе Солнца над тьмой.

- Оле, – спросил я, когда мой друг сделал паузу, – а откуда ты все это знаешь?

Оле внимательно посмотрел на меня, словно решая, выдавать тайну или нет, и ответил:

- Есть такая книга «Связь времен». Ее написал писатель и ученый Роман Подольский. Он и рассказал об этом.

И вдруг раздался громкий голос Красной Шапочки:

- Все говорим да говорим. Давайте лучше покушаем! Она вынула из корзиночки белую салфетку и разложила ее на одеяле, а потом поставила на нее нехитрую еду.

- Красная Шапочка, – удивился я. – А что, если мы съедем весь пирожок и все масло? Бабушка умрет с голоду!

Девочка засмеялась:

- Ну что вы! Это же Волшебная страна! И еда здесь волшебная. Она никогда не кончается.

- Раз девочка приглашает, надо соглашаться, – развел руками Оле Лукоие, но так ловко, что зонтики у него остались под мышками. И первый оторвал кусочек пирожка. И тот снова стал целым!

И когда мы кушали, Оле досказал конец истории:

- Миф о космической погоне жил во времена охотников. На когда пришла пора земледельцев и скотников, те уже отгадали тайну смены Дня и Ночи, и им не нужно было рассказывать о чудовище, глотающем Солнце. Зато их волновало, что дети без разрешения часто одни уходят в лес и в самом деле попадают на зуб волку. Вот они и придумали вместо мифа сказку о девочке, которая одна идет в лес. А в память о Красном солнышке они надели на ее голову красную шапочку.

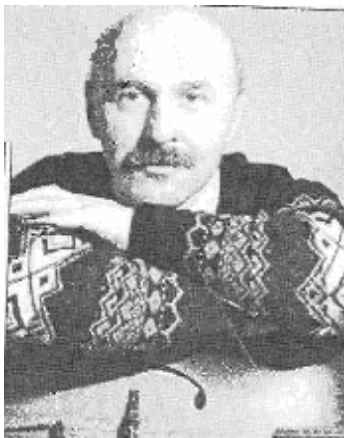
Оле Лукойе говорил медленно, делая паузы, потому что ему очень нравился пирожок из слоеного теста, тем более, что он был обильно помазан маслом.

Наконец, мы насытились, и Красная Шапочка снова убрала «гостинец для бабушки» в свою плетенную из соломы корзинку.

- Ну, мне пора, – встала она с моей кровати. – Меня ждет бабушка.

- Тебя ждет сказка! – поправил ее Оле Лукойе. – как, впрочем, и меня. Мы выйдем вместе, девочка!

Я поцеловал Красную Шапочку в розовую щечку, которую она сама мне подставила, пожал протянутую мне руку Оле Лукойе и скоро опять остался один...



ВЛАДИМИР БУТЕНКО

(род. 1952)

Владимир Павлович Бутенко родился 30 мая 1952 года на хуторе Дарьевка-Родионово Невсвetailского района Ростовской области в семье сельских учителей.

Именно семья, деды и родители сыграли решающую роль в формировании личности Владимира и во многом определили его творческий путь.

Дед по отцу, Никита Яковлевич, был взят из Новочеркасского казачьего приюта и усыновлен четой Бутенко, которая и дала ему фамилию. Детство и юность отца поэта, Павла Никитовича, прошли на хуторе Веселом, неподалеку от слободы Родионово-Невсвetailской, в которой он закончил семилетку и поступил в Новочеркасское педучилище. Начало учительства совпало с первым годом Великой Отечественной войны, которую Павел Никитович прошел вплоть до последних залпов Победы, участвуя в боях за Кавказ, сражаясь в Карелии и Норвегии. Отмечен многими боевыми наградами. Почти полвека проработал учителем начальных классов, заслужив звание «Отличник просвещения РСФСР».

Мать поэта, Раиса Петровна, родом из Южной Украины. В детстве ей пришлось испытать немало лишений, вместе с родителями много поколесить по стране. Оказавшись на оккупированной фашистами территории, будучи комсомолкой-активисткой, она чудом избежала ареста и отправки в Германию, скрываясь в отдаленном селе, куда через день уходила и возвращалась, делая переходы в один конец сорок километров. Сменив несколько профессий, она, как и муж, стала педагогом, снискав заслуженную любовь своих многочисленных учеников. Именно мать и стала первой учительницей будущего поэта. «Ты чистыми и строгими глазами мир суций научила понимать», – скажет Бутенко в одном из стихотворений, посвященных матери.

Немаловажную роль в развитии воображения, мальчика сыграли рассказы деда по матери, Петра Андреевича Ходарева, человека глубоко верующего, выдалого, одаренного природной смекалкой и мудростью.

К игре на балалайке и гитаре пристрастил отец, способный музыкант. Своеобразный мир донской природы, украинские и казачьи песни, самобытные и мужественные характеры хуторян, сказки и произведения русской классики рано побудили Владимира к литературному и музыкальному творчеству.

Первое стихотворение он опубликовал в рукописном школьном журнале «Подснежник» в двенадцать лет. В старших классах был фанатично влюблен в поэзию Есенина, песенное творчество М. Магомаева. А тургеневский герой Е. Базаров оказал решающее значение в выборе будущей профессии.

В годы учебы в Ставропольском мединституте посещал литгруппу при газете «Молодой ленинец», которой руководил поэт Александр Мосинцев. Семь лет проработал В. Бутенко стоматологом в поселке Целина Ростовской области, а затем вернулся в Ставрополь. Именно здесь было положено начало его пути в литературу на новом профессиональном уровне. Вскоре вышли его первые книги: «Зимний костер» (стихотворения и поэма), «Хуторские колодцы» (рассказы и повести), «Ожидание друга» (повести). Эти произведения позволили В. Бутенко стать в 1988 году членом Союза писателей СССР.

С 1989 по 1992 год В. Бутенко возглавлял альманах «Ставрополье», который первым из периферийных изданий осмелился опубликовать главу из эпопеи А. Солженицына «Красное колесо», а также заново открыл читателям замечательного русского писателя, нашего земляка И. Сургучева, напечатав его несколько малоизвестных произведений.

Роман В. Бутенко «Казачий алтарь», вышедший в 1993 году, открыл новую страницу в литературной летописи Великой Отечественной войны и позволил более внимательно взглянуть на роль казачества в эти грозные годы. Высокую оценку роману дали такие известные писатели, как А. Знаменский и А. Губин, литературовед Ю. Суровцев.

В. Бутенко активно работает в жанре песни, являясь автором музыки и стихов. С сольными концертами гастролировал в Москве, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Черкесске, Волгограде. Принимал участие в фестивале «Славянский базар», в Днях Российской культуры в Париже. Выпустил три сольных альбома: «Вино любви», «Соловьиная ночь», «Ночной Париж».

Постоянно живет и работает в городе Ставрополе.

В центре его интересов стоит проблема противоречивой природы человека, его исторической судьбы, его способности видеть мир реально, без пелены иллюзий. Писатель считает необходимым разоблачать иллюзии нашего сознания, находить истину и делать ее орудием изменений, прежде всего, нашего собственного внутреннего мира и поведения. Главная задача этих изменений – раскрепощение творческих сил человека, его способности быть открытым в коммуникации, радоваться и созидать.

Особой страницей литературного творчества В. Бутенко с первых шагов и в разных жанрах остается воспевание родной земли с ее неизменным историческим колоритом казачьей вольности беззаветного служения Отечеству.

ВЕТКА ПОЛЫНИ

(рассказ)

Последние дома окраины остались далеко позади. Не ехали, казалось, а летели на новеньком красном велосипеде. На педали нажимал отчим, Борис Петрович, а Витька ерзал на багажнике и вертел головой, будто сроду в степи не был.

Обмякшие после недавних дождей, засеянные пашни сменялись квадратами озимей, точно обведенными синим карандашом вдали, по бровке. Тени облаков бежали вдогон, с востока, и Витька гадал: какая же их накроет? А замешкаешься взглядом в поднебесье – так и брызнет в лицо радужный веселый свет! Минуту не разжимает век, ощущая, как под ворот рубашки втекает уп-

ругая струя ветра. Откроет глаза – иная картина. То сверкнет на дне балки лужа, то прополохит ватажка горлиц. А вон, как городошная чурка, скатился со взгорка суслик – и шашть в нору...

Со всех сторон звенели трели жаворонков, а попробуй разглядеть, где они? Витька вздохнул. Весь нынешний день, как нитка с катушки, раскрутился перед глазами...

Было полное беззвучие в доме, когда он проснулся. Всполошился. Неужели уехали? Путая пуговицы, второпях оделся, выбежал на крылечко и ахнул: весь двор в слоистом дыму. Ветерком его выволакивало из сада, где за дальними тонкими стволами маячили фигуры отчима и бабушки, а на огородной меже, подрезая клубы дыма, подрагивало пламя костра.

Щурясь от дыма, вошел в сад и удивленно осматрелся: все деревья обобра- ны, междурядья вычесаны граблями, спиленные ветки снесены в костер. Когда же они успели? На верхушке черносливы заметил оранжевую «бабочку» горящей переноски. И вновь удивился: вон как работой увлеклись!

Под его ботинком треснула хворостина. Отчим оглянулся, сказал:

- Становись вот здесь, с наветренной стороны, а то прокоптишься.. Ну, не передумал?

- Поеду.

- Ох-х, – протяжно вздохнула бабушка. – Соскучился, бедняжка. За две недели целую грядку лука на подоконнике вырастил. Мамке на витамины. Хотя бы нонче выписали.

Отчим вынул сигарету, бабушка выгребла из кармана фуфайки горсть тык- венных семечек с подгорелыми боками. Витька нашарил в куртке конфету. Так и стояли они молча, пока не закурился напоследок жиденький ковыльный ды- мок. Думали об одном. О матери.

До районного поселка добрались попуткой. Отчим шагал мерно, а Витька все забегал вперед, путаясь под ногами, – не привык он ходить по тротуарам. В санприемнике хирургического отделения былолюдно, но Витька сразу обра- тил внимание на двух девушек в белых халатах. Одна из них, рослая, с бордо- выми прядями, выбивающимися из-под шапочки, хлопотала у столика, заст- ланного клеенкой, на котором что-то кипело в блестящих металлических ящич- ках, а другая, шупленькая, в очках, с непроницаемо-серьезным лицом сидела у окна за полированным столом и с кем-то разговаривала по телефону.

- Тридцать четыре? Так. А Харченко? Выписан? Когда? Значит, тридцать три? Из-за вас, Таня, справку по движению не составишь. Вот именно. Ну, посмотри. Сколько? Куда вы дели двух человек?

Дождавшись, когда она бросила трубку на звякнувшие рычажки, отчим от- теснил плечом скачавших у стола женщин и пузатого дядьку и негромким го- лосом спросил:

- Полехину можно вызвать?

- Она ходячая?

- Да. Обещали сегодня... выпроводить, – шутиливо пояснил Борис Петрович. Де- вушка не приняла шутки, сердито глянула на посетителя и, покачиваясь на высо- ких каблуках, удалилась за белую дверь. Витька ни разу прежде не бывал в боль- нице, побаивался ее, и неизвестность всего, что здесь происходит, сковала его.

Вслед за фельдшерией вошла не мать, а пожилая полная женщина в халате и узеньком накрахмаленном чепчике. Она быстро оглядела ожидающих.

- Вы к Полехиной? Пойдемте. Малыш пусть подождет.

Витька обиделся. Какой же он «малыш»? Задерживая дыхание, чутко прислушивался к разговору за плотно закрытой дверью. И только она отворилась, по растерянному, урюкому лицу дядьки Бориса понял, что не зря оставили его тут.

- Выйдем на воздух.

Мальчик прошмыгнул в наружную дверь первым, на ходу отрывисто уточнил: – Где мама?

Борис Петрович с хрустом сжал в кулаке спичечный коробок и сбивчиво произнес:

- Штука, понимаешь, неприятная. Дело шло на поправку, а ночью – приступ. Пришлось па стол взять.

- На какой с... стол?

- На операцию.

Под ногами мальчика дернулась земля. Захотелось плакать.

- Да ты не пугайся, Вить... Ничего опасного.

Присели на шаткую скамью в больничном скверике. В чистые верхние окна виднелись три ярчайшие лампы-блюнда.

Витька понял, что именно там делают операцию. Хирурги ему представились такими, каких он видел в кино – молчаливые, с полужакрытыми лицами, похожие на колдунов. И непостижимо было то, что сейчас от этих неизвестных людей зависела всецело жизнь матери. И если бы на минутку Витьку впустили в операционную, он ничего не испугался бы. Он рассказал бы врачам, как нужна ему мама, как любит ее!

Витька заморгал от внезапно навернувшихся слез, поднялся и, отойдя метра четыре, через плечо бросил:

- Машину посмотрю.

Для виду он медленно обошел вокруг маленького зеленого автобуса «Скорой помощи». Из окошка кабины выглянул краснощекий парень:

- Ты что, хлопец?

- А какой она марки?

- УАЗ.

- Два моста ведущих?

– По грязи – два, а теперь и одного хватает. Дать конфетку? Витька смущенно взял из отдающей бензином ладони карамельку, вернулся на скамью.

Дядя Борис от дымящегося «чинарика» прикуривал новую сигарету.

Оторопелым и вместе с тем обостренным взглядом наблюдал Витька за проходившими мимо. Запомнилась ему толстая тетка, укутанная в четыре разноцветных платка, низенький бородатый цыган па высоких костылях и в белых, не по сезону, брюках, заштопанных черными нитками.

Он с таким нетерпением глядел на входную дверь, что каждый раз вздрагивал, когда ее отворяли. Наконец по ступеням устало спустился черноусый парень с портфелем в руке, в незастегнутом кожаном пальто, из-под которого пламенел шарф. Следом поспешал отчим.

- Куришь, бульон. Сухари, – твердым, раскатистым баском объяснял незнакомец.

- Затем переведем на общий стол.

- Ясно, Сергей Николаич.

- Справку на освобождение от работы возьмете у операционной медсестры. Всего доброго!

- До свидания!

Отчим подошел, скупой улыбаясь, непривычно побледневший.

- Притомился? А меня мать не отпускала, расспрашивала о тебе. Присчитать пришлось, что с учебой подтянулся и на огороде помогаешь...

Витька подскочил, недоверчиво выпалил:

- А меня к ней пустят?

- Хирург не разрешил. Слыхал, с ним беседовал? Лебешев. Чудеса творит! Сейчас зайдем с тобой к тете Гале. Пусть подежурит у мамы, а то мне неудобно – палата женская. Ну, айда.

Несмотря на отговорки, тетя Галя все же усадила гостей за стол 2 Ставрополье № 133 и заставила выпить хоть по стаканчику клубничного киселя. Походила она на брата, такая же сухощавая, подвижная, с черными зоркими глазами, говорящая сдержанно и чуточку нараспев. Сперва это Витьку смущало: не сердится ли за что? Но чем дольше находился, тем уютней чувствовал себя в этом солнечном, пахнущем окопными цветами доме.

- О, да у тебя душа нараспашку, – решительно сказала тетка. – Снимай курточку.

И пока Витька, конфузливо насупясь, стаскивал рукава, достала из тумбочки зеленую шкапулку. Подобрала пуговицу, пришила. Попробовал Витька – не оторвать!

Затем тетя Галя придвинула стул к трюмо. Витьке волей-неволей пришлось подчиниться. Уселся он с кислой физиономией, но тетка так ловко щелкала ножницами то на макушке, то у висков, беспрерывно орудуя расческой, что Витька заулыбался, удивляясь своему превращению в курносого светлочубого мальчишка.

- У меня в аккурат два отгула, – сказала хозяйка на прощание. – Зайду на пищекомбинат, предупрежу – и в больницу. Лимонов разживусь.

В коридорчике Витька замешкался, зашнуровывая ботинки, и краем уха уловил приглушенный разговор:

- Валька прислала открытку. Пишет, что Вика закончила четверть на круглые пятерки.

- Оставим... Памятью, сестричка, не проживешь. Если бы я был виновен, было бы легче. Горько за Валентину. До сих пор не пойму, что ее толкнуло на измену? А дочку летом привезу к себе. С Витюшкой она сдружится.

- И то так. Мальчонка он славный. Только вот шибко худенький. Не обижаешь?

- Ну что ты...

Витька на цыпочках неслышно выскользнул на улицу. Он знал, что у дядьки Бори есть дочь, видел ее фотокарточку. Девчонка как девчонка, с челочкой и бантиками, только слишком уж грустная. Витька всерьез не думал о ней. Сейчас же тревожно замельтешили мысли, что отчим в любой день может бросить маму и его и уехать в город к Вике. Что помешает? Она ведь ему родная.

Но сильным толчком отдалось в сердце: нет, не уедет! И почему-то жалко стало эту незнакомую девочку. И захотелось, чтобы она поскорей приехала к ним в хутор. Вот бы было здорово! Они наперегонки бегали бы к речке, купались, лазали в соседний сад за малиной. А малина там – крупнощя! И раков бы ловили вместе.

Неожиданно набежало воспоминание об отце. Витька помнил его расплывчато. Помнил он то, как горлопанил отец по вечерам нескончаемые песни, а мать украдкой уходила с перепуганным Витькой к соседям. Помнилось, как ездили в станицу к родственникам. Хозяйева встретили их бирюковато. Витька подозрительно покосился на костлявую старуху, у которой изо рта выпирали два желтых зуба, и повеселел, когда отец засобиравшись домой. По дороге подвернули к чайной. Кое-как набросив на штaketину вожжи, отец пригрозил сыну пальцем и скрылся за скрипучей дверью. Чужие дядьки вываливались из кирпичного, приземистого здания, откуда вкусно пахло селедкой и жареной картошкой, а папки все не было и не было. Лошаденка, резко вскидывая головой от укусов слепней, сдернула вожжи и, почуяв волю, решительно взяла с места, понеслась ошалелым, перебористым скоком. Витька оторопел, потерянно озирался, по станичный проулок в полуденную пору оказался безлюдным. Взноворовившаяся кляча перешла на галоп. Пыльная лесопосадка, встречный трактор, раскопки известняка – все мчалось мимо с жуткой скоростью, качалось и подпрыгивало. Витька рухнул на дно бедарки, присыпанное молодым сенцом, и заорал.

Очнулся от упругого хлюпка воды. Затравленно приподнял голову: над ним было сосредоточенное, тонко расчерченное морщинами стариковское лицо.

- Ну, очапался, малец? – вкрадчиво проговорил дед Поликарп, конюх. – Лежи, лежи. Здесь в клуне прохладненько.

Отец появился ночью. Витьку, спавшего рядом с матерью, разбудил толчок, сдавленный стон. Он открыл глаза и в лунной душной полумгле увидел, как отец стаскивает мать за волосы на пол. Стараясь не потревожить сына, она упала почти бесшумно, на плечо, закрыла лицо ладонями. Онемевший от ужаса мальчик вскочил с кровати, схватил подушку и стал ею мутузить по сутулой отцовской спине... А через неделю в пьяном беспамятстве отец осушил полбутылки уксусной эссенции. Похороны от Витьки скрыли, опасаясь, что заикание, появившееся после обморока, может усугубиться...

Шли частым, податливым шагом. Предвечерние улицы заполняли народ. В кафе группками собирались мужчины. На обочинах дороги расселись старушки, зазывно выставив ведра с жареными семечками. Сновали на мопедах вездесущие мальчишки.

- Хорошо им по асфальту, – завистливо воскликнул Витька,

- Благодать, – кивнул отчим и вдруг остановился, заговорщицки понизил голос. – Давай велик купим?

Свернули к универмагу. С важным, понимающим видом долго толкались у велосипедных стоек.

- Этот, – шепнул Витька.

- Тогда берем!

Вдоль дорожки, протоптанной напрямик на хутор, радостно узнавал Витька лиловатые звездочки гусяного лука, зубровки и целые протоки одуванчи-

ков. На подъеме, не вытерпел, спрыгнул, сорвал, сколько захватила рука, цветов и, взбрыкивая, единым махом догнал велосипед. Но отчим сам слез и бережно опустил велосипед на землю:

- Перекур.

Слева на пригорке полукругом расступалась лесополоса. Над зацветающими абрикосами вились и жужжали пчелы. От стволов протянулись длинные предзакатные тени. Травка, захваченная ими, отливала голубым холодным светом. Неподдалеку в суглинистой ложбине петлял ручей, по-степному мутный и напористый.

Борис Петрович лег на спину, одну руку подложил под голову, а правую, в которой держал сигарету, поставил на локоть. И, глядя куда-то в небо, вполголоса сказал:

- Вот и пролетел день. Устал до чертиков. А тут еще кровь сдал. Маме понадобилась. Голова немного шумит, а так ничего.

- Не выходи в ночную, дядя Боря.

- А кому же сеять? Разработаюсь. Пустяки. А вот ты, дружок, с учебой подтянись. Приготовь маме подарок – пятерки.

- Подтянусь. Ну честное-пречестное! – выкрикнул Витька, ловя себя на мысли, что дядя Боря такой же близкий и незаменимый для него человек, как мама, бабушка...

Витька скovyрнул со ствола абрикоса леденец розоватого оттенка, пожевал, ощущая во рту пряный, терпковатый вкус. Задержал взгляд на сверкающих никелем колесах велосипеда и неожиданно признался:

- Молока бы кружку!

Отчим поднялся, из сумки, висевшей на руле, достал каравай – гостинец тети Гали. Ножом отрезал увесистую, румяную горбушку. Затем из туристской солонки, которую всегда носил в рабочей куртке, крепко посолил хлеб и разломил его пополам. Ели они охотно, улыбаясь, глядя то друг на друга, то по сторонам. И тут Витька заметил сизоватую веточку полыни, которую несло сверху по ручью. Вот она, покачиваясь, прошла у самых ног, мелькнула и уже закружилась у дальнего поворота...

С непривычным острым замиранием в груди Витька сказал торопливо:

- Смотри, папа, кораблик:

Борис Петрович растерянно улыбнулся, потрепал Витьку за плечо:

- Сынок, летом поедem в Таганрог. И там ты увидишь, родной, настоящие морские корабли!



ВАСИЛИЙ ГРЯЗЕВ (1925-2002)

Родился 15 января 1925 года в селе Чернолесском Прикумского района. В 1939 году после семилетки поступил в Буденновское педагогическое училище. Весной 1942 года получил звание учителя, но по специальности не работал. Не дала война.

Как и большинство его сверстников, принимал участие в строительстве оборонительных сооружений. Именно в этих условиях непосильного для юношеских плеч физического труда, на голодном пайке, при любой погоде закалялся характер Василия Грязева. Не успело исполниться восемнадцати лет – наступил и его черед защищать Отчизну с оружием в руках. Неожиданно для него на долгие годы служба в армии стала новой профессией молодого школьного учителя.

Несмотря на молодость Василий Грязев быстро завоевал авторитет сослуживцев, став комсоргом роты в стрелковом полку. Затем грамотный, исполнительный, инициативный красноармеец был направлен командованием в военно-авиационную школу пилотов первоначального обучения. По ее окончании продолжил учебу в Балаишской бомбардировочной военно-авиационной школе пилотов. Служба в армии в тяжелые послевоенные годы обогатила В. Грязева ни с чем не сравнимым опытом, научила его подчиняться законам воинской жизни и приказам командиров. Именно здесь он понял, как выполнять поставленные задачи, преодолевая неприятные неожиданности, а нередко и смешные курьезы. Главное – в армии он научился отвечать за людей, которые ему подчиняются и ему доверяют. Демобилизовался в 1960 году.

После демобилизации Василий Грязев смог вернуться в педагогическую профессию: работал завучем, потом директором семилетней школы в селении Псыхурей Кубинского района Кабардино-Балкарии. Опытного ответственного руководителя образования не могло не заметить местное начальство, поручая ему новые участки работы: в птицеводстве «Куркужсин», а затем в республиканской газете «Кабардинская правда».

Куда бы ни забрасывала судьба В. Грязева, какую бы работу ему ни поручали, творческое начало, сформированное в молодом человеке с детства, проявлялось всегда. Еще в годы учебы в Буденновском педагогическом училище Василий страстно тянулся к книге, читал, как говорят, запоем. Не удивительно, что со временем у него появилось желание попробовать изложить на бумаге свои чувства и мысли самому.

Первый рассказ был напечатан в альманахе «Кабарда», когда Грязеву Василию исполнилось двадцать три года. До этого печатался в газетах с небольшими заметками, зарисовками о знатных людях, очерками. Первая по-

весть «Год начинается осенью» о школьной жизни вышла в журнале «Дон» и отдельным изданием в Ставрополе. Повесть получила большую почту, так как затронула сердца многих читателей. Затем вышли романы «Земляки» и «Пристань». Истории Ставрополя и Ставрополья посвящены романы «Горькое лето», «Огненная губерния», «Старший брат».

Ушел из жизни В. Грязев в 2002 году на 83-м году жизни.

Жизнь каждого человека не мыслится писателем вне истории. В рассказах «Лунная дорожка», «Поездка в лавру», «Ожидание тепла», «Редькин», «Жить и после смерти» прослеживается историческая общность человека с родной землей, с деяниями наших предков. Писателю удается создать живые образы своих земляков, наделив каждого невыдуманной судьбой. В его повестях и рассказах – реальные люди, имена которых Василий Грязев не только любит и знает, но и всегда называет.

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

Памяти Ильи Чумака

В воскресенье перед вечером мы приехали на Сентилеевское озеро.

Мой приятель Иван Васильевич Ситников вот уже много дней не давал мне покоя рассказами о том, как сейчас хорошо на «море Сарматском», рассказывал, какая рыба водится в нем, как она чуть ли не сама охотится за рыбаками.

Я хорошо знаю рыбаков, но все-таки не устоял от соблазна похлебать горячей ухицы при свете рыбацкого костра. Оставил все дела и поехал. Признаюсь, меня сразил последний довод Ситникова: если сами ничего не поймает, угостит ухой наш общий знакомый пенсионер Петр Иванович. Он поселился на все лето у берега озера, построив себе фанерный домик. У него-то рыба всегда должна быть.

Петр Иванович сидел на пороге своей дачи и нисколько не обрадовался нашему появлению:

- Неподходящее время выбрали – сегодня не клюет. Вчера надо было приезжать...

Известие это опечалило Ивана Васильевича, меня – нисколько. Не клюет и пусть не клюет. Отдохнем и без ухи. Провизии на ужин с собой прихватили, а свежей рыбы завтра в магазине купить можно.

- А если все-таки попробовать закинуть удочки? – нерешительно спросил Ситников.

- Ты можешь закидывать, Иван. Но не поймает – извиняться заставлю. Как это не доверять старому рыбаков? Видишь, вон сколько таких, как ты, сидят? С обеда сидят и ни одного пескарика не выгнали.

На берегу виднелись сгорбленные фигуры рыбаков, некоторые пытались ловить с лодки, с самодельных плотов.

Я оставил приятелей наедине – пусть себе жалуются на капризы озера, а сам пошел побродить по берегу.

Несколько дней назад прошли обильные дожди – берег порос невысокой травой, пестрел цветами. Кричали лягушки. Давно я их не слышал. Где же их услышишь в городе?

Закатное солнце пряталось в холодных тучах. Изредка проглядывали его лучи, загораясь огнем на мелкой ряби волн.

Расстелив плащ, я лег на траву лицом к небу, думал: всю жизнь бегаешь, суегишься и даже не видишь неба над головой, красоты этой. И еще о чем-то думал – не помню. Потом слышу вдруг голос:

- Дядя Саша, ужинать вас зовут!

Я приподнялся. Передо мною стояла девочка лет шести-семи. Незнакомая девочка. Но у меня будто кольнуло в сердце. Где-то я видел это личико и эти глазенки.

- Правильно, меня зовут дядя Саша. А тебя?

- Меня зовут Катя.

- А папу твоего как зовут?

- Дядя Вася.

- Значит, ты Екатерина Васильевна?

- Нет, я еще маленькая и меня зовут Катя.

- Теперь все понятно. А с кем ты приехала?

- С мамой. Мы к бабушке в гости приехали. Мама сегодня ловила-ловила рыбу и ничего не поймала.

- А папа не захотел вам помогать? Дома остался? Девочка вздохнула:

- Он от нас уехал. Совсем уехал.

От бестактности вопроса мне стало неловко перед девочкой. Я попытался замять этот разговор, спросил:

- И ты будешь с нами ужинать?

- А как же! Мы с мамой ужасно хотим есть.

- Маму твою как зовут?

- Рая. А фамилия наша Солнышкины.

- Умница. Все знаешь.

- Я до ста считать умею. И осенью в школу пойду. Мама мне новую форму купила. Я поднялся:

- Ну, совсем здорово! Раз есть форма, теперь ты настоящая школьница. Пойдем, Катя!

Она доверчиво протянула мне маленькую холодную ручку, и мы по густой траве зашагали к домику. Быстро темнело. Хозяин зажег керосиновую лампу, которая казалась здесь очень яркой, и включил приемник. С комфортом устроился Петр Иванович. Позавидовать можно.

Девочка щебетала, рассказывая что-то мне, тянула за руку, чтобы я слушал. А я все пытался вспомнить, на какую Раю похожа моя маленькая спутница? Одна когда-то училась вместе со мной. Но ее я встречал в прошлом году, дочка ее не похожа на Катю. И зовут ее иначе, и фамилия другая. А еще какая Рая может быть? Не помню. Или где-нибудь в городе видел эту девочку и забыл? Нет, не в городе. Я обязательно вспомню, где видел.

- Вот еще один представитель славной гвардии рыбаков. Знакомьтесь, – сказал Иван Васильевич. – Хозяйская дочка.

Худенькая женщина, хлопотавшая у стола, протянула мне маленькую руку.

- Александр Додонов, – назвал я себя.

Взгляд ее на секунду задержался на моем лице. Очень пристальный взгляд. Хотя пристальный – не то слово. Конечно, не то. В серых глазах ее промелькнули и радость, и испуг, и боль...

Но Рая... Рая Солнышкина... У меня не было таких знакомых. Я ее никогда не видел. Никогда. Так почему и она, и ее дочка показались мне очень-очень знакомыми? Почему?

Мы поужинали вместе. Не стану скрывать, и выпили понемножку. Иначе, что ж за рыбалка – без рыбы да еще и без рюмки водки. Рая тоже выпила стаканчик вина. Потом разговорились. Петр Иванович читал свои рыбацкие рассказы, невыдуманные рыбацкие истории, которые он записывал в толстенную тетрадь и в которых очень много было выдумки.

Катя взобралась ко мне на колени, трогала рукой небритый подбородок и спрашивала, почему я колючий. Это Иван Васильевич посоветовал мне не бриться перед рыбалкой, чтобы удача была. Я не побрился, а не помогло.

Девочка повозилась и уснула. Рая стала сокрушаться:

- Ну вот, примостилась. Давайте ее сюда.
- Пусть у меня поспит. Мы пройдемся, а она пусть поспит на руках.
- Да большая она, тяжелая.
- Вы за кого меня считаете? – пошутил я.
- Ну, раз хотите – пойдем, – ответила Рая.

Она взяла меня под руку, и мы направились поближе к воде.

Взошла луна. Через серебристую рябь «моря Сарматского» пролегла лунная дорожка. И нужно очень тесно прижаться друг к другу, чтобы двоим пройти по ней. Спутница будто догадывалась о моих мыслях – я чувствовал ее тепло и, казалось, слышал, как стучит ее сердце.

Волосы упали мне на глаза. Но я боялся тряхнуть головой, чтобы не потревожить спящую девочку. Рая догадалась, что мне мешают волосы. Она поправила их и заглянула мне в глаза:

- Может, вернемся? Давайте вернемся?
- Лучше сядем.
- Хорошо. Давайте сядем.

Лунную дорожку на середине озера пересекла темная лодка. Девушка и парень пели в два голоса:

Что ж ты не выйдешь ко мне, как прежде?

Не верит сердце, что ты ушла...

Лодка становилась едва заметной, а голоса еще доносились до нас:

Мне позабыть тебя нельзя, друг мой, услышь.

Мне слово о любви твоей былой шуршит камыш...

Я этот романс давно слышал, еще в зеленой молодости. Сейчас даже и не знаю – хороший он или плохой – забыл слова. Но тогда он мне очень нравился и сейчас больно напомнил о юности.

Лунную дорожку пересекла еще одна лодка, молчаливая. Но целым и нетронутым остался лунный след. Все так же серебрился он на ряби озера.

- Вы знаете, – сказала Рая, – мне эта дорожка напоминает любовь...

- Неверную, призрачную, зыбкую?

- Наоборот. Большую, настоящую любовь напоминает... Перебороздили дорожку две лодки, а она как серебрилась, так и серебрится. И тысячи лодок перебороздят ее – не погубят эту дорожку. Она погибнет, если только всю воду вычерпать из озера.

- А тучи закроют луну?
- Надолго ли?
- Могут и надолго.
- Все равно навсегда не закроют.

Я, старый холостяк, давно не веривший ни в какую любовь, был поражен этим сравнением. Великолепное сравнение! Разве во мне самом, в душе моей, не осталось этой зыбкой, но вечной лунной дорожки? Я повернулся к собеседнице:

- Вы сами придумали? Она тихонько засмеялась:
- Сама.

Наконец-то я вспомнил и эти глаза, и этот голос. Я никогда не забывал, я просто не сразу вспомнил.

...Мне было восемнадцать с половиной лет. Я лежал пластом в вагоне санитарного поезда, увозившего раненых из-под Курска. Лежал в полузабытьи, совершенно равнодушный ко всему. Единственное, чего хотелось, чтобы не стучали колеса вагонов. Стук этот больно отзывался в голове, во всем теле.

Вдруг слышу полусшепот:

- Додонов, кто здесь Додонов?

Из полутьмы вагона в халате вышла девушка-санитарка.

- Я Додонов.

- Вася? – испуганно-радостно вскрикнула она и прикоснулась губами к моему лбу. –

А я тебя сразу узнала.

У меня была забинтована вся голова. Только одним глазом смотрел, а она меня сразу узнала.

- Я тебя все время искала... Как перевели меня в санитарный поезд, все время ищу...

Я был не тем Додоновым. Но я молчал. Я, конечно, скажу, что не тот Додонов. Только не сейчас. Кто обвинит меня в обмане, во лжи, если обман, эта ложь, нужны не только мне одному? Пусть девушка хоть две минуты, хоть минуту побудет счастлива. Побудет не со мной, а с тем, кого она так хотела встретить.

- Почему молчишь? – близко-близко наклонилась она ко мне и снова прикоснулась губами ко лбу.

- Меня зовут Сашей, Александром. Девушка слегка отшатнулась.

- А как ты похож на него! Ты не обманываешь меня?

Как мне хотелось тогда, чтобы это был обман!

Говорит, похож, а видела один глаз мой и часть лба... Хотя я был и не тот Додонов, ушла она от меня не сразу, все рассказывала мне о своем Василии.

Рая это была тогда или нет? Скорее всего, она. Мне хотелось, чтобы это была она.

...Вернулись мы часов в двенадцать, распрощались, и я полез чуть ли не на четвереньках в низенькую рыбацкую палатку, которая стояла рядом с домиком.

Иван Васильевич проснулся и стал бурчать:

- Lovelas старый... Это – святая женщина. Не смей обманывать ее.

- Во-первых, я не ловелас, ты знаешь, старик. А во-вторых, я никого никогда не обманывал. Ты тоже хорошо знаешь. И для этой святой женщины я совершенно не представляю опасности.

- Вот и обиделся. Эх, молодо-зелено...

Он поворочался и уснул. А я долго не мог сомкнуть глаз. «Она была это или не она? Почему не спросил? Да ведь ясно почему – боялся ее ответа. А мне хотелось, чтобы это именно была она».

Разбудил меня Иван Васильевич еще до восхода солнца:

- Собирайся, брат, надо ехать.

- Да, ехать, к сожалению, надо.

Мы быстро оделись и выползли из палатки. С хозяином попрощаться не пришлось: он давно ушел куда-то с удочками. Рая с дочерью спали в домике. Я долго смотрел на этот домик, сбитый из фанерных ящиков. Иван Васильевич догадался, о чем я думал. Усмехнулся, покачал головой:

- Влюбиться успел. Ладно, подожди.

Он постучал в дверь. И сквозь перегородку я услышал его ворчанье;

- Извини, Рая. Но лучше быть рабом плантатора, чем рабом своего друга.

Я лично никогда не решился бы побеспокоить тебя.

- Я сейчас, Иван Васильевич, – послышалось за перегородкой.

Ситников подошел ко мне и закурил:

- Пойду голосовать. Как только остановлю машину, сразу беги.

Рая вышла во вчерашнем сереньком платьице, худенькая, маленькая, точно подросток.

- Вам не холодно?

- Нет.

- Прощаться хотел.

- Спасибо. Вы, пожалуйста, не смотрите так. У меня, наверное, помятое лицо. Я плохо спала.

Лицо у нее было усталое. «Но почему и ты плохо спала? Обо мне думала? Или о том, моем однофамильце? Скорее всего, о моем однофамильце. Иначе бы ты не бросила на меня вчера взгляд, в котором промелькнули и радость, и испуг, и боль...».

Прошли две машины, но Иван Васильевич даже руки не поднял. Рая удивилась:

- Почему же он не остановил?

- Хитрый он у меня.

- Он будто старший брат ваш.

- А я разве хитрый?

- Вы еще приедете к нам? У меня отпуск до первого июля.

- Приедем.

- Буду ждать. Только в субботу приезжайте. Хорошо?

- А если во вторник, в пятницу?..

- Сашенька, вам надо ехать.

Она взяла меня под руку, и мы пошли к дороге.

Неделя – это целая жизнь. У вас и работа и, может быть, другие свидания. Глядишь, через неделю и забудете о нашей встрече, – попыталась она шутить.

- Вы хотите, чтобы я забыл о ней?

- Нет, не хочу.

Она пожала мне руку:

- Идите, вон еще одна попутная.

Иван Васильевич остановил машину, забросил в нее удочки, сумки для рыбы, в которых сейчас, кроме банок с червями, ничего не было. Влез в кузов. Я вскочил следом, и машина тронулась.

- Больше не приедем сюда, – начал Ситников, – рыбы нет. Вот на Новотроицком водохранилище сама, говорят, на крючок лезет.

Я грустно усмехнулся. И долго глядел туда, где таяла маленькая сиротливая фигурка.

Над темным фанерным домиком еще висела луна. И след ее через озеро тянулся в мою сторону.

ЖИТЬ И ПОСЛЕ СМЕРТИ

Памяти Петра Ивановича Мирошникова

Береза была старая, с черными проплешинами по стволу и обломанной верушкой. Росла она перед окнами, и Андрей Иванович за долгие месяцы, что жил в пансионате, привык к ней, как привыкают к чему-то постоянному, извечному – к высоте неба над головой, к изгибам дороги, проторенной за многие годы, к шуму поездов, пробегающих за парком...

Привыкают и не замечают. И березу Андрей Иванович не замечал, а тут глянул в окно и сразу даже не понял, что изменилось. Не зарябило привычно в глазах. Со двора пахнуло синим холодноватым простором. Пустотой.

Догадался: березы нет.

Подавшись к окну, увидел и низенький пенёк, и траву вокруг него, забрызганную белыми опилками. Сейчас, при вечернем освещении, опилки казались красноватыми.

По привычке все додумывать до конца старик проследил путь дерева: поколют на дрова, дрова сожгут в кочегарке, а сучья – на костре. Дерево превратится в кучку пепла и дым.

Пожалел березу. Но скорее не из сочувствия к ее судьбе, а из сочувствия к себе. Береза напоминала ему старый осокорь на родине. Теперь же вроде рвались последние узы с краем детства и юности. И вспомнится ли то, что иногда вспоминалось под шелест листвы?

Мать одевает мальчишку во самое рваное, латаное-перелатаное. Хуже не придумаешь. Вешает холщовую сумку через плечо. Сумка тоже с заплатой.

- Иди, сынок.

На улице метель. Мальчик останавливается возле дверей, еще надеется: передумает мать.

Но она обнимает сына за плечи и подталкивает за порог. Тихо причитает:

- Андрюшенька, сынок, нету у нас батеньки, и ты теперь кормилец наш.

Парнишке недавно исполнилось восемь. Обещались осенью в школу отдать. А отец взял и умер. Осенью надорвался, ползими прохворал, ездил по городам – хороших докторов искал. Докторов не нашел, а деньги, что были, размыкал.

- Ладно, маманька, в последний раз нынче иду. Больше не буду побираться.

Она глядит на него сквозь слезы:

- А кто же братиков твоих будет кормить, сестренку?

- В работники лучше наймусь, – обещает мальчишка и переступает порог.

Он шагает по улице, а в ушах еще долго звучит: «Кто же братиков твоих будет кормить, сестренку?»

На углу мальчик поворачивает в переулочек, снимает ненавистную сумку и сует ее за пазуху: надо переходить речку, а там на льду полно ребятишек. И холод им нипочем: играют в казанки, гоняют на коньках, па санках, а кто и просто на своих двоих.

Постоял, поглядел. Так и подмывало самому смешаться с ребятишками, в кутерьму окунуться. А тут и заметили его:

- Андрейка, к нам!

- Скорее сюда!

Чувство ответственности взяло верх:

- Не могу. Дело есть.

- А не трогайте его, за кусками собрался.

- Ага, за кусками, – ответил Андрейка, – после мамы я старший в семье.

К ним подлетел подросток на новеньких лавочных коньках, лихо притормозил:

- Андрюшка-побирушка, Андрюшка-побирушка!..

- И-их!! – не сдержался мальчик и бросился с кулаками на обидчика.

Одолеть не одолел – обидчик был постарше и покрепче, домой пришел с расквашенным носом и синяком под глазом, но без слез. Сердито сказал матери:

- Больше побиранья не пойду!

- Андрюшенька-а!

- Не последний кусок доедаем. Поеду к деду помочи просить. Мать рассердилась:

- Ага, дожидайся от него помощи! С раскинутыми руками тебя ждет!!

- Поглядим! – как отрезал Андрейка. – Будто он не поймет – одна кровь у нас.

Только руками развела мать – вон какой вырос парень.

Дед встретил внука недружелюбно – сердит был на дочь: против родительской воли пошла. Обиду свою и на внуков перенес, не хотел их признавать. И этого мальчишку увидал впервые.

- Мать надоумила ко мне приехать?

- Будто у самого ума нету.

- Убежал, что ли? Без материнского позволения в моем доме оказался?

- Чего ради убежать должен? Будто мамка удержит меня.

- Ага, на прокорм к деду, стало быть, отпустила?

- Не бойся, не объем. Огляжусь тут малость и наймусь в работники.

У старика чуть потеплели глаза.

- Там бы и нанимался, в своем селе.

- Будто и не знаешь того – народ ваш покрепче живет, – укорил деда внук.

- Во режет, поганец! Как все равно по-писаному. Наперед вышла бабушка.

- Чего пристал к мальчонке? А то не видишь – ваша порода. Палец в рот не клади, по локоть отхватите.

- Ага, а твоя порода – ангелы, – не очень сердито возразил дед. – Дочка в кого? Не в тебя ли?

Бабка присела перед внуком на корточки и совсем не обращала внимания на хозяина:

- Как зверенок затравленный. Того и гляди зубами щелкать зачнешь!..

- А то он и не щелкает, – дед чувствовал, что не может сердиться на гостя.

- Ты погоди-ка, что еще скажу тебе, – пообещал мальчишка.
- Ну-ну, – подбодрил дед.
- Маманька моя тебе дочь или не дочь?
- Дальше что?
- Живет среди чужих людей, мается с дитенками, неужто не жалко?

Бабка затряслась: и плакала и смеялась, крепче прижимала к себе ершистого мальчишку. Дед лупал глазами:

- Нет, ты только погляди на него. Его корми за здорово живешь, а мамке поклонись за то, что позволила такую милость!

- Советую, чтобы лучше.

Бабушка подхватила внука на руки, запричитала:

- Дед ты у меня, вылитый дед! Старику по вкусу пришлось сравнение:

- Ладно, оставайся. Будешь тут меня уму-разуму наставлять.

* * *

В комнату постучались. Вошла нянечка и объявила:

- Андрей Иванович, вам письмо. Пляшите.

Последние месяцы старик с трудом передвигался. Но всякий раз на ее призыв – пляшите! – выстукивал на подлокотниках что-то наподобие барыни. Спрашивал:

- Хватит?

- Хорошо, Андрей Иванович, – смеялась девушка, – а теперь получайте письмо.

Ему писали об одном и том же: то приглашали на вечер трех поколений как участника гражданской войны, то просили как старого коммуниста вручить комсомольские билеты молодым производственникам, то как изобретателя и лауреата Ленинской премии приглашали на диспут «Что такое открытие?»

Девушка тоже знала, о чем пишут ее подопечному: и читала ему письма, и под диктовку отвечала иногда, – но всякий раз шутила одинаково:

- Пляшите, Андрей Иванович!

Понимала – не ахти какая шутка, но все пыталась вывести его из подавленного состояния хоть чем-то. Он прямо на глазах постарел, как жену увезли в больницу. Ей предстояла сложная операция, на благополучный исход которой трудно надеяться.

- От кого же сегодня письмо? – спросил без особого интереса, даже руки не протянул.

- Вроде бы с вашей родины, Андрей Иванович. Штемпель указывает.

- Ставропольский?

- А где ваши очки?

- Прочти мне сама, Лушенька.

Девушку звали не Лушей, но она откликалась. Ее сразу, как еще только пошла работать в пансионат, предупредили: «Люди тут разные, есть со странностями, чудачествами – относитесь ко всему этому с пониманием, старики заслуживают этого».

Ждать чудачеств пришлось недолго. В первый же день глянул на нее Андрей Иванович и попросил разрешения называть ее Лушей.

Новая нянечка подняла в удивлении свои черные (в молодости Андрея Ивановича говаривали: соболиные) брови, но вспомнила о предупреждении и улыбнулась:

- Называйте.

С тех пор и стала Лушей. Очень она была похожа на Лушу из его юности.

* * *

Андрея провожали на войну, и дома устроили прощальную вечеринку. Пригласили парней, кто оставался дома по молодости, девчат.

В тот вечер он впервые излишне выпил. Непривычно кружилась голова, все вокруг зыбкое, неустойчивое. И Лушино лицо было зыбкое. И ее черные глаза с соболиными бровями глядели, как из тумана. Он, помнит, очень боялся, что туман загустеет и глаза ее исчезнут, скроются от него. Ему так страшно и так больно. Чувствует, как закипают слезы.

- Лушенька, звездочка моя!..

- Милый!

Голос у нее чистый, будто звон родниковой воды. И сладок он, и ласков, этот голос.

- Лушенька, если не убьют... Она не дает договорить:

- Не убьют, мой милый, не убьют...

И ухаживаний, и объяснений до этого вечера не было. Не подвернись рекрутчина, возможно, и остались бы их чувства втайне. Не проглотил горького вина парень – и не отважился бы на те слова, что говорил девушке в тот вечер. И уж ни за что бы не решился поцеловать.

... С Лушей они в тот вечер распрощались навсегда, не подозревая об этом. Но так было угодно судьбе. И все равно через всю свою жизнь Андрей Иванович пронес блеск ее прекрасных, чуточку испуганных глаз, родниковую свежесть голоса и нежность девичьего лица.

Женился Андрей Иванович в гражданскую. По любви. А о Луше всегда помнил. Со временем ее образ слился с образом молодой подруги. Обе они воспринимались как одно лицо. Случалось, и жену называл Лушей. Ольга Павловна удивленно поднимала брови и еще больше становилась похожей на Лушу.

И ничего удивительного: обе они – сама юность.

И нянечка, что читала ему сейчас письмо, тоже сама юность.

Письмо с родины хорошее, теплое. И две просьбы: приехать на торжества и прислать автобиографию.

Чуточку бы поздоровее – тут же и телеграмму отправил бы: выезжаю такого-то числа. А обузой стать... И жена. Как еще у нее обернется с операцией?

Прислать автобиографию...

В крутые минуты жизни, в длинные и горькие годы несправедливого отношения к нему Андрей Иванович много раз проходил свою жизнь от самых ее истоков. Но сегодня совсем с другим настроением отправился он в хорошо известную, исхоженную дорогу воспоминаний.

... Знакомо закурились изломанные окопы на туретчине; затрепыхались красные знамена на морозном ветру: шибануло в ноздри свежестью новогоднего утра, утра тысяча девятьсот восемнадцатого года – власть в губернии перешла Советам! – и он, вчерашний прапорщик – товарищ председателя губисполкома.

Что за удивительное время! Таким прекрасным показалось Андрею Ивановичу былое! От воспоминаний вроде бы кровь по жилам заходила быстрее, гулко и радостно застучало сердце. Давно оно так не стучало.

Жил товарищ председателя губисполкома в гостинице. Дверь его номера не запиралась и в часы, когда он отдыхал. Время было тревожное, боевое – в любую минуту мог понадобиться.

Ничего не подозревая, Андрей Иванович и на этот раз весело откликнулся на полуночный стук:

- Входите, не заперто!

Он сидел за столом и готовил тезисы речи, с которой должен был выступать на Первомайском празднике. Заслонившись рукой от яркой электрической лампы, глядел на дверь. С удивлением узнал начальника штаба красновардейских отрядов эсера Коппе. С ним – двое неизвестных военных.

По лицу Коппе определил: не с добром пришел.

- Что случилось?

- Именем революции! Вы арестованы. Оружие на стол.

- Это что? Мятеж? – спросил товарищ председателя губисполкома, почти не повышая голоса и потянулся было к ящику стола, где лежал наган.

- Связать! – Коппе хорошо понял его жест. Дюжие молодцы в минуту скрутили руки.

- Вы ответите перед революционным законом! – Взбешенно крикнул он Коппе и несколько спокойнее – красноармейцам: – Разве не знаете, что я товарищ председателя губисполкома и комиссар по военным делам?

- Приказано, – не смущаясь, ответил один из них.

- Свяжите меня с председателем по телефону, – потребовал Андрей Иванович от Коппе.

- Через час-другой, – с улыбкой поглядел начальник штаба, – вас вместе к стенке. Успеете поговорить.

К дверям номера приставили часовых, и Андрей Иванович остался в комнате один со связанными руками.

«Что же произошло? Эсеровский переворот? Контрреволюция взяла верх? А Коппе, выходит, один из главарей контрреволюции, сволочь?.. Но как им удалось обмануть революционных солдат и матросов? Но как они могли поверить Коппе и не поверить мне? Почти со всеми добровольцами беседовал, когда создавали Красную гвардию, переименованную теперь в Красную Армию. Бывал в подразделениях, выступал с докладами, отвечал на их вопросы, помогал, что было в силах... Что же произошло?»

Пытался заговорить с часовыми. Но те требовали:

- Молчать! Не положено разговаривать с арестованным.

- Тогда передайте председателю совнаркома...

– Он тоже сидит.

Предсовнаркома, участник революционного движения с девяносто шестого года, негибаемый большевик. Внешне суховатый, угрюмый, но очень добрый по сути своей, необыкновенной честности и твердости.

Для Андрея Ивановича он был живым воплощением коммуниста. Те же, кто плохо знал предсовнаркома, видели в его твердости диктаторские замашки.

«Если и его арестовали, то дела совсем плохи... Недоглядели чего-то, пророкотейничали!» – казнил себя Андрей Иванович. На рассвете караул сменился.

Опять приставили к двери двоих. Но теперь в одном из них по голосу Андрей Иванович узнал бывшего своего ординарца. Он говорил кому-то, с расчетом, чтобы услышал арестованный:

- Не беспокойтесь, от нас никуда не денется. «Неужели и этот?..»

Когда чуть стихло, часовой открыл дверь. Развязал узнику руки, подошел к окошку, выходящему на улицу. Открыл его и перегнулся; через подоконник.

- Ага, все в порядке. Выпрямился, стал объяснять:

- Спускайтесь, Андрей Иванович. На бульваре вас ждут с лошадьми. Свет потушите, не маячьте.

- Да как спускаться-то? Второй этаж. Шуму наделаешь.

- А мы без шуму.

Он позвал второго часового. Тот принес веревку. Скомандовал:

- Живо!

- Сами-то?

- Меня поставили к двери. Откуда нам знать, что связанный по рукам комиссар через окно вылезет.

- Будто они дураки.

- Вы дверь закройте, а мы для верности пальнем в нее... Успокоится – сами разберемся что к чему.

Уже за городом, вдыхая запах полынной степи, Андрей Иванович, сказал своему сопровождающему:

- Сделаем вывод на всю жизнь – до последнего бороться и не складывать крылья. Всегда искать выход. Он обязательно есть.

- Крылов? – удивился кавалерист.

- В детстве картину такую наблюдал. Коршун гнался за куропаточкой. И так и этак она от него. Выбилась из сил. Тогда сложила крылышки и комочком – под кустик. Тут ее и настигла смерть. А почти рядом – два раза махнуть крылышками, четверть аршина пробежать – закроет терна...

Этот девиз и остался у него на всю жизнь.

Однажды артиллеристы открыли ураганный огонь по своему же отряду, в котором находился и комиссар полка. Отряд этот занял вражеское село раньше, чем намечалось. А те лупили по селу, считая, что там сидит неприятель.

Как предупредить своих, что предпринять? Ведь пока связной примчится туда, от отряда ничего не останется.

И тогда комиссар выхватил из чехла знамя и бросился на крышу горящего дома.

Неужели не увидят свои?

Рвануло еще два снаряда: перелет и недолет. Сейчас накроют? Артиллеристы разглядели красное знамя. Рядом с этим еще один эпизод лепится.

Река крутит его в водоворотах, швыряет о мокрые валуны. Он уже почти не сопротивляется – весь задубел от холода. Руки не повинуются, босые ноги, израненные острыми голышами, тоже отказываются служить.

Его охватывает полная апатия: все равно. Даже благом показалась смерть: по крайней мере, прекратятся мучения... Он и голову перестает держать над водой. Сколько уже нахлебался! Чувствует, как потянуло вниз, как белая муть закружилась перед глазами, как вместо воздуха в легкие хлынула вода.

Совсем не страшно.

И вдруг перед глазами ослепительно вспыхнул огонь. Куропаточка, спасающаяся от коршуна. Серый комочек, прильнувший к земле. И – тень коршуна. А совсем рядом – заросли терна.

Андрей Иванович почти уже бессознательно рванулся, отчаянно забарахтался и опять стал хвататься за склизкие валуны, не в силах удержаться.

И случилось чудо: его закружило, завертело на одном месте. Распрямил поджатые ноги и почувствовал под собой дно. Хорошее песчаное дно. Поднялся. Воды – чуть ниже пояса. И хотя сильное течение – с ног не сбило.

Покачиваясь, постоял. Сделал несколько шагов к берегу.

Вышел. Но радости не ощутил. Почувствовал под ногами землю, упал, обессиленный. И опять сложил крылышки, как и несколько минут назад в воде. Но, противясь самому себе, встал. Сделал несколько шагов по тропинке, бежавшей сверху. Ног не чувствовал.

Казалось, тут холоднее, чем в речке. Одежда схватилась ледком, и без преувеличения, леденело сердце. Но теперь не останавливался. Упрямо поднимался по крутой извилистой тропинке. Выше. Выше.

Наконец почувствовал теплоту у самого сердца и услышал стук сердца. Оно билось. Оно гнало кровь по жилам. А значит, он жив, он поборол смерть.

Вылез на самый верх, глянул и от досады заскрипел зубами: тропинка привела к дому, откуда минувшей ночью ушла остатки арьергарда, с которыми находился и Андрей Иванович.

Но тут же он увидел дымок, выходящий из трубы, представил горячую плитку, теплую комнату.

Позабыв об осторожности, почти побежал к дому. Судьба на этот раз хранила его: во дворе никто не встретился, а комната оказалась безлюдной. Даже и не удивился: будто так и должно быть.

Плита топилась. Он сел на горячий чугун, но не мог унять холодной дрожи. Тогда сбросил на пол конфорки, чтобы огонь стал ближе...

За дверью послышались шаги, сдержанный разговор. Он метнулся под нары – сразу сделалось жарко.

Вошли трое – посчитал по сапогам. Двое в яловых сапогах, один – в хромовых.

- Почему конфорки на полу? Кто побросал?

- Большевик, должно быть, прибыл поглядеть, как оборудуем госпиталь, – засмеялся остряк, не подозревая, что сказал правду.

Хромовые сапоги крутнулись, дианкнули шпоры.

- Шалва, ты объясни, пожалуйста, своим: бардачок этот надо прекратить.

- Ми разбэромси!

- Сунут в печку снаряд, и от нас одни шпоры останутся.

- Ми разбэромси!

- Разберись. И работы ускорить надо – завтра раненые начнут поступать.

Еще несколько человек вошло. Все в хромовых сапогах. Началось летучее совещание.

Андрей Иванович услышал тут такое, что не всякому и лазутчику удалось бы разведать. И теперь ему стало страшно. Собственная жизнь показалась очень дорогой. Во что бы то ни стало выжить! Добраться к своим!

Он жадно вслушивался в каждое слово и зажимал сердце рукой, словно боясь, что враги услышат его стук.

На улице началась суетня, офицеры, что были в комнате, почтительно зашептали:

- Приехал.

- Приехал...

Кто приехал, зачем? Все из комнаты высыпали во двор.

Громкие команды, разговор. Но не мог разобрать Андрей Иванович, о чем говорили. Потом – цокот копыт и – тишина.

Начал догадываться: приезжало начальство. Очевидно, считали, завернет сюда. А начальство передумало.

Долго прислушивался Андрей Иванович к звукам улицы – вроде все замерло. Осторожно выглянул в полуоткрытую дверь, которая вела в сени. Никого.

На улице! Тоже никого. Что же случилось? Все уехали вслед за начальством?

Лепясь к стенке, шмыгнул за угол дома. Неподалеку – заросли терна, спускающиеся к реке. Нырнул в кусты. Огляделся. Прислушался. Тихо.

Побрел по кустарникам вверх, в ту сторону, откуда принесла его река.

Пересек дорогу, спускавшуюся к реке, и оказался в зарослях лещины. Забрался поглубже и начал растирать распухшие ноги, которые с трудом держали его.

Вдруг послышался звон удил. Андрей Иванович подполз к краю обрыва. Перед ним открылась поляна на берегу. На ней – оседланные лошади.

Чьи лошади?

Стал оглядывать поляну. Голоса слышались. Смех.

Отполз чуть в сторону и увидел в самом низу, где дорога спускается к самой воде, трое казаков резались в карты. Дорогу охраняют, переезд. Чувствовали себя казаки в полной безопасности и настолько были увлечены игрой, что ничего рядом не замечали.

Опять забухало сердце. С трудом унял его. Чуть успокоился. Смело подошел к лошади, по-хозяйски проверил подпруги. Снял притороченную бурку, развернул и набросил ее на плечи, будто собственную. Казак да и только, хоть и босой. Вскочил в седло...

Неожиданно потянуло сквознячком. Прошелестел ветер в дальних кронах берез. За парком прогремела электричка. И Андрей Иванович вернулся к сегодняшнему дню. А так хотелось продлить те мгновения, когда он почти на глазах казаков перебрался на другую сторону реки. Они хватились, но было поздно.

Иная сцена припомнилась ему, связанная с этим событием.

Чистенькая палата. Командир полка, его товарищ, сидит на табуретке возле койки. Он возбужден от только что прочитанной бумаги:

- Вот ты, Андрей, какой у нас герой! После такого представления – считай, орден засиял на твоей груди.

- Не надо шутить.

- Какие шутки?

- Я из трусости очутился там, в их стане. И бежал из трусости, а ты – к ордену.

- Мы этого не знаем, а знаем, что благодаря тебе разбит сводный вражеский полк, благодаря твоему героизму, а сознательный или несознательный...

Андрей Иванович представил себя с сияющим орденом на груди, а рядом – бывшего предсовнаркома с его утрюмоватой улыбкой в глазах, которые все видят насквозь, и так стыдно стало!

- Дай погляжу своими глазами, чего сочинили про меня.
И не успел командир опомниться – бумага превратилась в лоскутья.
- Ты что? Ты что наделал? С ума сошел? Тотчас между ними встала медсестра.
- Товарищ командир полка, не обижайтесь, но он прав. Не за ордена воюем, а за советскую власть. Победит она на всей земле – вот наша главная награда.
Командир не обиделся, а рассмеялся:
- Спасибо за политграмоту. А я, грешник, думал, за ордена воюем. Ну, Андрей, союзничка ты себе подыскал. Будущая жена?
- А думаешь, не надежный?
- Но она тебе тоже не поможет спастись от награды. Орден тебе дадим.
Вечером командира убили из-за угла.

* * *

Андрей Иванович любил грустные вечерние часы, и особенно часы позднего вечера, когда вечер переходит в ночь.

Мрак подкрадывается незаметно, исподволь. Он даже не подкрадывается, а как бы поднимается из недр земли, и все в нем растворяется – заборы, сад, белые колонны в пансионате, собственная его комната и он сам...

Но сегодня и ночь подкрадывалась не так, как всегда. Долго светила пустота в том месте, где она закрывалась обычно старой березой. Похожей на осокорь. И немного было не по себе от этой необычности, что ли. От этой пустоты.

Кому помешала?

Вроде и пустяк, а тихая обида захлестнула сердце. И пошел вспоминать все горькое, что довелось пережить.

Было собрано все, что случалось когда-то, что было омерзительно и самому в себе, что сказано вгорячах, необдуманно, а что просто переиначено или беспардонно наврано.

Вспомнили о бегстве из-под стражи в мае восемнадцатого года, отказ от ордена, чудодейственное и неправдоподобное спасение из бандитских лап, рекомендацию на высокий пост человеком, потерявшим доверие...

И слова, слова-то приводились почти точные, во всяком случае – правдоподобные, которые он говорил только одной своей Ольге Павловне.

Однажды Андрей Иванович вздрогнул от предположения: не жена ли оказалась в роли Иуды?

У них было принято спрашивать друг друга прямо, говорить один другому правду, какой бы она горькой ни была. И Андрей Иванович без обиняков спросил ее однажды об этом. Ольга Павловна полузакрyla глаза и схватила за сердце. Но после непродолжительного молчания совершенно спокойно ответила:

- А знаешь, возможно, ты и прав.

- То есть?

- Если ты ни с кем не откровенничал, кроме меня...

- Но разве в том откровенничанье, как ты говоришь, были слова против нашей совести и против наших идеалов? Неужели я тебе должен объяснять?.. В конце концов, могла возразить, а не...

Ольга Павловна ужаснулась:

- Думаешь, я писала?!.

- А как понять твоё восклицание о возможной моей правоте?

- Андрюша, Андрюша... Ты забыл о друге нашего дома? Карасеве? Если в чем предала тебя, то только в том, что рассказывала ему много о нашей жизни. А с кем я еще могла поделиться счастьем?..

Ольга Павловна не выдержала. Заплакала.

- Прости, Оля. Это было одно-единственное мгновение, когда я плохо подумал... Покачивая укоризненно головой, жена заметила:

- А у меня и мгновения такого не было.

... Открылась дверь. Андрей Иванович не услышал, а скорее почувствовал, что открылась.

- Ты, Лушенька?

- Вы не устали, Андрей Иванович? Вам не пора в постель?

- После такого подарка не сразу уснешь.

- Подарка?

- А письмо – не подарок?

Луша поправила пижаму на нем, поправила плед, которым были укрыты ноги. Но в глаза Андрею Ивановичу глядеть избегала. Догадался:

- Лушенька, ты мне хотела сказать, что началась операция? Как Ольга Павловна?..

Девушка с трудом заставляла себя говорить спокойно:

- А то б вам не сказали, Андрей Иванович.

Тогда он подумал, что у нее какие-то свои заботы, и больше не стал спрашивать. Попросил только:

- Ты, голубушка, в случае чего... Не бойся меня побеспокоить...

Она закрыла глаза рукой и почти выбежала из комнаты. Не должен он сейчас услышать, что Ольги Павловны нет в живых. Пусть отдохнет, поспит. Завтра придет с врачом – неизвестно, как перенесет старик тяжелую весть.

Оставшись один, Андрей Иванович подкатил свое кресло на колесиках к тумбочке, включил настольную лампу и записал на обратной стороне письма для памяти только одному ему понятные мысли: «Мы будем жить и после смерти. Заблуждаемся, что мертвые сраму не помнят. Живет имя твоё и память о нем... Карасев... Я говорил: «По своим стреляете». Карасев умышленно стрелял. На всеобщий их позор».

Выключил свет и долго сидел в темноте.

Мрак поднимался все выше и выше. Вот он растворил верхушки деревьев, золотые купола старинной церкви, пепельно-серые облака, небо. Закрылся про свет от спиленного дерева.

Ему стало хорошо, покойно. И не пугала пустота за окном...



АНДРЕЙ ГУБИН

(1927-1992)

Андрей Терентьевич Губин родился 17 октября 1927 года в станице Ессентукской Ставропольского края в семье терского казака.

Первые произведения писателя были опубликованы в газете «За Родину» ещё в 1951 году. В 1953 году поступил на сценарный факультет ВГИКа, получил квалификацию киносценариста.

По окончании института вся жизнь писателя была посвящена литературной деятельности. Рассказы и повести Губина печатались в журналах «Октябрь», «Смена» и альманахе «Ставрополье». Первый сборник произведений А. Губина «Афина Паллада» вышел в 1966 году в Ставрополе.

В течение 20 лет трудился над романом-эпопеей «Молоко волчицы», в которое, как он говорил, «вложил все свое сердце». Роман становится одним из крупнейших произведений писателя, который сделал его известным и знаменитым не только в России, но и за рубежом. Впервые опубликован в 1968 году в Москве в журнале «Октябрь», а в 1970 году – в Ставрополе. Затем вышел отдельной книгой в Московском и Ставропольском издательствах, переиздавался 14 раз, был переведён на европейские языки.

В 1969 г. Андрей Губин был принят в Союз писателей.

На рабочем столе остались 12 романов... «12 камней на Млечном пути Вселенной» – так озаглавил автор весь свой цикл. До конца своих дней писатель трудился, работая над новыми книгами.

Умер писатель 6 марта 1992 года в Москве. В 1995 году в числе трёх писателей Андрей Губин был удостоен Литературной премии имени М. Шолохова (посмертно).

Андрей Терентьевич Губин – терский казак, и казачья тема ему близка. Роман «Молоко волчицы» – о судьбе казачества Пятигорья в годы революции, коллективизации, Гражданской и Великой Отечественной войн.

В романе представлена самобытная жизнь казачества. Писатель использует этот интереснейший этнический материал для проверки человека вообще, его жизнеспособности, внутренней красоты, его верности тому святому, что составляет смысл жизни, для проверки его правды.

Герои Губина ищут правду целеустремленно. Михей Есаулов пробивается к своей правде настойчиво и убежденно. К другим героям правда приходит сама, как итог прожитой жизни, порой вопреки всем первоначальным убеждениям (Спиридон). Некоторые так и остаются одинокими, потому что правда для них остается сосредоточенной только в себе.

Жизнью каждого героя в романе писатель спрашивает, чем богат человек. И каждый отвечает по-своему: хозяйство, золото (Глеб Есаулов), кони (сотня Спиридона), свой сад (Александр Синенкин), творчество (Анисим Лунь), борьба за всеобщее счастье (Михей Есаулов; Антон Синенкин), любовь (Мария, Глеб). Но есть и общее мерило – это отношения людей, мнение станичников о человеке или его отсутствие до и после смерти. Этим мерилом определяется верность правды каждого. Овеян поэзией и авторским сочувствием образ Марии, в итоге героическим выглядит характер Спиридона, несмотря на злостное в прошлом сопротивление установлению советской власти, таким стойким борцом, «камнем чистой воды», остается Михей Есаулов, хотя он и был объявлен врагом. Поэтому гибель Глеба трагически одинока и страшна в жуткой изоляции от людей, и физической и духовной, в обнимку с прочными обломками «хозяйства».

Роман «Молоко волчицы» – произведение многоплановое. Он наводит на размышления о ходе истории, об отношениях людей, о любви, о соотношении ценностей в человеке, о границах и мерах этих ценностей.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «МОЛОКО ВОЛЧИЦЫ»

История братьев Есауловых, составляющая основу известного романа Андрея Губина «Молоко волчицы», олицетворяет собой судьбу терского казачества с его появления на Северном Кавказе до наших дней.

Роман глубоко гуманистичен, утверждает высокие социальные и нравственные идеалы нашего народа.

Глеб Есаулов, юный казак Войска Терского, таскал скотине корм. Вечерело. Заметил узкий вечерний луч зари на мерзлых инейных кочках пустого серого база – как ремень багряного золота.

Любоваться некогда. Старался не наступать, широко перешагивал, когда нес от дальнего скирда сено на высоких вилах. Вот если найти такой в самом деле, длиной в сажень – на сколько бы фунтов потянуло! Или – задумался отыскать в горах тот таинственный папоротник, что в Иванову ночь светится резным огнем листа; с умелой молитвой сорви этот лист-клинок, и будет он клониться к земле всюду, где закопано золото, клад, чугунок с монетами или кольцами...

Спохватился: еще разок глянуть на красный ремешок на серых кочках база. Но полоски-луча уже не было. Быстроты вращения Земли юный казак не знал, как и не знал о самом вращении, но тоскливо почувствовал: как быстро летит время, меняя утро на вечер, зиму на лето, юношу на старика.

И чтоб не отставать, заторопился: до темноты еще успеет нарубить за сараем дров. На завтра уже нарублены, но запас спину не гнет, и запасы нужны немалые – впереди целая жизнь!..

...Снег срывался и таял у тусклой воды. Желтый лист длил последнюю пляску. Ночью кто-то убрал сады в вековую жемчужную сказку.

Ночь. Не пахнет шалфей. Тишь родимой земли. Вдруг проснешься в сияющем трепете: что белеет там – может, сады зацвели иль уснули там белые лебеди?

Между синими глазами двух морей юга России – раскосым Каспием и круглым Черным, – там, где Азия сорок веков смотрит на Европу, тяжким грозным

переносом нависли Белые горы Кавказа. У цоколя льдистых хребтов стелются солнечные долины, изрезанные каньонами, балками и лесистыми взгорьями.

Особняком от Главного хребта пасется стадо Синих гор. Под ними тихий подземный океан минеральной воды.

Тусклы были огни поселений. Когда да когда пройдет пастух с горсткой овец или пронесется, как черная птица, одинокий всадник в бурке, и привольно жилось тут зверю да ландышу, птице да барбарису...

Если же долины и горы оживлялись толпами воинственных пришельцев, то жизнь и вовсе надолго замолкала по их следу – по кровавому следу пожариц.

Скифы и гунны, печенеги и персы, Тимур хромой, что прославил Вселенную курганами из черепов, гнали отсюда гурты скота и караваны невольников, оставляя здесь свои могилы, храмы, кумирни, аулы. Аланы, греки, римляне, турки так же оставили в этом диком цветущем краю так называемый культурный слой и память о себе наименованиями вершин и плоскогорий.

Горы стояли как запечатанные сокровищницы от сотворения мира.

Пылали жесточайшие религиозные войны за господство над душами – и, значит, телами – немало магометан вначале были христианами, а христиане ради жизни принимали ислам.

Со времен русского монарха Иоанна Грозного кавказские народы вливались под державный скипетр стонациональной России, не желая ига постоянных нашествий с юга, запада, востока. То же и при Петре Великом, при императрице Екатерине Второй. Царь Николай Первый силой, тактикой выжженной земли присоединил к гигантской империи последние островки аульных народов, остававшихся национально самостоятельными, но открытыми мечам любых завоевателей. С этого времени – после жестокой и наиболее длительной в истории войны – битвы на Кавказе прекратились до двадцатого века, когда произошли войны гражданская и Великая Отечественная.

В предлагаемом романе в пейзажах – в хронике нашей станицы – и пойдет речь о некоторых занимательных историях, связанных с трудами, сражениями, любовью, ненавистью, бедностью и богатством. И поныне рассказывают старики разные были и небылицы о прошлом.

Я же, охотясь в тех местах, лишь записал их как станичный писарь, кое-что опустив и немного прибавив для верности изображения.

Сидя на площади, у бочки, с шариковой ручкой за ухом и серебряным стаканом в кармане нейлоновой куртки, я вглядывался в лица молодых и старых, степенных и неутомонных, а когда в месячном свете мы шли гульбой на мягкоковровый берег бешеной горной речки, то и в несущейся, как время, воде виделись кони, зори, покосы, стычки, дым или прекрасное лицо моей тетки Марии Федоровны Синенкиной.

Частенько захаживал я к ней выпить стаканчик-другой домашнего винца и поспрашивать насчет старинных казачьих песен, сложенных на биваках безвестными линейными поэтами-удальцами. Она охотно пела слабеньким голосом, рассказывала все, что довелось видеть, и только отказывалась говорить о себе и своей жизни, считая это неинтересным, – тоже думала, что все интересное где-то там, в Москве или на Курильских островах. Она-то и подарила мне большую серебряную чарку, из которой пивал се дед.

А вот старый казак Спиридон Иванович с удовольствием беседовал и о старине, и о своем нелегком житии – да и носили его волны житейские от Кавказа до Игарки, от Игарки до Мадрида. Преследуя белку или куропатку, много пожгли мы с ним пороха в стрельбе по фуражкам в высоких дубравных балках, где он сторожевал на ферме, решительно не умея, казачья косточка, быть пенсионером, отдыхать, лежать – «там еще наложимся!».

В извилистом пути жизни он сохранил ясный ум, как Мария Федоровна беззлобное и щедрое сердце. И мне открылись картины юрской эпохи и бронзового века казачества, и его «золотого века», совпавшего с отменой буйного и своевольного казачьего сословия, что было последним тяжелейшим воссоединением Северного Кавказа с Россией русских с матерью-Родиной, обновленной в огненной купели революции 17-го года.

Постоянным фоном жизни людских поколений здесь остаются горы. За городом, поселком или станицей неспешно и грозно уходят в космос заснеженные взгорья, леса и балки, сглаженные снегами и светом предвечерья, будто склон одной огромной долины. В окаменевшей неподвижности синеют сизые космы облаков на гранях Большого Кавказа. Выше – чистое небо. Над горами, облаками и небом неправдоподобно высоко Эльбрус, Шат-гора, Грива Снега, корона Европы. Зловещая, космическая тишь. Приглашение к смерти, к бытию в камне и глине. К ледяному покою свирепых облаков, безжалостных пропастей и предательских лавин, дремлющих в ожидании человеческой жертвы.

Время действия романа начинается спустя столетие со дня заселения станицы – в лето господне тысяча девятьсот девятое, в кое припала юность наших героев, последних казаков буйного Терека и славной Кубани.

Место действия уже указано, хотя точности ради его следовало бы очертить до крохотного пятачка сказочно прекрасной земли в Предгорном районе, из конца в конец которого всадник проедет за полдня, а пеший пройдет за день. Однако во избежание патриотических споров, в какой именно станице все это случилось, и чтобы пальцем не показывали на соседа, скажем так: это случается всюду, где живут люди, всякий раз по-своему. Казакам не привыкать к дальним странам: прадеды выплясывали с парижанками, крестили язычников индейцев в прериях Русской Калифорнии, в Китае чай пили и в Стамбуле детей оставили.

В туманной пелене грядой дремали горы-лакколиты, до каменных краев налиты нарзаном, богатырь-водой. Где ствол березы белой ник и никли кудри ив плакучих, пробился головой родник и зажурчал струей шипучей.

Текут года. Звенит в тиши ручей забывчивей и глуше. И разрастались камыши у поймы узенькой Кислуши. И кони, серый да гнедой, не смущены и звершином лаем, брели сюда на водопой, как будто слаще тут вода им. За ними – люди. Как вино, играет, пенится соленый родник, пробившийся давно в скале от времени зеленой. Орлам и львам тут царство культа – их налепили тут везде. А тем коням доселе скульптор – на отдаленнейшей звезде.

И снова протекут года, пока узнают: не болото – а с серебром бежит вода, и закипит тогда работа. Узнают бабы, маету – от родников Горячих, Кислых они носили воду ту на ясеневых коромыслах. Ее в бутылки наливали с изображением царских пицц, и за границу отправляли, и в рестораны столиц.

И повалили господу, с кинжалом выставляя руку, зане целебная вода лечила их мигрень и скуку.

Лечился тут один поэт, чеканя строки на булате...

Молчит дуэльный пистолет в его казачьей белой хате.

Кружились листьями года. Росли в Предгорье города. Но прежде только вопреки треск, медянки блеск да птичьи хоры. Безбрежно волновался лес, и спали молодые горы.

В громаде каменной брони навстречу ветрам, что с юга дули, как мастодонты, шли они на водопой и здесь уснули. Пророс кочевника скелет. Внизу желто от ярких примул. Цветут шафран и бересклет. Вот тур в полете тело ринул, Звенит капель. И весь апрель зарянки флейтовая трель.

МОЛОКО ВОЛЧИЦЫ

(отрывки из романа)

Михей обрадовался, когда Денис Коршак позвал его с собой на заседание Совдепа. В ту же ночь Михей стал коммунистом, его приняли в партию большевиков. Определили должность – командир красного эскадрона. Перед светом – июньская ночь коротка – работу закончили.

Комендант Синенкин пригласил Коршака, Быкова, Есаулова на ужин, хотя уже можно было завтракать.

Сидели на балконе гостиницы «Эльбрус». На площади стояли часовые. Горничная принесла на стол жареную утку, редиску в сметане, графин водки. Михей не ел сутки. Но не пилоь ему, не елось у коменданта – думал о встрече с матерью и Глебом. Чайный стакан водки размягчил его. Он оттягивал час встречи, а потом пришел аппетит, и в ход пошел позеленевший сыр из тумбочки коменданта, пригодились и сухари в тороках.

Часов в десять утра к гостинице прискакал Игнат Гетманцев, ставший ординарцем Михея. Он рассказал, что в станице бой между родственниками белых и красных, бьются в основном бабы, но втягиваются и казаки, и мужики. Бьются рогачами и камнями, но порой слышатся и выстрелы. Масла в огонь, – продолжал Игнат, – подлил иногородний Мирон Бочаров, собаколов и мыловар, брат Тихона, убитого вчера в бою. Мирон самосудом посек арапником жену Савана Гарцева, зарубил на перине его деда, разбил в хате сундук, вырядился в казачью черкеску, вскочил на коня и поехал по станице победителем, погоняя захваченной в чулане колбасой.

Денис, Антон, Михей переглянулись. Выскочили на площадь, схватились за кольты – коней! Опередил товарищей Михей – как рысь прыгнул на своего коня, огрел его кулаком по шее, бурей помчался к церкви...

Мирон привязал священника к яблоне, чтобы сечь его.

Он услышал за спиной конский храп и топот, увернулся от коня, но плетъ Михея разорвала ему нос и губу. Мирон ткнул коня Михея шашкой распорол кожу на груди. Это окончательно взбесило Михея – нестроевой человек замашивается клинком! Тут шашка Мирона полоснула Михея по ноге. Тогда комэска лихо, как на смотру, ссек ему голову.

- Гнида мужицкая! – рыдал Михей.

Подоспели Игнат, Денис, Антон и держали Михея за руки, пока не пришел в себя.

Михей поехал к матери. В воротах встретил Глеба и, всхлипнув, расцеловал брата. На крыльце стояла мать, сыпала зерно курам. Она увидела старшего сына, но отвернула глаза. Михей хотел пожалиться ей на Спиридона, что он

начал братскую войну и что их поединок – всего лишь семейная ссора. Мать опередила его, спросила с гневным надрывом:

- Ты иде брата дел, подлец?

Михея захлестнула ярость – дед Гаврила! – темная, слепая:

- Наплодила волков! Зарублю-у!..

- Руби, хам! – Прасковья рванула кофту, подставила клинку тощую, вислую грудь.

Михей замахнулся. Глеб смело кинулся к нему – и Михей разрубил передок фаэтона. Потом заплакал, отошел, утихомирился. На коленях просил у матери прощения. Мать простила. Стал ему дорог и Глеб, сторонившийся войны, мирный пахарь, и Михей пожалел, что обидел и брата словами «наплодила волков».

Раз, подвыпив, Прасковья Харитоновна рассказывала:

- Осталась я вдовой сам-четвертый. Пашу, сею, от людей не отстаю. Работа наша полевая. Куда детей? С собой на загон беру. Старшие помогают, младшенький Глеб в балагане жевку сосет. И чтоб его ящерики или хомяки не покушали, я там собаку за сторожа привязывала. А водились у нас собаки от волка. И правда, гавкали с воем. Сучек мы так и звали Волчихами.

Вот прихожу я в балаган полдничать, а Глеб, было ему годика два, Волчиху сосет – у нее дома кутята оставались. Спужалась я, не приведи господь. Она его славночно так лапами обняла и рычит на меня – мать, да и только. Больше я ее в степь не брала. С того, думаю, и приключилось, сердце у Глеба волчье стало, беспокойный он характером. И никакие собаки его не берут. В любой двор зайдет – кинутся, загавкают и тут же руки ему лижут, лапами кверху падают, а иные бегут и визжат, царица небесная, матушка...

Так говорила мать, а в станице плели разное, будто Глеб и мясом живым питался, и умел оборачиваться в волка и прокусывать людям шеи.

Подлечивая раны, Михей жил с матерью и братом и, на удивление Глебу, занимался хозяйством – кормил поросят, утром выгонял, а вечером встречал овец и коров, чистил сараи, плотничал и шорничал.

Дядя Анисим шептал в чихирне и за углами:

- Написано: сын на отца, брат на брата. Враг проберется в твой дом женой, другом, сыном. Поля засеются костью, черепом. Станичники наши просились домой хоть на час на детей взглянуть, а Советы встретили их огнем. Сатана ликует...

Родня белых спешно седлала лошадок и скакала разыскивать сотню отцов, братьев, сыновей. Жены среди бела дня несли в горы харчи, табак, слухи.

Михей Есаулов подстерег пророка, взял за черное серебро бороды и потянул вразумительно:

- Язык у тебя длинный, дядя Анисим. Будешь брехать – укоротим.

Пророк замолчал, но старушки-богомолки стали шептать. Казаки продолжали уходить в белые. Рос саботаж. Наступала спекуляция.

Смутными привидениями, роняя туманный прах, воины Апокалипсиса вышли на красных конях...

Решением Совдепа был создан особый отряд по борьбе с тайной и явной контрреволюцией, бандитами, ворами, саботажниками, спекулянтами. Отряд возглавил Андрей Быков. Внутри отряда был революционный трибунал – суд, решения которого нельзя обжаловать, нельзя подать апелляцию или кассацию в высшую инстанцию. Помимо судей, в ревтрибунале были следователь, обвинитель и исполнитель

приговоров. Следователем была Февронья Горепекина, она ходила в шинели и га-лифе красного сукна. Деятельность особого отряда и ревтрибунала была разнообразной – чаще обыски, аресты, допросы, суд, конфискации, реквизиции.

Однажды и во двор Есауловых вошли чекисты.

- Вот он, – показала Горепекина на Глеба.

- Хозяин? – спросил молоденький Васнецов.

- Ага, – с трудом ответил Глеб.

- Почему не выполняете предписание Совдепа сдать всех верховых коней?

- У меня верховых нет.

- Не брешь, – сказала Горепекина, – ты их в фазтон запрягаешь!

- Отмыкай конюшню! – старается басить Васнецов.

- Пойдите... братец Михай...

- Стоять некогда!

Вывели пару белых. Увели. Глеб утирал слезы. Хмуро отвернулся Михай. Обидой окаменело лицо матери.

Подумал Глеб, не бежать ли ему от новой власти. Но ведь не бросишь вареное и печеное! Всякий раз в беду он вспоминал светлый лазурный остров – Марию и детей, которые тянули его все больше. Он завидовал Денису Коршаку, который мог в любое время прийти к Синенкиным, к Антону комендант жил в гостинице, но часто забегал домой. Сердце обливалось кровью, как подумаешь, что Денис мог погладить детей, дать им гостинцы, разговаривать с Марией. Петька Глов, стало известно, скончался в «ошпитале» и перед смертью в письме просил Марию простить его за все обиды.

Денис действительно разговаривал с Марией о женском равноправии, о школах, в которые пойдут ее дети, о будущем мире. Она отвечала ему всей душой – красив, приветлив, добр председатель Совдепа. К тому же друг брата Антона. Нравился ей и другой друг брата – Михай Есаулов. По субботам друзья вместе с Федором и подростком Федькой парились в бане у Синенкиных, потом пили из самовара чай. Разок заметил Михай, что Мария, пока парился Денис, выстирала ему белье, высушила утюгом и заштопала рубашку.

Федор любил расспрашивать фронтовиков о германской кампании, долго пытался понять, что такое танк, и, все поняв, спросил:

- Сколько же пар быков таскают его?

- Машина это, дядя Федор, как чугунка! – смеялся Михай, балуясь с племянницей Тонькой.

- Чугунке рельсы надобны!

- А эта без рельсов прет по болотам, лесам, камням. И людей косит бесчисленно, тысячами валит. Она сама в рельсы обутая.

- Какая же это война? Это смертоубийство! – поучал Федор. – Вот мы, бывало...

Иногда три друга помогали Федору по хозяйству – благо ни у кого своего хозяйства не было. Перекладывали сено, чистили колодезь, поправляли стены. Тут же и Мария и ее дети. Михай понимал тоску брата Глеба, пересказывал ему о семье Синенкиных и иногда кольнет шильцем: мол, Денис парень хоть куда, вот и пара Марии-вдове. От этого и Михай становился Глебу неприятен, и тогда он думал о Спиридоне, страдальце и мученике, и жадно ловил слухи о том, что белая сила скоро отвоюет Кавказ – и тогда конец смехам-шуточкам Дениса и Марии.

Появлялся у Синенкиных и старший сын Александр, «скубент», как безжалостно называл его Федор. Революция застала его в читальном зале. Странно повел себя Александр, услышав о революции: сын простого крестьянина, правда с двумя дипломами о высшем образовании, он в безотчетном страхе бежал в горы, жил как дикий в лесу несколько месяцев, и потом его отловили охотники, пригнали домой к человеческой жизни. Он опаматовался и теперь считал себя уже пострадавшим за народ, близким знакомым многозначительно намекал, что в свое время состоял членом тайной организации. Он вспомнил свое славное прошлое в беседе со случайно встреченным князем Арбелиным – встретились они в библиотеке. Александр переболел и тайной живой клетки, и происхождением мироздания, и садоводством и теперь увлекался археологией. Оказалось, что и князь интересуется раскопками прошлого. Но в тот раз он сказал Александру:

- Археология будущего будет изучать черепа с пулевыми дырками!

- Но зато какиегоды будут зреть в будущем обществе! – патетически воскликнул Александр.

- Пока они поспеют, их нельзя будет есть без отвращения – до того они нальются кровью! – отвечивал полковник без погон.

Они обменялись адресами – князь и смерд, ибо уже свершилась Февральская демократическая революция. Александр долго вспоминал умного собеседника, втайне преклоняясь перед ним, аристократом, знающим пять языков.

Александр ходил в мягкой бекеше на заячьем меху, на голове шляпа пароль высокоученого человека. Он был трусоват, внутренне ленив – оттого вечный студент, довольствовался малым, но не по-спартански, а по-зачьи. Вернувшись в станицу, заведовал народным образованием, жил на квартире у бывшей директрисы женской гимназии, с которой сошелся без романа, она была вдвое старше его. Выстрелы пугали его еще тогда, когда товарищи Антона всаживали пули в потолок хаты из револьверов. Его идеал не воин, а тихий профессор из тех, что оставляют на мостовой калоши, входя в трамвай, – так заняты они своей наукой. И в идеальном обществе эти профессора станут и пахарями и будут знать два удовольствия – труд и еду, не терзаясь сомнениями, любовью, ненавистью. Такой человек должен был жить долго, как дерево, как черепаха, а проблема долголетия уже поселилась в податливом мозгу Александра.

При словах Александра Михай откровенно зевал, Денис старался быть терпимым и слушал ученого садовода, а брат его Антон становился мрачен, что настораживало Настю. Антон не ладил с Быковым, скрепя сердце принял создание ревтрибуналов – безапелляционных и, стало быть, непогрешимых судов. Фронты отодвигались все дальше – и падала власть военного коменданта.

Вскоре гражданская война приблизилась к станице – белые дерзко налетали из лесов и балок, красные эскадроны все чаще на ночь не расседывали коней.

ВРЕМЯ ЖИТЬ

И точно такую же шашку Михея Есаулова положили на алый бархат в музей. Шабаш войне.

Дни были наполнены величайшей работой. Надо было победить семилетнюю разруху, прорвать фронт голода, блокаду тифа, цепи невежества – самого страшного зла человечества.

В эти дни Михей редко видел мать, забыл о жене, отдалился от родственников. Изредка мелькнет в голове тот или другой пропавший брат.

Потом младший брат отыскался.

Свадебный каравай Васнецова и Горепекиной был замешан на крови Дениса Коршака. На столе вместо вилок лежали наганы, вместо чарок – гранаты, а вместо песен – клятва верности революционному долгу. В свадебное путешествие захватили тройную норму боепайка – патронов. Молодожены решили, если будет сын, назвать его Крастерром, а дочь – Крастеррой Красный Террор, против мировой контрреволюции, дезертиров, буржуев, спекулянтов, саботажников, валютчиков, единоличников, верующих в богов и царей. После неудачных первых родов – беременную ранили в бою – Фроня затяжелела опять. Пришлось ей отказаться от мужской одежды и подружиться с бабами, знающими толк в родах. Но обязанностей своих Горепекина не забывала.

- Здорово, браток! – приветливо тронул за плечо Глеба Васнецов. Старый знакомый!

- Не помню, – перепугался Глеб. Черт дернул его выйти из кунацкой горницы из знакомого муллы и торговать на аульном торжке шерстью.

- Ну как же, станичник! Документы! – потребовал чекист.

- Я из татар, – мямлил Глеб, одетый горским чабаном.

- Не валяй дурака! – подошла Горепекина.

По документам выходило, что Глеб Есаулов должен находиться при мельнице.

- Мы тебя давно ищем, – доверительно сообщил Васнецов. – Что же ты уехал, а за муку и труби не отчитался?

- Дак я...

- И должен твой год проходить мобилизацию. Одногодки твои уже вернулись, а ты все никак не отслужишь положенное каждому гражданину. Топай!

Председателю Совдепа позвонил начальник уездной ЧК:

- Михей Васильевич, забежи к нам на минутку!

- Зачем? – насторожился Михей.

- Брата твоего поймали, Глеба, от мобилизации скрывался.

- Запомни, Быков, у меня братьев нет!

- Он в трибунал попадет, просил тебе сообщить.

- Я сказал: у меня братьев нет, есть враги!

Михей положил трубку. Он знал, чем пахнет трибунал. Немного подумав, позвонил Быкову и попросил его не сообщать ничего матери о Глебе, пусть Глеб так и числится в бегах.

В трибунале разбирались скоро.

- Первая категория, – сказали.

- Чего? – не понял Глеб.

Потом понял.

Выдав себя за мужа Марии Синенкиной, Глеб укрывался в семье карачаевцев, издавна связанной дружбой с родом Синенкиных. А начиналась дружба так.

Высоко жил в горах мулла. Ценил он книги, как и ружья. Вся сакля в надписях была и золотым цвела оружием. В косматых бурках чабаны, подкумской двигаясь долиной, его гоняли табуны с Джинала до горы Змеиной.

Водой кристальной из кумгана свершив намаз, он у кургана молился на день так раз пять – он был высок ислама духом – и можно было тут распять муллу, он не повел бы ухом. Он от дружины боевой уединился с богом рано. Но стих священный – стих Корана – горел на шашке у него. На камне выточив кинжал, порой в долины наезжал – бить серн, медведей, барсуков, а попадись – и казаков. В седельных сумках не овес – возил арканы и колодку...

Однажды в бурке он привез с охоты русскую молодку. Давал из Персии купец динары, шелк – отдать без крику б. Но умолил ее отец муллу принять казачий выкуп.

С горою встретится гора, пока сберешь – казак невесел – двенадцать фунтов серебра. Он взял костыль, мешок навесил. И так по миру, яко наг, ходил невольный раб-кунак. Ходил-сбирал не от добра двенадцать фунтов серебра. Двенадцать лет он спину гнул. И вот приехали в аул, запасшись стражей и подарком.

Скала. Ущелье. Поворот. Вот сакля. По двору идет в шальварах розовых татарка. За ней табунчик татарчат. Кинжал и нож с боков горчат. По-горски заплетенный волос. Под шалью бархатный чепец...

«Маришка!» – крикнул тут отец, и бабы с ним завыли в голос. Но все же с лихостью былою казак здоровался с муллою. В иное время – штык в ребро, сей час – поклон и серебро. Маришка что-то тут мулле по-ихнему пролопотала и, показав на амулет, родне руками замотала: «Не надо, тятя, серебра, домой в станицу не поеду. Простите вы, сестра и брат, и поклонитесь бабке с дедом».

Маришка шерсть чесала, мыла, валяла бурки, башлыки, хоть попервам частенько выла, завидев русские штыки. Потом смирилась. Полюбила муллу в чаду любовных снов. И пять джигитов подарила ему на смену – пять сынов.

«Теперь люблю я Сулеймана, хоть буду я кипеть в аду. Из-под нагайки мусльманов под плеть казачью не пойду. Один адат все люди чтут: нужна я всем, пока при силе»...

И पुще родственники тут, как по покойной, голосили. «Приманой опоил абрек... Опять пузатая – приметы... Обасурманилась навек... А дети, ровно Магометы...»

Князь сам зарезал трех баранов и жирный растопил курдюк. Нарушил заповедь Корана, открыв гостям бузы бурдюк. И пили, ели... В отчий дом семья вернулась с серебром.

Но с той поры родниться стали, перенимать и торговать, дарить клинки заветной стали, друг друга в праздник навещать. К одной вдове в ночах духмяных татарин приезжал не раз. Среди сынов ее румяных есть и с косым разрезом глаз. Так тропы становились шире. И реже проливалась кровь. Учились жить как люди в мире, где властвует одна любовь.

...Наконец пора мне воду отряхнуть с пера. Писать здесь прозою уместней, венчая все казачьей песней.

Расстреливают обычно на рассвете.

До рассветной поры приговоренных вывезли на линейках в старые каменоломни – и Глеб ломал тут камень.

Осыпаемый метеоритами, тяжело пытается выдохнуть сквозь тысячелетний сон синий Бештау, просторно разлегшийся вширь и вверх. Лопочут камыши. Зияет ямами меловой Млечный Путь.

Еще не светало, но ждать нечего.

Старший начальник, возмужавший, но безусый Васнецов смотрит на Горепекину, что наперед подписала акты об исполнении приговоров восьми дезертирам. Она кивнула – пора. Дезертиров поставили в ряд, лицом к штольням. Сзади встали исполнители. Кто-то с хрустом повел плечами.

В холодеющей паузе, в сонный шепот рябины, поднимаются маузеры и карабины.

Стремительно неся в глаза конец солнечной пряжи, обрезанной богинями смерти.

Выпь съчит, болотная птица. Завыли собаки. Искромсанная выстрелами ночь опять непорочно цела.

Дремлет Бештау. Грезит в огромных глубинах сонм враждебных миров.

Горепекина хотела осмотреть трупы, но в этот раз лишь прошла над упавшими в ямы, близко не подходила. Стоны смолкли. Вдруг застонала она сама – неловко повернулась, а была на седьмой неделе. Муж с трудом довел ее до линейки. Она уже кричала от боли.

- Давайте скорей! – торопил Васнецов солдат.

Лязгали заступы, заравнивали погребение. С краю штольни жесткий, слежавшийся щебень. В соседней воронке мягкая тина, на которой росла острая болотная трава. Кидать далеко, но вроде заровняли.

Забелел восток. С жесткого края штольни выбрался раненый Глеб, заткнул рану под ребром платком, подаренным Марией на прощанье, и, где ползком, где шагом, двигался в сторону лесных балок. На миг открывал глаза, видел звездную ширь мироздания, хотя был уже полдень.

Глухие осенние балки. Нервно шумящие леса. Садится солнце. Рдеют кисти калины. Ветерок сгребает трепещущие, как сердце, листья. Рана нарывает. Семья волков близко подошла к ползущему. Звери смотрели в глаза человека. Глеб смотрел на них. Волки постояли и ушли.

Безвольно, как ветром занесенный лист, косо летит ястреб и тоже делает круги над раненым. На жилистых отвесных скалах созрели терн и кизил – некому собирать.

Леса... Леса...

Ловушка – серебристый крут, паук душит козявку, блестят на закатном солнце его запасы – зеленые и синие мухи.

Ужасающая красота гор.

Величайшая пустошь вселенной...

Туман обступил Глеба. Из тумана вышла лошадь, заговорила по-человечьи. Казаки. Не нашенские. Уходят за кордон. Они дали ему воды, хлеба, умело перевязали рану.

Давно не стригли бороды казаки. Похлебали горя. От карабинных ремней на плечах многолетние мозоли. Патронов в обрез, как дней оставшейся жизни. Нет ни родных, ни друзей. Скрылись милые станицы. Путь один – в Персию, в Турцию, к черту на рога. Над лесом сказочным – луна. Потопленная темным отчаянием, прахом рассыпается жизнь.

Нет, он не пойдет с ними, будет бедовать тут, в лесу. Вот только дайте ножик какой-нибудь, кресало и котелок. Зверя он не страшится – чего уж страшнее человеками, если можете, помогите срубить берлогу, а места ему тут знакомые.

Казаки помогли Глебу и сверх просимого оставили топор, шинель и ослепительный браунинг-кастет с одним патроном.

Ушли, прикованные к своей судьбе золотыми царскими цепями. Глеб пожевал корочку, съел две горсти кизила и смотрел из темноты на бугры, еще освещенные луной. Постель у него мягкая – ковыльная, волчьи шорохи не страшны, а вот что делать дальше?

Думы его дома, с матерью и Марией. Молча молился он ей. Давал обеты. Просил не покинуть его на горах. Нежнейшими именами призывал возлюбленную сердца своего. Прятал сморщенное, как голенище сапога, лицо в ковыль, пахнувший ее волосами... Прилети кукушкой, упади дождем на рану горячую, откройся в траве родником – огонь опять испепелил губы... Вызванное воображением лицо Марии превратилось в лицо матери. Но он еще вспоминает тихие денки на хуторе у Марии. О, с какой быстротой пронеслись эти дни!

А мать – много матерей голоса нынче.

О, сердце матери!

Снова качаешь ты люльку, напевая «Казачью колыбельную» великого поэта: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю»...

Ты жадно ждешь стука в дверь, оставляешь в печи убогий свой ужин вдруг вернется сын, и он не должен остаться голодным. А где-то треснули выстрелы, блеснули клинки, натянулись веревки. Ты зажигаешь лампаду с трепетным огоньком, падаешь ниц перед образом Матери, молишься о детях. И так же молятся другие матери, чьих сынов убили твои дети, и ты ломаешь руки, ведь та мать – ты сама.

О, сердце матери!

По первому снегу Мария пришла к Прасковье Харитоновне и, зарывав, упала ей на грудь. Вездесущая Катя Премудрая сказала Любе Марковой, а Люба Марии, что Глеба осенью расстреляла ЧК. Обголасив Глеба, Мария подняла измученные глаза.

Прасковья Харитоновна приняла весть на ногах, не упала, не закричала. Только скорбные складки легли у рта. И великая тоска затуманила очи.

- Не плачь, Маруся! – сказала Прасковья Харитоновна. – Миша мой в начальниках ходит, он бы сказал, если чего. Пока никаких известий нету. Будем ждать.

«Вот железная!» – подумала Мария, и твердость матери в горе помогла ей высушить слезы.

Мария вернулась работать в коммуну, заведовала птичником. Предлагал ей любовь председатель артели Яков Уланов, но она только жалко посмотрела на него – какая ей теперь любовь!

Тайно от всех она ставила в церкви свечи за упокой раба божьего Глеба, заказывала отпевание, ходила на воображаемую могилку в ломках и сильнее тянулась к брату «покойного» Михею Васильевичу.

Михей Васильевич тоже радовался встречам с Марией, вникал в ее жизнь, помогал делом и словом. О Глебе они никогда не говорили. Ульяна, знавшая от Михея о расстреле Глеба, тоже привечала Марию и ее детей. Горе заставило и третью невестку Есауловых Фолю лепиться к Марии и Ульяне.

Зимними вечерами все трое вязали шерстяные чулки и варежки в доме Михея. Фоля побаивалась его, но он редко приходил раньше полуночи. Иногда они гадали на Спиридона и Глеба – оба выходили живыми, но в таком зловещем окружении черных, пиковых карт, что сердце сжималось. Песни в те дни пели невеселые...

Как во тех горах Кавказских,
Там во темном во ущельице
Лежит молодец, шельма он хороший,
Черной бурочкой укутанный,
Камушками закладенный.
Как с-под этих из-под камушков
Ковыль-травка пробивается,
А на той на ковыль-травке
Поверх камушков цветики алые,
Зимой белые снега сыпучие.
Мелки пташки туда прилетают,
Во ущельице песни распевают:
Ты проснись, проснись, молодец,
Бела зимушка, она проходит,
Весна красная наступает,
Твоя женушка в беседушках гуляет.
Все в беседушках гуляет,
Себе мужа выбирает...

СИНИЕ ГОРЫ КАВКАЗА

Тысячу лет назад греческие мореходы, подплывая к кавказским берегам, писали: «Над Колхидой высится гора, треть ночи освещаемая солнцем». Древние народы и племена, кочующие по травянистым равнинам Европы и Азии, давали различные имена двуглавному гиганту, из которых главное – Эльбрус, или Грива Снега.

На провесне, теплым февральским деньком, молодые казаки ходили на стрельбы под Острый бугор. Там под водительством инструктора Антона Есаулова, в снежной балочке, стреляли они из винтовок и наганов в цель картонную голову Чемберлена. Инструктор Антон Есаулов учил будущих кавалеристов, а Михай Есаулов, не отставший от молодых, подковыривал мазил, радовался – старый бык борозды не портит – он стрелял отлично.

Возвращаясь домой, Антон опередил допризывников. Он еще донашивал армейскую шинель, работал в военкомате, военная казачья косточка, но душа загоралась иным, не военным. Готовился поступить в консерваторию, занимаясь сочинительством и собирательством музыки, песен, Божья искра, что тлела в роду Синенкиных, веками спящая под каменной шапкой, прорвалась в Антоне огненной магмой.

То было время невиданных дерзаний и взлетов. Горы, реки, моря, тайга и пустыня покорялись человеку. Ветер времени сорвал каменные наслоения на душах, и магма энергии расцветала по стране заводами, электростанциями, поэма-ми, урожаями. Антон не знал генетических теорий рода, но чувствовал, что природа через него выражает наконец стремление его дедов, родителей, их братьев. Понимая, что в пунктире жизни он всего лишь крохотная черточка, он считал себя призванным на большие дела. Идя со стрельбищ, он оглядывал мир, как первооткрыватель.

Пашни были заснежены. Кое-где протаяло, и земля там лежала как черный пух, легкая, волнистая. Нежно пуховели еще более черные кучки земли, нарытой и перетертой лапками хомяков. Так манили они свежестью, что Антон не

удержался и погрузил пальцы в прохладные черные груди земли, бесчисленные, многорожальные.

Станица лежала внизу, просматриваемая от края до края. По ту сторону уходили в гору такие же, как и здесь, черно-белые пашни и зелены. Под холодком Толстого бугра и Пикета синел снег. Выше и дальше, резко и как попало, белели грани Главного Кавказского хребта. На одной высоте с хребтом перемешалось белое руно застывших, как на гравюре, облаков. Надо всем этим – над пашнями, горами и облаками – неправдоподобно высоко вздымалась исполинская масса Эльбруса.

Любуясь неоглядной панорамой, Антон сжался от незнакомого нового облика Бештау, на вершине которой побывал в детстве. Беспощадно четко рисовались на лазури неба сине-серые контуры железной шершавости. Одинок и светло под Острым бугром. В долине под Машуком длинная туманная полоса. От безжизненности Бештау веет диким, не поддающимся разуму хаосом, непокоренностью. Чудилось, что горы еще красноватые под пеплом вулканов, в неостывшей окалине магмы.

Антон представил, как ярко и сумрачно освещали Кавказ факелы вулканов в доисторические времена. Как нехотя отступало море. Надвигались ледники. Потом тут ревели бронтозавры. Бились с южными мамонтами саблезубые тигры. В этих же балках сутуло ходили обезьяно-люди. Их пещеры завоевали племена охотников на зубров и медведей. Это же солнце освещало шалаши первобытных кузнецов и пастухов. Тут справляли кровавые обряды, хранили огонь в глиняных сосудах, изобретали лук, колесо, топор...

Нет, не угасли горы. В их звериных складках навсегда залег запах серы и гари. Бесчисленные орды людей прошли здесь, где снежные горы соседствуют с знойными пустынями, лесные дебри – с плодородными полями, а солнце тропиков – с лютым северным бореєм. И неспроста в преданиях земных народов возникали тут картины рая, земли богов и героев, и тысячи лет племена тянулись сюда, где высится гора, треть ночи освещаемая солнцем.

В легендарный мрак уходит прошлое Кавказа. Боги Олимпа сражались здесь со старыми богами-титанами Аргонавты плыли сюда за золотым руном. Эльбрус – темница Прометея. Следы Великого переселения народов здесь на каждом шагу. Цари Кавказа упоминаются в Ветхом завете как нечто древнее. Жизнь здесь была ключом, когда еще не было ни Рема, ни Ромула, ни их матери-волчицы. В языке осетинов – когда-то азов, отсюда «Азия» – до тысячи слов, родственных по корням немецким. Есть свои Нибелунги. Есть эпос, подобный гомеровскому. Герой и бог северных саг один долго скитался по Кавказу, прежде чем обосновался в шхерах и фиордах Скандинавии.

Предки Антона заселили этот рай, в котором и ад свободно уместился со всем огненным хозяйством. А серо-синяя железность гор, их пугающая неподвижность, словно сознающая свою силу, остались. Грозно торчат из земли далеко разбросанные обломки скал. За ними и поныне мерещатся спины панцирных чудовищ, оголтелый вой первых веков жизни, неповторимо ужасных. Это чудо, что разум человека не затемнили пещерные ночи одиночества, ночи звериного бытия, ночи, озаренные взрывами эльбрусской лавы.

Три самых величественных близнеца природы окружают человека от начала. Звездное небо, синее море, белые горы. Созерцание их делает человека или

поэтом, или сводит с ума. Потому что это пути вечного стремления человеческой души – ввысь и вдаль. Так не манит и так не угрожает ничто.

В стране безмолвия так не бывает тихо, как в горах, поражающих равнодушием. Горы – страшнейшее создание природы. Горы равнодушны. Их жестокость не похожа на откровенный гнев океана или на затаенную вражду космоса. В ураганы море гибельно. Горы прекрасны и привлекательны. Но достаточно начать восхождение, чтобы заглянуть в каменные глаза смерти. Горы всегда спят и, спящие, подстерегают человека. Поселиться в горах могли только безумцы, бросившие вызов Вселенной. Словно гонимые на гибель, вечно стремились сюда поколения, оставляя в земле кости, мечи, черепки.

Никому не сгибались в угоду. Ютились над синими безднами. Пили железную воду – и сердца у них стали железными.

Антон свернул к колхозному птичнику, увидев мать. Михей добился для Марии реабилитации, и она стала колхозницей. Поговорили о том, о сем, об отце, что был в бегах, о дяде Спиридоне, песни которого любил Антон. Мария, Антон и Митька жили с семьей Федора Синенкина в старой из синего камня хате под железом и не ладили с невесткой – жена Федора хотела быть полноправной хозяйкой на своем подворье. Мария считала, что Антон по этой причине хочет уехать учиться, и уговаривала сына остаться в станице.

- Снимешь квартиру в городе и работай себе баянистом.

- Нет, поеду учиться.

- Ты же с детства играл на свадьбах, и лезгинку умеешь, и барыню, чего ж тебе учиться?

- Я, мама, песни пишу, музыку к словам.

- Мотив? – догадалась мать.

- Да. Одну мою песню на границах поют.

- Ты ее мне перепиши и напой.

- Выучусь, заберу вас с Митькой в большой город, хватит вам всех обстирывать да в навозе копать. Вы-то нарзан хоть пьете?

- Некогда, – улынулась Мария.

- Вот казачество! Все им некогда! Люди за тыщи верст едут сюда пить воду! И руки у вас, как у амбала в порту.

- Рабата такая. Это ты, сынок, в армии отвык, тебе и страшно. А я скажу – или приснилось мне, или выдумалось? Будто шла я степью горькой, жаркой, серые коршуны, пыль, сушь, тоска. Долго шла. И вдруг зелень, пруды, белые дома, флаги на воротах. Усадьба колхозная. Это мы ездили в один кубанский колхоз за опытом. Все там новое, все по-другому. И я будто новая. Что, чего – не пойму, а дышится легче, даже засмеешься без причины, а работа, сам говоришь, не легкая, мой сынок. Как во сне.

- Было и у меня такое, – говорит сын. – Первый год служил я не на заставе, а на отдельном секретном посту. Время скучное, двое нас, пограничников, горы семь верст в небо, вода шумит, да барсы ночами воют. И хоть дружили мы с Османом, тяжело без людей. Перевели нас на заставу – тут веселее, хотя службы и строгости прибавилось. А когда повезли нас на парад и мы шли по городу батальоном – вот точно ваша усадьба с флагами: такая радость в душе, такой огонь кипит, что я тогда и сочинил первый марш. Это от жизни, от людей зависит, а не потому, что вы пруды и новые дома увидали.

- Сказать я не умею. Есть и у нас и пруды, и сады, а вот что-то там показалось мне другим. Может, потому, что клуб у них голубым покрашен, да еще поле как бархатное, на нем ребята ногами мяч гоняют.

- Что же, у вас краски голубой нету? – засмеялся Антон. – Красьте и вы. Не в краске дело, а что живете с людьми вместе.

- Михей Васильевич звал меня в партию...

- Вступайте, женщины теперь везде впереди.

- Смех – я же малограмотная, тайком учусь по Митькиным книжкам.

- Сам-то Митька был двоечник!

- Он по скотине бешеный. Веришь, любую корову подоит, кони ему покоряются, а как уроки делать, так и заскучает. Не идет ему грамота. Только и удался – быкам хвосты крутить.

- Бить его некому! Вот я до него доберусь! А вам попрошу план в стансовете, за лето сделаем хату, будете жить отдельно от Федора.

У Марии навернулись слезы. Страшно ей уходить от своих, от родимого гнезда. Она горой стоит за родных, всю отдает себя, но как вода в сухой песок, уходит ее доброта к родственникам – разрушение старой семьи, распад родственных связей совершались неостановимо, как и разрушение частной собственности и старого государства. Рождалось новое общество людей, объединенных работой, соседством, взглядами, а не только кровными узами. Кинулся как-то и Михей Васильевич спасать свой род, да лишь посмеялся – и время не то, и люди изменились, и близка им не станица и круг родных, а вся Россия, открывавшаяся кому вольно, кому невольно. Сам Антон уже мало знал с двоюродными, а троюродных и не знал. Новые у него товарищи, новая родня.

- Что ж мы в новой хате будем делать двое с Митькой? – говорит мать. – Вот кабы ты не уезжал, а женился и жил бы с нами.

- А есть невесты?

- У Бойченкиных, сестра Гаврюшки, что в артистах, в отпуск приехала. Такая расфуфыренная, ровно слизанная, по кораблю работает... чертежница, что ли. Вот бы и жена тебе.

- Ну давайте сватать.

- Так посмотреть же вам надо друг дружку, познакомиться.

- Чего смотреть! Я вам верю!

Тут только мать улыбнулась, поняв в сыне неистребимое казачье шутовство. И все же вздохнула:

- Девка, как капустаный вилок, тронь – и скрипнет. Огурец в пупырышках.

- Зовут-то ее как? – продолжает шутить сын.

- Ювелина, – с трудом вспомнила мать.

- Эвелина, – поправил сын.

- Ага, дома ее кличут Евой.

- Знатное имя, жаль, я не Адам!

- Может, сходим к ним в гости? – воспрянула мать. – Фонечка Бойченкина моя подруга.

- Сходим. Или я не казак?

- Ну?

- Женит меня шашка острая!

- Правильно! – крикнул подъехавший со спины Михей Васильевич. Соскочил с коня легко, будто серебро на висках накладное, а морщины на лбу от шашек времени случайны. – Во какого орла воспитала нам Красная Армия, Мария Федоровна! У него и родинка, как у твоего братца Антона. Раньше бы взяла кавалера в гвардию. Вот все зову к себе в колхоз заместителем – не идет.

- Учиться поеду, Михай Васильевич.

- Учиться – это дело, – погрузился председатель колхоза. Разлетаются наши орлы из станиц по белому свету, тесно им у нас, а нам, старым пенькам, уже не вырваться от земли, тут и свекуем. Ну, что ж, скачи дальше, лихое племя... Да только и нас, хлеборобов, в будущем помяните добрым словом.

И тогда горы показались Антону ниже колена, а обветренные лица матери и Михея как из светлой бронзы.

В конце лета Антона вызвали в консерваторию. Он попросил в колхозе коня, шагом поехал проститься с родными местами. Напился из тех горных родников, в которых пили его деды, поехал к матери.

Птичник – в зеленой прохладной балке. Рядом старый сад с канавами, в которых снуют в воде раки. И в самые тихие часы деревья тут шумят, не смолкая, – в балке постоянное русло горного ветерка.

Мария сильно изменилась за последнее время. Расцвела в конце бабьего века. Любовь ее кончилась сама собой. Между ней и Глебом непреходимая вода. Кончается все. Устает железо. Песня их спета. Звал он ее к себе, куда-то в Среднюю Азию, не поехала от родных могилок. Сватались к ней пожилые женихи – не пошла, перед сынами совестно. Когда-то барыня Невзорова назвала ее гадким утенком. Теперь лебедь выросла. Одинокая лебедь. Помятая колесами Глебовой арбы.

Долго шли мать и сын по замирающей степи. Он, одетый в городской костюм, вел коня в поводу. Она всплакнула и просила писать почаще. Ему казалось, что старость матери была раньше, давно, в голодные годы, а теперь проступала молодость, и он подбадривал ее, намекал, что и ей еще не поздно замуж выйти. И лишь когда вскочил в седло и мать по-старинному обняла шею коня, хоть конь тот оставался в колхозе, сын увидел в ней жалкое, покорное, бабье. А когда издали оглянулся, на кургане стояла высокая женщина, будто из царства склоненных деревьев привыкала жить прямо, не сгибаясь.

Ясный месяц садится, заливая порядки домов зеленым светом. Яркие и редкие, как всегда при месяце, звезды. Густо квакают на музге лягушки. Серо, печально, безлюдно. Налетит ветерок, поиграет листьями верб, журчит вода в мельничной Канаве. Должно, скоро светать будет, а председатель колхоза еще не ложился – опять прозаседали.

Мирно гудят жернова, перемалывая зерно нового урожая. Казаки первыми прославили свои колхозы большим хлебом. От маслобойни плывет сладкий аромат подсолнечного масла и горячего жмыха. И скоро окутает станицу самый вкусный запах утренней зари – от уставших за ночь пекарен. И хлеба вволю, и сквер у клуба взялся, вода в колодцах прибывает, строятся новые школы, учреждения, растут новые люди, и есть у председателя думка распахать, раскорчевать, очистить от камышей пойму Подкумка от Белых гор, сделать землю садом.

Под «шумом» замерли парочки – неутомонные, а потом в степи на работе дремать будут! У хворостяной запруды серебряное озеро. Михей Васильевич

прищуривает глаза, чтобы берега озера расплылись вширь, видит в пригорной станице флаги на мачтах, паруса, море... И почему это клапаны в сердце не стальные, чтобы дожить до коммунизма!

Новое побеждало необоримо, но еще дремали револьверы, на чердаках таились клинки, еще «мужик» или «татарин» в иных устах звучали презрительно. Семнадцать станичных колхозов вытеснили извечное единоличное хозяйство. Но еще не все единоличники смирились с этим.

В ту зеленую кавказскую ночь молодой механик МТС Сергей Стрельцов, недавно приехавший на жительство в станицу с женой из Рязани, залег во дворе охранять картошку – цвела она, «как молоко», уродила сам-двадцать, и воры подкапывали ее. Не знал механик, что не за картошкой – за ним охотились враги колхозов и пришлых мужиков. Узкогрудого веселого парня, казалось, полюбили все. Он охотно помогал нуждающимся семьям вспахать огород трактором, катал на нем ребятишек, без всякой мзды чинил станичникам часы, швейные машины, потеснив в этом деле Федора Синенкина. Ложась в картошке, не взял и дрюка, думал руками проучить воров, а руками он поднимал тракторное с шипами колесо.

Враждебно шуршит бузина. Мяукают кошки. В четвертую стражу Сергей видит: тихо переходят речку – на светлом звездном пологе горбатые тени. Сергей встал и крикнул. Тени побежали на крик, шуриша ботвой. Блеснули топоры или лопаты. Сергей кинулся к хате: «Тося, давай наган!» – хотя никакого нагана у него не было. Жена успела открыть дверь. Жену зарубили сразу, а Сергея оглушили.

Очнулся механик у гаража МТС, где стояли тракторы. Убийцы взяли в кармане механика ключ, но замок был с секретом, приказали:

- Отмыкай!

Стрельцов собрал всю силу, рванулся и метнул ключи в бурьян. Схватка продолжалась долго. Наконец механик затих.

За двумя гробами шло полстаницы. Ближе к гробу шли Михей Есаулов и Февронья Горепекина. Она осуждающе смотрела на председателя – не всех врагов выслали в коллективизацию, вот их работа!

Новое побеждало неодолимо, но лишь в борьбе.

СМЕРТЬ «ЭДЕЛЬВЕЙСА»

Второй месяц в горах. Выбивались из сил с коровами. Полтораства голов, треть доится. У Любы и Нюси отваливались пальцы – Крастерра доить не научилась, боялась коров. Сдаивать молоко помогают и мужчины. Особенно ловок в этом деле Митька. Завидя его, коровы с разбухшими сосцами лезли к нему, мыча от боли. Митька приучал телят сосать не только своих маток, но и других коров.

Из пещеры-загона так и тек молочный ручеек. Собаки уже не пили из него, ели сметану в ямах, ожидали, когда прирежут очередную издыхающую корову, чтобы лизать теплую кровь, жрать кишки и требуху. Резать приходилось далеко, чтобы коровы не почуяли кровь, – тогда поднимут такой рев, что в станице слышно будет.

Бедствовали с хлебом. Кончилось спиртное. Радовала лишь приближающаяся канонада орудий – надвигался фронт.

Взвод альпийских стрелков заметил стадо и направился к пастухам. Теперь выбора у командира не было – или бежать, отдав скот, или добыть орлиные перья с кепи и цветок эдельвейс с мундиров. Время для занятия позиции было.

На виду у немцев коров погнали по узкому ущелью. Немцы стреляли, но пастух – Иван – не остановился. Стрелки встали на лыжи. Шли осторожно, медленно – стадо куда не денется. А семь самураев уже перегородили горловину ущелья, прогнав стадо, соснами, сваленными тут до войны. Выше сели Игнат и Митька с автоматом, карабином и пистолетом. Люба и Нюся с ними.

Передние немцы недоумевали – как же прошли коровы? – И повернули на выход. Потом заколебались – как же все-таки прошли коровы? А скорее всего, здесь спрячутся люди. На выходе остановились, совещаются. Видимо, все же решили выйти из короткого, с отвесными стенами ущелья. Спиридон пересчитал немцев – двадцать три человека, – и в десяти шагах от взвода, наверху, заговорил «максим». Только этот первый момент, считал Спиридон, и мог решить исход боя. Он не ошибся. В панике упали человек восемь.

От завала били Митька и Игнат. Лесник был снайпером – сделав четыре выстрела, он уложил четырех. Здесь горы обрушились на врага – немцы, теряя солдат, не видели стреляющих. Они ответили выстрелами так быстро, как тигр кусает бок, куда попала пуля.

Но они не видели цели. Бросили гранаты в сторону пулемета, но Спиридон, Иван и Крастерра уже били с другого места – Иван только успевал набивать пулеметные ленты.

Остатки взвода решили взорвать завал. Но меткий Игнат не подпускал их близко. Снова попытались вырваться назад – свинцовый ливень. Тогда залегли, спрятались в густом можжевельнике. Спиридон даже слышал их говор. Патронов он не жалел – и ветки можжевельника падали и падали.

Сразу с горы навалился туман. Спиридон, наверху, заметил это первым. Для оставшихся немцев это спасение – в тумане они незаметно выползут из ущелья. Но когда первый стрелок приблизился к выходу, по-пластунски, пулемет заговорил в упор.

Оставалось последнее – выйти по стене ущелья, пользуясь туманом. Стали слышны слабые удары – крючья вбивают. Ушли бы. Но ветер унес туман. Открылись пять альпинистов на высоте двухэтажного дома, на выступе, и один выбравшийся наверх с веревкой. Этого Игнат снял первым. Потом с уступа свалились двое, повиснув куклами. «Максим» бил до тех пор, пока уроженцы Рейна и Эльбы, победители Альп и Гималаев не вгрызлись в каменные бивни Царя Горных Духов, как еще называется Эльбрус.

Короткий зимний день угасал. Надо успеть до темноты проверить: есть ли еще живые и раненые. Сверху Спиридон насчитал семнадцать трупов. Значит, шесть солдат в можжевельнике. Там они и оказались, тяжелораненые. Но прежде чем идти туда, пустили собак. На мертвых они не лаяли, а у кустов рычали. «В плен не сдаются, гады!» – подумал Спиридон, и тут вышел из кустов стрелок с белым платком. Спиридон показал ему: к выходу. На выходе встретились. Немец объяснил ему, что пятеро его товарищей нуждаются в помощи, остальные убиты. Спиридон собрал сотню, взял оружие мертвых, и пошли в можжевельник. Пять пар глаз смотрели на страшных, бородатых горных духов – вот тебе и пастухи.

- Э, да их уже не вылечить! – сказал Спиридон и пришел автоматной строчкой пятерых раненых к высокой земле Кавказа. – Рассказывай! обратился он к парламентарю и показал на Крастерру.

Крастерра понимала с трудом. Ганс Айсберг, двадцать два года, восходитель по профессии – собирался штурмовать Эверест, мать, невеста, отец по-

гиб в гитлеровской тюрьме; член нацистской партии, протестует против незаконного убийства раненых.

- Незаконного! – засмеялся Спиридон. – Он что, не в своем уме? Спроси его о фронтовых делах.

Идет массовое отступление немецких войск – богиня победы не сопутствует им, война проиграна, но не кончена.

Спиридон смотрел на расстрелянных раненых – один шевельнулся, икнув.

- Какие цветки! – показал командир на трупы двухметрового роста. Мой Васька был пониже, а гвардеец! Теперь матерям отпишут: пропал в горах Кавказа.

Сотня оделась в свитеры, меховые куртки, кожаные брюки, ботинки на шипах. Все документы Спиридон сложил в один планшет. Содержимое вещмешков – хлеб, спирт, консервы, шоколад – в общий котел. Оружие и патроны в арсенал. Зажигалки, фонарики, ножи в пользование. Орлиными перьями украсили землянку, а эдельвейсы остались на рукавах курток. Семь Железных крестов Спиридон раздал поровну своей семерке, а восьмой нацепил себе на грудь – таким образом ему досталось два.

- Вы нарушаете офицерский кодекс о ношении орденов! – сказал пленный Крастерре.

- Чего он хочет? – спросил Спиридон.

Пленный хотел не мало: чтобы его доставили в штаб регулярной армии, отравили письмо матери, покормили.

- Пускай пишет, кормить до отвала.

Немец ел и по-мальчишески улыбался бабам-стряпухам. Оставшись в нижней рубашке – снял свитер и куртку от жары, – он писал письмо. Большеликий, светлоглазый гигант с ранними залысинами, какие часто бывают у спортсменов. Бабы не могли смотреть ему в глаза – добрый, просящий взгляд, и чуть с лукавинкой и хитрецей, с болью и непониманием. Человек, мог бы на тракторе ездить, как Федька Синенкин, такой же верзила, физкультурником быть или учителем – ишь пишет как ловко!

Спиридон спрятал его письмо в планшет и сказал Крастерре:

- Переводи: с регулярной армией связи не имеем, держать в плену не можем – взвод перебить смогли, а за одним уследить трудновато – ни поспать, ни поесть. Так что пусть извинит...

Немец понял. Встал, попросил его похоронить, о своей смерти он уже написал матери, и попросил вернуть ему на кепи орлиное перо.

Он вставил перо щеголевато, разгладил складки на брюках, поблагодарил женщин за обед и перевязку и показал глазами – готов.

- Ты, Игнат, – тихо сказал Спиридон.

- У меня и так счет большой.

- А у меня Васька, сын, перед глазами.

- Вы что задумали, изверги? – вдруг закричала со слезами Люба. – Он же во всем признался!

- Веди, да подальше! – приказывал Спиридон.

Игнат хмуро сидел. Митька и Иван бесшумно выскользнули прочь – коров надо собирать. Дал командир промашку – сразу кончать надо было. А теперь сотня слюни распустила.

- Спроси его, сколько он убил наших?

Парень улыбнулся – разве не с него сняли Железный крест! А их даром фюрер не раздает!

- Выходи! – Спиридон показал на дверь.

За скалой дважды треснуло. Немного погодя еще раз – живучий попался немец.

Приближался Новый год, сорок третий.

Утром среди миллионов голубых елей срубили подходящую, поставили в землянке, украсили коровьими рогами, оружием, банками, орлиными перьями. Сварили холодец, компот из диких яблочков с кислицей, зажарили бычью ногу. Вымылись в горячем источнике. Мужчины побрились и подстригли бороды. Женщины мудрили над прическами, калили на огне немецкие шомпола, завивали кольцами волосы. Автоматический трофейный фотоаппарат запечатлел казачью семерку в разношерстной одежде, со звездочками из жести, перед сидящими куча немецкого оружия, «максим», сзади белый великан Эльбрус. По точнейшим часам егеря ровно в двенадцать выпили по кружке восьмидесятиградусной сахаровки – за полную победу. И повторили – за прекрасные горы Кавказа.

Горы стояли крепко. Гудели мачтовые леса. День прибавлялся. Вдали по горной дороге тащились отступающие немецкие части. Спиридон, знавший только тактику ловушек, волчьих ям, опасался нападать на хорошо охранявшегося врага – сзади, впереди, с боков двигались походные заставы. Разгром врага на Кавказе начался. Уже видели советских солдат. На запад, на запад катились «винкинги», «эдельвейсы», «мертвые головы»...

АФИНА ПАЛЛАДА

(отрывок из повести)

Статуи Фидия исчезли бесследно в эпоху, когда христиане убивали греческих ученых и художников, мусульмане сожгли величайшую Александрийскую библиотеку, а в купе те и другие низвергли языческих радостных богов.

Остались бледные копии по описаниям и изображения статуй Фидия на монетах.

Тысячи художников писали и ваяли богиню Мудрости, свою покровительницу, но даже по копиям видно, что статуям Фидия равных не было.

Через двадцать веков подвиг Фидия в творчестве повторил, как полагают, Рембрандт. Ему приписывают портрет «Афина Паллада», который также называют «Александр Македонский». На холсте курносая фламандская красавица в рыцарских латах и шлеме с гребнем, каких не было в Греции. В лице загадка и полнокровная сила разума. Но это женщина, а не богиня.

Гениальный французский скульптор Огюст Роден, заглянув в искусство будущего, вновь открыл Фидия. Он глубоко чтит его, считал самым строгим ваятелем. Человек мятущегося, трагически нервного девятнадцатого века, Роден смыкался с работами мрачного титана Возрождения Микеланджело, но всю жизнь тянулся к великому Фидию, никогда не упуская случая возвысить античного мастера. Однажды он показал на экспромтом вылепленных статуэтках различие между Фидием и Микеланджело.

В фигурах Фидия Роден открыл четыре направления движения. Спокойный, волнообразный ритм линий создает красоту уравновешенности, силу и грацию всемогущего разума – фигуры излучают свет и гармонию.

В скульптурах Микеланджело лишь два плана движения – сила и скованность, что привело Родена к мысли: творчество великого итальянца – «эпопея мрака».

Эти статуэтки сохранились. Они разнятся между собой так же, как прекрасное тело человека и то же самое тело, побывавшее под колесами поезда.

Для всего нового искусства Фидий продолжает быть – как Гомер для литературы – вечной нормой и образцом. В своем «Завещании», написанном для молодых художников, Роден поставил первым правилом:

- Преклоняйтесь перед Фидием...

Ничто так не запаздывает, как слава.

Уже в Элладе гремят имена его учеников Алкамена и Агоракрита, создателей фронтонов Парфенона, а его имя остается в тени.

Конечно, высшая жреческая знать и аристократы знают и ценят его, а Перикл, стратег, дружит с ним. Знают и пристально следят за его работой. Так пристально, что вечером надо явиться в Ареопаг на суд – верховный жрец Афины Парфенос обвинил скульптора в утайке золота при отливке плаща богини.

Началось это еще на открытии другой статуи Акрополя – тоже Афины Фидия, двадцатиметровой акролитной бронзы, возвышенной над городом. Когда окончились религиозные церемонии и были зарезаны сотни белых телок с позолоченными рогами, статую открыли глазам народа. Серебристое покрывало искусно изображало голову Зевса, отца богов и людей. По мере того, как оно падало, Афина, словно являлась в мир из головы бога творца.

Тысячеголосый крик радости и изумления приветствовал любимую богиню. Перикл снял с себя ассирийский меч и подал Фидию. Мощные крики усиливались. Стратег показал на скульптора:

- Вот истинный бог Греции!

К ногам Фидия падали миртовые, дубовые и лавровые венки. Тогда жрецы вышли вперед и скрыли творца Афины облаком душистого дыма.

- Ты ошибаешься, стратег! – сурово сказал верховный жрец. – Бойся прогневить богов. Афина в любой миг может поразить тебя, и Фидия, и город богохульствующий. Не оскорбляй божества чрезмерным восхвалением литейщика.

- Фидий равен богам, как Ахилл и Агамемнон! – настаивал Перикл, любивший почести.

- Ты, Фидий, все-таки смертен, – обратился жрец к ваятелю, – а богиня бессмертна! Не дерзай украситься лучами ее славы. Изваял ее ты. Но разве не боги стояли рядом с тобой, когда в тигле закипала медь, смешанная с серебром?

- Боги, – смутился толстоплечий Фидий.

- Помни это. Жрецы сохраняют твоё имя в храмах. Не вознось над богами тем, что умеешь правильно иссекать их изображения из мрамора и лить из бронзы. Проходя же мимо этого изваяния – поистине это сама богиня! – так же смиренно, как последний раб, преклоняйся и чти шлемоблещущую. Не забывай пригонять ей лучших быков – ты богат!

- Сто пятилетник я пригнал сегодня, но богиня получила только половину – остальных увели твои слуги! – несколько дерзко ответил мастер, счастливый оттого, что над городом гордо вознеслось его творение.

В глазах жреца, более похожего на воина, промелькнули молнии, но он смиловился:

- Богиня не отвернется от тебя, и, может, со временем мы посвятим тебя в низший жреческий сан, чтобы ты мог близко подходить к изображению сребролицой!

Тогда же, на пиршестве, Перикл с согласия девяти стратегов поручил Фидию изваять статую Афины для Парфенона, главного храма Акрополя. Стратеги решили, чтобы беломраморный, раззолоченный храм украсился Афиной Парфенос из драгоценных материалов.

Не хуже верховного жреца понимал Перикл временность земного бытия и бессмертность богов. Поэтому не спрашивал как высшее лицо в государстве отчета у Фидия о потраченных нубийских алмазах, золоченом дереве из страны Пуит и финикийской слоновой кости.

Что значат даже сто тысяч украденных сиклей золота, если народ получил творение разума и гармонии, которое переживает и Перикла, и Фидия, и жрецов!

И когда пополз пущенный недругами слух, что Фидий тайно разбогател на Афине Девственнице, стратег только улыбнулся, зная, как завистливы эпигоны. Дни и ночи проводят они на пирах, любовно строят себе пышные мавзолеи и кричат о несправедливости народа и власти по отношению к ним. Фидий же работал в светлое время дня, и работал так, что не мог явиться на похороны матери, ибо заканчивал «Зевса на фоне».

Однако сокровища государства контролировались и жрецами. Половину золота на Афины Парфенонскую давили они и теперь потребовали, чтобы скульптор отчитался о плаще покровительницы Греции и города Афины.

А плащ давно укреплен на бессмертных плечах.

Поздно ночью коллегия жрецов, судьи Ареопага и Фидий пришли в храм Парфенон, где ваятель должен отчитаться о потраченном золоте перед лицом самой Мудрости, украшенной эгидой, сфинксами, гениями. Четверо младших жрецов несли большие египетские весы. Двое вели жертвенных животных, ласковых и смиренных под ножом. Особые жрецы, лиц которых не знали и стратеги, охраняли процессию. Они внимательно смотрели по сторонам, дабы простой народ не решил, что в храме затевается святотатство. Молча указывали они прочь запоздавшим гулякам, и если те медлили, сопровождали жест коротким ударом.

Совершив тайный ритуал, жрецы удалились из святилища. Туда вошли верховный жрец и Фидий с помощником, предварительно омыв руки теплым молоком зарезанной овцы без порока.

Мастера поставили светильник перед богиней, сами зашли за ее прекрасную спину. В мраморном зале гулко раздался удары молота и зубила.

Верховный жрец непрестанно молился, чтобы отвести руку богов от невольных нечестивцев, обнажающих юное тело.

Незаметно жрец смотрел на лик сереброщитной. Лик этот – норма духовного совершенства, ясности и величия.

Пламя светильника колебалось. Временами свет падал так, что гений Победы в руке богини, казалось, парил в воздухе, а губы Афины, обычно ясной и величавой в сознании своей силы, выражали скорбь и загадку.

Испуганный жрец, не прерывая молитвы, распорядился сжечь еще быка, облитого вином и медом.

Лицо рожденной Зевсом Истины как будто прояснилось.

Скульптор деловито ходил с молотом вокруг статуи, не обращая внимания на парящую Победу и скорбные губы богини. А когда на ее плечо опустилась сова – символ мудрости, небрежно столкнул священную птицу.

«Гений, – подумал жрец. – Он близок к жителям Олимпа, он видывал и не такое!»

Звездный круг в храме, отражающий движение небесного, переместился. Удары смолкли. Фидий призвал судей.

Под его руководством жрецы осторожно сняли золотую хламиду лучезарной и положили на весы. Долго колебались продолговатые чаши и плясали фигуры Осириса и Тифона, взвешивая судьбу Фидия.

Осирис, египетский бог света и жизни, перетянул Тифона, своего брата-убийцу, бога смерти и тьмы.

Полтора сикля, считая на сикль священный, оказалось лишним – по царскому сиклю два.

Мастер молча вытирал пот.

Сказал верховный жрец:

- Ты получишь свои полтора сикля – богам противны случайные, неискренние приношения.

Фидий не слушал, смотрел на губы бессмертной. Случайно ракурс оказался новым. С этой точки и в подобном освещении автор никогда не видел своего создания. Свет преобразил лицо Афины. Оно стало живым, со сменой чувств и настроений.

Он уже работал цветом – и в будущем к этому еще вернуться не раз. Теперь осенило прозрение: свет должен стать компонентом в искусстве. Свет и тень. Надо запомнить лицо богини и повторить в мастерской – ведь больше жрецы не разрешат ему так близко подойти к статуе.

Члены Ареопага тоже шептали молитвы, пораженные новым ликом златокудрой воительницы, щит которой с Горгоной Медузой отпугивал не только Эрота и его мать Афродиту.

Величайший секрет доверила Фидию светлоокая Зевсова дочь. Воистину она благоволит к нему не меньше, чем в свое время к Одиссею богоравному. Скульптор почувствовал, как посетил его небесный гость, открыв тайну контрастов и противоречий. До этого он знал лишь тайну гармонии. Теперь он понял философов, которые осе объясняли наличием двух начал.

Лист и корень, голод и насыщение, прилив и отлив, мрак и свет, рождение и гибель – и так вовеки.

- Я дарю эти полтора сикля богине! – взволнованно проговорил Фидий. – И вдобавок к ним сто быков, тысячу мер ячменя, шесть рубинов и два таланта серебра.

Верховный жрец удовлетворенно отметил такое богопочитание.

Литую одежду укрепили опять на бессмертных плечах голубоглазой.

Члены Ареопага сели в богатые носилки. Перед каждым шел рослый раб с горящим факелом в одной руке и мечом в другой. Мастер запахнул свой плащ – кусок белой аттической шерсти, накинутой на льняной хитон, поправил кинжал под левой грудью и сел в колесницу, запряженную четверкой лошадей, словно он был стратегом или триумфатором.

За крылатым шаром из голубого камня жрецы доедали быка.

Была уже полночь.

Фидий лежал на диване из душистого лимонного дерева, застланном шкурой африканского льва. Черный столик ниже дивана. На столике в стеклянных судках рыба, зелень, паштеты, стручки сладкого гороха в пряном соусе. В чеканной кратере вино, смешанное со снегом, привезенным в мехах из гиперборейских стран, – мороз не всегда касался Греции. С расписанных стен светили лампы, наполненные оливковым маслом.

Рабыни дважды сменили фиалки на голове господина, но Фидий не притрагивался к еде. Изредка пил ледяное вино – ночь жаркая. Из-за шелковой перегородки тихо неслись звуки кифары.

Вошла Электра, рабыня, белокурая, на голову выше Фидия. Ее привезли в детстве из тех стран, где с неба неделями падает снег. Северянка понравилась Фидию на пиру у Перикла, и стратег подарил девочку скульптору.

Электра в венке из роз, в прозрачном пеплуме, с браслетами на руках, прохладных и нежных. Видя печаль своего повелителя, она взяла лиру.

Фидий отвернулся. Она знала, почему. Он не мог ревновать ее к белокурому рабу, одиноко тоскующему на скотном дворе, как не мог ревновать ее к камню, козлу или облаку. Раб не считался человеком. Рабы не имели собственных имен, за редким исключением. Их называли по именам их стран или народов. Свободные горожанки не стеснялись рабов в купальнях. Электра и ее белокурый друг были балты.

Днем Фидий слышал, как они говорили на родном северном языке, и хотя понимал, что в неволе Электра для Балта и родная земля, где родится янтарь в море, и мать, и сестра, был недоволен – зло на жрецов требовало выхода.

- Говорят, Балт касался твоего тела в саду! – жестко сказал Фидий. – Завтра я продам его в Азию!

Электра ответила страстно, почти плача:

О господин, мое тело священное – его касались твои божественные руки. Это твое тело. Только твое. Не наказывай Балта – лучше отбери у меня имя – он и так несчастен. Он еще мальчик, бежит с нами наперегонки, любит медовые шарики больше вина, а по ночам плачет...

Господину понравились слова рабыни о священном теле. Глаза его смягчились. Электра села у ног художника, преданная, как собака охотнику.

С грубоватой страстью много любившего человека гений ворошил ее надутые волосы сильными, короткими пальцами, в которые навсегда въелась золотая и мраморная пыль.

Фидий не понимал, как раб может быть несчастным. Жизнь раба равна смерти свободных людей, а мертвые ничего не чувствуют. И судьба Балта была решена – утром он уйдет с караваном невольников, прикованный к общей цепи. Фидию он безразличен, но сказанное слово должно быть выполнено.

В душе он жалел балтов, детей, потерявших родину и жизнь, которые у греков назывались более емким словом – свобода. Конечно, и на родине они были варварами, полулюдьми, прикрытыми косматыми шкурами. Они не разбираются в рангах греческих богов. Носят в войлочных торбах глиняных уродцев божков. Ничего не мыслят в высоком искусстве ваяния. Но смеются и плачут они подобно людям. Так же, как свободные, чувствуют боль, радость, ласку и гнев. И тела их совершенны.

Если бы знали жрецы!

Фидий сотни раз надевал на прекрасное тело рабыни боевой наряд Афины Паллады. Голову Электры украшал крылатым шлемом с гребнем и грифами, могущими превратиться в змей. В руки рабыня брала ясеневое копье, изощренное медью, и алого гения Победы.

Скульптор делал это тайно от всех. Нарядиться в одежды богов все равно, что выдавать себя за бога, а это во все времена каралось смертью. Да и сам он уверен, что резцом его водят боги, а натурщица лишь жалкая форма для глаз.

Все же прямой, точеный нос, волевые скулы и лукаво-капризный – вот-вот дрогнет – подбородок рабыни ожили на совершенном лице Афины Парфенона. Но это дело богов.

Боевой же наряд приличествует богине Мудрости, ибо Мудрость воинственна. Она любимейшая дочь Зевса, бога богов и людей. Вторая в сонме Олимпа. Самая почитаемая греками. Это она сама строила корабль аргонавтам, плывущим за руном золотым, и вделала в киль кусок поющего дуба, способного пророчествовать.

Создатели древних рапсодий не колебались в выборе бога-покровителя идеальным, богоподобным грекам Ахиллу и Одиссею. Это всегда Афина Паллада, скрытая облаком, в волшебной обуви, переносящей ее в мгновение ока через моря и горы.

Красотой Афина затмевала Афродиту, рожденную из морской пены богиню Любви. Потому что Мудрость есть высшая Красота и высшая Любовь.

О копье Афины не раз ломалось копье Ареса, несокрушимого бога Войны. Если Афродита, жена Ареса, приходила на помощь мужу, Афина Паллада сокрушала обоих, провожая громким смехом. Потому что Мудрость – высшая Сила и высшая Доблесть.

Поэтому Афине подстать и крылатый шлем, и Победа в руках, и ирис в волосах.

Струны лиры навевали грусть. В соседнем саду запели священные птицы.

Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос.

Фидий поцеловал рабыню. Ушел в горячую гранитную комнату, где прохладные струи воды, бившие из всех углов, освежили тучное, немолодое тело.

К полудню он уже был у Перикла на загородной вилле, крепкий и бодрый. Рассматривал чертежи новых построек. Намечал богов и чудовищ, которых будет опять.

Верховный жрец Парфенона молился. Он был глубоко верующим и состоятельным человеком. И вера и стояние пришли не сразу. Воспитанный в суровой Спарте, он и теперь легко обходился горстью фиников и кружкой воды.

Юнцом он до ночи просиживал с товарищами в полях, поджидая запоздалых рабов. Когда он мечом убил троих, хозяин рабов, несмотря на понесенный убыток, первым приветствовал мужество спартанца, готового к походам, лишениям, убийствам.

Но он испытал на себе и бич законов Ликурга. Однажды он приобрел перину, чтобы спать на ней, коралловые украшения на пояс и ценную чашу для пиров. Это стало известно. Его публично били сырыми палками. Перину, пояс и чашу бросили в огонь. Заставили спать в течение года без тростниковой подстилки. Спартанцу ни к чему роскошь. Сильное тело не нуждается в пурпуре и побрякушках.

В Марафонской битве жрец командовал полком. Раненому отверзлось облако, похожее на орла. Взору явилась Афина Паллада в ужасном шлеме. По-

велела оставить меч и посвятить себя Истине, как это сделала она сама, бывшая богиня Войны.

Припадки религиозной экзальтации с ним случались и раньше.

Он поселился в Афинах, городе богини. Многие годы постигал изменчивую красоту Истины на младших ступенях. Изучал природу богов, человека и демонов. Учил поэтику, математику, астрономию, халдейскую мантию. За полвека забыли, что он чужеземец. Благодаря аскетизму, афинских аристократов, возвысился, и сейчас, на молитве, стоял уже в женской одежде, что сильно приближало его к лучезарной.

Мистическая экзальтация, пропавшая после затухания плотских страстей, проснулась в нем опять при виде Афины Парфенонской. Сотни других изображений не трогали старца.

Афина Девственница манила скрытой любовью. Часами простаивал он в святилище. Проплывали кольца созвездий. Под золотым плащом дышала божественная грудь.

В ночь, когда взвешивали плащ, лицо шлемоблещущей выражало желание и надежду, зов и безмерное одиночество, понятное старику, отрешившемуся от людей. Казалось, что она звала его, чтобы открыть нечто.

В этом нет ничего необычного. Однажды она уже являлась ему, как являлась многим смертным в разных образах. И если сейчас светлоокая выбрала для своего пребывания тело из слоновых бивней и золоченого кедра – это в порядке вещей. Он, жрец, знает: боги могут выражать свою мировую сущность одновременно во многих местах и бесчисленных обликах.

И хотя простодушные греки упорно приписывали своим богам все человеческое, а пьяницы в кабаках прямо говорили о сожительстве пылкой Афины с любимцем Одиссеем, все же она небожительница!

Нет, не Фидия эта работа.

Это сама богиня – так прекрасна, так горделиво одухотворена она.

Молитва жреца восходила к Олимпу вместе с красноватым дымком курильницы – сжигался розовый эфир, пища, нектар олимпийцев. Внутри у жреца мрачный холод Аида. Он боится верховного гнева богов. Он полюбил Афину как женщину, смертную и прельстительную.

Неудержимое влечение прикоснуться к изваянию росло. А этот Фидий так долго держал божественное тело в потных руках! Кто знает, с какими мыслями касался им священных мест девственницы! А может быть, и решил!

Неодолимой истомой тревожил запах розы в курильнице.

Теряя волю в эпилептическом трансе, жрец припал губами к ноге богини, полной, высокой, словно налитой молоком и солнцем, жадно коснулся божественного бедра.

Сияние восторга разогнало сонные сумерки Аида. Афина Паллада благосклонно тронула мослатую голову жреца. Задыхаясь от блаженства, он надолго обвил руками нежные бедра статуи и осмелился поднять глаза.

Рука лучезарной уже снова держала алого гения.

Ярче вспыхнули изумруды – глаза змеи, охранительницы Акрополя. Змея застыла у ног сереброштитной, главного сокровища мира. Она из меди. Но жрец отодвинулся. С ликующим возгласом бросился он из храма:

- Чудо! Богиня с нами! О город недостойный!..

Ночь освежила его. Он замолчал и вернулся к Парфенону, откуда незримая жреческая стража наблюдала за всем происходящим в мире.

Беломраморные колонны здания, нагретые за день, дышали теплом. Антикный камень отдавал солнечный жар дня, как печь, в прохладе звездного сумрака ночи.

Служитель Истины задумался.

Гнев и зависть к Фидию овладевали им.

Создал ли Фидий действительно изваяние сам?

Разве человек может сотворить такое?

Рука Фидия явно использовалась богом, но от этого литейщик и каменосек не станет вровень с олимпийцами. Еще в момент величайшего триумфа скульптора – на открытии парфенонской статуи – жрец сказал счастливому Фидию:

- Помни о смерти.

Справедливо считалось, что несчастье, могущее постигнуть грека в этой жизни, в том, если грек умирал, не увидев Зевса и Афины Фидия. Для большинства, кто лицеизревал богов, имя создателя оставалось неизвестным – так лучше для авторитета богов. Имена скульпторов второго и третьего ранга не скрывались, ибо в их работах не было соперничества с богами.

Да и при чем тут он? Чревоугодник, Силен, распутный фавн, принимающийся к дичи и сладостям на пирах!

Жалкий смертный! Потееющий, болеющий, жаждущий!

Как он, козлоногий, осмелился в числе прочих аллегорий высечь на щите эгидодержавной свой и Перикла профиль?

Изображай себя на идолах, на статуях – это же не камень и золото, а сама богиня Победы!

Гнусный святотатец! Ты ответишь за оскорбление божества – и тут тебе не помогут ни весы, ни таланты серебра, ни стратеги друзья!

Ничто не в силах остановить карающую руку рока!

Безмерна власть Мойр, богинь судьбы, в их руках и люди, и боги!

Теперь понятно, почему губы Афины выражали скорбь – ее оскорбили в ее же городе!..

Через несколько дней Фидий был осужден за оскорбление Афины Паллады и заключен в тюрьму.

Стратеги противились этому, но в день суда случилось вешнее землетрясение, статуя Афины Парфенон покачнулась, а Парфенон дал трещину. Боясь навлечь на город священный гнев богов, а паче людей, Перикл лишь печально проводил друга до темницы.

По дороге в тюрьму Фидий вылепил из желтой глины могучего атлета, недавно разорванного пантерами в цирке. Он запомнил, как несли труп с арены, и изобразил атлета с могучими, но бессильно повисшими руками, используя контрасты силы и скованности, света имени, мучительный разлад между духом и телом, жизнью и смертью.

Миг смотрел мастер на свое творение и с отвращением смял глину. Его идеал – героизм и ясность Парфенона. Ему претила всякая дисгармония – великая богиня последующего европейского искусства.

Профиль Фидия стерли с позолоченного щита. Чтобы умиловать богиню – страшна она в гневе, – продали имущество и рабов скульптора. На вырученные деньги курили драгоценную амбру перед статуей покровительницы. Было приказано всем принести в храм богатые жертвы, чтобы загладить богохульство соотечественника.

Солнце тем временем село, и все потемнели дороги.

Афинская тюрьма – подземелье, выложенное нетесаными камнями. Свет пробивался в крохотные отверстия вверх. В углублении пола змеился ручеек, из которого пили и куда отправляли нужды.

В темноте Фидий наступил на голову заворчавшего варвара. Ощупал пол руками – тела преступников лежали плотно. До рассвета простоял на ногах.

Утром стража отвалила камень с медным кольцом и цепью, внесла корыто с гнилыми плодами и корзину с закапанными вином и жиром кусками хлеба – объедки, сходно покупаемые тюрьмой в кабаках и гостиницах. Их расхватали мигом, с дракой и бранью. Сильные и здесь брали верх.

Варвара увели в цирк. Фидий с наслаждением вытянул ноги на освободившемся пространстве. К нему подсел чернявый матрос, громко разгрызающий кости коричневыми зубами. Они разговорились.

Матрос с восхищением смотрел на аристократа, завидуя его платью, пока Фидий рассказывал о своем доме, водометах, садах, поварах, винах. Но когда сказал, что он создатель статуй Зевса и Афины в Акрополе, матрос отодвинулся и отчаянно расхохотался:

- Посмотрите на этого важного хвастуна! Он утверждает, что один создал богов! Да разве их кто-нибудь создавал? Они сами пришли с Олимпа, клянусь Астартой!

И сотни лунченных кабацких, гладиаторских плоток смеялись над незадачливым вралем. Смеялись беззлобно, добродушно, как над тихопомешанным.

Наконец и Фидий рассмеялся, чем заслужил одобрение – признал свою ложь.

Значит, хорошо он работал. Не пропали бессонные ночи, долгие поиски, каторжный труд, целые галеры глины, перемятый его руками. Не пропало великое терпение – статую акропольских богов предшествовали сотни несовершенных, ученических статуй, давно разбитых в его мастерской.

Стала вечной его любовь к Электре – теперь он признал, что любил натурщицу как живую, но сходства между Электрой и Афиной не допускал.

Его высшая любовь – Афина Паллада – не отвернулась от него в дни творчества, а это и было его настоящей жизнью.

Признал он и другое: что был неправ, чеканя себя на щите эгидодержавной. Нет гения, которому дано право ставить свое изображение, свое «я» на творениях, ставших для народа откровениями. Эти творения безыменны, как в доисторические времена были безыменны планеты, материки, океаны, и если потом их назвали, сущность их не изменилась.

В ту пору художники еще не ставили, как правило, своего имени на произведениях. Их имена знало только государство в лице узкого круга правителей. О мемуарах и биографиях, с которых теперь многие начинают творческую жизнь, не было и речи.

Стиснутый горячими телами преступников, Фидий думал.

Разве он один создал Афину? Разве не достойны украсить ее щит и те, кто научили людей плавить железо, сеять ячмень, любить, как Электра?

В молодости Фидия связывала нежная дружба с замечательным живописцем, который многому научил его. Когда он погиб в морской буре, Фидий искренне огорчился. Но потрясен был больше, узнав, что погибли и новые картины мастера.

Афина Паллада – из вечной меди и кости, чудесного дерева, в золотом плаще и шлеме из драгоценнейшего металла – сверкающей стали – Афина – сотворенная и теперь бессмертная, как солнце, как небо, как разум – Афина – загадочная, зовущая, утешающая в печали своей красотой, а в радости ласкающая совершенством Истины и Воли к Победе – Афина – чей облик заставит юношу найти достойную подругу, а девушку – стать чище – Афина Паллада стояла в Парфеноне! И значит, в Греции будет колоситься хлеб, зреть виноград, будут тучнеть козы, рождаться здоровые дети, процветать искусства, земля будет мирно принимать пепел отгоревших поколений, на котором расцветут розы и заострятся тернии для новых пришельцев в мир... И, радостный, он попросил у тюремщиков цикуту. Узнав об этом, верховный жрец Афины сказал: – Это настоящий грек. Он достоин всяческой славы. (В работе над Акрополем был занят и талантливый скульптор Сократ, будущий князь философии. В той же пещере-тюрьме, что и Фидий, Сократ в свое время выпил цикуту).

В это время стратег Софокл, величайший поэт-победитель, уговорил Ареопаг пересмотреть дело Фидия. Ему пришлось встретиться с верховным жрецом.

- Я согласен с тобой, стратег, – сказал верховный жрец, – но благородный Фидий сам презрел жизнь – только что мне сказали, что он мертв.

После этого жрецы Парфенона, молчаливая каста мудрых, в жестокости видящая правоту, а в суровости благо, оказали скульптору высшую честь: сами приготовили яд – мгновенный – и прислали Фидию свежий венок, которого коснулась богиня, чтобы он мог украсить себя в последний миг.

А через день таинственно исчезла из жреческих садов красавица Электра. Это поразило многих, смутило души.

Молодой жрец, следивший за ней во время купания, уверял, что рабыня уплыла в открытое море, и предположил, что она не захотела жить, лишившись господина.

Этому не верили. Рабыня не может желать смерти, ибо давно мертва.

Многих поражало сходство лиц Электры и Афины.

Жрецы открыли ворота славы Фидия. Всюду было объявлено имя создателя акропольских статуй.

И благодарные художнику граждане говорили:

- Электра была не женщиной, а музой, посланной Фидию свыше. Теперь она вернулась в олимпийский сонм.



ВЛАДИМИР КОЖЕВНИКОВ

(род. 1940)

Владимир Кожевников – один из тех немногих писателей, достигших всероссийского уровня известности, которого ставропольцы без всякой натяжки и условностей называют своим земляком. Действительно, вся его жизнь, год за годом, связана с нашим краем. И если бы не творческая одержимость, литературный талант – он один из миллионов рабочих и крестьян, простых людей, вкладывающих частицу своей души в процветание родной земли. Он такой же, как и все незаметные рядовые труженики, но... Он немного другой, особенный, не заметить его нельзя. Он творческая личность среди нас.

Биография Владимира Ивановича Кожевникова схожа с биографией миллионов сверстников. Военное детство, ремесленное училище, вечерняя школа, работа на стройке, энергоучастке, химкомбинате, Невинномысской шерстомойке, которой отдал более трети века и стал профсоюзным лидером. Первая проба пера состоялась в 1965 году, а развитие мастерство помогло посещение литературного объединения «Кубань» при городской газете.

Первая книга рассказов вышла в 1973 году. Тогда же он стал редактором газеты «Шерстяник», одновременно окончил отделение журналистики, а также высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького в городе Москве.

В активе писателя десяток выпущенных книг: рРРоманы «Левиафан», «Рунное устье», «Белоруния» составили трилогию «Руно золотое», выдвинутую краевой писательской организацией на соискание Государственной премии. В романах – история зарождения на Ставрополье шерстомойного дела, трудовая и ратная биография славного и старейшего в крае коллектива, ставшего крупнейшим в мире в своей отрасли.

Он лауреат краевой литературной премии имени Семена Бабаевского.

Владимир Кожевников – член Союза писателей России, делегат VII съезда писателей РФ, был постоянным членом бюро краевой писательской организации.

Кожевников – яркий представитель российской интеллигенции, человек высоких нравственных убеждений, образованный, обладающий высоким уровнем общей и профессиональной культуры, целеустремленный, смелый, благородный, великодушный и толерантный. Его отличают умение дать добрый профессиональный совет, подсказать идею и помочь молодым коллегам в её реализации, активная жизненная позиция, требовательность к себе и окружающим, чуткое отношение к людям.

Владимир Кожевников применил феноменологический метод описания человеческой психологии и межличностной коммуникации: изучил психологию

и характер людей простых, трудолюбивых, на чьих плечах держится весь мир. Поэтому большинство его рассказов, повестей, романов («Динка», «Тепло сердца», «Среди людей» и др.) – о них, людях труда, с кем съел не один пуд соли, о заводских тружениках, работниках профсоюза, студентах, писателях. Писатель-патриот пишет о подрастающем поколении, воспитывая у школьников, студентов любовь к Отчизне, родному краю, окружающим нас людям.

ДИНКА

(отрывок из рассказа)

Мы называли ее Динкой. В честь матери. Совсем осиротела она, одинокая, обиженная, все скулила, скулила от боли, от одиночества, заглядывала во все углы, искала брата, искала укромное, безопасное место. Горько было в ее собачьей душе, тоскливо. Несладко было и в моей, человеческой. И чтобы как-то скрасить ее несчастье, я целый день не отходил от Динки. Неуклюжая, угловатая, как все дети, вислоухая, она быстро привязалась ко мне, таскалась по пятам. Даже ночью пробиралась в чулан, где я спал на полу, забиралась ко мне под тулуп, и мы, довольные оба, до утра согревали друг друга.

Недели две или три мы присыпали ей больной глаз и, наконец, увидели, что матовая пелена на нем начала проходить. Динка то ли стала привыкать к этой неприятной процедуре, то ли почуяла, что она необходима, и мы не желаем ей зла, только уже не визжала отчаянно на весь дом, не вырывалась из рук, как в первый раз. Она лишь долго крутила головой и забавно чихала, что вызывало улыбку.

- Теперь отойдет, – с нежностью говорила мать.

- Выздоровеет, – уверенно добавлял Сашка.

И мне хотелось в это поверить, но верилось плохо: уж больно тихо сходило бельмо. Зато с какой радостью я дождался дня, когда больной Динкин глаз совершенно очистился, стал неотличим от другого.

Динка быстро росла. Кривые ноги ее распрямлялись, грудь ширилась, длинное тело становилось пружинистым, мускулы – упругими. Желто-белая мягкая шерсть грубела, темнела, особенно на спине, будто кто специально ее подпалил. Морда слегка вытягивалась. Я с затаенной надеждой наблюдал за ее мужанием. После войны у мальчишек гордостью-собакой была овчарка. Бабушка Динки – Венерка, собака нашего свата деда Калинина – была похожа на овчарку, правда, цветом смахивала на лису. Но мы, деревенские пацаны, первым признаком считали стоячие уши. У Венерки они были маленькими и твердо стояли острыми треугольниками.

У Динки, как и у матери, уши были длинные, поднимались плохо. Это меня огорчало. Я пробовал их вытягивать вверх, но они тут же падали. Я ждал, когда ей будет год: к годовщине уши у овчарок стоят восток. Считал месяцы и ждал. Она же, не понимая, чего от нее хотят, росла преспокойно. По утрам приходила к моей постели, стягивала на пол одеяло, садилась рядом и по-хозяйски облаивала, хватит спать тебе, соня. По вечерам, когда возвращалась из стада наша корова, то и дело норовившая зацепить Динку кривым рогом, облаивала и ее, долго кружила вокруг. Наша бухарская кошка, в клочья рвавшая всех соседских собак, вдруг почувствовала к сучке уважение или боязнь. Она уже не налетала на нее коршуном, а пристраивалась где-

нибудь на крыше или заборе и с почтительного расстояния зорко следила за Динкой. Облаивала она и кошку, и в ее голосе слышалось что-то серьезное, жесткое, как давняя обида. Ее добрые светло-карие глаза шаловливо поблескивали и темнели.

К осени Динка вымахала порядочно. Я приходил из школы, на скорую руку кончал домашние задания, и мы начинали с ней возню, бегали друг за другом. Я дергал ее за уши, лапы, она старалась схватить меня за руку, схватить небольно: игра есть игра. Я пробовал садиться на нее верхом, но неокрепшая спина еще не держала, гнулась.

Склонившись над шкурой, я долго сидел. В памяти выплыла Джатаровская улица, стая разъяренных псов и Динка, катапультиой разрывающая псиную свалку. Снежное поле, перехваченное немилосердно разбушевавшимся бураном, и щеголеватый мальчишка в ремесленной шинели, фуражке, ползущий вслед за собакой. Зловещее озеро на заброшенном руднике, тонущий в судорогах человек... <...>

Сколько же сделано добра простой деревенской дворнягой! И после смерти она еще служит людям. А что люди дали ей, собаке? Что дал ей ты, вечный ее должник?

Мне вдруг показалось: все было не так в моей жизни, как надо. С кем-то я не был добр, кого-то напрасно обидел, в чем-то словчил и, возможно, предал.

Ко мне приходили грустные мысли, и редкие слезы стыда и утраты падали прямо на Динкину шкуру.

ТЕПЛО СЕРДЕЦ

На западе отгремела большая война. Отторопились туда тяжелые составы, ведомые двумя ФД-. Чаше шли обратно. Налегке. С одним паровозом. Дыму стало меньше, небо очистилось, а станция посветлела и начала обряжаться в зелень. Весна. Кузька за всю свою жизнь не помнил таких весен, а память у него длинная, хотя и родился за год до войны. Многое он помнит, лишь не помнит таких весен и отца. Отца он знает по фотографиям. Кузька весь в него, мать сказала. Лидка с Веркой и Васька, те в нее. А Кузька, меньше их, в отца пошел. И курносый носом, и голубыми, доверчивыми глазами. Вот только усов еще нет.

- Не отпадет голова – прирастет борода, – говорит мать, и Кузька верит – прирастет.

Его отец был героем. В прошлом году весной пришла худая бумага. Мать долго редела. И сестренки с Васькой ревели. Сказали, отца убили. Кузьку тоже каждый день убивают Борька Клишкин и Славка Епишкин из своих ружей, только никто не плачет. Кузька не знает, что такое смерть. Немцев он знает, конечно. В играх никто ими не хочет быть. Немцев много на станции. Пленных. Живут они в подсобном хозяйстве, выращивают капусту, турнепс. Поздней осенью возят на станцию, грузят в вагоны. Недалеко от пакгауза разводят костер, греются. Работают немцы не торопясь. Русского начальства нет, сами себе хозяева. В зеленых шинелях, в пилотках, натянутых на уши, сидят вокруг огня, что-то бормочут по-своему, но на тех, марширующих, злых, что показывают в военной хронике, совсем не похожи. Только на губных гармошках играют.

Кузьке интересно сидеть рядом. Немцы – солдаты. А от солдат всегда пахнет порохом, кострами, оружием. Правда, у пленных нет винтовок, зато, сдается ему, в своих разговорах они умеют дурачиться, как станционные мальчиш-

ки, и о чем говорят, ни за что не поймешь. Ну прямо пацаны: «Толдоры-толдоры...» А по-настоящему редко говорят, да и то плохо, хуже Кузьки.

- Малшик, как тьебя зват?

- Меня, что ли? Кузька.

- Кузька? Гут, короший малшик. Кузка.

- Кузькой звать-то меня.

- Корошо, Кузка. Во, где живьет Кузка?

- А мы все во-он в том доме живем,— показывает рукой через дорогу.

- Кузка брод имей, хлеба?

- Хлеб? Не-к. Мы картошку едим. И мама, и Лидка с Веркой, а иш-шо мы с Васькой. Она хоро-оша.

Мальчишка знает, какие вкусные лепешки получаютс из нее, торопитс домой:

- Я щас, обождите немножко!

Он бежит во весь дух по улице. У крыльца, под старым худым чугуном, находит ключ, отпирает дверь, спускаетс в голбец. Набив карманы мягкими клубнями, летит обратно. Долго сидит с немцами, смотрит, как они чистят испекшиес печенки, тонкими ручонками подбирает и ест подгоревшиес кожурки. Немцы хвалят его:

- Гут, Кузка! Короший малшик Кузка. Кузьке лестно. Его редко хвалят, разве только мать. И то ей некогда. Одна работает, на ней семья. Да еще о корове надо позаботитс. Если б не корова — семье труба. Только зимой плохо, когда сено на исходе, и она перед отелом долго не доитс. Кузька совсем худеет, и все худеют, а мать каждый день берет взаймы у Епишиных бутылку молока. Молоко только Кузьке. Остальным лишь забеливают чай. Весной отдадут. А пока зима — плохо. Картошка одна спасает. Но в прошлом году залили дожди. Картошка и так никудышня, а тут в голбец выступила вода. Пришлось вытаскивать, сушить на полу. Быстрей бы нового урожая дождатс.

Кузька не говорит об этом немцам, им не понять. Сам он понимает, а им не понять. Бывало, зимой, после жидкого ужина, пекут они с Васькой в очаге печенки, съедят по одной, другой: убывает картошка. Мать боитс, что не дотянут до новой, скажет:

- Будет вам, ребята, добро-то переводить.

А у самой из глаз выкатитс крутая слезинка, спуститс к носу, на подбородок и сорветс на пол.

Мать редко ест печенки, только когда идет в ночь на двенадцать часов, берет одну-две да маленькую корочку хлеба: в сельпо на рабочего двести граммов дают, а на черном рынке на булку не хватит материной месячной зарплаты.

Кузька на секунду задумывается, ему кажется, что поступил нечестно с матерью, сестренками, братом. «Но пленные тоже есть хотят, — решает он и сразу успокаиваетс. — У нас-то хоть немного, да есть, а они издалека, чужие здесь, кто им даст?»

Славка с Борькой тоже приносят кое-что. У Славки водятс шаньги — мать на мельнице работает. А Борька таскает картошку. Только сейчас он не ходит к пленным: на днях с фронта пришел отец. У Климкиных теперь радость.

Отец рассердился на Борьку, когда узнал о немцах:

- У меня три раны от них, богу душу чуть не отдал, а ты последнее тянешь, кормишь фашистов. Нескладно, брат, получается.

«Разве это фашисты? — думает Кузька. — Фашисты страшные, они не станут улыбаться». Но Борька теперь не ходит. Некогда. Отец приехал. Радость. И Славка давно не был. Как-то заезжал товарищ отца, говорил, что дядя Коля, Славкин отец, в Праге скончался, от ран. Уже после войны. Славка на год старше Кузьки, знает, что такое смерть. Даже в отместку хотел склад поджечь, в нем немцы осенью как-пусту хранили. Только теперь он пустой. Мать Славкина узнала, порола его ремнем. Да и склад-то плохонький. Его сейчас, до дождей, немцы в порядок приводят.

Кузька тоже ждет отца. И не помнит его, но все равно ждет. Отец похож на него, только с усами. Глаза голубые, доверчивые. Герой. Хоть бы раз посмотреть.

Много поездов шло с запада. Шло одной тягой, налегке. На станции они останавливались. Бойцы выскакивали из вагонов, гордо ходили по перрону. Робко подходили женщины, спрашивали несмело:

- Не видели моего?

- Не знаем, может, видели, — отвечали те. Иногда кто-нибудь из солдат, в шинели, с мешком за плечами, отделялся от остальных и попадал в объятия своих. Его тут же узнавали, здоровались, целовались. Он был роднее родного.

Станция знала, когда идет воинский. Люди приходили заранее. Кузька тоже не пропускал ни одного эшелона, ждал. Выходил ночью, вовремя появлялся утром, не опаздывал днем.

Он не верил, что отец не вернется. Ему так хотелось побегать в фуражке с большой звездой, посидеть на коленях у отца, как Борька, похвастать отцовскими медалями. Их много на гимнастерке. На фотографии видно. А он все не ехал. Кузька всматривался в лица военных, знакомого среди них не было. Он не помнил его, но узнал бы сразу. А еще он не знает, почему, но чувствует — отец не такой, как все, особенный. На то он и отец.

Но воинские эшелоны приходили все реже и реже. Наконец и совсем перестали. Они просто кончились. Кузька приуныл, предвидя что-то неладное, стал плохо спать. Мать он уже не расспрашивал. При одном воспоминании об отце у нее начинали бежать слезы, дрожать губы.

- Постой, Кузька, кажись, вода на таганке закипела, сбегая отставлю, — тяжело вздохнув, говорила она и выходила на улицу.

Под осень пленные снова появились у пакгауза, и однажды Кузька, выбрав подходящий момент, отнес им последнюю лепешку, оставленную на ужин. Она была из ржаной муки, перемешанной с отрубями и колочими охвостьями, из муки, занятой до осени у соседей. Она была вкусной, намного вкуснее тех, из гнилой, пролежавшей всю зиму в земле картошки с колхозного поля. За ужином пропажи хватились, а Кузька, испугавшись, соврал первый раз в жизни, что съел сам. Его не ругали, но он понял в тот вечер цену хлеба, понял по печальному лицу матери, сердитым взглядом сестренки и брата.

А еще через неделю, вечером, когда все спали, и только уставшая мать возилась с починкой одежек, да Кузька смотрел на ее работу, в избу вошел Ганс. Мальчишка узнал его: ему тогда он отдал последнюю лепешку. В руках у Ганса котелок.

- Мать, дай, бितте, млека, — сказал он несмело, топчась у порога. — Карл сильно болен.

Мать посмотрела на него испытующе, долго. На ее лице промелькнула незнакомая сыну тень. Переведя взгляд на Кузьку, на спящих вповалку старших

детей, она вновь посмотрела на Ганса. Ни слова не говоря, поднялась, загремела голбечной западней, спустившись под пол, достала кринку еще теплого молока, приготовленного к утреннему поезду.

- Давай, – показала на котелок. Кузька, глотая слюну, смотрел, как парное, еще с пузырьками, молоко мягко падало в алюминиевый рот котелка, как мать, налив до краев, подала его немцу, как благодарно закивал тот головой, приговаривая: «Данке щён, данке щён», как скрылся за дверью.

Он уснул со множеством неразгаданных вопросов и с мыслью об отце. Теперь он понял, что Борька со Славкой убивают понарошке, а если убивают на настоящей войне, то домой не возвращаются, домой приходят лишь документы.

- Мама! Может, он убил нашего папку? – тревожно спросил он рано утром. – А мы ему последнюю лепешку, последнюю кринку....

- Спи, Кузька, спи. Еще рано.

И лишь через много лет, когда вырастет, когда по-настоящему узнает человеческие ненависть и любовь, он поймет, что иначе и быть не могло у этих людей, ведь люди эти –русские люди.

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

I

Сергея был в очередном загуле. Два дня он куролесил. Два дня не остывал мотор его новой светло-зеленой мотоколяски. Носилась она из края в край по ухабистой деревенской дороге, распугивая гребущих пыль кур и играющих у завалинок ребятишек. Маленькая, приземистая, она появлялась незаметно, вдруг выскочив из очередного ухаба разбитой в дожди дороги, завихривая пыль, спешила в гору и так же незаметно исчезала.

- Сергей гуляет, – скажет выбежавшая на куриный переполох старуха, – а я-то думала, коршун...

А коляска уже у переезда, шмыгнула под открывающийся шлагбаум, пролетела по бровке насыпи.

- Гуляет Сергей, – молвит переездный сторож, – в «Железку» помчался за рассыпухой. Баба-то вернется – нагуляет ему.

Крутнувшись у крыльца магазина, инвалидка замирает. Распахнув дверцу, из нее выйдет хозяин – невысокий, небритый мужик лет сорока пяти. Чуть подавшись вперед, поскрипывая протезами, он скорым шагом направляется к ступенькам, проходит к прилавку, здоровается с продавщицей:

- Здравствуй, Маша.

- Здравствуй.

- Что там, како есть винишко?

- Разливное только.

- Рассыпуха? Ну давай хоть ее...

- На машине-то нельзя, разобьешь ведь.

- Что ей делается. Сами разобьем, сами починим.

Выпив и вытерев губы ладонью, он выходит на крыльцо, сплевывает от неприятного привкуса вина, сует в рот папиросу «Прибой».

- Рассыпуха и есть рассыпуха, – бурчит сам себе. – Только гадюк травить.

Он сидит на крыльце, смотрит с высоты на станцию, на деревянные улицы за ней, думает, к кому бы направиться за рублевкой. И хотя знает, что денег больше нет, в который раз сует руки в карманы, внимательно шарит, ищет – а вдруг затерялись где-нибудь в уголке или складке. Но там, кроме рассыпанного табака, двух-трех коробок спичек да хлебных крошек, ничего нет.

Куда поехать, думает он. Брат Иван на работе, да и сам он выпить не дурак. Отец не больно жалует, быстро от ворот поворот покажет, да еще и матюкнет вдогонку, старый. Дочерям Тамарке и Галинке и на глаза не надо показываться: так отбреют, что всю пьянку забудешь. Конечно, можно бы с зятем Костей добавить, так того потом тоже трудно остановить, как муха до дерьма охочий. Жаль, нет матери, померла она два года назад. Уж та, бывало, ругает-ругает, да все равно сдастся. Хоть бражки стакашек нальет, а там и второй нацедит.

О матери Сергей вспоминает часто и с теплотой. Бывало, словом не обидит, не то, что отец. И ее все сыновья любили. Когда умерла, место ей хорошее выбрали на кладбище. Некопанное, под молодой березой. С младшим братом Валеркой выбирали, приезжал он тогда. Всей деревней хоронили старушку. И теперь Серега иногда заезжал на могилку. По дороге насобирает полевых цветов, сунет в банку с водой, поставит на холмик и сидит, привалившись спиной к железной оградке, что с братом Иваном ставили. Потом вставал на колени, осматривал могилу, найдя непорядок, бережно поправлял пласт дерна, вырывал траву между цветами, вытирал ладонью табличку из нержавейки, где, кроме фамилии, дат рождения и смерти, были выгравированы стихи:

Не разбудят печали и слезы

Твой покой, данный царством теней.

Тихим звоном листочки березок

Пусть струятся над кельей твоей.

Стихи придумывали с Валеркой, а уж если по совести, то Валерка один, но он то и дело советовался со старшим братом и сам объявил, что написали вместе. От этого на душе у Сереги было приятно. Как-никак, а старались для матери, не забыли старушку. Да и где это видано, чтобы на деревенском кладбище стоял памятник с нержавеющей табличкой да еще и стихами! Но они, Вашигины, народ мастеровой. Отец, два старших сына по дереву мастера – столяры, плотники, известные на всю округу. Младший, Валерка, не пошел по стопам старших, зато на язык мастак, голова, в далеком городе большими делами ворочает.

В другой раз долго сидит у могилы Сергей. Думы свои нелегкие думает, а то и вслух с матерью поговорит. Нет, не плачется на свою судьбу. Судьба она и есть судьба, как жена, кому какая достанется. А так, расскажет ей последние новости, будто отчитается перед старушкой.

- Так мы и живем, работаем с утра до ночи. Ты шибко-то не переживай, не больно я пьянствую. Так уж, для разрядки, когда нервы раскрутятся. Галина-то все в разъездах, а скотины полон двор сама знаешь. Прошлый, семьдесят пятый-то год неурожайным был. Ни одного дождя. Ванька вон здоровый да и то всю скотину прирезал. И не только он... А я всю сохранил: корову, телят и овец всех. Без ног, а накосил. На коленках-то! Тру-удный год был. Не веришь, отец пятнадцать ведер картошки всего накопал с огорода. Сроду такого не по-

мню. Меньше четырех сотен вы и не накапывали никогда. А я сена вон скоко напластал! Все лето работал на подсобном хозяйстве, по клочку насбирал три машины. А ты думаешь, я только пьянствовать умею? Он тянется за куревом, потом продолжает:

- На моих плечах ведь и внук Шурка. Тамарка-то при тебе разошлась с Шестаевым? Ты ведь знаешь, каки они чумовые, из-за угла мешком напуганы. Звал он ее потом, да не пошла она. Был он у нас, меня за грудки схватил, я сгоряча-то свалил его, да и устроил тукмаз-букмаз. Мне ведь только на пол свалить, а там я король. Кулаки-то вон – семь килограмм не моченых. Вроде вышла она потом за городского милиционера, то там живет, то тут, не поймешь их. А Шурка-то все со мной, куда ему больше деться. Он хоть и от Шестаева, а парнишка золотой, в наших пошел. У Галинки с Костей дочка родилась. Дом мы им купили. Вот оно, время-то, как летит. Давно ли я с ней водился, а теперь уж дважды дедом стал.

Потом он прощается:

- Ты уж не гневись, мать, на меня, не шибко я понужаю вино-то. Да не пропаду я, не маленький ведь, дед уж Валерка письмо прислал, просил могиле твоей поклониться: Ну пока прошевай, уж смеркается. Не скучай тут.

Он покидает кладбище, едет в деревню. На сердце становится легче, будто на причастии покаялся в грехах, снял с души груз. Он даже пробует запеть:

- Три танкиста, три веселых друга – Экипаж машины боевой...

И вот сейчас сидит Серега на магазинном крылечке! – Вспоминает мать. Все равно бы у ней рублевку выпросил.

С деньгами туговато у Сереги. Жена Галина работает проводником служебного вагона, все в командировки ездит. Уедет недели на две-три, оставит ему трешницу на хлеб.

- Дай хоть пятерку! – взмолится муж.

- Чтобы пропить-то? Как бы не так!

Вот и крутится Серега. Зимой, правда, легче. Подоит корову, накормит скотину, в стайках вычистит, воды из колодца навозит, а вечером, глядишь, часик-два и выкроит для работы. Кому оконную раму свяжет, кому пимы подошьет – целковый зашибет. Летом труднее. Скотину чуть свет надо в стадо выгонять, в огороде посадить да полить, за цыплятами приглядеть, пчел не забыть. А уж сенокос начнется – и говорить нечего. Здоровые мужики не могут на зиму наскрести сена, а чего с инвалида возьмешь? Вокруг деревни все поля засеяны пшеницей, а если сельсовет даст или с лесником договоришься за бутылку, так не меньше десяти километров в один конец. Лесник-то непременно даст болотину, и накосишь, так до снега не вывезешь. Вот и маракуй, как быть. А пастбища тоже выделяют у черта на куличках. Недаром корову держат в одном из пяти, а то и десяти дворов, недаром мясо и молоко из города возят, благо, электрички часто бегают. На что отец Серегин, можно сказать, родился в поле, крепче, чем жену и детей, любивший скотину, и тот от нее отказался.

Но Серега без скотины не может. Привык он поздно ложиться и рано вставать, привык ухаживать за ней, работать с утра до ночи. Выйдет он в потемках во двор, услышит шумное коровье дыхание, и хорошо на душе станет, тепло. Корова, учув хозяйина, тянет шею к нему, кладет на плечо голову. Знает слабость ее Серега,

почешет задубевшими ногтями коровью шею, а та и рада-радешенька, ткнется влажной мордой в лицо, будто поцеловать, отблагодарить норовит.

- Скотина, а умная, – скажет дрогнувшим голосом редко видевший ласку хозяин, -тоже тянется к человеку, нежности хочет.

Конечно, мясо, молоко, шерсть – не последнее дело в деревне. Вон двух девок выкормил, сейчас внука Сашку пестует. Галинкиной дочке молоко нужно. Самому Сереге можно прожить и без скотины. Государство пятьдесят рублей пенсии платит, можно шабашку сбивать: кому баню срубил, кому косяки врезал, рамы связал. Так-то бы еще легче: не с утра до ночи в упряжке. Еще лет десять назад он мебель хорошую делал: крутил протезной ногой самодельный токарный станок, что сейчас в столярке пылится, точил резные ножки к буфетам. Да вдруг бросил.

- Сделай буфетик, Серега, – просили соседи.

- Все, баста. Государство вон какие полированные делает – загляденье!

- Попробуй купи их, да твои-то и нравятся больше.

- Полно их скоро будет. Да и не могу я государству подножку ставить, оно вон пенсию платит, коляску дает. Не-ет, не конкурент я своему государству.

Мог бы прожить Серега и без скотины, а вот не хочет, любит ее. Все лето с восхода до захода пластается на сенокосе, а летом ночь коротка – всего три часа. Исхудает, лишь широкие скулы на осунувшемся лице блестят угловато. Возьмет литовку с короткой ручкой, встанет на колени и пошел, пошел ширкать: шир-ширк, шир-ширк. Прокос уже получается, чем когда в полный рост косишь, зато устойчивее стоять на коленях, надежней грести. Метать сено совсем тяжело, но уж коль взялся за гуж, не говори, что не дюж. Мужику, главе семьи плакаться не положено, а русскому мужику подавно – в крови у него привычка к тяжелой работе.

Еще труднее возить сено. Не враз Галина денег на машину оставит, пропьешь, скажет. Иди к отцу или соседям, занимай. Транспорт – тоже проблема. Шофер в сенокос – важный человек. За червонец нынче еще и не наймешь – вали полтора на лапу. И грузчики на дороге не валяются, тоже проблема. Но мир не без добрых людей. Ковыляет Серега к соседу Марату, к Сашке Монапову, к братьям.

- Помогите, ребята, машинешку сена привезти. В долгу не останусь. Вот откосимся, кому крышу покрою, кому сапоги подобью.

Время каждому дорого, да как тут откажешь.

Сам Сергей не стоит истуканом. Он на возу. Принимает граблями навильники, раскладывает широко, ползает по всему возу, утаптывает. Не хуже других разложит, конных-то воза четыре вбухает. Глядишь, и у его подворья вырос стожок-другой. Зимуй, скотина, на здоровье, а семья с молоком, мясом будет, и хозяину, и государству легче – не покупать. А бычка можно продать да деньги отложить на новую коляску.

Вот и сейчас ждет Серегу сенокос, да загулял он, второй день куролесит по деревне на своей инвалидке. А это много, ведь теперь он работает на подсобном хозяйстве, вроде как кадровый рабочий.

II

Детство Сереги проходило в войну. После четвертого класса пошел он пасти табун, да так и не вернулся в школу. Время голодное. Летом пас коров, зимой

пилил дрова, разгружал вагоны на станции, ходил на охоту. Потом судьба свела с плотниками. Учился плотницкому, столярному ремеслу, помогал шабашить.

- Большой спец выйдет из Сереге, – похваливали мастеровые.

С ними и первую рюмку выпил, когда жизнь полегче пошла. А когда по-другому взглянул на девчонок, купил гармонь полухромку, на вечёрках «Дунайские волны», «Катюшу» играл. С ребятами водился постарше...

III

...И взялся Серега за тракторные рычаги, хотя сроду трактористом не был. Тяжело выжимать педали, да ведь привычка – вторая натура. Привыкли ноги и к педалям. Наварит он с утра борща, приготовит косарям обед и копается у своей стальной машины. Чих-пых – чихает остывший мотор. Потом набирает, набирает силу, пока не войдет в нормальный рабочий ритм. Добавит Серега газу, дернет рычаги, крутанет около стана и лихо помчит по мягкой луговой земле с огромной телегой. Лицо довольное и серьезное, голубые глаза цепко вглядываются в дорогу. Во всем его облике чувствуется крестьянская уверенность и ямщицкая бесшабашность.

Рядом, на сиденье, вцепившись в ручку, замрет замороженный стальной громадой, дедовским искусством внук Шурка. И катят они по целику, по скошенным полянам, еланям к пресовщикам. Далеко слышен рокот мотора.

Пресовщики стараются всюю.

- Давай, давай, ребята, – подгоняют друг друга, – вон уж Мересьев несется за тюками, а мы все с одним зародом вожаемся. Не успеем – стыда не оберешься.

И живее подгоняют коня, побольше навильники толкают в глотку прожорливому прессу, быстрее вяжут тюки, знают, что Сереге до обеда надо сделать рейс на станцию, отвезти тюки на погрузку.

- Кочегарь, ребята, живее давай! – подгоняет Серега. – Время не ждет, не приведи дождю случиться...

И покатит Серега с полной телегой тюков на станцию, тормознет на площадке, сдаст назад, чтобы сгружали прямо в вагоны, А там уж ждут ребятишки:

- Мересьев приехал, Мересьев! – кричат всей ватагой.

- Дядя Мересьев, прокати-и!

- Айдате, – махнет тот рукой. Полную кабину насадит ребят, а кто не вошел – бежит на телегу. – Да смотрите – держитесь крепче.

На полном газу «кочегарит» обратно, даже у дома не остановит. Как-нибудь ночью заскочит на коляске проведать хозяйство. Теперь некогда, производство не ждет. Его улица уже вытянулась далеко. За деревней он тормознет ненадолго, высадит ребятню, через лес заспешит на покосы. Душа его поет в это, время, горит светлой яростью, и сердце колотится радостно, будто в молодости вышел на первое свидание с Галиной. Он чувствует, что нужен, просто необходим людям. Не могут они без него, как не может без них он, и ему так хорошо среди людей, что домой возвращаться не хочется и некогда вспомнить о «рассыпухе».

Но вот задождало. И не то чтобы заненастило: косить можно, а грести, пресовать не дает погода. Как назло, и трактор сломался. Поехал бригадир за деталью в город, два-три дня не приедет.

- Александрыч! – спросил у него Серега. – Наварил я еды на два дня, а теперь бы и домой надо смотаться. Там, поди, все ревом ревут. Да и в баньке пора попариться.

Бригадир – человек, отпустил. Приехал Серега в деревню, завез внука теще, вычистил навоз в стайке, убрал во дворе, А дом все равно кажется нежилым, будто вымерли в нем все давно, будто стоит он в дремучем лесу и заброшен людьми. И снова навалилась на него могильная тоска, всем жизненным грузом навалилась, словно прожил последние двадцать лет в одиночестве, без людей, вдвоем со своим несчастьем...

И снова Серега гуляет. Еще не раз в этот день промчится он на светло-зеленой мотоколяске по безлюдным, ухабистым улицам. Еще не раз будет сплевывать с губ липкий, противный осадок «рассыпухи». А вечером, достав из чулана старую полухромку, станет рывками тянуть меха, неуклюже топтать ногами на голбечной западне, петь хриплым от вина голосом:

- Кабы были мы здоровы, Положили б три коровы...

Песня скорее похожа на хрип, словно в больших потугах изрыгается из человеческого нутра. И, уставший, обессиленный от загула, он упадет на кровать, вспомнит о работе, о людях на сенокосе, о предстоящем разносе бригадира. Ему станет лихо-лихо. И, засыпая, он все будет шептать:

- Судите меня, люди, судите пьяницу, зимогора... Судите, люди, Серегу.



ВИКТОР КОЛЕСНИКОВ

(1938-2004)

Родился в Тамани 15 января 1938 года в семье военнослужащего. В 1939 году отец ушел на войну с финнами, и мать привезла Витю в Ставрополь к своим родителям. С этим городом связана вся последующая жизнь писателя. Отца Виктор не помнил, пропал без вести в 1943 году. Последнее письмо-треугольник с грифом «За Родину! За Сталина!» пришло из-под Курска. Судя по официальным ответам Министерства обороны на запросы ма-

тери, без вести пропала вся дивизия, в которой служил отец. Пенсию платили за рядового мизерную – по тем временам цена булки хлеба.

Начало сознательной жизни связано с дедом-самоучкой и его богатейшей по тем временам библиотекой: два десятка томов любовно переплетенного журнала «Вестник знания», где можно было найти все – от статей Ильича (Ленина) до черной магии, не говоря о философии, последних достижениях науки и литературы. Читать Виктор начал рано, с четырех лет. Научился сам, благодаря несложной хитрости деда: дочитав до середины «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка, он откладывал книгу в сторону, и сколько мальчик его ни упрашивал, дальше читать отказывался. Букваря не было, учился сразу по книге. Дочитал рассказ самостоятельно. С того дня читал всюду, даже под одеялом с фонариком, притворяясь спящим. Все прочитанное пересказывал соседским мальчишкам. Иногда Виктора уличали, что одну и ту же историю он рассказывал по-разному. Не то подсознательно редактировал, не то перебирал варианты – «А я бы написал так», хотя о писательстве поначалу и не помышлял.

Второй столь же всепоглощающей страстью стала охота, которая в военные времена позволила относительно безбедно пережить голодные годы. Как и ореховая удочка с самодельным крючком, которой Виктор ловил пескарей на Комсомольском пруду. Пяток воробьев или десяток пескарей, зажаренных на прутике, стали привычным рационом ребенка, который научился добывать себе пищу сам и ею поделиться с другими.

Третьей страстью Виктора стало небо. В шестнадцать лет – первый прыжок с парашютом (кстати, он не раскрылся, приземлялся на запасном), в семнадцать – первый самостоятельный полет. Первая книга тоже о небе – «Взлетная полоса». Но это уже потом.

С 1960 по 1965 год учился в Москве, в Литературном институте им. Горького, в семинаре старейшего русского прозаика Владимира Германовича Лидина.

После института работал редактором художественной и детской литературы в Ставропольском книжном издательстве, преподавал в Верхне-

русской школе рабочей молодежи, был литературным консультантом краевой писательской организации.

Издал книги «Взлетная полоса», «Поля, полные перепелов», «Одинокие птицы», «Лазорики».

Умер В. Колесников в 2004 году.

У Владимира Колесникова был светлый талант. Любовь к родной земле, природе, к людям, ко всему живому – вот что составляет силу его творчества. Писатель разрабатывал проблемы христианской этики и эстетики, антропологии.

Романтик по натуре, В. Колесников исколесил всю страну, побывал в горах и пустынях, на БАМе среди таежников. Его творчеству присущи пристальное внимание к сельскому пейзажу, бережное отношение к истории Отечества, к вчерашнему и сегодняшнему дню Ставрополя.

Произведениям В. Колесникова свойственны чёткость гражданских позиций, жизненная конкретность, неподдельный лиризм, естественность патристической интонации и чувство современности. Проза Виктора Колесникова наполнена правдой, благородством и добром, неподдельной честностью. Многие его книги – памятные вехи биографии писателя и его поколений.

ЛИНДА

(отрывок из повести)

Она родилась на свежей ржаной соломе в самом теплом и темном углу риги, как и полагается настоящей немецкой овчарке.

Ее мать, уже шесть раз принесшая хозяину крепких, как булжники, и свирепых с детства щенят, забеспокоилась с полудня. Хозяин, пожилой бауэр, сразу все понял, принес охапку свежей соломы, разровнял, но Эрна, так звали мать Линды, перегрела все по-своему и легла.

Хозяин вернулся в ригу с плоской бутылкой красного вина и кружкой горячей воды. Вино и воду он смешивал на ладони, и Эрна слизывала разбавленное вино длинным благодарным языком.

Потом вздохнула и отвернулась, и хозяин понял – больше беспокоить ее не надо.

Родилась Линда, как и все собаки, слепая, глухая и беззубая. Но уже на следующий день она поняла, что в мире есть порядок – это теплое материнское брюхо и ее заботливый шершавый язык. Были еще братья и сестры, которые отпихивали ее от сладких сосков, и тогда она плакала, тоненько и жалобно. Мать Линды была умная и опытная мать: временами она вставала, ждала, пока отпадут присосавшиеся щенки, и ложилась на другой бок.

И пока они, негодующе скулящие, искали ее сытное брюхо, она ласково смотрела на всех сразу.

Линда была слабее остальных щенков, и ее обычно отпихивали в сторону, но потом она поняла, что когда ее отпихивают, надо попасть задней ножкой в рот братцу и, пока он разберется, впиться в сосцы матери.

Хозяин каждый день приносил свежую воду и еду пожилой овчарке, но щенят не трогал. А когда у них открылись глаза, голубые и еще бессмысленные,

он пришел, бесцеремонно выгреб их из-под материнского брюха и начал по-очередно осматривать.

Эрна немного волновалась, лизала руки хозяина и временами повизгивала, хотя и знала, что он не сделает им ничего плохого.

– Гут! Гут! Гут! Майн гут! И этот черный дьявол – немецкая овчарка?!

Мать Линды не поняла, чем недоволен ее хозяин, и еще раз лизнула ему руку.

Да, Линда родилась совершенно черной, и уши у нее были намного больше, чем у остальных щенков, и лоб круче, почти как у охотничьей собаки. И ноздри шире... не овчарка, а пойнтер.

Не стандарт.

Черный человек в неприятно пахнущих хромовых сапогах, который каждый год забирал у пожилого бауэра собак для службы в рейхе, увидев Линду, расхохотался:

– Это немецкая овчарка?

Линда насторожила свои огромные нестандартные уши, расширила нестандартные ноздри и глухо заклокотала горлом. Этот человек ей не понравился, хотя она и не поняла, что он сказал.

Хозяин взял ее за ошейник и погладил по голове.

– Ду бист майн думкопф! Дура ты моя! И Линда чуть заметно вильнула хвостом.

Дело ведь не в том, что хозяин обозвал ее душой, дело в том, что обозвал он ее очень ласково. Собаки это сразу чувствуют.

В армию Линду не взяли, и хозяин приспособил ее сторожить овец.

Когда он начал обучать ее хитрому пастушескому ремеслу, Линда не один раз удивила его своим умом и сообразительностью, и он все чаще и ласковее говорил: «Ду бист майн думкопф!» Это была самая высшая похвала.

А когда ей было уже два года и она точно знала, что ночью к овцам может приближаться только хозяин, она слышала негромкую чужую речь и осторожные, крадущиеся шаги.

Линда тихо зарычала, но не двинулась с места, пока шаги и дыхание на раздалась почти рядом, в тридцати метрах от фермы. Тут она не выдержала и с лаем бросилась вперед.

Что-то мгновенно сверкнувшее и оглушившее ее грохотом, прожгло ей щеку и ухо, затем два раза громыхнул «зауэр» хозяина, и она медленно пошла назад, к ферме.

Утром примчались на мотоциклах люди в черных мундирах со стандартными собаками, поговорили с хозяином и, развернувшись цепью, ушли в горы.

Линда слышала собачий лай, потом три раза громыхнуло то, что ночью прожгло ей щеку и ухо, и тут же раздался очень громкий и частый лающий грохот. И сразу все стихло.

Через месяц Линда опять услышала чужую речь и осторожные шаги. Но теперь она не залаяла и не бросилась вперед. Она ползла на брюхе, очень тихо и аккуратно перебирая лапами, замерла около ограды, сделанной из тонких березовых бревен с таким расчетом, чтобы не пролезла овца, и ждала.

А когда через изгородь бесшумно перемахнул высокий мужчина, она так же бесшумно метнулась навстречу и сомкнула клыки на его горле. И не разжимала челюстей до тех пор, пока он не стал совсем неподвижным.

Ее немного тошнило от острого и соленого запаха крови, но теперь она знала, что он уже не прогрохочет тем, что так больно обжигает щеку и ухо.

Утром опять примчались на мотоциклах люди в черных мундирах, и один из них долго разговаривал с пожилым бауэром. А затем, впервые в жизни, хозяин надел на нее намордник и сам посадил в люльку мотоцикла. Линда рвалась, рычала, хрипела от ярости, но сидящий в люльке человек властно прижал ее к коленям, мотоцикл взревел и с грохотом помчался вперед, в неизвестное.

Три дня она бесновалась в вольере, бросалась на любого, кто приближался к сетке, потом начала выделять из всех одного, который подходил всегда с поилкой в руках, и через неделю смирилась.

Он вошел, обессилевшая Линда сжалась для прыжка, но он тихо и властно сказал: «Цурюк!» – «Назад!», поставил поилку и вышел.

На следующий день она взяла у него из рук пищу, а через неделю уже шла около его левой ноги по асфальтовой обводной дорожке, кольцом окружавшей бараки концлагеря, деликатно отворачивая нос в сторону от цокающих подковками и сверкающих хромовых сапог. У нее было очень тонкое чутье, и она не переносила оглушающий, тяжелый запах сапожной ваксы. А запах оружейного масла, которым смазывали автоматы, ей нравился, хотя есть его нельзя: один раз Линда лизнула «шмайсер» – не вкусно! Но «шмайсер» тоже мог лаять, и даже громче, чем любая собака, и тоже мог сделать неподвижным кого угодно.

Новый хозяин обучил ее многим вещам, совершенно не нужным пастушьей собаке, но необходимым в ее новой жизни, и после каждого урока он все больше и больше удивлялся ее уму и сообразительности.



ИОАКИМ КУЗНЕЦОВ (1917-2007)

Иоаким Вячеславович Кузнецов, член Союза писателей России, военный лётчик, подполковник в отставке, войсковой казачий старшина, широко известен в крае, в первую очередь, благодаря книгам о ставропольской земле.

Иоаким Кузнецов родился в 1917 году в с. Колобово Балейского района Читинской области в семье железнодорожника.

На его пути в литературу, к своей теме были зигзаги, крутые повороты. Учился на историческом факультете Читинского государственного университета, а стал военным летчиком-истребителем. Во время Великой Отечественной охранял границы страны на Дальнем Востоке по реке Амур. Служил командиром авиазвена, затем – эскадрильи.

Тогда-то, во время службы в войсках ПВО Бакинского округа и после публикации очерков и рассказов, посвященных воинским будням, в качестве корреспондента штаба Военно-Воздушных сил СССР в окружной армейской газете «На страже» начался творческий путь Кузнецова.

Крепко задумался однажды Иоаким Вячеславович над высказыванием Льва Николаевича Толстого: «Нелитературная книга – это кладбище идей, образов и мыслей. Никому еще не удавалось заставить людей познавать историю через скуку». Обширнейшие познания в области истории, географии, этнографии – вот тот фундамент, на котором зиждется творчество Иоакима Кузнецова. Только глубоко познав духовную и материальную культуру народов Северного Кавказа, особенности их бытового уклада, обычаев, языка, характера взаимоотношений, можно ориентироваться в этнической пестроте так свободно и легко, как это делает Иоаким Кузнецов. Вместе с тем ему свойственно умение писать нескучно. В каждом его произведении, будь то небольшой рассказ или объемный роман, присутствует невыдуманный, идущий от жизни конфликт, сильные человеческие характеры, удивительные факты из судеб реально существовавших в прошлом замечательных личностей. Благодаря умелой детализации повествования создается иллюзия присутствия читателя при свершении событий из исторического прошлого, полного для него познавательного интереса и экзотической новизны. Все это вместе взятое придает произведениям писателя характер достоверности и художественной убедительности.

Бывший военный летчик и военный журналист как профессиональный писатель он заявил о себе в 1964 году повестью «На ближнем рубеже», вышедшей в Москве. Затем его книги очерков «Весна в Долинном» и «Ключи к земле» вышли в Ставропольском книжном издательстве.

Приехав в Ставрополь в 1965 году, работал в крайкоме партии референтом, с 1967 по 1977 год – в Ставропольском книжном издательстве.

Что побудило приехать в Ставрополь? Может быть, магия нашего необыкновенно притягательного для воображения края, прочувствованная еще в малолетстве, властно позвала Иоакима Кузнецова последовать тропой «тигра» через дебри времен? Рассказы о событиях на Кавказе он впервые услышал от своего деда, и они навсегда запали в память, пробудили интерес к незнакомой далекой земле.

Будучи студентом исторического факультета Читинского университета, он «перелопатил» гору литературы о Кавказе, о Кавказской войне. Именно тогда он создал великолепную метафору – «кавказский тигр». Глядя на карту, на Кавказ, он, прозаик, живо «схватил» и с исчерпывающей полнотой осмыслил увиденное. Да, Кавказу с его неприступными вершинами, каменистыми ущельями, бурными потоками и водопадами, с его самобытными племенами, гордыми, вольнолюбивыми и непреклонными духом очень подходит это образное сравнение!

О «кавказском тигре» после войны напомнили вновь полеты над Северным Кавказом, которые Иоаким Кузнецов совершал, служа в Бакинском округе войск противовоздушной обороны. Тогда-то и пришло решение после демобилизации обосноваться в Ставрополе, где он мог пользоваться в своих изысканиях богатейшей документацией краевого архива...

В 1974г. вышла книга «Как вырастили крылья», героев которых мы узнавали не по фамилиям, а по характерам и поступкам. Этот рассказ – свидетельство того, как формировались творческие принципы писателя. Свои книги он не «придумывал», он описывал то, что знает, старается избегать любых искажений и неточностей.

И. Кузнецов выбрал свой путь в литературе. Главный его замысел созрел как труд о корнях и истоках сложившихся регионах нашей страны. Из этого замысла он завершает несколько книг о городах Северного Кавказа, так как владеет богатейшим материалом по его истории и культуре.

Название каждой книги отчётливо сосредоточено на том, что отличает каждой город, делал его неповторимым: «Крепость в степи» – это Ставрополь, «На холмах горячих» – это Пятигорск, «У истоков живой воды» – это Кисловодск. «Узелки на память: Кавказские сказания»; «На восходе солнца: историческое повествование о Георгиевском трактате», «Тихая линия» – о ставропольских казаках и одновременно о городе Михайловске.

Книги И. Кузнецова не просто легко читать. Они дают возможность обращаться к материалу как своеобразному справочнику всякому, заинтересованному в прошлом своей родины читателя.

В 1976 году появляется повесть «Крепость в степи», где автор показывает рождение и мужание крупнейшего на юге нашей страны административного, экономического и военного центра – Ставрополя. Автор освещает ярчайшие предметы времени: строительство в конце 18 века крепостной военной линии на Северном Кавказе русскими переселенцами – казаками и солдатами; взаимоотношения – культурные, военные и государственные. Герои Кузнецова – люди высоких нравственных чувств и порывов. Они смело

и широко мыслят, сильно и глубоко чувствуют. Они, интернационалисты и патриоты, понимают великую культурно-цивилизаторскую и военную миссию русского народа на Кавказе...

Вместе с первой книгой о Ставрополе («Крепость в степи») печатается и вторая – «На перекрестке дорог», охватывающая период с отмены крепостного права до названия первой русской революции 1905 года в Предкавказье.

Иоаким Вячеславович много работал с архивными документами. Результатами его кропотливых изысканий стали книги о возникновении первых русских городов на Кавказе, о героической защите границ российского юга от набегов горцев. Особым чувством пронизаны его исторические сказания о ставропольских казаках «Тихая линия», «На земли вольные, кавказские», краткая история Терского казачества, рассказанная в книге «Через века».

Одно из последних произведений И.В. Кузнецова – «Тихая линия», исторический роман о ставропольском казачестве. Написан он был давно, а опубликован лишь в 1997 году. Оно и понятно: только к этому времени было снято, наконец, идеологическое табу с казачьей темы. О многом побуждает задуматься это произведение. Вдумчиво прочитав его, лучше понимаешь противоречивую суть событий, происходивших в прошлом и ныне на Северном Кавказе.

Удивителен тот факт, что он был принят в Союз писателей только в 1994 году, на 77-м году жизни. К этому времени, когда Иоаким Вячеславович Кузнецов был официально признан профессиональным писателем, читатели уже узнали и полюбили его книги. Все они посвящены истории городов Ставрополя, людям, вписавшим в нее яркие страницы, исполненные ратного и трудового героизма.

Нет ничего увлекательнее, чем история в лицах, человеческих судьбах. Однако это утверждение верно, лишь когда мы имеем дело с мастером художественного слова. Писательская деятельность И.Кузнецова была порождена обширным наблюдением и хорошим личным знанием материала, который составлял содержание малых и больших литературных произведений. Это особый вид литературного творчества, требует огромного труда. Он тяготеет не чисто к художественному стилю, а к тому, что можно назвать документальной прозой.

Вот что сказал о его литературной судьбе старейший ставропольский писатель Вадим Чернов: «Иоаким Кузнецов выбрал для себя историческую тему как магистральную. Жанр, в котором он работал, – синтез романа и очерка, прозы и публицистики. И всю жизнь он страдал из-за этого своего выбора. Дело в том, что произведения такого рода проходили в издательстве по общественно-политической редакции. А там гонорары были гораздо ниже, чем за художественную литературу. Да и сам жанр находится на стыке публицистики и краеведения, что как бы ставит под сомнение художественную полноценность произведений такого рода. Так считалось, хотя это и неверно».

Иоаким Вячеславович много сделал для любимого города и края. Благодаря его писательскому дару Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ставрополье в целом предстаёт перед читателями в захватывающих исторических описаниях. Его произведения о казачестве могут соперничать с шолоховскими. Многие терские казаки рассказывали о том, как, отложив все

дела, запоем читали его «Тихую линию», что книги И. Кузнецова стали учебниками жизни, по ним учатся и теперь наши дети и внуки. Иоаким Вячеславович был истинным гражданином и патриотом Ставрополя и Ставропольского края. Он, безусловно, достоин, чтобы его имя было увековечено не только на обложках его книг, но и на карте родного города.

30 апреля 2007 года ушёл из жизни Иоаким Вячеславович Кузнецов – летописец Ставрополя и Ставропольского края. Менее четырех месяцев не дожил он до своего большого юбилея – 21 августа Иоакиму Вячеславовичу Кузнецову исполнилось бы 90 лет.

Подытоживая более чем полувековую работу в литературе, И. Кузнецов писал: «Во всех своих произведениях я старался вернуть людям историческую память, сохранить основы народного бытия, уберечь корни, питающие нацию, дать ответы на вечные вопросы о смысле жизни и цели существования человека. Показывал, что люди исстари стремятся к счастью, справедливости и свободе. А добиться этого можно только через Добро».

КРЕПОСТЬ В СТЕПИ

Предисловие

Каждый город, область, край имеет свое неповторимое лицо. Сибирские поселения окружены тайгой, кавказские – горами. А у нашего Ставрополя лик степной. Куда ни кинь глазом, везде раздолье, пересеченное небольшими долинами, балками, взгорьями и курганами, продуваемое со всех сторон разгонистыми ветрами и прокаленное летом щедрым южным солнцем. В прошлом дикая, пустынная степь, с редкими войлочными кибитками кочевников, теперь прочно, по-хозяйски обжитая и смекалисто приспособленная для жизни людей на засушливом вольном просторе.

Почти все города, станицы и села здешнего края располагаются в долинах и на равнине, а Ставрополь забрался на макушку возвышенности. И неспроста: там природа сотворила чудо – на каменистом плато, приподнятом в лазурную синь неба, разбросала родники с чистейшей, как слеза, водой и взрастила густой вековой лес. Именно здесь в окружении роскошного зеленого ожерелья и обосновался город.

Возникнув в 1777 году на перекрестке дорог из Руси в Закавказье, город сразу стал играть важную роль в развитии торговли России с Востоком, странами Причерноморья и Закавказьем, в обороне ее границ, в укреплении дружественных связей русского и горских народов в борьбе против их общего врага – турецких, персидских и крымских захватчиков.

Конечно, имел он тогда не такие размеры, что теперь, иной уровень жизни, другие формы и содержание бытия. Скорее всего, был похож на огромный проходной двор. Потому что никто из совершавших поездку между Доном, Кубанью и Терекom не мог миновать его. С севера ли человек ехал, допустим, из Петербурга или Москвы, с юга ли – из Закавказья, с запада ли – от берегов Черного Азовского морей, с востока ли – с Нижней Волги и Каспия, он непременно попадал в Ставрополь.

Кто только не бывал в Ставрополе! Если иметь ввиду, разумеется, не факиров на час, а знаменитых людей, которые живут и вечно будут жить в памяти людской.

Откройте страницы летописи присоединения Кавказа к России, и вы сразу увидите имена выдающихся русских ученых, которые в далекие годы исследовали жизнь кавказских народов и природные богатства этого удивительного края, градостроителей, поставивших здесь первые русские города. А какой заметный след оставили на Кавказе Суворов и Ермолов – гордость нашего военного искусства и немеркнувшей славы русского оружия. Вчитайтесь в главы развития культурных связей России с Кавказом – и вам непременно попадут строки о пребывании в Ставрополе корифеев русской литературы: А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, писателей-декабристов Бестужева-Марлинского, Одоевского...

Ставрополь дал миру Германа Лопатина – первого переводчика на русский язык бессмертного «Капитала» Маркса, храбрейшего и несгибаемого народного Михаила Фроленко, организатора одной из первых социал-демократических групп в России Михаила Бруснева, славную плеяду революционеров, крупных военачальников гражданской и отечественной войн.

Скажите, много ли в России городов, которые с Гордостью могут показать вам, что вот по этим улицам и площадям ходили, в этих домах жили, здесь пробовали вкус местного запашистого хлеба и ключевой воды выдающиеся мужи русской нации? Ставрополь один из таких. Здесь каждый аршин земли историей дышит.

(отрывок из романа)

Глава 1

Весна 1777 года в Астрахань пришла рано. После холодной и вьюжной зимы, наметавшей огромные сугробы, вдруг разом, точно по команде, очистилось небо, ярко засветило солнце, весело зажурчали ручьи, и за одну неделю земля освободилась от снега.

Город стряхнул с себя дремоту. На пристанях началось движение. Короли Волги – владельцы судов, барж, баркасов, наняв артели мастеровых, конопатили и смолили борта транспортов, обновляли палубные надстройки, приводили в порядок прибрежные склады. На телегах везли заготовленные зимой новые бочки, кипы мешков, рулоны парусины, брезента и канатов. Рыбаки, прислушиваясь к тому, как охая, с треском ломается лед на реке, чинили во дворах сети.

На улицах было пестро от разномастной одежды русских, татар, армян, грузин, шумно от разноязычного говора, от покрикивания извозчиков, от бойких голосов зазывал, предлагавших зайти в торговый дом и купить товар для души.

В ясное мартовское утро по широкой Набережной пара гнедых рысаков, цоккая копытами по мостовой, легко катила шикарную коляску. На высоких козлах – кучер, сзади него, откинув массивное туловище на мягкую кожаную подушку, важно восседал астраханский губернатор генерал-майор Якоби Иван Варфоломеевич. Встречные приветствовали властелина обширного края юга России: купцы, дворяне, чиновники приподнимали шляпу; казаки и солдаты становились во фронт; гольятьба кланялась в пояс.

Все побаивались губернатора. Простой люд шепотом, с оглядкой говорил о нем: «Деспот! За малейшую провинность велит сечь нагайкой». Именитые – громко, чтобы слышали все, утверждали обратное: «Что вы? Да Иван Варфо-

ломеевич нежнейшей души человек! С подчиненными ласков, обходителен. Ежели и наказывает кого, так за провинность. Но и при этом он деликатен. Не повышая голоса, вымолвит: «Голубчик, изволь получить двадцать плетей».

Якоби ехал на службу в веселом расположении духа: вчера ему исполнилось пятьдесят. Городская знать поздравляла его с днем рождения, не скупясь на подарки. Особенно старалось купечество. Когда ему преподнесли соболью шубу, большие золотые часы с массивным бременем, украшенным самоцветами, Иван Варфоломеевич даже опешил и сделал оградительно-отрицательное движение рукой, как бы говоря: «Зачем? Ведь это, голубчики, подкуп!», но подарки все-таки взял: не хотел обижать знатных мужей Астрахани, которые держали в своих руках почти всю торговлю в губернии и существенно влияли на процветание южной окраины России.

Хотя Якоби и «разменял» шестой десяток, но полное, с правильными чертами лицо его, обрамленное аккуратно подстриженными бакенбардами, выглядело молодо. На высоком лбу, туго обтянутом белой кожей, ни единой морщинки. Большие, серые, выразительные глаза смотрели ясно и задорно. Густых темных волос еще не коснулась седина.

Начав службу в русской армии прапорщиком, Якоби скоро понял, что главное – угодить начальству. Угодил – хорош, нет – впал в немилость. Завоевать же ласку сильных мира сего можно было, как он считал, двумя путями; прежде всего быть беспощадным к нижним чинам, держать их в повиновении и страхе; и второе – подобрать себе толковых помощников, поручая им самое трудное и ответственное дело. Действуя так, Иван Варфоломеевич быстро вырос до майора и, выйдя в старшие офицеры, полез вверх по ступенькам служебной лестницы.

Во вторую русско-турецкую войну (1768 – 1774) он уже командовал полком. В бой особенно не рвался. Но когда начальство выдвинуло его полк на решающий участок при сражении на Дунае в 1768 году, Якоби трижды бросал батальоны на вражеские позиции и, несмотря на сильнейший огонь турок и большие потери в своих ротах, все-таки смял неприятеля.

За усердие в последующей службе, за беспредельную, как считали в верхах, преданность матушке-императрице Екатерине II Иван Варфоломеевич в возрасте сорока трех лет был произведен в генералы.

В 1775 году Якоби назначили астраханским губернатором. В первый же месяц он перетряс чиновников губернского управления, поставил на ключевые позиции особо изворотливых. Они-то, как лошадки, потянули весь воз административно-хозяйственных функций, а он, восседая на поклаже, только подстегивал их...

Приехав в управление, Якоби начал свой рабочий день с чтения бумаг, которые были получены вчера из Петербурга от наместника Астраханской, Азовской и Новороссийской губерний князя Потемкина. Если циркуляры других коллегий, департаментов и ведомств были написаны в уважительном тоне, то ордера наместника были категоричны, грубы, иногда оскорбительны. И потому вчера Иван Варфоломеевич не стал их читать, дабы не испортить себе настроение в день ангела.

Первая бумага требовала установить жесткий контроль за сбором налогов, пошлин и податей с населения, навести порядок в губернском казначействе – прекратить взяточничество и мотовство. Князь Потемкин упрекал Якоби в том, что он не умеет держать бразды правления в ежовых рукавицах.

Иван Варфоломеевич нахмурился. «Не разорваться же мне надвое: гражданскую власть чинить на всей Нижней Волге и военную – на Кавказской границе», – с огорчением подумал он и позвонил позолоченным колокольчиком. В кабинет вошел адъютант, молодой, бравый штабс-капитан, вытянулся в струнку.

- Прикажете-ка, голубчик, главному казначею представить мне подробнейший отчет о сборе налогов и пошлин. И акт последней ревизии – тоже...

Вторая бумага наместника предписывала генералу Якоби выехать на Кавказскую границу, лично осмотреть местность и наметить на карте позиции для строительства десяти оборонительных укреплений от Моздока до Азова.

Два года назад, заступив на должность губернатора, Иван Варфоломеевич ахнул: «Бог мой, владения Астраханской губернии охватывают не токмо нижнюю Волгу, но и земли Терского казачества, граничат на юге с Кабардой, Чечней, Кумыкией, а по Кубани – с карачаевцами, ногайцами и черкесами». Глядя на карту, он увидел, что кавказская граница на семьсот верст тянется от Каспийского моря до Азовского. Первый двухсотверстный участок охранялся войсками генерала Медема, расположенными в крепостях Кизляр и Моздок, да тринадцатью станицами гребенских и терских семейных казаков, и здесь было сравнительно тихо. Второй же участок, от Моздока до Азова длиной в пятьсот верст, совершенно гол. Горцы, жившие за реками Малкой и Кубанью, вместе с ногайскими татарами, подданными крымскому хану, собирались в большие отряды и на резвых скакунах беспрепятственно проникали в южные губернии России – на Дон, на Хопер, в низовья Волги, грабили поселения, угоняли скот, уводили в плен мужчин, женщин, детей и продавали их в турецкое рабство.

Генерал Медем пытался пресечь набеги разбойников, посылал экспедиции из Кизлярской и Моздокской крепостей, наряды казаков из гребенских станиц с целью перехватить абреков на обратном пути, но пока экспедиции и наряды двигались на второй участок границы, горцы уже были дома и делили пленных и награбленное.

Якоби понимал, что Кавказская граница для него дамоклов меч. Если и в дальнейшем будут продолжаться набеги, то наместник южных губерний России не погладит по голове Ивана Варфоломеевича, Где выход? Как избавиться от разорительных шаек горцев? Выход был один – построить на втором участке пограничной полосы ряд крепостей, форпостов и редутов и посадить в них регулярные войска. Об этом надо просить князя Потемкина. Но просить не с пустыми руками. Грозный генерал-аншеф непременно спросит: «Уж коль ты, милейший губернатор, предлагаешь построить крепости, форпосты и редуты, так покажи на карте, где их возвести. Мне из Петербурга не видно». Якоби послал обер-квартирмейстера подполковника Германа с командой на второй участок границы и велел там найти удобное место для строительства оборонительных укреплений. Через два месяца Герман привез в Астрахань заснятые на бумаге планы местности. Якоби не мешкая выслал их в Петербург.

Вскоре пришел ответ, в котором князь Потемкин не только не поддержал предложение астраханского губернатора, но даже высмеял. Против кого, писал он, возводить крепости и держать в них регулярные войска? Против малочисленных племен кавказских? Да их не крепостями надо утихомирить. Доста-

точно переселить на берега рек Малки, Куры, Кубани и Егорлыка пятьсот семей волжских казаков, и горцы подожмут хвост. Вообще, надобно поменьше размахивать оружием перед тамошними племенами. Лаской, лаской их брать...

5 мая 1776 года князь Потемкин представил императрице Екатерине доклад, в котором изложил прошект переселения на Кавказ казаков с Волги, «кои в наказание за участие в злодеяниях Пугачева подлежат ссылке». Прошект предусматривал и другое: чтобы держать переселенных смутьянов в повиновении и употребить на пользу охраны русских владений, следует объединить их с другими воинскими частями на Кавказе в один корпус, назвав его Астраханским Казачьим Войском.

Узнав о таком плане, Якоби с огорчением подумал: «Разве можно заткнуть пятисотверстную дыру на границе пятьюстами семей казаков? Это же капля в море! Да и какие защитники из пугачевских разбойников? Они же разбегутся. Или устроят бунт. А начни их прижимать – переметнутся за Терек. Затея князя Потемкина лопнет, как мыльный пузырь».

Так и получилось. Первая партия волжских казаков приехала на указанные места, осмотрелась: кругом степь, балки, ни кола, ни двора. Где жить? Да и как жить, если каждый день могут наскочить абреки, которые способны на все: пулей сразить, кинжалом кишки выпустить, аркан на шею и в плен увезти? Казаки поняли: переселение на Кавказ не лучше сибирской ссылки. И подались обратно на Волгу, а кто на Яик, кто в оренбургские степи. Россия большая, ищи в поле ветра.

Всю вину за провал прошекта князь Потемкин взвалил на Якоби. Почему позволил разбежаться волжским казакам?.. Удержать, конечно, их можно было, если Иван Варфоломеевич поставил бы охрану и позаботился бы о строительстве жилья. Но в то лето из-за Терека прорвалась партия абреков и угнала большой табун казачьих лошадей, генерал Медем направил свои войска вдогонку, для пресечения грабежа. А на строительство жилья в казне Астраханского губернатора денег не оказалось.

И вот теперь, год спустя, князь Потемкин, видимо, понял, что предложение Якоби, пожалуй, единственный выход из создавшегося положения на Кавказской границе. В бумаге, которую держал в руках Иван Варфоломеевич, наместник писал, что для окончательного решения вопроса о строительстве оборонительных укреплений, кроме планов местности, по которым трудно понять, где будут сооружены крепости и редуты, нужна еще и подробнейшая карта будущей Линии от Моздока до Азова и описание каждой позиции: чем она выгодна с военной и экономической точек зрения. А по сему, милейший губернатор, лично потрудитесь выехать на границу и исполнить веление, а затем прибыть в Петербург для доклада о результатах рекогносцировки.

Прочтя бумагу, Якоби почувствовал, что по спине его побежали холодные мурашки. Ему страшно не хотелось ранней весной, в слякоть и распутицу ехать по голой степи, ночевать у костра, питаться всухомятку. «Это издевательство и насмешка над достоинствами генерала и губернатора», – подумал он. Странным и другим: для выбора позиций и обоснования их со всех точек зрения нужны фортификационные знания, а у Ивана Варфоломеевича их не было.

Обер-квартирмейстер подполковник Герман, понимающий толк в этом деле, находился в отпуске, жил не то в Москве, не то в Калуге.

Иван Варфоломеевич представил себя в Петербурге, докладывающим результаты рекогносцировки. Князь Потемкин, как водится, строго устает на него свой орлиный, единственно живой глаз и потребует объяснить: почему Якоби избрал именно эти позиции, а не другие? Чем выгодны они с военной и экономической точек зрения?... И нечего ведь будет ответить Ивану Варфоломеевичу. И тогда наместник исполнит свою угрозу, топнет ногой и крикнет: «Марш из моего кабинета!» Да и от твоего генеральского звания останется одна видимость. К чему всю жизнь стремился, все будет зачеркнуто одним махом...

Якоби потерял виски, опустил голову. Как выкрутиться из такого щекотливого положения? Не было еще случая, чтобы он не выходил из самых трудных ситуаций. И вдруг лицо губернатора просветлело. «Да чего мне горевать! Есть же в моем подчинении инженер-фортификатор. И рядом – в астраханском гарнизоне. Он удачно выбирал места и добрые поселения строил для иностранных колонистов на Волге».

Белая, холеная рука Якоби потянулась за колокольчиком. Вошедшему на звонок адъютанту генерал сказал:

- Вызови-ка, голубчик, ко мне командира Кабардинского пехотного полка господина полковника Ладыженского...



НИКОЛАЙ ЛЯШЕНКО

(род. 1945)

Николай Ляшенко родился 1 января 1945 года в селе Подгорном Калачевского района Воронежской области. Здесь и пошел в первый класс. Затем учился в разных школах: в поселке Краснореченске Приморского края, глухом лесном поселке Бобровка на реке Чулым в Томской области, опять в селе Подгорном. Десять классов заканчивал в городе Калаче.

Судьба Николая сложилась таким образом, что с пятнадцати лет жила самостоятельно. Днем учился в школе, вечером работал на кирпичном заводе – грузил и разгружал вагонетки с кирпичом-сырцом. После окончания школы работал рабочим бурового агрегата в Брянской области, бетонщиком в Камышине. Затем – политехнический институт в Саратове. Окончил его в 1969 году, работал на различных инженерных должностях на военных объектах в Подмосковье, на Украине, в Казахстане, строительно-монтажных и проектных организациях в Ставрополе, уполномоченным Ставропольского краевого отделения Литфонда, главным редактором газеты «Литературный Юг России».

Повести и рассказы публиковались в краевых и республиканских газетах, журнале «Дон», альманахе «Ставрополье», коллективных сборниках. Вышли отдельные книги – «Камерный концерт» и «Здесь их судьба». Вместе с поэтессой Р. Котовской много сил приложил, чтобы свет увидела книга «Судьба» – о пролетарском писателе Алексее Бибике, прожившем почти сто лет, из которых почти сорок провел в царских тюрьмах и сталинских лагерях, лично знал М. Горького, В.И. Ленина, многих других известнейших людей.

Для нас очевидна историческая антропологичность данного произведения, которая заключается в умении авторов раскрыть через судьбу одного конкретного человека целую эпоху жизни громадной страны. Особая ценность проявляется в том, что главный герой книги – реальный участник трагических событий, происходивших на переломе российской истории.

Глазами А. Бибика мы смогли увидеть, как бы подсмотреть, прочувствовать изнутри яркие эпизоды реальной жизни простых людей. Не менее важны интересные наблюдения, зарисовки, впечатления от встреч с выдающимися деятелями нашей страны.

Говорят, анкетные данные – для анкет. Но для писателя биография – это, может быть, один из источников, питающих его творчество. У Николая Ляшенко за плечами основательная жизненная школа, богатый и разнообразный опыт, который позволяет ему смотреть на мир широко, видеть глубинные течения происходящих событий, уметь лепить человеческие характеры, распоз-

навать причины конфликтных ситуаций, вникать в психологию персонажей, убедительно объяснять мотивировку их поведения. Поэтому события, изображаемые автором, предстают зримо, заставляют волноваться, сопереживать.

Произведения Николая Ляшенко находят признание у ставропольцев, помогают осознать вечные ценности человеческого бытия.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ

(отрывок из романа)

Глава 1

Жену Трофим Мещеряков похоронил, прожив с ней пять лет. К тому времени он хозяйствовал сам – родители померли, старший брат Федор отделился раньше, на Блошицын хутор. Не одна молодуха была не прочь пойти за Трофима, тем паче, что жена детей ему не оставила. Однако он не очень-то торопился жениться вновь. Любопытным на этот счет коротко и неопределенно отвечал: «Успеется». И непонятно было, чего выжидает, чего же ему надо. Ведь век бобылем не проживешь, дом без хозяйки – не дом. Так может подолжаться год, ну, от силы – два, а там волком завоешь. Нет, никак не с руки жить одному. Да и хозяйство на одних плечах тянуть ох как нелегко.

Так рассуждали люди, а Трофим точно и не слышал подобных речей. Даже к вдовушкам ночами не заглядывал. А спустя время и вовсе удивил Трофим честной народ. Прожив три года один, привез из Калача молодую жену, и была та – цыганкой.

Кто был на ярмарке в Калаче, рассказывали, будто дело обстояло так. Увидел Трофим, как дюжий цыган, в годах уже, хлестал кнутом молодую цыганку, – провинилась, знать, чем-то – остановился. Цыган раздувал по-бычьиному ноздри и громко сопел. К тому же был крепко пьян. Цыганка не кричала, не сгибалась под ударами, закусилась от боли губы и только закрывала одной рукой глаза, другой же пыталась лоскутами кофточки прикрыть груди.

Трофим очутился подле цыгана и ударил его кулачищем в челюсть. Тот, щелкнув зубами, отлетел, выронил кнут, но на ногах устоял. Из разбитых губ по подбородку стекала кровь, капала в пыль. Трофим приложился по второму разу, цыган упал и уже не поднялся, корчился в пыли, загибая ее растопыренными пальцами.

Взяв оцепеневшую цыганку за руку, Трофим молча потащил ее за собой. Несколько цыган что-то кричали ему, угрожающе размахивали руками, однако приблизиться к Трофиму не решались. А он шел, будто угрозы и проклятья, сыпавшиеся ему вслед, его не касаются. Поднял сжавшуюся цыганку на руки, усадил на подводу и уехал с ярмарки.

Как бы ни было, цыганка прижилась в его доме. И кем она была ему – женой ли, работницей, – непонятно. За ворота не выходила, а что делала в доме, о том можно было только гадать. Да и сам Трофим не часто показывался на людях.

А потом и вовсе всяким догадкам пришел конец.

Обвенчал их батюшка в церкви. Стала цыганка его женой законной, как говорится, Богом и судьбой данной.

Приезжали к Трофиму после цыгане из табора. Как уж там у них складывался разговор, но факт остался фактом – расстались они с миром. Полились

из Трофимова подворья тягучие жалостливые песни: слышали их соседи, и хоть не понимали ни слова, слеза сама накатывалась на глаза.

Чем сумел ублажить Трофим цыган, что оставили ему Зину (имя у нее самое что ни на есть русское оказалось), – никто не скажет. То ли против Бога побоялись идти, как-никак Трофим и цыганка венчаны в церкви, то ли поняли – меж ними любовь загорелась – догадки не загадки, точного ответа на них нет. Родила Зина Трофиму мальчика, на радостях три дня поил мир счастливый отец. Многие к нему заглядывали – поздравить с сыном и выпить стаканчик-другой. Всем был рад Трофим, куда делась его замкнутость и сдержанность. Принародно обнимал и целовал жену. Так целовал, словно вот только что, сейчас допустила она его до себя, словно и не жил с ней целый год, целовал, как целует парень девку где-нибудь за левадой, наконец-то дорвавшись до желанных губ милашки.

Не привыкли к такому мужики. Как только женились, так и забывали про поцелуи да всякие там нежности. Миловались с женами грубовато, и напоминало это, скорее, некую последнюю работу, какую тоже надо сделать, завершая длинный свой трудовой день. Если кто по ночам и нежничал, лаская жену поцелуями, то об этом умалчивал, не рассказывая про такое ни при каких обстоятельствах. Вроде как и неприличными считались такие нежности.

- Хороша у меня женушка? – который раз спрашивал хмельной от чарки и счастья Трофим, обнимая Зину. И ему кивали, отвечали согласно:

- Хороша, Трофим! Ой, хороша! – и пили дармовой самогон вволю.

- Ладную бабу умыкнул себе Трофим у цыган! – завистно цокали языком мужики.

Зина и корову научилась доить, и серпом жать, – всему, что положено уметь делать женщине-крестьянке.

Все у них ладно шло с Трофимом. Он ее жалел, работой перегружаться не позволял. Сам же правил хозяйством не покладая рук, однако усталости по нему не замечалось.

Подрастал Нефодька – так окрестил сынишку батюшка в церкви, – радовал отца с матерью. Мальчонка очень походил на мать: смугл, быстр в движениях, ловок, глазенки так и горят угольями, и уже видно было: вырастет из него добрый хлопец.

Через три года после Нефодьки дочка родилась, Груня.

Жить бы да радоваться счастливой семье, да беда всегда неожиданно приходит.

Едва исполнилось Груне полтора года, молнией убило Зину. Залезла она на хату, верх побелить, заодно и сажу потрусить, а тут туча, пустяковая совсем, нашла. И гроыхнуло-то всего ничего, может, раза два, а вот надо же – попала молния в Зину. И в землю ее закапывали, и простыней мокрой оборачивали – ничего не помогло...

Трофим был в это время в поле, а когда приехал – не заплакал, помертвел, почернел весь, на добрый десяток лет в момент постарел. Стоял над женой, оцепенев, намертво закусив губы, долго-долго все смотрел, смотрел на совсем не мертвое, с высохшими капельками меловой побелки, лицо Зины.

Правду говорили люди: блюдет Трофим верность жене. Только не первой. Та не оставила следа в его сердце, хоть и прожил с ней пять лет. Забылась, стерлась в памяти. Зину же не мог забыть. Как остался с малыми детьми в

тридцать четыре, так и жил, не помышляя больше ни о какой женитьбе. За детьми следил справно, и ухожены они были не хуже, чем при живой матери.

А время шло своим чередом.

Вот уже и Нефодька подрос, отходяв две зимы в школу, стал помощником отцу. Вербинкой вытягивалась и Груня.

Не стар был еще Трофим годами, однако как-то сдал. Не силой – этому мог позавидовать любой парубок, – нутро будто оборвалось, будто придавило душу тяжким камнем и не сдвинуть тот камень уже никогда. И только дети теплили его душу, не давали ей застыть совсем.

Не угадаешь, как жизнь человеческая повернется.

Во время ледохода утонул Аким Котляров – пытался пьяным перейти речку. Молодой своей жене Наталье оставил годовалого сына Ванюшку да старую, под сгнившей соломой, вросшую под самые оконца в землю, хату. И еще полдюжины кур, прятавшихся на ночь на чердаке, лазивших туда через дыру под стрехой, – даже захудалого курятника во дворе не имелось. Одно название, что двор. Вот с таким богатством и с дитем на руках осталась Наталья. Тяжко причитала-голосила Наталья, оплакивая Акима.

- Как бы руки не наложила на себя, сердешная, – жалючи, тревожились бабы.

А голос ее, леденящий, пронзительный и высокий, временами взвизывал так высоко, что слышать было невмочь. Хоть шаром покати в хате – ни крошки. Дело-то к весне. А какой весной хлеб, тем более у Акима Котлярова? Даже во дворах гораздо покрепче оставалось к этому времени лишь семенное зерно. Его трогать – упаси Боже.

Три ночи мрачней тучи просидел Трофим, закоптив самосадам хату, а после четвертой привел Наталью к себе в дом. В руках нес закутанного в полушубок Ванюшку.

И опять людская молва мыла Трофиму косточки: кто осуждал, кто просто не понимал, кто отозвался с уважением – доброе у Трофима Мещерякова сердце. Нефадей с Груней к нежданно появившемуся братцу привязались сразу. Худенький, прозрачный – как только душа в теле держалась! – он не умел даже громко плакать: лишь глазенки у него влажнели, и он беззвучно всхлипывал. Ничего, отпоили парным молоком, смылась с лица бледность, порозовели щечки, налилось маленькое тельце. Уже через месяц потешно топал Ванюшка по хате в сшитых из овчины пинетках, взбирался Трофиму на руки, терся о его бороду и что-то щебетал, как галчонок. Трофим большой своей рукой поглаживал Ванюшкину голову, и губы его подрагивали.

- Хоть и молода годами, все одно, теперь для вас она мать. Так и зовите, – сказал детям через время, и те приняли это как должное. Тихая, печальная Наталья пришлось им по душе...



ВЛАДИМИР МАЛЯРОВ

(род. 1946)

Владимир Маляров родился в 1946 году на хуторе Ивановском, недалеко от Саратова. Отец – уроженец ставропольского села Казгулак, куда семья и переехала, когда мальчику исполнилось семь лет.

После окончания десятилетки поступил в Астраханскую мореходную школу. Работал на Каспии матросом. В армию призвался на Балтийский флот – служил пять лет. В 1970 году вернулся в Астрахань. Рыбачил на Нижней Волге, ходил на рыбоморозильнике промысливать кильку на юг Каспия.

Женившись на северянке, уехал на Север, в город Архангельск. Оттуда переехал в один из районов области – Пинежский. Работал на лесоповале, пробовал писать, прошел конкурс со своими первыми рассказами и поступил в Московский литературный институт им. А.М. Горького на заочное отделение.

Пригласили работать в районную газету «Пинежская правда». На «аннушках» пришлось полетать в командировки над «немеряными северными просторами».

Тянуло домой, и в 1976 год В. Маляров вернулся в родное село. Работал чабаном. Затем переехал в Ставрополь. Работал редактором художественной литературы в Ставропольском книжном издательстве, редактором альманаха «Ставрополье».

В 1980 году вышла первая книжка – сборник повестей и рассказов «Не посторонние мне люди». В 1981 году окончил институт, и в Москве выпустил второй сборник «Перекрестки». Потом выходили книги: «Хлопоты», «Время выбора». В 1997 году вышел в свет первый роман «Пожелай им благо, Господи».

В 1984 году был принят в Союз писателей СССР. Ныне член Союза писателей России. В 2000 году за роман «Пожелай им благо, Господи» был удостоен Премии губернатора Ставропольского края.

Живет в городе Михайловске.

Владимир Маляров противопоставляет реальность человеческого сознания всему остальному бытию, которое видится ему как сплошная нерасчлененность и абсурдная бессмысленная масса единых событий. Он говорит о «фактичности» человека, о том, что он находит себя в определенной обстановке, но фактичность преодолевается свободой, которая должна иметь границы и ограничения. За свой свободный поступок человек несет ответственность только перед самим собой (главное – не изменять себе и не пытаться свалить вину на других). Человек, согласно писателю Владимиру Малярову, бытийно одинок. Человеческое общение – всегда борьба за господство между «Я» и «Мы», и любовь как таковая не осуществима.

БЕГ «ДЖЕЙРАНА»

(отрывок из повести)

В двух километрах от рыбацкого поселка, в уютном распадке между холмами, внезапно перед взором возникал маленький городок. Он состоял из красных и белых особняков с башенками, сияющий зеркальными окнами, украшенный молодыми парками и садами. Каждый особняк был обнесен высоченной глухой оградой с железными воротами. Городок вырос за несколько лет, на стыке двух веков и двух тысячелетий.

К трехэтажному дому из красного кирпича подкатила выдавшая виды «копейка». Из машины тяжело выбрался немолодой грузный мужчина. Он был небрит, но в хорошем светлом костюме и лакированных туфлях.

Пройдя к воротам, он надавил кнопку звонка. Приоткрылось небольшое оконце, мелькнуло лицо привратника, щелкнули запоры, открылась калитка.

Мужчина кивнул привратнику и по мощеной дорожке направился к парадному холлу. На широком крыльце, сложив руки на груди, его поджидал молодой здоровенный охранник. Он заулыбался гостю, но была его улыбка неискренней:

- Слышал, неудача тебя постигла, Джафар?

«Уже и этот шакал знает, – подумал Джафар. – Бес успел донести...»

- Ты чему радуешься? – угрюмо спросил он. – Разве твое жалованье не зависит от моего улова?

- Как можно радоваться несчастью ближнего?! – с притворным сочувствием воскликнул тот. – Я улыбаюсь, потому что рад тебя видеть живым и здоровым!

Охранник приоткрыл тяжелую резную дверь.

- Хозяин ждет тебя...

По широкой лестнице, устланной ковровой дорожкой, гость пошел наверх. В обширной приемной с диванами, экзотическими растениями в кадках Джафар не стал садиться, а подошел к окну. За ним открывался вид на море, которое отливало золотом в лучах летнего солнца.

Пятый десяток лет смотрел Джафар на это море. Он редко с ним разлучался. Уже много лет дальше Махачкалы никуда не ездил. Прежде навещался в Баку, к брату, в Астрахань, Гурьев, Красноводск... Единственный раз побывал в Москве. О Аллахе, как давно это было!

После окончания десятилетки Джафар и его друг, Махмуд, поехали в Москву поступать в самый главный университет Союза. Махмуд поступил, а Джафар вернулся в родной аул пристыженный и с завистью в сердце к удачливому другу.

Ныче Махмуд в правительственном здании заседает с умными людьми, Махмуда возят в бронированном «Мерседесе», а Джафар промышляет в море на хозяина Мусу Тобоева, Ястреба.

Тяжелая дверь неслышно и легко поддавалась. В просторном кабинете, обставленном дорогой мебелью, едва слышно шелестел кондиционер. Прохладный воздух был насыщен ароматическим веществом.

У большого окна, спиной к двери, стоял высокий, подтянутый мужчина. Джафар, глядя на курчавый затылок и оттопыренные уши, негромко поздоровался:

- Здравствуй, Муса.

Тот как бы нехотя повернулся и долго смотрел на Джафара большими, по-совиному круглыми, черными глазами. Мусе не было и сорока лет, но лицо изрядно помятое, с нездоровым цветом кожи.

- Джафар, ты стал неудачником, – не ответив на приветствие, глуховато произнес Муса. – За эту путину ты, как уличная девка, дважды отдавался пограницам. Прошлый раз потерял сети. Сегодня опять попал в руки этим шакалам, потерял мотор и, наверное, опять сети...

- Далеко ставил – не успел проскочить, – неохотно проговорил Джафар. Он знал, что оправдываться перед Мусой – дохлое дело. Тот всегда прав, потому что он хозяин.

Бес проскочил, Косой проскочил, – продолжал Муса, – а тебя, морского волка, пограницы опять поймали...

- Не говори так, Муса, – исподлобья глянул Джафар на хозяина. – За Косым никто и не гнался. У Беса новый «Меркурий» – это не мои «Вихри», оба дышат на ладан. Пограничники на «Джейране» меня без перехвата – на прямой догоняют...

- Довольно, Джафар! – резко прервал Муса. – Возьми у Беса на ночь байду, но за сети утром отчитайся. Ты знаешь меня – за мотор и сети вычту сполна. Иди!

У выхода Джафара поджидал Роберт с улыбкой на лице:

- Да поможет тебе Аллах, Джафар!

- Обойдусь без твоих молитв, – отозвался тот, не взглянув на охранника.

- Лишняя молитва не помешает в твоём нелегком деле, – с издевкой бросил Роберт вслед.

Джафар остановился и, полуобернувшись, тяжело взглянул на охранника:

- У Аллаха, Роберт, нет лишних молитв, а твоя лишняя – сам говоришь...

У Джафара и Роберта давняя неприязнь друг к другу. Старший брат Роберта, Саид, несколько лет назад сватался к Джафару, хотел взял в жены его дочь – Риту, которой тогда не исполнилось и пятнадцати. Она училась в школе и мечтала стать врачом. Джафар вежливо отказал сватам, сославшись на малолетство невесты. Свааты обиделись.

Саид был другом Мусы, и они тогда только начинали разворачивать «свое дело» на побережье. Саид недобро прославился в округе – он слыл большим юбочником, насильником и наркоманом.

Джафар боялся за Риту. Два года он и сыновья не спускали глаз с девушки. А потом Саида убили при загадочных обстоятельствах. Поговаривали, что отпетый ловелас покусился на чужую жену. «Туда ему и дорога», – с облегчением подумал Джафар, прослышав о смерти Саида.

А Рита поступила в медицинский колледж и скоро закончит учебу. Потом будет свадьба – она выйдет замуж за любимого и богатого джигита Руслана Аркаева. Руслан не чета Мусе. Он вместе со своим отцом делает честный бизнес на строительстве больших домов для государства. У Руслана – офис в самом центре Махачкалы, и он не прячется от властей, как абрек.

Однажды, встретив Джафара, Роберт сказал:

- Если бы твоя дочь, Рита, вышла замуж за моего старшего брата Саида, то он был бы сейчас семейным человеком, живым и здоровым. Ты, Джафар, тоже виноват в смерти моего брата!

- Ты думай головой, прежде чем говорить, мальчишка! – резко ответил Джафар. – Так было угодно Аллаху! Твой брат оставил этот мир по его воле...

С тех пор не стало между ними мира, хотя не было и открытой вражды.

Грузный Джафар с трудом забрался в машину и, подняв шлейф белесой пыли, помчался на розыски Беса...

* * *

Обычное место у подручных – кабак на берегу моря «Зеленый черт».

Бес, в миру Мишка Забелло, появился в поселке три или четыре года назад. Он тогда только-только «откинулся» – освободился из тюрьмы. Прозвище Бес он получил уже от рыбаков – за безумную отчаянность. Ради денег он готов был на любую авантюру, даже на убийство. Такие отморозки Мусе нравились – они были нужны ему. И напарников Бес подобрал себе под стать. Они беспрекословно подчинялись Бесу. Попробовали бы не подчиниться... Лет тридцати, сухой, что жердь, Бес обладал неимоверной физической силой и мог, не пьянея, выпить огромное количество спиртного.

В «Зеленом черте» – круглосуточной, всегда многолюдной забегаловке – Джафар и нашел Беса. Он передал ему приказание Мусы.

- Ты, Джафар, сегодня потерял мотор. – Бес нагло уставился на Джафара почти белыми на загорелом лице глазами. – Может, потерял и сети... А я отдам тебе свою байду и как шакал буду смотреть с бархана в море, ждать, когда ты вернешься? – Бес сжал свой жилистый могучий кулак.

- Мишка, не забывай, байда не твоя, а Мусы, – спокойно возразил Джафар, глядя Бесу в переносицу. – А уходишь ты от погранцов благодаря «Меркурию». Но помни, Костя-начальник тебя давно знает и когда-нибудь поймает тебя...

- Клал я на твоего Костю-начальника.

Бес достал из нагрудного кармана куртки мобильный телефон, который недавно за хороший улов подарил ему хозяин. А скорее всего, чтобы постоянно знать, где находится его взбалмошный фаворит. Набрал номер:

- Муса, ты велел Джафару взять мою байду?

Он долго выслушивал хозяина, хмурился, порывался что-то сказать, наконец молча сунул трубку в карман. Ослабившись множеством вставных зубов из фальшивого золота, глянул на Джафара:

- Хозяин дает тебе последний шанс!

- Давай ключи, – произнес Джафар.

...Прежде чем пройти в дом, Джафар направился в глубь просторного двора, к временке, что пряталась за виноградной лозой. Летом в домике жили подручные Джафара. Своих, местных рыбаков, слоняющихся без дела, Джафар не брал. Со стороны работники обходились гораздо дешевле.

Татарин Ринат – мужик лет тридцати, небольшого роста, но крепкий, жилистый и выносливый работник. Он уже который год приезжает из Казани на заработки. Другой, из Астрахани, по прозвищу Старый, немногим старше Рината, но выглядел действительно старым. Почему Старый не мог найти себе работу у астраханских браконьеров? Джафар недоумевал до этого повода. Сам же Старый говорил, что дома его знает вся водная инспекция и милиция – тоже. И Старый был неплохим работником, знающим толк в большой рыбалке, но крепко закладывал, и Джафар собирался с ним расстаться.

Ринат спал, а Старый беседовал с ополовиненной банкой белого вина, которое продавалось едва ли не в каждом дворе поселка. На столе лежал хлеб и кусок нарезанного балыка.

- Смотри, не нажрись, – предупредил Джафар. – Ночью выходим...

- До ночи, шеф, сто раз проспаться можно, – пробормотал уже изрядно захмелевший Старый.

- Заткнись! – Джафар редко кричал на своих подельников, но сегодняшнее утро было испорчено встречей с пограничниками, потом с Мусой и наглым Бесом. – Сети плохо тянешь – силы нет. Выгоню!

Джафар хлопнул дверью, направился к дому. Надо было и самому отдохнуть – впереди бессонная ночь...



ЕВГЕНИЙ ПАНАСКО

(1946-2003)

Русский советский писатель-фантаст, переводчик с украинского, талантливый литературный редактор и издатель. Евгений Панаско родился в Тбилиси, работал токарем на заводе, учился в Куйбышевском авиационном институте (там же успел поработать в институтской многотиражке).

Затем окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. В то же время он... пел в хоре и даже выступал с концертами в Ленинградской филармонии. У него был чрезвычайно красивый, редкого тембра баритональный бас. В минуты особого расположения он обожал взять, да и выдать вдруг рокошующие бархатистые фиоритуры. Руководитель прославленного Ленинградского хора радио и телевидения Григорий Сандлер (по совместительству он управлял и студенческим коллективом ЛГУ) позже предлагал Жене остаться в Питере, работать с профессионалами, но тот предпочел распределение в незнакомый южный городок на Северном Кавказе.

Переехав жить в г. Ставрополь, работал в редакциях газет «Молодой ленинец», «Ставропольская правда», «Вечерний Ставрополь» и «Ставропольские губернские ведомости», в редакции «Кавказская библиотека», главным редактором при Ставропольском Фонде культуры. Страстный любитель фантастики, Евгений Панаско собрал вокруг себя книголюбов и организовал краевой клуб любителей фантастики «КЛЮФ». Был участником Всесоюзного семинара молодых писателей-фантастов (знаменитой «Малеевки»), а также первого областного семинара КЛФ в Перми в 1981 году. Посещал фестивали «Аэлит-82», «Соцкон-89», «Волгакон-91» и др. Слыл заядлым шахматистом.

В 1991 году после многолетнего перерыва (с 1949 года прецедентов не было), благодаря энтузиазму и усилиям Е. Панаско, подготовлен сборник фантастики «Украсть у времени», собранный из произведений ставропольцев и изданный на базе одного из первых (не только в крае, но и в стране) инициативных издательств «Кавказская библиотека», основанным тем же Евгением Панаско. Издатель Евгений Панаско, открыв фирму «Кавказская библиотека», возвратил читателям множество звёздных и забытых имён века девятнадцатого, подарил современникам массу неизвестных авторов века двадцатого. У поклонников фантастики – с подачи Евгения! – бережно хранятся сборники «Украсть у времени» и «Невероятный мир», а у историков и краеведов – раритетные исследования: «Ставропольская губерния», написанная более ста лет назад Твалчрелидзе, и «Два века терского казачества» знаменитого Потто. А разве можно забыть о том, что именно Евгений Викторович благословил, отправил в «большую литературу» Василия Звягинцева с романом «Одиссей покидает Итаку»...

Евгений Панаско преподавал в Ставропольском государственном университете на отделении журналистики курс «Техника и технология СМИ», перевел на русский язык роман украинского писателя Юрия Смолича «Падение доктора Гальванеску», а в последние годы загорелся идеей создания региональной украинской газеты.

Его творчество прервалось внезапно. Последний (неопубликованный) рассказ писателя – «Из любви к искусству».

Неожиданная смерть прервала творческий путь писателя. Он умер в 2003 году.

В определении того, что есть человек, философская антропология сделала три открытия: 1) человек – животное, изобретшее символы и живущее в их мире (Кассирер); 2) человек – существо свободное, открытое, находящееся еще в становлении и формировании (М. Шелер); 3) человек – это таинственная связь макро- и микрокосма, существо не только рационально мыслящее и действующее, но и медиумическое (Н.А. Бердяев). Евгений Панаско пытался выявить основы и сферы человеческого бытия, индивидуальности и уникальности человеческой личности, ее творческих возможностей, смысл бытия.

ГАСТРОЛИ ЗРИТЕЛЯМ ХОЧЕТСЯ ЧУДА...

«... Я продолжал тренировать открывшиеся во мне способности. Пристрастился посещать берлинские базары. Я шел вдоль прилавков и поочередно, словно верньером приемника включая все новые станции, «прослушивал» простые и неспешные мысли немецких крестьянок о хозяйстве, оставленном дома, о судьбе дочери, вышедшей неудачно замуж, о ценах на продукты... Но мне надо было не только «слышать» эти мысли, а и проверять, насколько правильно мое восприятие. Я подходил к прилавку и говорил, проникновенно глядя в глаза:

- Не волнуйся... Не думай об этом. Все будет хорошо.

Возгласы удивления убеждали меня, что я не ошибся. Такими тренировками я занимался более двух лет».

«Сидя в карете полицейского участка, я понял: или я уйду сейчас, или погиб. Я напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые были в это время в помещении участка. Всех, включая начальника и того солдата, который должен был стоять на часах у входа. Когда они, повинувшись моей воле, собрались в камере, я лежал совершенно неподвижно, как мертвый. Затем быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов окованной железом двери. Теперь надо было спешить...»

«Увы!... В области телепатии не обошлось без самой злобной конкуренции. Сколько раз пытались мои «коллеги» скомпрометировать меня во время выступления! А однажды ко мне в номер вошла молодая и красивая женщина... Я сразу все понял... Предупредительно вскочил:

- Пани, садитесь! Такие очаровательные гости редко навещают конуру телепата... Только, простите, я на мгновенье выйду, отдам кое-какие распоряжения...

Возвращаюсь в кабинет. Снова рассыпаюсь в комплиментах. Знаю, что мне надо продержаться хотя бы минут пять-восемь, пока не подоспеет подмога...

Наконец чувствую, что моя гостья переходит к делу.

- ... Я хочу стать вашей любовницей. И немедленно... Сейчас же... И начинает рвать на себе одежду. Потом кинулась к окну, распахнула его и закричала:

- На помощь! Насилуют...

Я взмахнул рукой – открылась дверь и вошла полиция. «Пани» арестовали...» Припоминаете?

Нет, это не фантастический роман... А похоже, правда? «Я – Вольф Мессинг!

Сегодня мне предстоит выступать на очередном вечере моих «Психологических опытов». Мне предстоит выйти в гигантский зал, где сидит почти тысяча человек, и все они смотрят на меня. Я должен захватить этих людей, взволновать и удивить их, показывая им мое искусство, которое большая половина из них считает чудесным, удивить и в то же время убедить, что ничего чудесного в нем нет, что все это делается силами человеческой психики, без вмешательства каких бы то ни было «потусторонних», «сверхъестественных» сил».

Да, это Вольф Григорьевич Мессинг – о самом себе.

И все это, как будто, на полном серьезе.

Он был, конечно, большим артистом, Вольф Григорьевич. Но мистификатором был не меньшим...

Меня давно занимает такой, казалось бы, странный вопрос, зачем нужно человеку чудо. Не в том смысле, когда говорят: чудо любви, чудо прекрасно-го, – нет, речь о другом. О чуде в прямом смысле слова. Чудо и вера – вот два слова, стоящие в этом ряду одно подле другого.

Был такой случай. Один журналист – уважаемый человек, очень толковый и эрудированный, редактировал студенческую работу, посвященную, в частности, критическому разбору газетных сенсаций 60-х годов. Как руководитель он попросил автора вычеркнуть упоминание о телепатии. Он соглашался с автором, что кожное зрение оказалось выдумкой, что существование снежного человека нельзя считать доказанным, что телекинез, то есть способность передвигать предметы «силой воли», никогда не подтверждался опытом, он горячо поддерживал ту мысль, что ясновидение – бред и что вообще все вышеперечисленное в подавляющем большинстве имевших место «фактов» являлось мошенничеством и спекуляцией на шумихе.

Но упоминание о телепатии он попросил вычеркнуть.

«Понимаете, это – другое, – сказал он. – Конечно, телепатия не доказана... но это пока. Я уверен, что придет время... Одним словом, в телепатию я верю», – закончил он обезоруживающе просто.

«Я – телепат», – говорил о себе Вольф Мессинг. Фрагмент его книги «О самом себе» публиковался в свое время и в альманахе «Ставрополье» – после гастролей артиста, прошедших в краевом центре.

И вот – новая встреча ставропольцев с психологическими опытами на сцене, во многом повторяющими «телепатические номера» Вольфа Григорьевича Мессинга.

... Человек выходит на эстраду и два часа держит зрителей в напряжении. Он вызывает желающих на сцену и говорит одному: задумайте число... Другому: задумайте название города – любой европейской столицы... Третьему: фамилию любого выдающего человека – деятеля науки, культуры, спорта... Четвертому: дату своего рождения. Задумали? Отлично. Получите ответы.

Человек завязывает глаза непроницаемой черной маской. Он быстро идет, почти бежит по сцене, спускается в зал и только покрикивает индуктору – оче-

редному добровольцу, который следует за ним: думайте не о том, что я могу упасть... Думайте о книге, о том, где спрятана книга. Позвольте... Встаньте, пожалуйста... И вы, девушка... Простите... И человек вынимает книгу из-за пазухи юноши, сидящего третьим от прохода.

Проверим ваше внимание, говорит он затем. Вот вы, пожалуйста, сядьте передо мной на стул и внимательно следите за шариком... Человек быстро перебрасывает красный шарик из одной руки в другую, сжимает ладони: в какой руке? Как правило, зритель не угадывает. Давайте еще раз... Теперь тем, кто сидит в зале, хорошо видно, как шарик перелетает через голову «жертвы» – прямо в руки другим добровольцам из зала, взошедшим на сцену. «Жертва» старается угадать, а зал смеется: шутка очевидна. Ну а теперь давайте всерьез... Артист вынимает второй шарик и отдает его в руки добровольному ассистенту. Держите крепче! Молниеносные манипуляции с другим шариком, и снова сжаты кулаки: сколько? Один... А у вас? Тоже один... Артист раскрывает сжатые кулаки: шарика нет. А теперь вы! И зритель, участвовавший в опыте, разжимает кулак в изумлении: у него два шарика! Телепортация?!

Перемена декораций: быстрый счет. Новые добровольцы складывают многозначные числа: двух-, трех-, четырех-, пятизначные... Человек не знает, какие сочетания пришли в голову его «экзаменаторам». Он смотрит на каждый столбик цифр считанные секунды и дает ответ. Правильно? Не-ет... Проверьте: ошиблись, по-видимому, вы! Незадачливый экзаменатор проверяет и сконфуженно признается: да, ошибся сам...

Хотите еще посчитать? Возведите число в куб... А вы – в четвертую степень. Вы – в пятую... Готовы? Даю ответы.

Хватит считать? Ну, давайте напоследок сразимся с электронной машиной! Есть кто-нибудь в зале с микрокалькулятором? На сцену пожалуйста... Еще кто-нибудь: пусть будет два калькулятора. Вам: сложить пять четырехзначных чисел, вам пять пятизначных. Разумеется, любых! Из большей суммы вычесть меньшую, финишем считаем результат. Раз, два, три – поехали! Артист считает быстрее!

Очередной номер – посрамление Юлия Цезаря. Одновременно читая стихотворение (по заказу публики!), человек смотрит в книгу другого автора на указанной зрителем странице и – слушает ряд двузначных чисел, которые монотонно произносит в микрофон очередной добровольный ассистент. Стихи прочитаны без ошибки, сумма двузначных чисел – пожалуйста, надо теперь доказать, что и глаза делали свое дело самостоятельно, как? Очень просто: вот сумма знаков на той странице, которую вы предложили – проверьте.

Завершает программу номер в духе индийских йогов. Человек приводит себя в состояние каталепсии. Его тело лежит, словно мостик, между спинками двух стульев: затылок на одном стуле, пятки на другом. И ассистент бесстрастно становится на этот мостик!

Этот человек – Юрий Горный. Его настоящая фамилия – Яшков (Горный – артистический псевдоним), в прошлом году ему исполнилось сорок лет. Он профессиональный артист эстрады и работает в том ее цехе, который представляли покойные Вольф Мессинг и Михаил Куни, а сейчас еще ленинградец Лев Бендткис.

Центральное место в программе Ю. Горного, так же, как это было у Вольфа Мессинга, занимает «чтение мыслей», о котором Мессинг говорил без всяких кавычек.

- Мысли я не читаю, а определяю: это слово будет уместнее, – говорит о себе Юрий Горный.

С этого начался у нас разговор с артистом, когда мы с Сергеем Белоконом, ответственным секретарем краевой молодежной газеты, вошли в номер гостиницы «Кавказ», где поселился во время гастролей Юрий Гаврилович Яшков. Потом была долгая беседа, остались от которой две полностью записанные магнитофонные кассеты и как результат – эта статья.

Что же лежит в основе «определения мыслей», о котором говорит Юрий Горный? Идеомоторный акт. Раскроем словарь, идеомоторный акт – это появление нервных импульсов, обеспечивающих какое-либо движение при представлении об этом движении.

Поставим маленький домашний опыт.

К длинной нитке привяжем шарик (слепите его из пластилина). Возьмем свободный конец нити в руку и постараемся держать шарик в подвешенном состоянии совершенно неподвижно, ни на что при этом не опираясь рукой. Теперь толкайте шарик... взглядом. Раскачивайте его мысленным усилием, представляя себе, как шарик начинает колебаться, как маятник. И вы увидите, что шарик в самом деле начинает раскачиваться – сначала медленно, затем все с большим размахом. Разумеется, толкал его не взгляд, и если хотите – можете поставить контрольный опыт. Тот же шарик повесьте на гвоздь. Можете «толкать» теперь его взглядом хоть месяц – он не сдвинется. Шарик раскачался от неосознанных микродвижений руки.

Идеомоторные акты лежат в основе всех опытов Юрия Горного по «чтению мыслей». Остановимся только на одном: угадывании имени. Юрий Горный делает это так: просит зрителя-индуктора несколько раз произнести свое имя. При этом артист держится за руку «передатчика» мысли и ощущает произвольную мышечную реакцию человека. Затем артист спрашивает, подчеркнуто или невзначай: вы сейчас трижды повторили свое имя? Зритель подтверждает: да, трижды, или – нет, дважды... Это, по-видимому, очень важно для Горного он ведь теперь определил точное количество слогов в имени. А дальше... догадка!

... Есть такой старый анекдот о фокуснике и одном не в меру «догадливом» зрителе. Фокусник показывает номер за номером, вынимает из шляпы кролика, из уха – километр цветной ленты, из пустой коробки – утку. И на все у этого зрителя есть ответ, и он громко шепчет соседу: «Она была у него в рукаве!» Под конец фокуснику это надоедает, так как сосед «знатока» шепчет дальше по ряду: «Она была у него в рукаве!», и вот уже весь цирк понимающе кивает головой: «Она была у него в рукаве!» Тогда фокусник подходит к «догадливому» и говорит: «Вы можете дать мне ваши часы? И шляпу. И галстук!» Зритель, конечно, дает. Фокусник предупреждает его, что часы он на его глазах разобьет молотком, на шляпу сядет, а галстук порвет в клочья. «Согласны ли вы на это?» О да, конечно! И догадливый шепчет соседу: «Он спрячет все это в рукаве!» А фокусник сладострастно разбил часы, смял шляпу, изорвал галстук – то есть сделал все то, на что публично получил разрешение у владельца, и объявил затем, что это был его лучший номер...

Признаться, посмотрев программу Юрия Горного, которую он демонстрировал в Ставрополе, в зале филармонии, и мы, едва ли не как тот «догадливый» зритель, могли повторять вместо: «Она была у него в рукаве» что-то типа: «Это был идеомоторный акт...»

- Плюс знание психологии! – улыбнулся Юрий Гаврилович, когда мы брали у него интервью. Он поясняет: люди склонны к стереотипу. Предлагая задумать фамилию известного деятеля культуры, науки или спортсмена, Горный заранее знает, что зритель задумает имя общеизвестное, которое есть уже в натренированной памяти артиста. Определив число слогов, Горный делает себе «поблажку»: он просит думать о букве, с которой начинается задуманная фамилия, и определяет ее все тем же способом. «Она у него в рукаве!» Число вариантов с сотен сокращается до десятков, а дальше... догадка!

- Юрий Гаврилович, вот вы говорите – догадка, интуиция. А может быть, биополе? Телепатия? Чего уж там, не скрывайте. Ведь многим зрителям так хочется чуда...

Нам показалось – Яшков слегка скривился при этом «провокационном» вопросе.

- Ребята, я не ученый – я спортсмен. Я не могу утверждать, что биополя вообще не существует в природе. Я этого просто не знаю и не могу знать. Но как практик, как эстрадный артист, я утверждаю, что все попытки объяснить номера, подобные моим, телепатией или биополем – это блеф. Мало того, скажу больше: весь этот шум, который поднимался вокруг всякого рода парапсихологических явлений, например, кожного зрения, это шарлатанство или слепой энтузиазм. И между прочим, на удочку шарлатанов клонули в свое время и некоторые ученые!

Он горячо и подробно рассказывает о попытках исследовать различные способности, выдаваемые за «чтение мыслей» и тому подобные экстрасенсорные явления, о конференциях, которые собирались энтузиастами, и о том, какой ничтожный и совершенно неопределенный результат давали эти конференции и исследования – разумеется, в тех случаях, когда не наблюдалось явного шарлатанства.

- Ну а как же быть с нынешними публикациями, – спрашиваем мы, – которые нет-нет да и мелькают в прессе? Например, пишут о некоей Джуне как об удивительном экстрасенсе, она, мол, лечит людей биополем...

- Болтовня это, – резко отвечает Яшков. – Нет там никакого биополя. И в то же время допускаю, что многие люди из тех, кто обращается к ней, излечиваются. Почему? А вот почему: люди, которые едут лечиться биополем, верят. Они верят в Джуну, верят в биополе, и их излечение вызывается самовнушением. Вы знаете, как огромна может быть сила самовнушения?

Это мы знаем – правда, в основном из истории. Читали о том, как в прошлые века, во времена, так сказать, религиозного экстаза, мог человеку присниться сон, что его, аки Иисуса Христа, распяли на кресте. И у этого «святого» возникали настоящие язвы – на месте мифических ран Христа. Эти язвы – стигматы – могли так же чудесно исчезать – например, под воздействием святой воды. Да и под гипнозом, как мы знаем, человеку можно внушить, например, что его коснулись раскаленным прутом (на самом деле – карандашом), и на теле возникнет ожог...

- А теперь представьте, – продолжает Юрий Горный, – если бы человек мог сознательно владеть всеми возможностями своего мозга и тела! Недаром и та программа, которую я демонстрировал в Москве во время Олимпиады, называлась «Твои возможности, человек!»

В этом содержится ответ и на тот вопрос, который ему задают очень часто: в чем реальная, практическая польза от демонстрируемых им номеров? «Ну а в чем реальная польза от того, что вы смотрите спортивные выступления и состязания? – отвечает он. – Во-первых, вы отдыхаете, для вас это зрелище. Во-вторых, вам демонстрируют возможности человеческого тела и тем самым призы-

вают вас самих к физической культуре, спорту. Я же, – говорит Горный, – демонстрирую интеллектуальный спорт...»

Интеллектуальный спорт на эстраде? А почему бы и нет!

Мы задаем Горному еще один заранее заготовленный вопрос:

- Вот вы эстрадный артист, Юрий Гаврилович... А не пользуетесь ли вы в своих выступлениях на эстраде еще и техникой фокуса?

Он смеется, он наверняка ждал этого вопроса: «телепортация» шарика, которую мы наблюдали, никак не вписывается в привычное объяснение – идеомоторным актом. На сей раз утка была не в рукаве...

- Считайте, вы сами ответили на этот вопрос. Я артист эстрады и по законам жанра имею право на использование фокуса... Другое дело, что я, во-первых, и не скрываю это, а во-вторых, применяю технику фокуса весьма редко.

...Однажды Юрий Горный, как тот фокусник из старого анекдота, решил наказать надоевшего ему скептика, подвергавшего сомнению каждый его номер. «Пройдите, пожалуйста, на сцену, – сказал он ему, – вот вам листок бумаги и напишите на нем все, что хотите, так, чтобы я не видел этого. Сложите этот листок, спрячьте в карман и идите в зал... Спустя некоторое время артист попросил развернуть бумажку, чтобы ее видели и соседи по ряду, и неторопливо прочитать текст про себя. А сам, находясь на сцене, медленно повторил как бы вслеп за мысленным чтением написанную скептиком фразу: «Ни в какую телепатию не верил и не поверю...» Со скептиком, по-видимому, случился абзац, как выражается один наш коллега по журналистскому цеху... А секрет «телепатии» был ужасно прост! Под газетой, которой был застлан столик на сцене, лежала копия. Оставалось только незаметно вынуть копию и запомнить текст...

- Но это – фокус, а я показываю интеллектуальный спорт, – повторяет Юрий Горный. Он, кстати, не против бы посоревноваться с коллегами по своему цеху. Чемпионом среди феноменов его уже называли в прессе, хотя соревнований таких, конечно, не проводилось. Горный ревниво относится к рекордам коллег, о которых сообщает пресса. Он считает, что превосходит в соревновании с электронно-вычислительными машинами индийскую счетчицу Шакуту Дэви, в устном счете – швейцарца Ульяма Клайна. В идеомоторных актах он иногда обходится... без идеомоторного акта! Ему порой удается отыскивать спрятанную в зале книгу без контакта с рукой индуктора. В быстром запоминании многоразрядных произвольных чисел он также, возможно, добился лучшего результата, чем другие.

Горный показывает не один какой-то физиологический или психологический феномен. Юрий блестяще демонстрирует весь спектр своего жанра, тогда как его предшественники обычно выделялись в одном каком-либо виде. При этом артист подчеркивает, что он – не уникал, приобретший телепатические, к примеру, способности от рождения. «Я обычный человек, и то, что могу я, в той или иной степени доступно многим, если не каждому», – утверждает он. Его программа – свидетельство глубочайших возможностей человеческой психики. И пафос его выступлений – в призыве к каждому познать эти возможности и овладеть ими.

...Мы начали с «полемики» с Вольфом Григорьевичем Мессингом. Актуальна ли она сейчас, эта полемика? Ведь позиция Мессинга, выдававшего идеомоторику за подлинное чтение мыслей, выглядит сейчас, казалось бы, наивно.

Но суть не в «телепатии». И ведь говорят-то сейчас не о ней, а о биополях. И парапсихологию не поминают: в моде термин «экстрасенсорные явления». Какая разница? Да никакой.

А вот еще какая благодатнейшая тема для любителей чудес: энлонавтика! (От НЛО – неопознанные летающие объекты). Все, что не может пока быть объясненным наукой, и прежде всего – атмосферные явления, объявляется результатом деятельности пришельцев. Энтузиасты энлонавтики на машинке и от руки переписывают и передают друг другу «лекции», содержание которых настолько фантастично (чтоб не сказать – бредово), что в голову начинают приходить тоже совершенно фантастические версии происхождения этих лекций. Вот, например, чем не рабочая гипотеза: лекция об НЛО придумана группой социологов, изучающей динамику распространения слухов, степень искажения информации и т. п. Так сказать, социологический эксперимент. Ну как? По-моему, остроумно! Но люди-то веруют...

Читатель вправе спросить: ну и что? Ну хотят себе верить – пусть верят! В телепатию ли, в энлонавтику, в мумиё или в биополе – кому это во вред? И вообще: скептиков всегда хватает, дай бог, чтобы не переводились энтузиасты...

Итак, вопрос: безобиден ли «энтузиазм»? (Не могу не брать этого слова в кавычки: скептик во мне решительно берет верх над бывшим энтузиазмом, а, как известно, лучший святой – раскаявшийся грешник). Нет, этот «энтузиазм» не безобиден, так как влияет на общественное мнение, навязывая произвольную оценку фактам, лишает их чистоты восприятия и даже мешая их научному исследованию.

Редкое интервью появилось недавно в одном из сборников, выпущенных издательством «Молодая гвардия». Доктор химических наук М.Т. Дмитриев рассказывал в нем об интересных вещах: о шаровой молнии, чьи тайны до сих пор не раскрыты наукой, и о другом, значительно менее известном атмосферном явлении: хемилюминесценции, часто являющейся источником новых наблюдений «летающих тарелок». Там есть такие строки:

«На досуге поговорить об инопланетянах многим кажется более привлекательным, чем разбирать довольно сложные физико-химические процессы... Некоторые центральные газеты коротко сообщили об уникальном по своим характеристикам Петрозаводском феномене в сентябре 1977 года... Больше года читатели питались слухами и «лекциями», где эпизод в Петрозаводске являлся одним из главных «доказательств» визита всех тех же инопланетян. За это время мне так и не удалось опубликовать статью, где давалась научная оценка явления...» (Курсив мой. – Е.П.) Стало быть, в редакциях, куда предлагалась статья, имелись «энтузиасты»!

И еще один упрек «энтузиастам»: в шумихе, поднятой ими, может быть дискредитировано явление, действительно заслуживающее пристального внимания науки...

Возвращаясь к «телепатии», уместно вспомнить, что еще в свое время в Свердловске был проведен такой эксперимент: за несколько часов обучили полтора десятка школьников ощущать идеомоторные движения руки индуктора и находить спрятанные предметы – то есть тому, что показывал Мессинг.

- Это достаточно просто, – утверждает и Юрий Горный. – Примерно так же, как обучить человека... ну, скажем, играть на рояле «чижика-пыжика».

Заметим, правда: то, что демонстрирует сам Горный, от элементарного умения ощущать идеомоторные явления отличается примерно так же, как «Аппассионата» от «чижика»...

И все-таки многие – ох, многие! – зрители выходят из зала не столько с удовольствием, сколько с убеждением, что здесь-таки есть что-то такое... Какое? А вот такое – необъяснимое...

Ах, как хочется чуда!

НЕОБХОДИМОЕ И НЕСКОЛЬКО ГРУСТНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

(Из книги «Ангелы и черти»)

Замечательный детский поэт Александр Екимцев был человеком широкой души и, разумеется, изрядно выпивал. А кто из творческих людей не выпивает? Спросим уже и строже: может ли вообще русский поэт не выпивать?

Мой сокурсник по факультету журналистики вологодец Юра Калюков числился младшим товарищем Рубцова; у того, по Юриным словам, после трагической смерти в кабинете обнаружили только несколько десятков пустых бутылок. Ни телевизора, ни мебели – ничего. Твардовский пил так, что об этом рассказывали легенды. О другом поэте, также возглавлявшем журнал «Новый мир» уже после Твардовского, Георгий Шумаров сложил такие строчки: «Хотел бы поглядеть я на врача того, который вылечит от пьянки Наровчатова!»

КАК УБИЛИ СТАРИКА БРАЖКИНА

Житейские истории, или Ничего не придумано

(Из книги «Ангелы и черти»)

Слышали ли вы когда-нибудь такое странное для садоводческого товарищества именованье: «Павшие герои? » Много лет назад лично я очень удивился этому названию и первичный смысл его понял, когда прочёл в официальной бумаге – полученной мною книжечке садовода: «...Товарищество имени Павших героев». А заодно услышал и его историю.

В северо-западном районе Ставрополя, там, где нынче выстроен на месте бывшего картофельного поля участок особняков (по диагонали от него через перекресток стоит всем известный танк), в овражек стекал скромный ручеек без всякого названия. Затем овражек становился оврагом, и вот некогда на этих бросовых землях Министерство обороны выделило вдовам погибших – ещё на той войне, которую мы называем Отечественной, участки для поддержания их (вдов то есть) существования земельно-растительным способом.

Я очутился на этом месте спустя много лет и попал к «павшим героям» совершенно случайно: мне край необходимо было обеспечить матери клочок земли, иначе на территории городской квартиры без садово-огородной работы, она просто зверела и ела всех поедом. Купить удалось именно клочок, чуть менее трех соток, но другого тогда не было. Домик на участке отсутствовал, хотя имелась голубятня (настоящая, из тех времён) в качестве будки для хранения инструмента. Ещё на участке росла совершенно невероятных размеров ива, а посреди – почему-то берёзка, и этой негородной растительностью мне участок понравился. Матери – нет, но не об этом сейчас речь, а о соседях.

Старухи как старухи. Возрастом и постарше, и помладше моей матери. Все они действительно потеряли кормильцев, и Минобороны для них было по званию не менее как архангел Петр. Разум их ещё боролся с возрастом, но, как говорится, с переменным успехом.

Два участка рядом с нашим были заброшены, и мать тайком таскала воду из чужого колодца. (Сразу надо сказать, что с водой у павших героев не ладилось. То трубы лопались, то краны текли, то кожевенный завод, дававший эту самую воду, героев просто отключал. И так – чуть не все те двадцать лет, что я

наблюдал жизнь этого товарищества. Зато у соседней «Аронии» и других обществ вода для полива была почти всегда).

Напротив нашей дачи стоял поразительный для местных краёв дом. Собственно, не дом, а домик, но с мансардой (первый этаж съедал склон, так что в нынешние особняки это строение как бы не вписывалось). Мансарда имела совершенно необычный вид. На её фасаде висел зацепленный за шиворот деревянный чёрт, рядом довольно улыбалась кошачья морда, солидно расставлены были шахматные фигуры – конь, пешки, ладьи, чинно-благородно стояли парочкой король с королевой. Прилажены были к стене и удивительной формы корневища: в общем, вид у дома был весёлый. Как и характер его жильца и нашего соседа, которым оказался некто Бражкин Алексей Николаевич.

При знакомстве Бражкин представлялся не иначе как художником. В творческом союзе, впрочем, он не состоял. Что не мешало ему выражать свой талант всячески – и в скульптуре, и в рисунках, и, что главное, – в надгробьях, которые он мастерил на первом этаже своего домика и которые служили для него средством заработка.

Характер Бражкина весьма сошелся с его несерьёзной фамилией, однако, хотя старик любил и бражку употребить, хотя был говорливый и спорливый, но – несварливый. Наоборот, покладистый. Кран починить, забор поправить, устранить течь в крыше, сделать какие плотницкие работы – все это для него проблем не составляло, и он чинил, не чинясь, все эти бесчисленные краны, хотя, повторяю, вода павшим героям доставалась нечасто. К Бражкину чаще всего и обращались с разными просьбами эти самые павшие герои, то есть старухи. Денег за свои услуги, насколько я знаю, Бражкин по-соседски не брал.

Старухи же, живя в овраге испокон веку и по велению Министерства, поделили население товарищества на «героев» (это были они сами) и на «купленных» (это были, например, мы с Бражкиным). Мать моя была вначале весьма поражена этим суровым явлением: ведь и я, сказала она как-то в беседе с ровесницами, потеряла на войне первого мужа, всю войну пробыла с малышом, потом вот вышла замуж, родила второго... Ага! – сказали ей. Вот ты вышла замуж, а мы – нет, и ты нам не ровня. Мы – герои! Нам само Министерство обороны давало земли, а вы – купленные!

Эта странность нас и позабавила, и слегка покорила, ну да Бог с ними, с этими старухами, крыша у них давно уже поехала. Вот, например, одна из «павших героинь», проходя мимо нашей роскошной ивы, все время насадала на мою мать: «Да сруби ты эту сосну!». Две её странные дочери тоже не отставали с советами...

Огромного роста очень принципиальная старуха среди всех «павших» была как бы комиссар. Нам-то с ними делить было нечего, кроме вечно отсутствовавшей воды, но вот старик Бражкин большей частью именно с нею, как и с другими «павшими», вел разные разговоры, в том числе политические. А напрасно. Потому что однажды они очень крепко повздорили именно на политические темы, и рассердившийся Бражкин, плюнув, сказал, что и помогать он больше этим свихнувшимся сталинисткам не будет.

Дальше начинается натуральный детектив. Однажды хозяева (Бражкин с женой) обнаружили, вернувшись из города, что дом их потерял свой весёлый вид. Все окна были выбиты, законченная и начатая работа в мастерской (то есть надгробья) разбита вдребезги.

Бедая большая, но не смертельная. Все восстановил хозяин, за исключением стёкол, которые были у него в первом варианте толстого, витринного отлива. Окна, правда, были маленькие, огнюдь не «магазинные», но достать вновь обрезки стекла витринного Бражкин уже не смог и поставил обычные. Которые неизвестные хулиганы через некоторое время также выбили. С аналогичным разгромом внутри дома.

Бражкин снова все восстановил и решил больше на поночёмке в город не ездить. Стал дом караулить. Логика у него была простая: или испугаются лезть при хозяине, или, наконец, дождусь своих недругов. И что ж? Дождался.

Недругов было двое, и, по законам детектива, на головы они натянули чёрные чулки. Хозяина бандюги огнюдь не испугались. У обоих в руках оказались ломы, которыми они, долго не раздумывая, начали того охаживать.

Против лома нет приёма, да и Бражкин, между нами говоря, был вовсе не супермен. Поэтому он побежал вниз по своему участку. А эти двое, с чулками на мордах, бежали резвее, догоняли и били старика ломами. Подхватив на ходу валявшиеся вилы, хозяин сумел отбиться от одного и даже задел ему вилами бок, однако от второго удалось спастись, только перепрыгнув через ограду и кинувшись вниз, к пруду, где виднелись какие-то люди. Туда бандюга бежать не захотел и от старика отстал.

Ну что? И рёбра ему поломали, и сотрясение мозга получил старик Алексей Николаевич. Удовольствие, прямо скажем, никакое. И написал он заявление в милицию, сдал его туда вместе со справкой о побоях.

Дальше история пробуксовывает. Время шло, следствие – стояло. И вот, наконец, в очередной визит Бражкина в милицию ему сказали, что дело, за очевидной его мелочностью, закрыто. До свидания, товарищ!

- Позвольте, – вскричал Бражкин, – но ведь меня чуть не убили!

- Но ведь не убили же? – мягко ответили ему. – Вот и идите себе... – И даже, говорят, добавили, в качестве разъяснения: – Если бы вас убили, вот уже тогда, конечно, мы бы дело ваше закрыть не могли и продолжали бы расследование...

Я видел Алексея Николаевича сразу после этого его последнего визита в милицию, когда он возвратился на дачу. Поздоровался с ним и, обратив внимание, что он необычно молчалив, спросил о здоровье. Бражкин ответил коротко и невнятно, что ничего, мол, всё с ним в порядке.

Дальше можно было бы вести описание по документам, но всё стало известно и так.

Дело в том, что Алексей Николаевич сумел сам, без милиции, установить личность одного из нападавших. В милицию, конечно, он об этом сообщил. Но доказательств привести не мог, кроме того, что вот лежал такой-то месяц или два больной в своём домике на даче, жена его кормила, а сам он даже не выходил. Не иначе это именно тот бандит, которого он, Бражкин, защищаясь, сумел задеть вилами. Придите, мол, проверьте, по ране видно будет!

Но никто не пришёл.

Он просил ещё и о том, чтоб хотя бы поговорили с заказчиками, которыми в этом детективе явно выступили полоумные старухи. Но тут для милиции вообще и вопроса такого не было. При чём тут старухи? (Старухи здесь – отдельная тема, просто классная... Но мы всё-таки о другом).

После памятного дня, когда дело закрыли, Бражкин Алексей Николаевич появился у калитки того самого домишечки и подзвал хозяина. Тот подошёл к

Бражкину, и у них состоялся через калитку некий вполне со стороны спокойный разговор, которого, впрочем, никто не слышал.

Видимо, беседы Алексею Николаевичу хватило для «доследствия»: теперь он уже точно знал, что этот его собеседник – один из тех, кто охаживал его ломом и от которого он отбивался вилами. Старик вынул из-под одежды «обрез» и в упор застрелил обидчика.

Вот так.

Ну, тут уж милиция оказалась на высоте. Тем более, что искать убийцу не надо – вот он, никуда не убежал и сам сознался. И – не раскаялся. Жаль, говорит, второго не сумел установить. А то б, значит, было бы двойное убийство?! И еще вот «обрез»: где взял? Где купил? Так ведь и не признался, гад матерый.

Интересные вещи происходили на суде. Упомянем одну: вдова убитого благодарила Алексея Николаевича Бражкина за содеянное. Её погибший муж из их нормальной жизни давно сделал кошмар. Детей, мол, так воспитывал, что те постоянно сидят (ясно, где), в доме всё пропил, сам её избивал, как хотел... И просила она суд об одном: простите старика, назначьте условно или, как хотите, но –пустите!

Но нет. Справедливость восторжествовала. Получил семидесятилетний старик свой срок как убийца. И через два года умер. В тюрьме.

КАК МЫ ЗНАКОМИЛИСЬ

Тогда я только начал работать в «Молодом ленинце», задерживался по вечерам и однажды, в одиночестве сидя над материалом, услышал, как в коридоре грянули крики: «Вызову в милицию!» – «Вы не имеете права меня задерживать!» – «А вы пьяный!» – «А вам какое дело?!». Я вышел в коридор, где мне навстречу уже летела временная вахтерша: «Хулиган пьяный хочет пройти на второй этаж!» – и сунула документ, видимо, отнятый ею в бою. На корочке было написано: «Союз писателей СССР», а на развороте – фамилия хулигана. Фамилия была мне известна, хотя человека я видел впервые в жизни. Невысокий, худенький, Екимцев чем-то походил на рассерженного, взлохмаченного воробья лет за сорок (с большим гаком).

- Здравствуйте, Александр Ефимович! – с глубоким пиететом поздоровался я. – Извините за недоразумение, товарищ не в курсе. – И, повернувшись к вахтёрше, сказал свое веское слово: – Перед вами известный ставропольский поэт Александр Екимцев. Он имеет полное право пройти в помещение Союза писателей. – Снова повернулся к Екимцеву, с поклоном отдал ему членский билет и указал рукой на лестницу. Екимцев молча забрал билет и поднялся вверх, не сказав ни слова.

- Так вин же пьяный! – уже тихонько лепетнула вахтёрша.

- Не беспокойтесь, всю ответственность я беру на себя.

После этого я возвратился в отдел и вновь погрузился в проблемы вывоза навоза на поля силами комсомольско-молодежных коллективов (или чем еще тогда приходилось нам заниматься?).

Через час или около того послышались шаги. Екимцев вошёл, сел и спросил:

- Тебя как зовут?

Я представился.

- Пишешь?

- Пишу, – признался я, поняв, что речь идет не о статьях в газету.

- Стихи?
- Упаси Господь! Прозу.
- А чего так к стихам? – Мне показалось, что Екимцева что-то задело, и некоторое время я распинаясь о том, что стихи – это выше прозы, стихи – это... это... требует большого таланта, что до стихов надо дозреть, и тэ дэ и тэ пэ. Екимцев подобрел.

- Всё-таки пишешь, – сказал он утвердительно. – Давай помогу.

Тогда не надо было спрашивать – чем. Помочь можно было только одним: организовать публикацию. И не в газете, разумеется.

Я заотнекивался. Но не так чтобы наотрез. И высказался в том смысле, что в СУКИ (Ставропольское укрупненное книжное издательство) так просто не влезешь. Екимцев, видимо, почувствовал себя задетым. Да и хмель из него явно не выветрился. Он настаивал:

- Сказал – сделаю!

Но я позиций не сдавал.

- Ну смотри. Напрасно. Я бы помог.

- Александр Ефимович... – сказал я вкрадчиво, когда мы уже закрыли тему.

- А если стихи были бы плохие? А вы – обещали?

Он приостановился. Он, по-видимому, был озадачен. Наверное, он даже не подумал об этом. О том, что стихи, о которых шла речь сегодня и в такой ситуации, могут быть плохие.

Проистекала томительная пауза. Но вот Екимцев заулыбался.

- Старик! – сказал он. – Ведь ты же не пишешь стихов. Верно?

ЗУБЫ В СТАКАНЕ

Здоровье у поэта было неважное. И получил он как-то раз направление в спецполиклинику. Чтобы туда попасть, надо было быть номенклатурным работником. Обслуживание было хорошее... Правда, лечить там тоже лечили, если необходимо.

И вот Екимцева устраивают в двухместную палату. Назначают лекарства, процедуры делают всякие... Но ещё ведь – сосед!

А сосед, надо сказать, оказался примечательным. И кому, как не мне, тогда заместителю редактора «Молодого ленинца», сказать о нём слово! А ведь сказать – нечего. Потому что не только я – никто о нем ничего не знал. Во всяком случае, о его прошлом. А в тогдашнем настоящем Сергей Наумович М. был персональный пенсионер и ещё – бессменный заведующий общественной приемной молодёжной газеты. Да, еще одно: сказать о Сергее Наумовиче, что он был брюзга и придира, – это просто ничего не сказать.

Общение его с поэтом проистекало примерно так.

- Вот ты, – начинал Сергей Наумович, – поэт, культурный вроде человек... А как ты ходишь? Ты на себя посмотри, ведь это же срамota!

- А что такое? – обеспокоенно оглядывал себя Екимцев, не усматривающий ничего крамольного в своих старых тренировочных штанах, обвисших на коленях и прочих местах.

Сергей же Наумович доходчиво объяснял поэту, где именно срамota в его облике и какая.

Огорчённый нотацией, Екимцев уходил покурить и нарывался на очередную нотацию:

- Ведь ты же поэт, тебя люди читают! Какой же ты пример подаёшь молодёжи? Травишь себя никотином!

Поэт наливал в стакан воды, вставлял кипятильник, чтобы попить чайку. Сергей Наумович зорко наблюдал за употребленным количеством заварки.

- Ишь навалил, чуть не пачку! Слышал я, что ты алкоголик, и вижу, что, когда водки нет, ты и чифиром не брезгуешь!

Эти «процедуры» отнюдь не улучшали самочувствия Екимцева. И кончилось всё печально. Ночью ему стало плохо, он нашарил таблетки и поднёс стакан с водой ко рту, чтобы запить. Запрокинул голову, допивая, и тут... по его зубам что-то стукнуло... В лунном свете поэт внезапно увидел чужие зубы!!!

Представили картинку, осознали ощущения?..

И вот поэт корчится в углу. Услышав характерные звуки рвоты, Сергей Наумович включает свет и с гневом восклицает:

- Полюбуйтесь! Нажрался и блюёт в специальном лечебном заведении! Знал я, что ты алкоголик! Где же ты водку взял? Так просто тебе не пройдёт этот номер!

Едва придя в себя, поэт обернулся и спросил с бессильным укором:

- Сергей Наумович! Вы зачем в МОЙ стакан свою вставную челюсть положили?!

На что последовала совсем уже неожиданная реакция.

- Так ты ещё и зубы мои взял?!

И Сергей Наумович вызвал милицию...

ЗАЖИГАЛОЧКА

И то сказать: разве удивишь читателя фактом (доказанным или нет – другой разговор!), будто тот или иной писатель пимши. Но вот Екимцев был ещё и клептоман. А это уже другое дело! И вот вам история про зажигалочку Игоряши Пидоренко, а про зажигалочку потому, что про ножичек (Сережи Довлатова) уже рассказано другим автором.

Итак, про странный недуг поэта Екимцева в Ставропольском книжном издательстве было известно всем, и потому при появлении поэта на горизонте все лихорадочно прятали свои авторучки, брелочки, помаду, расчески... Однако Игорь Пидоренко был в издательстве новичок и о пристрастии Екимцева к мелкому воровству не подозревал. Он встретил автора с должным пиететом, встал при появлении гостя, разговаривал с почтением. Но Екимцев, разумеется, пришел не к Игорю Пидоренко. Он желал встретиться с тогдашней бессменной заведующей редакцией худлитературы Ларисой Ивановной Хохловой. Хохлова же, напротив, не желала этой встречи, поскольку в план редподготовки сборник Екимцева не попал, и скрылась на другой половине издательства, в ведомстве массово-политической, медицинской, краеведческой и прочей литературы. Этой редакцией заведовал почти также долго и бесценно, как Лариса Ивановна своим ведомством, Григорий Иосифович Шапиро.

Шапиро в этот момент на своем рабочем месте отсутствовал. Он, как всегда, лежал на столе у директора. Это значило, что он доверительно сообщал начальству последние новости «сверху» или последние сплетни «снизу». Раз

доверительно – то придвинувшись к собеседнику на минимально близкое расстояние. Чтобы сделать это через стол, на него приходилось влезать животом. Вот в такой позе Шапиро и находился. Директор при этом несколько отшатывался, но слушал внимательно...

Итак, повторяем диспозицию. Шапиро Георгий Иосифович лежит на столе у директора. Директор его внимательно слушает. Лариса Ивановна, завидевшая поэта Екимцева в окно, успела убежать и сидит сейчас на месте Шапиро. Игорь же Пидоренко, разговаривавший с Ларисой Ивановной перед тем, как она увидела в окно поэта Екимцева, остался в редакции художественной литературы и встречает гостя стоя, с почтением. Поэт Александр Екимцев, желающий выяснить отношения с Ларисой Ивановной по поводу судьбы своей рукописи, вошел в редакцию. Ларисы Ивановны, вовремя убежавшей, он не обнаружил и беседует сейчас с подвернувшимся Игорем. Игорь же Пидоренко, который во время разговора с Ларисой Ивановной вертел в руках предметы курительной принадлежности, а именно – зажигалку и пачку сигарет, из почтения выпустил эти предметы из рук, положив их на стол.

- Где Хохлова? – прямоком поставил вопрос Александр Ефимович.

- Вышла куда-то! – развел руками Игорь.

Екимцев суетливо побегал глазами по кабинету, подвигался бесцельно туда-сюда.

- Дай сигаретку.

- Пож-ж-жалуйста!

Игорь даёт сигарету, подносит, щёлкнув зажигалкой, огоньку.

Прикуривая, поэт Екимцев обращает внимание на зажигалку.

Зажигалка, надо сказать, чудесная. Ничем не хуже, чем ножичек Сережи Довлатова. И то сказать: Игорь вывез её из Анголы, где неизвестно уж как и у кого приобрел. Вещица недорогая, но забавная. Там на боках у неё, с двух сторон, были две красивые женщины в купальных костюмах, одна белая, а другая тёмная, негритянка. Но не чёрная, а приятного светло-шоколадного цвета. И вот пока зажигалка горит и, стало быть, нагревается, обе женщины потихоньку разоблачаются. Сперва лифчики пропадают у них, а потом и трусики. Так и остаются обе голенькие. Симпатичные девчонки – залюбуешься. Но ненадолго, потому что зажигалка начинает руку жечь. Выключишь – и снова девчонки одетые, что белая, что чёрная.

Александр Ефимович вещицу приметил. А Игорь, поскольку не знал, что Екимцев клептоман, опять свою зажигалочку на стол и положил.

Вот поэт Екимцев снова спрашивает, отрывисто так:

- Где Хохлова?

- Да вышла куда-то! – повторяет Пидоренко.

- Знаю я, куда она вышла! – заявляет поэт Екимцев. – Небось, в редакции у Шапиро скрывается!

- Да не знаю я!

- А Шапиро, как всегда, лежит на столе у директора.

- Да не знаю я!

- Я зато знаю... – Попыхтел сигареткой поэт. – Ты вот что, Игорь... Ты это... Ты сходи за ней. Мне поговорить с ней надо. Я с Шапиро встречаться не хочу. Вдруг он уже от директора вышел.

- Н-ну хорошо, схожу... Мне нетрудно. Если она там, конечно.

Игорь уходит. Игорь находит Ларису Ивановну. Она, естественно, сидит на месте Шапиро. Шапиро всё ещё лежит на столе у директора. Директор, надо полагать, внимательно слушает...

- Господи! – говорит Лариса Ивановна. – Да не хочу я с ним встречаться! Его же рукопись не утвердили! Что я ему скажу?

- А мне что сказать?

- Ну скажи ему – не нашёл!

Пожав плечами, Игорь возвращается. Но не находит ни поэта Екимцева, который удалился по-английски, не прощаясь, ни своей ангольской зажигалки. (Интересно, да? Между прочим, чуть не написал так: «...удалился по-ангольски, не прощаясь, ни своей английской зажигалочки»).

Проходит месяца три... Екимцеву обломился какой-то гонорар. Может, за прежнюю книжечку, а может, за публикацию в альманахе «Ставрополье». Что большой, что маленький гонорар у Александра Ефимовича не задерживался. Кто в этот момент набегал, получал с него долги. Кому Екимцев должен не был, тот сам в этот момент брал у него в долг. Поэт Екимцев был человек нежадный. Когда у него бывали деньги, он всем хотел дать в долг, он покупал конфеты и безделушки техническим сотрудникам издательства. Остальное шло на пропой.

Для пропой в издательстве имелось, до поры до времени, отдельное, хотя и небольшое помещение. Это был кабинетик редактора Колесникова Виктора Сергеевича, автора чудеснейших рассказов и ужасающего пьяницы. Его начальница Хохлова плакала горячими слезами. Редактировала за него рукописи, стыдила и ругала, всем жаловалась, но всем же и говорила так: “Ну что мне с ним делать? Ведь он же такой талантливый!” Талантливый Колесников на критику, слезы и ругань начальницы не реагировал никак. И при каждом удобном случае, а случаи выдавались регулярно, запирался с гостем или гостями, и дым из кабинетика шёл коромыслом. При отсутствии гостей Колесников запирался там с другим издательским редактором, из ведомства Шапиро. Этот редактор, Куликов Юрий Григорьевич, пил ещё круче самого Колесникова, и весь от пьянки почернел, не хуже негритянки, нарисованной на зажигалочке. Только та была красивенькая, а Куликов был страшен, как чёрт.

Но всему хорошему бывает конец. Пришли пора и время, и кабинетик отвели новому начальству, заместителю главного редактора Панаско. Мало того, что он никому не был известен в издательстве, кроме разве что Куликова, работавшего в газете «Молодой ленинец» заместителем редактора, когда туда пришел корреспондентом этот самый Панаско. Теперь, наоборот, бывший подчинённый стал для Куликова начальником. Но это бы ничего! Да вот оказалось, что Панаско за время газетной своей работы нажил страшную язву желудка, да и характер себе испортил так, что по нормальному с ним и разговаривать-то стало невозможно, не то что сесть да выпить, как бывало. Трезвенники и язвенники – такая же беда России, как бездельники и пропойцы. Как дураки и дороги... Да мало ли бед у России? Виктор Сергеевич безропотно убрался на уплотнение на половину научпропа и научпопа, а Панаско собственноручно вывел из кабинета многолетний мусор и пустые бутылки (уборщица Галя отказывалась там убирать из принципа), за шкафом же обнаружил засохшие корки, несколько рукописей, чинившихся пропавшими без вести, и двухдохлых мышей. И пошёл, и пошёл брызгать, нудеть, придираться...

В общем, хорошее место было испорчено. Весёлый, раскованный и остроумный, каким он всегда бывал под шофе, Екимцев напоследок обошел издательство, говоря женщинам двусмысленные, но приятные комплименты, раздавая конфеты и мелкие сувениры, как-то: авторучки, брелочки, помаду, расчёски... Тут-то ему и попался Игорь Подоренко.

Игорь поздоровался с поэтом, но помрачнел.

- Тебе денег не надо? – спросил Екимцев. – Могу одолжить.

- Нет, спасибо, – отрывисто сказал Игорь. – Я в долг не беру.

- Ах, да, у меня ведь уже и нету... – Екимцев был искренне огорчён. Когда появлялась возможность, он всегда старался сделать другим приятное. Он хлопал себя по карманам. Но у него уже и конфеты кончились. Под руку попала пачка сигарет.

- Игорёк! – продолжил он, раскрывая пачку. – Ты стихи пишешь?

- Нет, – отвечивал Игорь коротко. – Не пишу.

- Жаль. Если б ты писал стихи, старик, я бы тебе помог протолкнуть. Ну ладно. Давай закурим, что ли? – Он предложил Игорю сигарету и тот, поколебавшись, взял. Екимцев сунул руку в карман и вынул... зажигалку.

- Слушай, старик! – вдруг обрадовался он, щёлкнув огонёчком и глядя на то, как раздвигаются девушки. – Давай я тебе вот эту зажигалочку подарю? Гляди, какие девки! Классная вещица? Английская!

И подарил.

Щедрой был души человек Александр Ефимович.

Не все из участников этой истории живы, а некоторые из тех, кто жив – уже давно не здесь, а, в Израиле, как, например, Шапиро Григорий Иосифович. Во всяком случае, так о нём говорят. Пидоренко же работает в «Ставропольской правде». Перед публикацией байки я, конечно, решил ему показать эти заметки. Игорь почитал их и выразил некоторое недоумение.

- Я, – сказал он в итоге, – действительно тогда курил. Да и сейчас покуриваю. И в Анголе служил, это факт. Но никакой зажигалки у меня в то время не было, тем более такой. Пользовался спичками. Так что ни украсть у меня зажигалочку, ни подарить её обратно Александр Ефимович никак не мог. А в остальном... а в остальном – все правильно!

НЕОБХОДИМОЕ И ВЕСЬМА ВАЖНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Говорят, о мёртвых либо хорошо, либо ничего. Так сказать, аут бэнз, аут нихиль.

Так это – о мёртвых. Это, господа, о нас с вами будут молчать, когда мы помрём. А поэт – жив, пока у него есть хоть один читатель. Поэт жив, пока о нём помнят, Поэт жив, пока о нём рассказывают байки.



АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ (1905-1981)

Родился Аркадий Первенцев 26 января 1905 года на Ставрополье, в степном селе Нагут в семье сельских учителей. Детство и школьные годы Аркадия прошли на Кубани, в станице Новопокровской в доме деда, Андрея Никаноровича Афанасьева, русского офицера, участника боев под Шипкой. В дом к деду иногда приезжала семья Маяковских. Матери Аркадия Первенцева и Владимира Маяковского были двоюродными сестрами.

Выросший в семье сельских интеллигентов, Аркадий много читал, в основном произведения русской классики: Пушкина, Толстого, Гоголя, Тургенева, Мамина-Сибиряка. Эти книги, каждая по-своему, формировали его литературное дарование.

Революционные события 1917-1920 годов не прошли бесследно для будущего писателя. Он был свидетелем и участником ожесточенных классовых схваток за советскую власть на Кубани, Дону, Ставрополье. Боец продотряда, а затем активный комсомолец, в 20-х годах XX века он работал избачом, организатором борьбы с неграмотностью, был рабкором.

Службу в армии проходил в 5-ой Ставропольской кавалерийской дивизии им. Блинова под командованием героя гражданской войны И. Апанасенко. Из армии Первенцев вернулся в Тихорецк и работал в комсомольских организациях, сотрудничал в кубанской печати. В 1929 году по путевке комсомола он поступил учиться в МВТУ, одновременно работал на заводе. После окончания учебы А. Первенцев был назначен директором филиала Московского машиностроительного института на заводе «Динамо».

В середине 30-х годов А.А. Первенцев начал писать прозу. Первые его рассказы «Бессилие смерти» и «Васька Листопад», посвященные гражданской войне, в 1936 году были отмечены премией на Всесоюзном конкурсе начинающих авторов.

Продолжая работать на заводе «Динамо» Первенцев по совету друзей и соратников И. Кочубея пишет первое крупное произведение – роман «Кочубей» (1937 г.), который сразу же сделал его имя известным. Критики тех лет поставили роман в один ряд с «Чапаевым» Д. Фурманова и «Железным потоком» А. Серафимовича. Роман высоко оценили А. Толстой, Ф. Гладков, А. Макаренко и другие известные писатели. Он был переведен на многие языки, печатался в Англии и Франции.

В 1939 году за большие заслуги в развитии советской литературы Первенцев был награжден орденом «Знак Почета».

С исключительной силой проявился талант А. Первенцева, ставшего специальным корреспондентом «Известий» и «Красной звезды», в годы Великой Отечественной войны. Его страстная публицистика рождалась непосредственно на полях сражений. Писатель участвует в героической обороне Севастополя, Керчи, в битве за Кавказ. В эти дни им создана первая пьеса «Крылатое племя» о борьбе с фашизмом, поставленная режиссером А. Поповым на сцене Центрального театра Красной Армии 7 августа 1941 года.

После тяжелого ранения летом 1942 года он снова возвращается на фронт и пишет о людях, с которыми участвовал в боевых операциях: летчиках, артиллеристах, десантниках, морских пехотинцах. Позже из военных очерков и репортажей герои Первенцева придут в новые романы, повести и сценарии. Его рассказы и очерки «Орлы дальних полетов», «Железный батальон», «Люди одного экипажа», «Девушка с Тамани» и множество других завоевали огромную популярность.

Одним из первых советских писателей он создает роман о героях тыла «Испытание» (1942) – об эвакуации важного авиационного завода на Урал и его возрождении в кратчайшие сроки благодаря самоотверженному труду людей. Роман вызвал широкий отклик как в СССР, так и за рубежом.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны журналист и писатель, капитан I ранга А. А. Первенцев награжден орденом Отечественной войны I степени.

В 1945 году появился роман «Огненная земля» о десантниках-черноморцах, освободителях Крыма. О людях, возрождающих разрушенный войной Севастополь и Черноморский флот, писатель рассказал в романе «Матросы». Затем последовали «Остров надежды» и «Секретный фронт», написанные уже в послевоенный период.

Зимой 1945 года в качестве спецкора «Известий» Первенцев был в г. Люнебурге, где союзники устроили процесс над фашистскими преступниками, на нем он выступил, в том числе и как обвинитель. В 1946 году в Лондоне писатель участвовал в заседании первой сессии Организации Объединенных Наций.

Творчество А. Первенцева послевоенных лет поделено между двумя темами, близкими сердцу писателя – военной и трудовой, которые часто переплетаются, так как героями его последующих романов становятся бывшие воины. «Честь смолоду», «Матросы», «Остров надежды», «Гамаюн – птица вещая», «Оливковая ветвь» связали военное прошлое и трудовое настоящее героев.

А. А. Первенцев известен не только как автор крупных эпических произведений, но и как драматург и киносценарист. Его пьесы «Южный узел», «Младший партнер», инсценировки книг «Честь смолоду», «Кочубей» шли во многих театрах страны. По его сценариям сняты фильмы «Третий удар», «Братья», «Кочубей», «Герои Шипки», «Космический сплав» и другие.

После войны А. Первенцев сочетает писательскую деятельность с активным участием в общественной жизни страны. Он был депутатом Верховного Совета РСФСР нескольких созывов, постоянным членом Правления Союза писателей СССР и РСФСР, членом редколлегии журнала «Октябрь», заместителем председателя Общества советско-болгарской дружбы.

За свою литературную деятельность А. Первенцев в 1949 году дважды был удостоен Государственной премии СССР.

Писатель неоднократно выезжал в составе делегаций деятелей культуры за рубеж, впечатления от этих поездок и встреч вызвали к жизни его публицистические произведения: «В Корею», «В Исландии», «По дедовскому следу» (о Болгарии) и другие.

Последними романами А. А. Первенцева стали «Директор Томилин» (1979) и роман-дилогия «Секретный фронт» (1981).

Скончался Аркадий Алексеевич Первенцев 30 октября 1981 года в Москве.

Все творчество А.А. Первенцева отличается высоким гражданским чувством, народностью, искренностью. Каждое его произведение рождено самой жизнью, лично пережитым и прочувствованным. В творчестве известного советского писателя Аркадия Алексеевича Первенцева нашел свое отражение трудный и героический период советской истории нашей страны, который он прожил с честью и достоинством патриота и гражданина.

А. Макаренко так отзывался о А. Первенцеве: «Такие книги, как раз такие, воспитывают людей, они умеют показать самую глубокую красоту человека в борьбе за освобождение, они умеют привлечь человеческую личность к этой красоте подвига...»

В настоящей хрестоматии публикуются отрывки из романа «Кочубей», вошедшего в историю советской прозы как произведение о сложном процессе рождения нового народного сознания. Книга эта – выполнение сыновнего долга писателя перед родной землей, правда о ее недалеком прошлом.

Написанный как героическая поэма о гражданской войне, роман «Кочубей» покориł читателей своей исторической достоверностью, суровой простотой и романтическим изображением отваги и мужества бойцов, их командира, верности товарищескому долгу. По признанию А. Первенцева, задумав написать книгу о Кочубее, он решил рассказать правду, развеять клеветнические измышления о нем как анахисте. Писатель изучил историю кочубеевской бригады, побывал на местах сражений, беседовал с оставшимися в живых бойцами, жителями станиц. А. Первенцев использовал в романе подлинные имена главных героев. И. Кочубей изображен во всей самобытности и искренности чувств и поступков, как подлинно народный герой.

КОЧУБЕЙ

(отрывок из повести)

I

Екатеринодар был оставлен. Кочубей уходил к Армавиру, прорываясь к главным силам. Вслед ему, покидая станицы, на быстрых конях стремились казаки.

- Примай, батько, до своого табору, – просили они.

- Добре, хлопцы, добре, – зорко глядяваясь в новых бойцов, говорил батько. – Не пытаю, шо вы за люди и шо вы до цего робыли, бо я не поп батюшка, а просю вас порубить вон тех беляков, шо задерживают нас биля того витряка...

Пели над головами кадетские пули. Кидались в седла хлопцы, на скаку выхватывая узкие кубанские шашки. Клубилась жестокая рубка у ветряка. Очищалась дорога. Кочубей улыбался, надвигая до самых белесых бровей папаху, скакал к месту боя.

- Добре рубались, добре... Накрошили капусты... Надо зачислить до части. Мелькали по балкам станицы и хутора. Зеленели поля кукурузы и подсолнуха. Местами из диких тернов и зарослей донника взвизгивала встревоженная птица: коршуны-шулеки, ястребы. На курганы взлетали всадники головной походной разведки. Приподнимались в стременах, выглядывая путь-дорогу.

Вел отряд осторожный Рой, бывший есаул, а сейчас начальник штаба. Недавно выбился в есаулы за разумную отвагу и сметку. Только год назад у озера Ван поздравил генерал Баратов сотника Роя с высоким казачьим чином. Не было сейчас на плечах его офицерских различий...

- Начальник штаба, может, собьем кадета? Раньше нашего занял станицу, – проверял есаула Кочубей, получив донесение о крупных силах, преградивших путь.

- Успеем еще порубаться вволю, надо обойти по Сухой балке, – советовал Рой.

- Добре! Такая и моя думка, – соглашался Кочубей, и отряд избегал западни.

Пепельной пылью покрывались лица, крупы лошадей и лаковые крылья таврических тачанок. Кони-зверюги несли те тачанки.

Забияка ветер играл красным бархатом отрядного штандарта. Золотые махры горели под солнцем. Переливались шитые кореновскими монашками буквы. Под штандартом – родной брат Кочубея, Игнат. Когда схватывались степные ветры, нарочно разматывал знамя Игнат на всю ширину тяжелых полотнищ. Клонился гнедой Игнатов жеребец, разметанная полоскалась грива, и казалось – ныряла в степных волнах порывистая лодка под бархатным парусом. Да разве одному Игнату было любо и дорого багряное знамя!..

II

Сорокин полулежал на покрытой текинскими коврами тахте. Он был в чесучовом бешмете и мягких кабардинских чувяках. Рядом с ним, в офицерском, наполовину расстегнутом френче, Одарюк – начальник штаба. Возле них – карта-двухверстка. Сорокин свысока бросал грубые отрывистые замечания. Его убеждал ровный голос Одарюка. Постепенно главком все меньше и меньше прерывал своего начальника штаба, а голос Одарюка слышался громче и уверенней.

Главком Сорокин значительно похудел за последние дни. Скулы обострились, пожелтели. Обычно лихо закрученные усы опустились книзу. Главком был не уверен в завтрашнем дне, прежняя слава его потускнела. Больше двух месяцев его преследовали неудачи.

Он зашагал по комнате. Резко поворачивался, бормотал, будто ни к кому не обращаясь, но зная, что его слушает Одарюк, старался и свои неудачи объяснить своим величием:

- ...Сорокин отстоял Екатеринодар, Сорокин создал армию, Сорокин не допустил немцев на Кубань, Сорокин сам неоднократно кидался в атаки, и только его боялись враги...

Главком остановился у окна, замолчал.

- Сорокина обвиняют, что он дал отдохнуть и собраться с силами добровольческой армии. Сальские степи родили Деникина, – тихо сказал Одарюк.

Сорокин обернулся, сжал кулаки.

- Что вы этим хотите сказать?

- Наши неудачи – результат излишней боязливости. Боевые действия на Кубани характерны, – убеждающе продолжал Одарюк. – Кто имеет большую территорию, тот сильнее. В гражданской войне армии создаются на местах и снабжаются тоже из местных ресурсов. Деникин оправился от екатеринодарского поражения в Сальских степях, а окреп и раздался вишрь, только выйдя оттуда... Щеголеватый адъютант главкома Гриненко доложил о прибытии Кондрашева. Сорокин, видимо, обрадовался.

- Пусть заходит, – распорядился он. Кондрашев, быстро войдя, отрапортовал:

- Прибыл с фронта по вашему вызову, товарищ главнокомандующий.

Главком испытующе оглядел его. Коренастый, подтянутый, с небольшими черными усиками на умном энергичном лице, в темной черкеске, оттененной мягким блеском ценного казачьего оружия, – таков был начальник второй партизанской дивизии, пока еще мало известной главкому. Части дивизии организовались самостоятельно в предгорье из шахтеров, железнодорожных рабочих, фронтовиков-солдат и казачества и вошли в одиннадцатую армию с подходом ее в эти районы.

- Садитесь, – предложил Сорокин.

Кондрашев, мельком оглядев тахту, спросил:

- Не замараю, товарищ главнокомандующий?

Сорокин, метнув глазами, сдержанно буркнул:

- Разрешаю... – язвительно скривил губы. – Привыкли в навозе спать – вот и странно.

Кондрашев, ничего не ответив, сел, откинул полы черкески. Армейские юфтовые сапоги его были забрызганы грязью. На спине, лице густо лежала пыль. Сорокин присел возле него.

- Думаем добавить тебе славы, – испытующе глядя на Кондрашева, сказал он.

Кондрашев недовольно сдвинул брови, ожидал. Сорокин, прищурившись, но не спуская глаз, помолчал, потом медленно встал. Кондрашев тоже поднялся, откинув за бедро маузер.

- Шкуро, захватив Невинномысскую, закрутил нам горло. Натянет еще раз и задушит. Сегодня ночью вы должны взять Невинномысскую, – твердо отчетливо сказал Сорокин. – Вам придаются Дербентский, Выселковский, Крестьянский полки, конный Черноморский и... партизанский отряд Кочубея.

- Кочубея?! – удивился Кондрашев. – Слышал об этом командире. Да ведь он крутится в тылах белых.

Главком довольно ухмыльнулся и пальцем подозвал к окну Кондрашева. Во дворе играли в карты конвойцы. В тени амбара спали дюжие казаки, раскинувшись на душистом сене. У коновязей лошади, мучимые жарой и мухами, терлись одна о другую и нервно помахивали хвостами. Недалеко, в направлении станицы Ольгинской, привычно перекатывались звуки оружейной стрельбы.

- Кочубей подходит, – вслушиваясь, сказал Сорокин. – Прорвется, сукин сын, все-таки. Подробно – у Одарюка...

Одарюк взял Кондрашева за локоть.

- Дмитрий Степанович, – ласково сказал он, – выйдемте в штабную комнату, я вам сообщу диспозицию сегодняшней операции.

Сорокин вдогонку крикнул:

- За Невинку – приезжай – угощу коньяком. – Обращаясь к адъютанту Гайченцу, подмигивая, приказал: – Позови Щербину: он нам пока что организует выпивку.



ГАЛИНА ПУХАЛЬСКАЯ

(1944-2004)

Галина Николаевна известна ставропольцам как журналист, писатель, автор стихов и книг для детей. Во всех ипостасях она состоялась одинаково талантливо.

Пухальская была организатором и художественным руководителем единственного в крае литературного театра «Гармония». Каждый спектакль она предваряла своим выступлением. Зал замирал. Не зря же зрители называли ее «королевой слова». Галина Николаевна всегда боролась за чистоту и красоту русского языка. Она стремилась очистить слово от «пыли будней».

С творчеством Пухальской знакомы не только на малой родине, но и в - Москве, и за рубежом. В ставропольских школах и школах края изучают ее произведения. В поселке Каскадном создан музей Пухальской, Ставропольское телевидение сняло фильм в память о ней – «Гармония духа».

Мир творчества Пухальской многогранен. Узнайте его поближе! В нем столько добра и человечности. Обращаясь к читателю, Галина Николаевна писала: «Может быть, те, с кем я тебя познакомлю, заденут струны твоего сердца, их пример поможет тебе устоять в трудную минуту жизни – не всегда легкой, но всегда прекрасной». Свойственные ей жизнелюбие и ирония придавали произведениям особую окраску. Мастер прозы и стиха, она пользовалась широкой популярностью у читателей Ставрополя.

К сожалению, ее жизненный путь был значительно короче, его конец был неожиданным для нас. Галина Пухальская умерла в 2004 году.

Наглядное явление человечески благородного и доброго в творчестве Г. Пухальской мы ощущаем в общем образе личности как прекрасное. И это есть красота в настоящем эстетическом смысле, пишет ли Пухальская о любви и природе, боли и горечи утрат, поднимает ли проблемы памяти в глобальном смысле этого слова, насыщает свои книги философскими раздумьями и историческими зарисовками... Являющиеся ценности суть не ценности явления, а только их содержательные предпосылки, поэтому они не совпадают с ними и могут там, где они даны иначе, быть поняты в другой, более рациональной форме.

Тема Кавказа для Галины Пухальской не случайна. Она пристально изучала человека, культуру, быт и обычаи горцев и казаков. Издревле Кавказ, как сфинкс, смотрел на Россию, а Россия на Кавказ, пытаясь понять друг друга, в ходе вековых взаимоотношений обогащаясь духовными и культурными ценностями. Пухальская работала на стыке этих культур и литературных традиций.

ВЕТРА И СОЛНЦА БРАТ

Города, так же как и люди, живут во времени. Оно питает страницы их истории, сообщает им свой особый колорит, свой подтекст и, если хотите, свою интонацию. Строгий, чопорный Петербург... Радужная, немного безалаберная Москва... Сказочный, словно сошедший с книжных иллюстраций, Таллинн. Похожий на маленькую Швейцарию Железноводск...

Имеет свой голос в архитектурной симфонии городов и Ставрополь. Особой щемящей нотой, вызывающей невольную ностальгию по старине, звучат притаившиеся в тишине тенистых улиц особняки. Резким диссонансом, разрушающим ансамбль застройки центра, врываются высотные здания. Вырастают на окраинах безликие близнецы-микрорайоны. Словом, город в своем сегодняшнем облике похож на людей, живущих в нем, подверженных метаниям и поискам, пытающихся отыскать свой путь и оставить свой след.

Как и положено городу с более чем двухсотлетней историей, Ставрополь далеко не однопланов. Он ведет официальные приемы и деловые встречи, заседает в Думе, учится, работает, сочиняет стихи и пишет музыку, мелькает в толпе орденскими планками ветеранов Великой Отечественной, возлагает цветы к памятникам павших воинов, торгует, нервничает из-за бестолковой налоговой политики и растущих цен, вскипает гневом по поводу оскверненных идеалов и – несмотря ни на что – радуется жизни.

Сегодня, в день своего рождения, он способен рассказать многое внимательному взору. Крепостная стена и асфальт Кафедральной горки переполнены памятью о военной славе Хоперского полка. В ночной тишине, припав ухом к земле, можно услышать шаги Пушкина, Лермонтова, Одоевского... Ставрополь поэтический расположился в Литературном музее, под крышей бывшего дома художника Смирнова.

А Ставрополь трудовой заплотнил улицы магазинами, лавками, лотками и столиками с турецкими, польскими, греческими и прочими товарами, которые привезли из-за моря современные купцы-коробейники.

День города – это праздник для всех: для мэра, чьим заботам вверен он сегодня, и для самого юного, только что появившегося на свет жителя. К нему имеет отношение и тот, кто печется о его благоустройстве, и тот, кто бубнит по поводу неустроенности сегодняшнего житья-бытья, потому что лица горожан – от ликов до гримас – составляют общий портрет города.

Сегодня в нем неспокойно: постреливают и ловят бандитов. Появились новые категории людей: рэкетеры, спецназовцы. Вокруг вовсю воюют, и на границах края стоит военная техника. По улицам расхаживают люди в военной форме, а события нередко опережают газетные полосы. Похоже на то, что провинциальной окладистой размеренности приходит конец. Жизнь диктует иной ритм и иные законы.

Сопротивляться им бесполезно, но и забывать прошлое негоже, ибо без корней не бывает кроны. В пестром водовороте меняющихся событий одно остается по-прежнему ценным – это люди, воплощающие в себе вчерашний и завтрашний день города, люди, несущие на своих, плечах бремя будней и всплески праздников. Люди, которым город может доверить свою судьбу и свою историю.

Не порт мой город, не столица.

Но он не хуже прочих мест.

Ведь на него Эльбрус дивится,
От бедствий охраняет крест.

Вернувшись с суши или с моря,
Из дальних странствий, – на заре
Свечу в Андреевском соборе зажги
И поклонись земле.

Ведь сколько ни броди по свету
В полночный час и ясным днем.
Ты будешь помнить город этот,
Что Ставрополем мы зовем.

МОЛИТВА ПОЭТА

Моя детская и отроческая жизнь прошла на фоне этого замечательного памятника. Точнее сказать, памятник Лермонтову, воздвигнутый в пятигорском сквере скульптором Опекушиным, был действующим лицом в судьбе послевоенного поколения. Это было чудесное время, когда кассетная культура еще не теснила домашнее чтение. В то время семья по вечерам собиралась не у телевизора, а за круглым столом. И кто-нибудь из взрослых открывал книжку сказок Пушкина или роман Толстого, но чаще других авторов читали Лермонтова, потому что его упругим, напряженным и страстным словом был пронизан сам воздух Пятигорска. Это о нем молчали горы, о нем грезили гроты, его шаги хранили тропинки окрестных холмов, о нем пела Эолова арфа. Он был всем, и все было им.

В Лермонтовский сквер водили на прогулку малышей, и, обходя памятник поэту, подняв голову вверх, чтобы рассмотреть его лицо, ребенок с интересом спрашивал: «Кто это?». И с этого вопроса начиналось его знакомство с Лермонтовым.

Помню, как моя бабушка, Ирина Васильевна, взяв с собой, кроме меня, еще двух соседских девочек, водила нас в этот сквер. И когда мы, наигравшись и набегавшись, усаживались рядом с ней на скамейку, она читала нам «Дары Терка». Читала наизусть, с неожиданно молодыми, горячими интонациями:

Терек воеет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят...

И мы замирали, околдованные, очарованные кружением лермонтовских ритмов и рифм и этим взрывным драматическим подтекстом, который так легко угадывался детским сердцем.

Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.

С тех пор все блондинки с косами вызывали во мне острое чувство жалости. Оно коренилось в этих строчках, где «светло-русая коса» привела к гибели какую-то не знакомую мне, но несчастную девушку. Жаль было и «гребенского казачину», который хоть и не подавал виду, что тоскует по утопленнице, но стремился

«на кинжал чеченца злого» сложить голову свою, причем сложить не случайно, а сознательно ища смерти. Этот мотив сознательного поиска развязки с детства вошел мне в плоть и кровь. Я с наслаждением читала отечественную и западную литературу, в которой он присутствовал. А если в книге, которую я открывала, его не было, она сразу казалась мне скучной и пресной. Таким образом моя любовь к Хемингуэю, Ремарку, Бёльлю была продиктована Лермонтовым. Атмосфера фатальности, так или иначе присутствующая во всех лермонтовских произведениях, окрашивала окружающий мир в сложные, неоднозначные тона. И когда я задавала бабушке вопрос: «Кто же виноват в том, что казачка бросилась в реку?» — я уже знала, что она ответит: «А никто, внучка, жизнь. Жизнь — она такая, что может убить, а может и помиловать. Это уж как Бог даст».

Это была сложная теория, которая не вмещалась в мой детский ум. Но сердце принимало ее легко и естественно.

У памятника Лермонтову я написала первое свое стихо-творение, которое ему же было и посвящено. Сложилось оно февральскими сумерками. Шел мелкий снежок. Сквер был пуст, и никто не мог разделить моего одиночества, кроме поэта, сидящего на своем пьедестале.

И, как живой, он сейчас с книгой раскрытой сидит,
Взором задумчивым вдаль, в горы Кавказа глядит...

Эти корявые, неловкие, неумелые строки, которые тем не менее лились прямо из сердца, дали мне все же ощущение радости приобщения к творчеству.

Я училась в восьмой школе, расположенной на улице Буачидзе, рядом с Домиком Лермонтова, поэтому уроки литературы, связанные с творчеством поэта, часто проходили не в классе, а в музее. Анна Ивановна Гусева водила нас нередко и в Лермонтовский сквер и вместо нудных опросов на оценку читала там его стихи.

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Не знаю почему, но эти строки запали мне в душу. В них слышался другой Лермонтов — не бунтарский, не горький, не фатальный, а нежный и умиротворенный.

Видимо, таким он родился на свет, но жизнь внесла в естественный, природный образ свои поправки.

Когда мы возвращались домой, я спросила Анну Ивановну:

- Как вы думаете, почему Лермонтов написал «Молитву»?

- Он был раненый человек, — ответила она, — он рано потерял внутреннюю гармонию.

- Как это? — не поняла я.

- А так. Каждый, кто прошел войну, кто убил хоть раз, кто понес утрату, – ранен на всю жизнь. Лермонтов рано осиротел. Остро перенес трагедию пушкинской гибели. Остро ощутил несовершенство жизни и стал стремиться к развязке. Война усугубила драматическую канву его судьбы. Он был сыном России, но и сыном свободы тоже, и эта двойственность разрывала его на части. Что ему оставалось? Молиться! И все его стихи – своеобразная молитва о прощении и отпущении грехов всех людей в целом и каждого в отдельности, ибо каждый грешник несчастен по-своему, но молитва – одна на всех.

КРЁСТНЫЙ

Крёстный... В этом слове слышится мне радостный смех дня моего рождения, Рождества, Нового года, Крещенских праздников и Пасхи. В эти дни появлялся он в нашем доме и, прежде чем сесть за стол, читал молитвы и пел церковные гимны, а потом вынимал из холщовой торбы подарки.

Вообще мой крёстный, Тимофей Васильевич Перов, был человеком по-своему интересным. Когда его спрашивали о роде занятий, он отвечал лаконично и с достоинством: «Мастеровой». И действительно, он был мастером, что называется, на все руки: пилил, строгал, клеил, занимался сваркой, электропроводкой и многим другим, что и упомянуть трудно. Столяры считали его столяром, жестянщики – жестянщиком, слесари – слесарем.

В свое время окончил он ФЗУ и рано начал сам зарабатывать на хлеб. Трудился от зари до зари, а когда выпадала свободная минутка, брался за кисть. Темный, сыроватый подвал, в котором он жил вместе с женой Анной Федоровной, был заставлен подрамниками и холстами. Были среди полотен Тимофея Васильевича пейзажи окрестных лесов и гор, Эолова арфа и Академическая галерея, но мне больше всего запомнился скромный тенистый уголок двора, стена из пористого, ноздреватого серого камня, увитая плющом, одинокий флигель и свет, горящий в его окошке. Говорят, что работа эта нравилась Наталье Капиевой, жене знаменитого писателя Эффенди Капиева, тоже писательнице, живущей в одном дворе с крёстным. Анна Федоровна ходила к Капиевым помогать по дому и частенько показывала картины мужа. Наталья Владимировна хотела купить некоторые из них, но крёстный отказался от денег: «Дайте срок: посмотрюсь и сам подарю. А продавать – увольте! Господь не для того дал мне дар, чтобы я им торговал».

Вообще Перов умел заработать копейку, умел и скопить кое-что, но как истинно русский человек был подвержен внезапным душевным порывам. Бывало, мимо троих нищих пройдет спокойно, кинет им мелочь в шапку и дальше путь держит. А иной раз приглянется ему какой-нибудь пропащий, юродивый, бездомный, так он ему все снесет – и одежду, и пищу, и впрок денег даст, чтобы не бедствовал. Горяч и пристрастен был Тимофей Васильевич в своих симпатиях и, вспыхнув дружеским чувством, мог потратиться на полубившегося ему человека без оглядки. А когда жена начинала пенять ему на расточительность, он спокойно отвечал ей цитатой из Евангелия: «Не собирайте сокровищ на земле».

Однажды я спросила его, о каких сокровищах идет речь и почему их не надо собирать. «Видишь ли, каждый человек приходит в этот мир богатым, – отвечал он, – потому что Господь наделил его и слухом, и зрением, и душой, которые позволяют наслаждаться красотой Божьего мира. Ты только посмотри, сколько цветов в полях, сколько деревьев в садах, сколько звезд в небе, – и все они твои. Но

человеку становится мало этой бесценной красоты. Хочет он серебра и золота, мехов дорогих, камней драгоценных, томит его жажда обладания, и начинает он маяться в поисках земных сокровищ. Там обманет, там предаст, там честью поступится, там грех на душу возьмет – и все из-за богатств из-за этих. Нахapaет, наворует, набьет сундуки, подвалы да сараи, а сам ночью глаза сомкнуть боится: ну как воры сунутся? А уж воры тут как тут – изловчились и украли нажитое. А не воры – так роса источит драгоценные металлы, тля изъест пушистые меха, пожар или потоп погубит их; на земле ведь все так непрочное, так временно... Да и мы сами не вечные – пока хапали да пока тряслись над призрачным добром, жизнь-то и прошла, и помирать время настало, и перед Господом ответ держать за грехи свои. Оглянется человек назад и спросит себя – на что жизнь потратил? И горько ему станет, и заломит он руки в тоске, и охватит его душу смертная печаль...»

Крёстный замолкал и задумывался, глядя на огонь...

А я терзалась вопросом: «Почему же все так глупо и грустно устроено в жизни, и неужто нет иного пути, неужто нельзя жить иначе, лучше, чище, осмысленнее, добрее?»

Будто услышав мои мысли, крёстный завершил:

– Мудрый же человек, знающий Бога, живет иначе. Он не золото собирает, а добрые дела множит. Сегодня ты отдала нищему последний грош, а завтра Бог тебе подаст от щедрот своих. А предстанешь перед Ним в смертный свой час, Он начнет жизнь твою ревизии подвергать: грешные дела на одну чашу весов класть, а добрые на другую, – и смотреть, что перетянет...

– А добрые дела совершать трудно? – допытывалась я.

– Нелегко, малышка, нелегко. Особенно нелегко со злом бороться. Для того Господь с небес каждому человеку Ангела-хранителя посылает. Когда очень трудно станет, ты помолись ему усердно, он и поможет...

И крёстный научил меня молитве, которая и сейчас, много лет спустя, трогает душу до слез, потому что звенит в ней пронзительная хрупкость человеческой сути и наше вечное смятение, и блуждание среди земных соблазнов, и жажда вечной жизни, жажда добра и света.

– Ангел Божий, святой мой хранитель, – читал крёстный, – данный мне от Бога с неба в охранение, прошу тебя усердно: Ты меня сегодня вразуми и сохрани от всякого зла, научи меня доброму делу и направь на путь спасения...

Тимофей Васильевич умер внезапно, от апоплексического удара. Случилось это в жаркий майский день, разразившийся под вечер первым грозовым дождем. Помню, как вся мокрая и заплаканная вбежала к нам в дом Анна Федоровна...

После похорон она передала мне письмо, написанное мелким уборым подчерком крёстного, и трилогию Максима Горького: «Детство», «В людях», «Мои университеты».

В письме, написанном задолго до смерти, Тимофей Васильевич говорил о той глубокой духовной связи, которая существует между крёстным отцом и крёстной дочерью. «Я всегда отвечаю перед Господом за твои грехи, – писал он, – и молюсь о спасении твоей души».

Потом я узнала, что Тимофей Васильевич завел сберегательную книжку на мое имя и положил туда 700 рублей. «Копейку береги, – писал он, – не трать зря, на пустое, но коли встретишь на пути человека в нужде, отдай ему, что имеешь, без сожаления, потому что дороже человеческой души нет ничего на свете».

Сейчас, когда я сама стала крёстной и мне часто приходится отвечать на вопросы моего духовного сына, я все чаще вспоминаю наши беседы с Тимофеем Васильевичем и черпаю из них, как из колодца, в котором никогда не убывает сила, мудрость и вдохновение.

РУССКАЯ ЭКЗОТИКА

Учась в Ленинграде, в аспирантуре, однажды я встречала Новый год в семье режиссера Театра комедии Натальи Владимировны Балашовой. Незадолго до этого Наталья Владимировна гостила в Варшаве у художественного руководителя польского театра-варьете «Под звездами». Поездка была очень интересной, подарившей массу впечатлений. И вдруг тринадцатого января в ее квартире раздается звонок, и мелодичный женский голос с легким акцентом сообщает: «Меня зовут пани Гражина Ковальска. Я вместе со Станиславом и Вандой приехала на гастроли по приглашению Ленинградской филармонии. Ваш телефон мне дал пан Мрожек. Он сказал: «Позвони Наташе и попроси разрешения встретиться вместе с ней старый Новый год. Это такой интересный русский обычай!»).

Конечно, Балашова пригласила Гражину вместе с ее коллегами. Голос ее звучал радостно, пока она не опустила трубку на рычаг. А потом на лице ее отразился ужас. Это был 1970 год. Принимать у себя дома иностранцев было проблемой, так как быт наш никогда не отличался легкостью. Старинная квартира Балашовых, расположенная в центре Ленинграда, на площади Островского, была далеко не в идеальном состоянии. Прежде всего, в ней жила еще одна семья – нормальных русских алкоголиков. Во-вторых, комнаты давно требовали ремонта. В-третьих, как всегда, не было денег. Эти обстоятельства до звонка пани Гражины воспринимались как нормальные, но после него ситуация резко изменилась.

До приезда поляков оставалось полчаса – надо было шевелиться. И мы решились на розыгрыш. Недаром же хозяйка квартиры имела отношение к театру. Пару прожекторов, стоящих в кладовке, внесли в комнату. На дверях повесили табличку «Идет съемка». Это позволило избежать тщательной уборки. Версия была такова: квартиру снимали как место, где жила старая русская интеллигенция в начале революции. Поэтому слегка ободрали обои и теснее обычного поставили «антиквариат» (к счастью, он был подлинной фамильной реликвией). Маму Натальи Владимировны, милую даму с огромными, по-детски наивными глазами, закутали в шаль и усадили на козетку, дав в руки семейный альбом. Таким образом, атмосфера была соблюдена.

Решив вопрос с интерьером, занялись винами и закуской. У соседей нечем было разжиться, кроме портвейна. Однако этот вульгарный напиток, будучи налитым в хрустальный графин времен Петра I, приобрел благородный вид. Водка и шампанское стояли в холодильнике. Я вынула из дорожной сумки армянский коньяк, привезенный в подарок.

Колбаса, сыр, винегрет и сельдь тоже были в наличии. Но этого казалось мало. И тогда-то кто-то из друзей, зашедших на огонек, сказал, что было бы здорово продемонстрировать полякам европейский образ жизни, заказав закуску в ресторане «Метрополь». Идея была заманчивой, но больно уж дорогой. Поэтому опять прибегли к хитрости. Кто-то сбежал в ресторан, который находился рядом, купил пирожные и несколько пустых упаковочных коробок. Я, наспех пригото-

вив на кухне три разновидности салата и бутерброды с тертым зеленым сыром, уложила их в специальные формочки и поместила в коробки.

В центр стола поставили еловую ветку и зажгли свечи. Их ровное пламя, отражаясь в хрустальных бокалах, создавало праздничность.

Когда приехали поляки и все наконец сели за стол, я демонстративно внесла фирменные коробки и на глазах у всех выгрузила их содержимое.

- Это из «Метрополя», – вскользь заметила хозяйка и с гордостью взглянула на гостей. – В этом ресторане хорошая кухня.

- О! – вежливо сказали в ответ поляки, и застолье началось.

Когда обойма первых тостов была расстреляна, хозяйка обратила внимание на то, что пани Гражина едва прикоснулась к угощению.

- Вы совсем не едите, – сказала она.

- Не беспокойтесь, я сыта!

- И все же – рекомендую сырный салат, он довольно пикантен.

Немного помявшись, пани Гражина поняла, что ей не отвертеться, и решила сказать всю правду:

- Простите, но я ем только домашнюю пищу. Даже на гастролях я что-то варю себе прямо в номере.

После этих слов наступила пауза, похожая на ту, которая повисает на сцене в финале спектакля «Ревизор».

- О! – очнувшись наконец мама Натальи Владимировны. – В таком случае, может быть, попробуете паровые котлетки?

- С удовольствием! – оживилась пани Гражина, и действие закрутилось с новой силой. Угощение со стола унесли на кухню и, переложив в другую посуду, снова подали, но уже под другим соусом. Затем стали варить картофель и открывать соленья, которые, как оказалось, любят все. Увидев подобные манипуляции, соседи-алкоголики решили, что настал удобный момент для того, чтобы присоединиться к компании, и вскоре появились в дверях с традиционным портвейном.

- С Новым годом! – сказали они. – У нас в России есть обычай принимать в этот день любого гостя, даже случайного. Ну, а мы соседи, нам, как говорится, сам Бог велел встречать Новый год вместе.

- О! – сказали поляки. – Это очень интересно!

И все пошло именно так, как принято у нас.

Позже выяснилось, что польские гости остались довольны приемом, восприняв его как русскую экзотику. Особенно запомнились им наши песни, исполненные соседской парой, и непередаваемые идиоматические выражения, которыми этот дуэт время от времени заполнял возникающие паузы.

«Вы все очень милые люди, – написала Балашовой пани Гражина из Варшавы. – И ваш обычай встречать два раза Новый год мне очень понравился. Это был самый оригинальный праздник, который я видела».

Что ж, она права: в чем – в чем, а в самобытности россиянам не откажешь!

ПЕЧАЛЬНЫЙ СТРАННИК

Его фигура долгое время была неотъемлемой частью курортного пейзажа. Он стоял у входа в пятигорский парк «Цветник» – крепкий, коренастый, чисто одетый мужчина – и продавал то, на что был спрос: специальные чашечки для нарзана,

фигурки орла, сидящего на скале, и прочие курортные сувениры. Однако те, кто знал его поближе, делали специальные заказы. И тогда он размещал среди китча и ширпотреба целомудренные фигуры трех граций, отлично отформованный бюст Бетховена или Пушкина-лицеиста. Эти изделия были непохожи на тот товар, который изготавливали и продавали кустари на Верхнем рынке или у железнодорожного вокзала. В них чувствовался художественный вкус и рука мастера.

В городе его знали и называли «Володей чокнутым». Но это, конечно, за глаза. А в глаза все говорили с ним вежливо и просили денег взаймы, не утруждая себя возвратом. Иногда прямо у него из-под носа тащили какую-нибудь редкую книгу (с книгами он не расставался, читая их сидя, стоя, на ходу). Однажды на моих глазах тащили редчайшее издание «Чтеца-декламатора» и «Камей» Теофиля Готье.

- Ну что же вы? – не удержалась я. – Смотрите, тащат!

Он удивленно вскинул брови, надменно взглянул в сторону вора и сказал спокойным низким голосом:

- Не стоит волноваться, любезнейшая, он уже сам наказал себя.

- То есть? – не поняла я.

- Совершил грех.

- Да, но...

- Но вы хотели схватить его за руку, не так ли? Не надо впадать в соблазн морализации. Толпа бы ринулась его ловить, а это ужасно. Ничего нет страшнее разъяренной толпы. Кроме того, он был бы унижен. А видеть унижение ближнего тяжело. Кто знает, может быть, завтра вы окажетесь на его месте...

- Я?!! Но это уж слишком!

Он улыбнулся, и лицо его стало удивительно открытым и молодым.

- Вы еще слишком молоды, чтобы понять это. Во всяком случае, благодарю за то, что хотели помочь.

- Ну уж нет! – возразила я. – Развивайте свою мысль дальше. Я хочу знать, что вы имеете в виду. Один раз вы сказали, что я способна украсть, второй – что дура...

- Ну что вы, что вы! Молодость не есть глупость. Скорее, прекрасная наивность. Впрочем, если вам не скучно слушать мои рассуждения, я готов продолжить. Подождите секунду.

Володя стал быстро собирать в сумку свой товар, проявляя при этом потрясающую небрежность. Некоторые сувениры он выхватывал прямо из рук покупателей, готовых уже расплатиться за покупку. Движения его были нервными, резкими, но слова звучали до странности вежливо.

- Извините, почтеннейший, я не торгую больше. Мадам, тысячу извинений, но сегодня я занят, приходите завтра.

У людей глаза лезли на лоб и отваливались челюсти. Такой лексикон в конце пятидесятых годов шокировал, но пуще слов поражали поступки этого необычного человека – забрать вещь из рук, когда клиент готов раскошелиться...

В этот день он рассказал мне о Кнута Гамсуне, о романе «Голод», герой которого жестоко страдает от голода, но еще больше от унижения. Не желая просить для себя, он уговаривает мясника дать маленькую косточку якобы для собаки и, отойдя в сторону, жадно грызет ее.

- Вы видите: судьба человека переменчива. Сегодня он богат, а завтра – кто знает, какой сюприз готовит ему providence. Давеча вы простили этого мелкого воришку, а в будущем, возможно, кто-то смилостивится над вами.

Я была потрясена глубиной и логикой его суждений. Почему же говорят, что он «чокнутый»?

«Тут есть какая-то тайна», — думала я.

Тайна раскрылась, как только я узнала историю его семьи. Мать, Надежда Варфоломеевна Верховенская, была дочерью помещика. Отец Володи батрачил в их имении, и, разумеется, брак этот никогда бы не осуществился, если бы не революция. Буквально за несколько дней до раскулачивания большевик Рубен Акопян пришел к хозяину, которого очень уважал, и предложил план спасения. Он женится на барышне (фиктивно, разумеется) и возьмет ее под свою защиту. Впопыхах сыграли свадьбу, и лишь несколько месяцев спустя юная супруга «рассмотрела» своего спасителя. К ее изумлению, он был преисполнен любви и почтения, деликатен и благороден. Она учила его грамотной русской речи, он показывал, как можно быстро и экономно растопить печь. Вместе с ее пламенем разгоралось ответное чувство в душе благодарной Надежки. И постепенно дружба обернулась любовью. А фиктивный брак стал прочной семьей, которая с честью выдержала все удары судьбы.

В 37-м Рубена Григорьевича вызвали в органы и поставили вопрос ребром: либо жена перестанет носить золотые кольца «как пережиток капитализма», либо ему придется расстаться с партийным билетом. И тут он, железный коммунист, свято веривший в идеалы революции, заявил: «Если революции нужна моя жизнь, я готов отдать ее немедленно. Но никто не смеет совать нос в мою семью и руководить моими личными чувствами. Этого я не позволю даже партии». Сказал он так и полез в карман за партийным билетом.

С этого момента Акопян превратился во врага народа. Семья его — жена и четверо детей — была немедленно выселена из квартиры. Вещи выбросили прямо под дуб, росший напротив. Надвигалась зима, и крона дуба облетала вместе с надеждами найти пристанище.

Кое-как распродав последние фамильные драгоценности, Надежда Варфоломеевна сняла полусырой подвал на окраине города. Одна проблема была решена, теперь надо было думать о хлебе насущном. Муж писал из заключения жалобы товарищу Сталину, свято веря в то, что он разберется в его деле и не оставит семью без помощи. Письма уходили в небытие. А дома один за другим умерли трое его наследников, а младший, Володя, убежал, спасаясь от травли соседей и товарищей по школе.

Грянула Великая Отечественная, и отец и сын из разных мест устремились на борьбу с врагом. Старший сражался в составе штрафных батальонов, провяля чудеса храбрости. Каждый раз, бросаясь в бой, кричал он: «За Родину! За Сталина!». Ему посчастливилось выжить. А младший был остановлен на дорогах войны и доставлен домой ввиду малолетства.

После смерти Сталина и следовавшей за этим полной реабилитации отца они наконец встретились. Один — по-прежнему железный коммунист, не желающий верить в виновность вождя, другой — законченный антисоветчик и диссидент. Распри возникали каждый день. Сын не мог смириться с политической близорукостью отца. Отец не мог слышать от сына непочтительные речи в адрес партии.

Надежде Варфоломеевне с трудом удавалось примирить мужчин. Она-то всем сердцем была на стороне сына. Но боялась за здоровье мужа: выдержит ли его большое сердце.

Однако беда пришла с другой стороны. Володя проявлял все черты вундеркинда. С детства обладал феноменальной памятью, прекрасной логикой, широкой эрудицией. Экстерном сдал экзамены за десять классов. Начал готовиться в институт. Встреча с отцом обрадовала его и разочаровала. Уходил Рубен Григорьевич из дома врагом народа, а вернулся врагом собственного сына. Пропасть между ними все росла, споры учащались. Однажды, когда отец, в ярости выхватив наган, крикнул: «Застрело, как собаку!» – Володя упал без сознания. Произошло кровоизлияние в мозг.

Консультировавший Володю профессор Розенберг определил огромное нервное перенапряжение, которое оказалось не под силу юному организму.

После болезни он так до конца и не оправился, и, хотя закончил филфак Пятигорского института, работать все же не смог. Вторая группа инвалидности навсегда вышибла его из седла. Революционная колесница, промчавшись через жизнь его семьи, раздавила в нем что-то самое главное, что дает стимул для борьбы и веру в победу.

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОФЕССИЯ

В кисловодский букинистический я зашла в надежде раздобыть семитомник Марины Цветаевой, полагая по старой памяти, что уж тут-то с подобной литературой не будет проблем. Считать этот маленький магазинчик, расположенный на Курортном бульваре, уникальным у меня были все основания, ведь именно здесь в прошлые времена я покупала Ренана и Бурже, Войно-Ясенецкого и Соловьева. Здесь меня баловали дореволюционными изданиями Блока, Мережковского и Гиппиус.

Однако жизнь, как известно, не стоит на месте, и, войдя в «Лавку букиниста», я это очень хорошо почувствовала. Во-первых, бросилось в глаза безлюдье; в литературном оазисе было непривычно пусто. Вместо прежних интеллигентов в скромной одежде, узколицых, приветливых, тихоголосых, за прилавками стояли странные личности в блестящих, крикливых костюмах турецких и греческих фирм, похожих на карнавальные одеяния. Подобные фигуры были бы более уместны на вещевом рынке, где безвкусица и вульгарность произношения воспринимаются как само собой разумеющееся явление. Но увы! По странной прихоти эти люди расположились именно здесь, чем, естественно, разрушили атмосферу духовности и сосредоточенной работы мысли.

Содержимое полок тоже разочаровало: старинные фолианты занимали весьма скромное место и относились скорее к области медицины, художественные же произведения в основном представляли послевоенный период. Скудность предложения, очевидно, оттолкнула истинных ценителей раритетов, поэтому лавка была удручающе пустынна. Спросив о Цветаевой и услышав в ответ удивленное: «А кто это?» – я уже собралась было уйти, как вдруг была остановлена приятным низким баритоном вошедшего пожилого мужчины.

- А книга Иосифа Бродского о Марине Цветаевой вас не интересует? Если да, могу дать адрес человека, владеющего этой драгоценностью.

От неожиданности я уронила на пол книги, которые до этого перебирала, и незнакомец, опередив меня, бросился их поднимать. Впрочем, незнакомцем он был недолго, потому что скоро мы беседовали с ним как старые добрые друзья.

Его звали старинным русским именем Никодим. И он был господином не в угоду моде, а по происхождению, которое чувствовалось во всем. Потомок известной

дворянской фамилии, он, естественно, вынужден был скрывать свою родословную. Но молох эпохи все равно не миновал его. Родители погибли в сталинских лагерях, а Никодим Иванович вырос в детском доме. Потом мыкал горе по разным городам и весям России в поисках заработка и хлеба насущного. В конце концов получил образование и профессию инженера-электрика. Семьи так и не создал.

- В детдоме нас было трое мягкотелых интеллигентных подростков, которых третируют и унижали. Я был самым крепким из них и в конце концов научился давать сдачи. С тех пор бывал битым, но не униженным. Друзья же мои были послабее, и им приходилось несладко. Прощаясь, мы обещали не терять друг друга из виду и не плодить детей, которые могли бы оказаться в нашем положении. Я лишил себя радости отцовства сознательно, так как никогда не чувствовал себя уверенно в этой стране.

Никодим Иванович помолчал и внезапно перелетел из прошлого в сегодняшний день.

- Вот сейчас жалуются на то, что демократия создала почву для терроризма в России. Ничего подобного! Терроризм здесь жил всегда. Гибель последнего царя, затем – Великого князя, министра Петра Столыпина, – да мало ли их, лучших и благороднейших, павших от рук фанатиков! Другое дело, что раньше бесчинство подобного рода окружалось почетом. Именами вершивших террор называли улицы и города, а их деяния считали проявлением патриотизма. Нам еще не год и не два расхлебывать то, что они натворили. Слишком велик грех, пожалуй, до седьмого колена достанет.

Выйдя на пенсию, Никодим Иванович зажил сначала замкнуто, в кругу любимых книг, пластинок и редких знакомых. Потом наткнулся на строчки в стихах Вознесенского: «Из инженеров уходят в дворники. Надо ж кому-то землю мести», – и пленился этой мыслью.

- Слушайте, какой размах! Какая философская подоплека! «Мести землю», то есть возделывать свой виноградник, – что может быть достойнее и благороднее?! Замусоренный город, замусоренный мир, Земля, Вселенная – и человек, наводящий порядок не с ружьем в руках, не с идеями Ницше в голове, а с самым мирным, домашним, старинным орудием труда – с метлой! Это же грандиозно! Почему люди никогда не видят грандиозности в простых повседневных профессиях?! Почему только бомба, только какая-нибудь атомная станция или химические удобрения тешат их самолюбие? А между тем мир захлебнется в дерьме, лишившись последнего ассенизатора!

Он рассуждал, как философ и поэт, и я сказала ему об этом.

- А вам никогда не приходила в голову мысль, что мусорщик – это вообще философская профессия? Я мету улицы, парки, скверы, дворы уже почти полтора десятка лет и с каждым днем утверждаюсь в этом мнении. Оно, естественно, не ново, ибо ничего нет нового в этом мире, как верно заметил Экклезиаст. Бернард Шоу, выводя образ мусорщика Альфреда Дулитла в «Пигмалионе», очень точно схватил суть явления. Я недаром называю себя не дворником, а мусорщиком. Дворник исполняет свое дело нехотя, из-под палки, с отвращением и раздражением, отыгрываясь на неряшливых прохожих за свои комплексы. Грубя им и посылая матом, он как бы восстанавливает утраченное душевное равновесие.

Я же работаю с интересом, как исследователь, и это делает мой труд осмысленным.

- Как исследователь? – с сомнением повторила я.

- Конечно! Вы, вероятно, не задумывались над тем, что по отходам человеческой жизнедеятельности можно судить о характере эпохи? Убирая мусор возле гастрономов, универсамов, супермаркетов, рыночных площадей и ресторанов, я сделал выводы, что современный человек неразборчив в пище, безвкусен и, как ни парадоксально, пресыщен. Недоеденный хлеб, печенье, сдобу выбрасывают даже нищие. А мы говорим о голоде! В России голодом называют тот рацион, который лишен мяса и молочных продуктов. Но голод – это когда нет хлеба. Анастасия Цветаева писала, если помните, что сытость (неважно чем) уже есть счастье и благо. Вот она знала цену хлеба. Мои родители, погибшие в лагерях, – тоже. Да и ваш покорный слуга не всегда бывал сыт, хотя, грех жаловаться, пробились и достоинства не утратил! Но вернемся к мусору. Я уже сказал, что наш современник безвкусен. Это верно, потому что он совершенно незнаком с культурой питания. Часто в одном и том же целлофановом пакете лежат кости от шашлыка по-карски и огрызки салями и балыка, а это значит, что несчастный желудок незадачливого едока перегружен не сочетаемыми между собой продуктами. Люди едят непомерно много, не понимая, что зря выбрасывают деньги. Человек, который каждую лишнюю копейку использует для ублажения утробы, жалок, ибо запросы его весьма утилитарны. Умножить количество жвачных на земле – не такая уж и сложная задача. Кстати сказать, и утроба таких «гурманов» скоро выходит из строя: не выдерживает натиска деликатесов... Тогда на смену ресторанам приходят поликлиники, аптеки, больницы.

По пустым упаковкам, тюбикам, пузырькам, облаткам можно достоверно сказать, что в Кисловодске больше больных, чем здоровых. Вот и выходит, что неводержанность в еде дает плохой результат, не говоря уже о другом. А пьют здесь чрезвычайно много, и по-прежнему преобладает водка, только теперь в ходу шведская и немецкая, а на третьем месте наша «Столичная».

По анализу мусора можно сказать, что в 1992-93 годах жилось хуже, чем нынче. Я это говорю потому, что в те годы почти не было на улицах «бычков». Их подбирали не только бомжи, но и просто обедневшие до крайности курильщики. Сейчас «бычкуют» значительно меньше граждан. Но тем не менее в Кисловодске «Camel» и «Marlboro» курят не многие. Остальные довольствуются «Явой», «Нашей маркой» и «Примой», причем у «Примы» – преимущество.

Последнее время богатые чаще используют микроволновую печь, чем газовую. Импортные сорта риса предпочитают отечественным. С овощами же и фруктами все наоборот.

По обрывкам предвыборных плакатов можно судить, как людям навязывали необходимость принятия решения. Это говорит о том, что большинство соотечественников впало в политическую и социальную пассивность.

- А как обстоит дело с культурой?

- О, тут пока упадок. На лавочках в парке отдыхающие часто забывают газеты, брошюры, книги. Увы! Это сплошной китч. Комиксы, анекдоты, низкосортные детективы, эротическое чтиво и популярные советы медиков и астрологов.

Вот мы с вами познакомились в «Лавке букиниста». Я хожу сюда по привычке. Раньше здесь можно было встретить оригиналов, готовых месяц голодать, чтобы купить Софокла. Это была своеобразная элита, аристократы духа, среди кото-

рых были профессор литературы из Кишинева, отдыхающий здесь каждый год математик, к которому приезжал коллега из далекой Индии, чтобы пару дней поговорить на профессиональные темы. Были геолог и просто чудака без особых занятий, который, впрочем, способен был написать диссертацию любому гуманитарии. Славная подобралась компания! Те, кто, покупая книги, преследовал коммерческий интерес, уже считались рангом ниже. Торгаши тогда были не в чести.

Сейчас старики-интеллигенты, которые время от времени пополняли запасы букинистов, умерли. А молодежь забыла сюда дорогу, проводя время не в поисках мудрости, а в погоне за длинным рублем. Скучная картина... Жаль, что забыта строка: «Науки юношей питают». А ведь как верно сказано! Именно знания делают человека полноценным.

Вот многие люди стыдятся идти на такую работу, как моя, к примеру. Им кажется, что это унинительно. Если б они знали, что труд не может быть унинительным! Унинительно наше мнение о нем. К тому же сегодня я мусорщик, а завтра могу стать писателем или министром, но это не изменит меня как человека. Если я подл, то останусь подлецом, если благороден, то не сделаюсь негодяем. Я мечтаю написать об этом книгу и назвать ее «Глазами мусорщика».

Впрочем, я заболтался, а между тем мне уже пора! Рад был встрече!

Никодим Иванович приподнял соломенную шляпу, обнажив густую седую шевелюру, и, слегка поклонившись в мою сторону, исчез за дверью. Это произошло так стремительно, что я не успела даже кивнуть в ответ. Походка моего собеседника была легка и упруга, словно он не носил семь с лишним десятков лет за плечами. Пытаясь осмыслить все, что он сказал, я невольно поймала себя на том, что кисловодская «Лавка букиниста» и в этот раз не обманула моих ожиданий, подарив встречу с уникальной личностью.

СМИРЕННИК

Андрею Порфирьевичу Мыскову – 97. Родился он в небольшом селеньице Владимирской области с ласковым весенним названием Талицы. Отец его был приходским священником, но паства частенько видела его на подворье и в поле, потому что Порфирий Петрович крестьянского труда не чурался: сам сеял, сам молотил, сам отвозил зерно на мельницу. Прихожане его любили и без стеснения доверяли свои сокровенные помыслы не только в церкви на исповеди, но и дома, за чашкой чая. Еще совсем маленьким слышал Андрюша, как густой бас отца повторял одну и ту же фразу: «А ты смирись, мил человек, покорись судьбе, не суй, не бунтуй. Господь любит смиренных и всегда избавление им посылает».

- И так запало оно мне в душу, слово это странное – «смиреник», – что двадцать лет спустя, став учителем словесности, искал я во всех словарях его истинное значение и не находил. То есть находил, конечно, но чувствовал, что не вся суть слова раскрыта толкователями. Какой-то внутренний голос подсказывал мне, что глагол «смириться» не пассивный, а активный по внутреннему действию своему и к тому же очень русский по духу.

Ведь только в нашем языке вы найдете такое слово, как «печальник», к примеру. И это совсем не значит, что человек, которого так называют, грустный, меланхоличный, – напротив, сердце его озабочено людскими бедами, болит, тревожится, ищет способ помочь, облегчить страдания близких, то есть опять же печальник – человек активного действия.

Андрей Порфирьевич умолкает на мгновение, а я смотрю на его белый картуз, косоворотку, бородку клинышком и дивлюсь извечной русской загадке. А загадка эта заключается в философском уровне мышления. Русская интеллигенция XIX века явила это качество всему миру и поразила его высокой одухотворенностью, альтруизмом. Но подняться над мелочами быта способен в России не только интеллигент, но и крестьянин, и рабочий. То ли пространства наши необъятные располагают к этому, то ли неспешный образ жизни, то ли вера христианская – Бог весть. Вот только тот, кто не уловил в русских эту черту, не поймет и не узнает Россию. Взять, к примеру, моего собеседника. На вид обычный старичок – такого в толпе, пожалуй, не выделишь. А вопросы, которые он поднимает, достойны стать диссертационной темой.

- Вот и получается, что сам пассив в России – всегда чисто внешний. Вспомните историю татаро-монгольского ига, войны, которые мы пережили, крепостное право. Народ смирялся, но это смирение было не финишем, а стартом. Да и само смирение – активное, энергичное слово, в нем конфликт улавливается, борьба с гордыней. А одолеть себя труднее, чем внешнего врага. Об этом и литература наша русская говорит. Вспомните «Отца Сергия» Льва Толстого. Ведь искусил-таки его нечистый! А все потому, что не смирился он по-настоящему, не победил честолюбие свое. Не с собой боролся он на самом деле, а славы себе искал. На светском поприще не получилось, он в религию метнулся, но все та же мелкая цель баламутила его душу. Сколько я таких людей на своем веку повстречал! Да возьмите хоть правителей наших: говорят о народе, о России, а у самих за душой ничего нет. Чтобы жизнь положить за народ, нужно здорово с собственным корыстолюбием побороться. Богатырем нужно быть, к подвигу души готовым. А они – мелкие сошки, не бойцы. Только звон злата услышат да блеск славы увидят – уже и готовы, сдались лукавому. А подвиг души мужества требует, отваги, стойкости. Как подвижники выглядят, я только недавно узнал, когда правнучку свою старшую в монастырь провожал...

Андрей Порфирьевич прикладывает руку к глазам и из-под нее, как из-под козырька, смотрит вдаль, словно хочет получше рассмотреть то, что впереди маячит, а может, и то, что осталось позади, за толщей прожитых лет.

- Случилась эта беда в прошлом году. Жених ее в ОМОНе служил и погиб при исполнении служебных обязанностей. Как услышала она эту весть, заперлась у себя в комнате и вышла только через двое суток, чтобы на похоронах присутствовать. Взглянул я на нее – и не узнал. Ушла она в комнату правнучкой моей, а вышла – монахиней. Сердце у меня так и екнуло, так и сжалось от предчувствия, и ощутил я сам себя маленьким и беспомощным, а ее – взрослой и мудрой. После похорон она опустилась передо мной на колени и говорит: «Попрощаемся, дедушка, благослови меня на служение Господу!». А в глазах огонь горит нездешний, тот самый, которым смиряет она свои земные страсти. Заплакал я и благословил правнучку, потому что понял: созрела она для подвига души.

...В наши края Андрей Порфирьевич попал не случайно: приехал на свадьбу к младшей правнучке, которая зовет его к себе навсегда. Любит деда, ведь он был девочкам с младенчества и другом, и нянькой, и наставником.

- Я не зря вам эту историю рассказал. Подвига души жаждет втайне каждый россиянин и ждет своего часа. Жажда подвига – тоже очень русское качество.

Вот почему во время народных бедствий поднимается наша страна из пепла. Поднимется и сейчас – не сомневайтесь. Пока идет разрушение, народ притих, словно сдался, затаился, рассыпался в прах. Но пружина терпения будет сжиматься не бесконечно. И когда разрушение достигнет предела, когда люди унижутся так, что покажется, что их уже и нет на земле, начнет возрождаться Россия. Начнет помаленьку строиться: с церковки малой, с сельского прихода, с храма души. У каждого ведь свой подвиг – кто Богу служить идет, кто – людям. Но в любом случае подвиг истовости требует, бескорыстия, преданности. Вспомните сказки наши русские. Щук да лебедушек их герои и голодными не едали, отпускали в море да в небо, на простор. А ведь это сказать только так легко, а отказаться от чревоугодия, ох, как трудно! Но отказывались, смиряли свой аппетит – и за благородство награждены были.

Я вот, когда правнучку свою в монастырь провожал, все об аленьком цветочке думал. Любовь этим самым цветочком для нее была. И в монастырь ушла она затем, чтобы Бориса ее кто-нибудь живой не заменил, чтобы пошлость жизни не торжествовала. Ведь это пошлость, когда любовь разменной монетой становится.

Вот и Россия в 17-м из своих идеалов разменную монету сделала: одни предала, другие приняла – за это и мается. И часа своего ждет, к подвигу души готовится. Уж поверьте старику, кожей чувствую, что готовится. А ведь Россия такая – ее только почувствовать и можно, а понять – вряд ли, не все на свете дважды два...

Загадочна душа человека и безмерны дремлющие в нем силы, способные в свой час пробудиться для подвига души. Непредсказуем этот срок, и не поддаются статистическому учету подвижники земли русской. Мы знаем лишь некоторых из них: Сергей Радонежский, мать Мария, Минин и Пожарский... Богата история наша славными именами. Ну а список безвестных героев, затерявшихся по градам и весям российским, и вовсе составить невозможно, потому что прав Мысков: способность к подвигу души – очень русское качество.



ИЛЬЯ СУРГУЧЕВ

(1881 – 1956)

Илья Дмитриевич Сургучев родился 15 февраля 1881 года в г. Ставрополе. Его отец Дмитрий Васильевич Сургучев родом из Калужской губернии, из крестьян. В молодости человек деятельный и энергичный, как и все, искал лучшей доли, переехал на жительство в г. Ставрополь, где женился на Софье Петровне Макавовой. Семье Сургучевых при-

надлежала двухэтажная гостиница в районе Нижнего рынка.

По настоянию своих родителей, и особенно матери, человека глубоко верующего, Илья Сургучев поступил учиться в Ставропольскую духовную семинарию. Учился, постигая азы Закона Божьего, только на “хорошо” и “отлично”. Потом Санкт-Петербургский университет, где он становится студентом факультета восточных языков.

Из воспоминаний Т.Н. Ильинской (внучки писателя): “В университете Илья Дмитриевич занимался много и успешно. Ему легко давались иностранные языки. Кроме ряда восточных, он в совершенстве владел французским и немецким. Ему предлагали место на кафедре, но увлечение писательским трудом пересилило”.

Литературная биография Ильи Дмитриевича началась еще в студенческие годы с публикаций очерков и рассказов («Трешница», «Неудавшаяся жизнь» (1898 г.) в газете «Северный Кавказ», петербургском «Журнале для всех», «Вестнике Европы».

Дом Сургучева на Ясеновской стал литературным салоном города Ставрополя. Здесь собирались журналисты, читали свои произведения Коста Хетагуров, Леонид Пивоваров, Евгений Третьяков. Здесь родилась идея издания первого на Ставрополье литературно-художественного сборника “Наши альманахи”. На страницах многих произведений Ильи Дмитриевича отражена ставропольская жизнь: повесть “Губернатор”, пьеса “Торговый дом”.

В первых же своих произведениях он вплотную подошел к проблеме, впоследствии ставшей ключевой в его творчестве. Писатель противопоставляет жизнь и «не жизнь». Жизнь понимается Сургучевым как нечто абсолютное, как целостность, которую мы можем осознать лишь на фоне смерти. В сентябре 1898 года в пяти номерах газеты печатается повесть «Из дневника гимназиста», подписанная сначала инициалами, а затем псевдонимом «И. Северцев». Эту повесть Сургучев и считал первой своей публикацией.

Одним из значительных произведений писателя является повесть «Губернатор». В ней И. Сургучев затронул комплекс вопросов, глубоко волновавших многих писателей-реалистов: добро и зло в сферах общественного бытия губернских городов России, застой провинциальной жизни, засасывающей и убивающей все живое, светлое; трагическое одиночество страдаю-

щей человеческой души; смерть, любовь, красота; отношения между простыми людьми и стоящими у власти; подъем демократических настроений народных масс, их протест против политического гнета, общественных государственных порядков, порождающих косность, бездушие, деспотизм. Многие страницы «Губернатора» посвящены родному г. Ставрополю. Перед читателем проходит главная Николаевская улица (ныне проспект К. Маркса) с булыжной мостовой, магазинами, окружным судом; описаны Тахлянский предместье, кафедральная гора с собором и электрической станцией, губернаторский дом и многое другое. Все в повести достоверно и точно. В ней легко угадываются некоторые известные в истории края лица: губернатор – ставропольский губернатор Никифораки, ротмистр Клейн – ротмистр Фридрихов, архиерей Герман – архиерей Агафадор. Это придает чтению особый интерес и злободневность.

В новую историческую эпоху особым вниманием Сургучев пользовался со стороны М. Горького. В годы Советской власти именно Горький привлек Сургучева к сотрудничеству в сборниках «Знание», где в то время печатались А. Куприн, И. Бунин, В. Вересаев, М. Пришвин, Л. Андреев, А. Серафимович и др.

О трагических событиях установления Советской власти в губернии Сургучев написал в книге-памфлете «Большевики в Ставрополе», изданной в 1919 году. Писатель считал, что русский человек заболел «страшной психической болезнью, он начал сквернить свою землю, свои храмы, убивать своих родных...». Художник не принял разрушительную силу пролетарской революции, осудил проявления бессмысленного насилия и ужасы гражданской братоубийственной войны. В 1920 году он вынужден был уехать за границу. Путь его лежал через Константинополь, Прагу, Париж.

Из воспоминаний Т.Н. Ильинской о его жизни в эмиграции: «Сургучев был одинок. Жил он на одной из глухих улочек Парижа. В маленькой, узкой как пенал комнатке, почти не было мебели, кроме дивана, самодельных полок на стенах и двух кресел. На них обычно спали два его любимых кота. Он носился с ними, как с детьми, и тратил на них последние деньги. Одним из самых любимых мест в Париже для него был «Бюшинь» рынок, где он обожал рыться в старинных книгах и картинах, выискивая «вещь».

В Париже Илья Дмитриевич много и плодотворно работает. Его перу принадлежит немало ярких произведений: роман «Ротонда», повесть «Детство императора Николая II», сборник пьес «Мой театр», этюды о Тургеневе, Флобере, «Эмигрантские рассказы». Его пьесы идут на театральных подмостках Стокгольма, Берлина, Осло... Последние годы он был литературным советником журнала «Возрождение».

Широко известен драматургический талант Сургучева. В 1913 году в Александрийском театре с успехом прошла его пьеса «Торговый дом». В 1914 году ее включили в репертуар Малого театра. Годом позже в Московском художественном театре режиссером В. И. Немировичем-Данченко были поставлены пьесы «Осенние скрипки», сюжет которой был навеян подлинными событиями, происшедшими в доме ставропольского купца Мясникина, большого самодура и в то же время тонкого ценителя искусств и знатока театра. В роли Варвары с успехом выступила замечательная актриса России О.Л. Книппер-Чехова.

Наш земляк Илья Дмитриевич Сургучев скончался в 1956 году в Париже, одинокий, всеми забытый. Последний его рассказ назывался “Китеж”. Он был последним приветом родному городу Ставрополю, который он так беззаветно любил. Первое упоминание о писателе-эмигранте в Ставропольских газетах датируется 1982 годом. В 1999 году на сцене драматического театра им. М.Ю. Лермонтова в г. Ставрополе состоялась премьера пьесы “Осенние скрипки”.

Когда И.Д. Сургучев умер, в парижском журнале «Возрождение» был напечатан некролог, который открывался такими словами: «Их было семь... Бунин, Зайцев, Куприн, Мережковский, Ремизов, Сургучев и Шмелев. Нарочно ставлю их имена по алфавиту, так как стоит ли спорить о том, кто из них выше. Семь было с нами в изгнании... представляли собой русскую литературу и были духовными наследниками девятнадцатого века...»

Сегодня русский писатель Илья Дмитриевич Сургучев возвращается из изгнания на Родину. И теперь уже навсегда!

ГУБЕРНАТОР

(отрывок из повести)

I

Когда губернатор ехал с вокзала к себе, в свой дом, помещавшийся на главной улице города, рядом с магазином «Американский свет», — было четыре часа: в Троицком соборе звонили к вечерне. Не ожидая багажа, он, никем не встреченный, приехавший без предупреждения, сел на очередного извозчика и снова, как пять месяцев назад, ехал по плохой мостовой вверх, мимо бульвара, разделявшего улицу на две половины.

Пять месяцев назад, в марте, когда губернатор еще верил в Наугейм, в целебность его вод и климата, верил в свое выздоровление, — он возмущался и говорил сопровождавшему его на вокзал ротмистру Клейну:

- Это не город, а кабак! Черт знает что! По таким мостовым только мертвых да кислое молоко возить можно! Всю управу, собственно, разогнать бы нужно. А в особенности этого, как его?

- Петрухина? — спросил Клейн.

- Вот-вот, Петрухина. Этакое мурло! Ведь он, кажется, заведует починкой мостовых. Ничего не делает, только зря деньги получает... Да и подворовывает небось. Не без греха у них, в самоуправлении-то...

Губернатор говорил тогда громко, и теперь только стало ясно, что этим задорным тоном и неестественным раздражением ему хотелось заглушить ту глубокую, недавно вошедшую в душу тревогу, которая все время говорила ему: не храбрись. Помни, что между тобою и мертвецом, которого можно возить по этой дороге, разница невелика. Сердце твое уже пошатнулось, — разве ты не замечал, какие виноватые лица у докторов, как они после ослушиваний и остукиваний часто уходят в столовую и там шушукаются между собой непонятными латинскими словами?

Задорным тоном хотелось побороть эти тревожные, не дающие покоя и сна мысли, хотелось самому себе показать, что мы-де еще поживем, еще поразговариваем с толстыми членами управы, еще не один раз нагоним им холода...

Ротмистр Клейн, здоровый, толстощекий человек в сером пальто, слушал тогда губернатора, как-то особенно шурил свои немецкие мутноватые глаза,

поеживался, будто ему было холодно, посматривал в сторону и издавал мало-понятные, одобрительные звуки. И потому, что он старался не смотреть губернатору в глаза, было у него то же выражение лица, как у докторов, когда они осторожно уходили шептаться в столовую.

Теперь, когда губернатор, усталый, почти сутки ничего не евший, возвращался из Наутейма, мостовые уже не тревожили его. Фазтон прыгал направо, налево, подскакивал, дребезжал: была только привычная, тупая, нудная боль в левом боку. Но и ее не хотелось замечать. Он знал, что уже все кончено. Пройдет год или, от силы, полтора – и от губернаторского дома потянется процессия во главе с архиереем Германом, и понесут его, губернатора, по этой дрянной дороге, понесут осторожно, плавно. На юге умеют хоронить хорошо и весело. Заколышутся впереди позолоченные хоругви, как знамена. Хор хороших, крестовых певчих широко, громко и медленно будет петь молитву. Денег на похороны не пожалеют: гроб сделают на заказ у Ермолова – просторный, дорогой. Будет он в нем покачиваться, как в гамаке. Правитель канцелярии, умеющий сочинять восторженные телеграммы со словами: «днесь, во веки веков», прольет из своих узеньких глаз слезу и скажет речь с отрывистыми, удрученными жестами, а там на новых, скользких полотенках спустят его превосходительство в просторную, свежую яму, заложат ермоловский гроб серыми камнями, спаяют их цементом, завалят разрыхлившейся, потревоженной землею; месяца через четыре привезут из Москвы черный, солидный мраморный крест и напишут на нем золотыми, глубоко вырезанными буквами: «Генерал такой-то, родился тогда-то, умер тогда-то. От роду его жития было столько-то», а на другой стороне: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоем».

Губернатор любил беречь душу такими думами и воображать картину своей смерти со всеми подробностями. Ему тогда становилось глубоко жаль себя, как бывает жаль обиженного, одинокого, беззащитного ребенка. Чужие люди закроют ему глаза; холодные и, быть может, брезгливые руки вымоют его мертвое, вялое тело и, отвернувши лица в сторону, перенесут его на стол, покрытый простыней неустановленный в святом углу.

- А впрочем, все равно! – старался думать он, глядя наверх, на телефонный столб, где какой-то парень в жокейской фуражке чинил проволоку. – Все равно. Один черт. Сегодня, завтра, – какая разница.

День был ясный, нежаркий. Звонили к вечерне, которую будет, вероятно, служить плотно пообедавший, заспанный священник. К вечерне никто, кроме завтрашних именинников, не придет. На улицах никого не было.

Фазтон у извозчика был старый, четырехместный, весь отрепанный, что-то в нем дребезжало, на одном колесе не было, кажется, шины: оно постукивало как-то странно, словно хромая. Извозчик чувствовал это, хотел взять лихостью коней и стегал их, приподнимаясь с сиденья и доставая кнутом до самой шеи. Ехать от толчков было неудобно, больно: по локтю все время била какая-то железка. А когда фазтон катился по пыли, и было мягко, и колесо не дребезжало, то сейчас же приходили обычные мысли, длинные и одинаковые, как рельсы, – мысли о том, что нужно бы перед смертью поговорить с министром, поговорить не о губернии, не о подавлении революции, не о насаждении лесов, а о жизни и о боге. Приходила и другая мысль: как хорошо было бы теперь, приехавши домой, найти там жену, дочерей, которые вот уже много лет уехали от него и стали чужими. Хоте-

лось, чтобы в прошлом не было таких тяжелых воспоминаний, как измена жены, чтобы не было самоубийства Тышецкого, который перед смертью написал записку, что до петли довел его губернатор. Записка была маленькая, криво оторванная, и на конце ее тянулись тоненькие волокна бумаги. Писал Тышецкий, видимо, наспех, потому что в окончаниях слов не было твердых знаков, а в одном месте была неправильно поставлена буква «е». В петле, говорили тогда, Тышецкий был страшен: с растопыренными пальцами и криво высунувшимся синим языком.

- Приехали, ваше превосходительство! – сказал, поворачиваясь, извозчик. – Имею честь поздравить с приездом! Извозчик говорил: «проздравить».

Губернатор приехал за месяц до окончания отпуска, и дом его, большой, двухэтажный, выстроенный в 1876 году, с прекрасными, строгими зеркальными окнами, с балкон который поддерживали четыре согнувшиеся гипсовые женщины, – дом молчал, никто не выбегал навстречу, никто не улыбался ему. Был даже беспорядок: не караулили дверей обычные часовые, хотя полосатые будки по-прежнему стояли на утлах. В левой половине первого этажа помещалась губернаторская канцелярия, и подъехавший экипаж был замечен дежурным чиновником.

Сразу вспомнился этот чиновник: у него как-то были необыкновенно скрипучие сапоги, и губернатор, не выдержав, крикнул ему, что если только он не переменит их, то будет немедленно выгнан со службы. Испуганный чиновник до конца занятий ходил на цыпочках; на другой день явился в каких то широких растоптанных штиблетах и все-таки ходил на цыпочках.

Губернатор вспомнил молодое побледневшее лицо – и улыбнулся. Сделалось ясно, что нужно бы как-нибудь загладить это далекое прошлое, когда за службой, как за высокой стеной, не было видно жизни, когда совсем не думалось о смерти, когда важным и значительным обстоятельством считалось печатное предписание из министерства, когда огромным мучением казалась измена жены. Двумя звездочками горели глаза чужой, не его девочки, – жестоким, нестерпимым огнем жгли простые слова: «папочка, мой папочка». Особенно бесило и волновало, что эта чужая девочка Соня, рожденная его женой от любовника, очень любила его, как отца, и горько, вздрагивая плечиками, плакала, когда он не пускал ее к себе в кабинет.

Всю дорогу, от Наутейма до дома, не давала губернатору покоя одна мысль, которая скользнула в сознании и которую никак не удавалось точно уяснить себе. Когда же он увидел в окне чиновника, которого давно, года полтора назад, ругал за сапоги, то эта мысль оформилась и как-то сразу сделалась простой. Стало ясно, что перед смертью нужно исправить все зло, которое он сделал на земле. Эта мысль, как неожиданным огнем, охватила его душу, его мозг и твердым, горячим шаром прокатилась внутри по всему существу. Надо было сей час же броситься в жизнь, как в текущую воду, и что-то делать, что-то исправлять, что-то спасать; вспыхнули желания быстрых, отчетливых, как в молодости, движений: нужно было бы вот сейчас соскочить с фаэтона, взбежать по лестнице, торопливо умыться с дороги и переодеться, быстрым почерком написать письма, которые еще успели бы к постовому поезду, – но чувствовалось, что тело стало уже тяжелым, грузным, больным.

- Если бы протянуть еще год, полтора! – думал губернатор, не слезая с остановившегося фаэтона. – Господи! – и слегка, чтобы было незаметно, повернувшись к собору, который виднелся из-за бульвара, он, давно потерявший веру, шептал. – Поддержи меня! Дай мне еще эти год, полтора! Дай мне почувствовать себя иным,

не скверным, не грязным, не жестоким! Пошли на меня свою благодать, ясную и исцеляющую. — Душа и губы шептали эту молитву, а старые, солдатские, зоркие глаза посматривали, — не видел ли кто и не улыбается ли его малодушию. Слова молитвы были просты, и казалось, если есть бог, то он услышит ее.

Впереди, в гору, шла улица с электрическими фонарями, магазинами, трехэтажными домами, окруженным судом, направо — дремал густой, зеленый бульвар.

Извозчик стоял и, вероятно, удивлялся: почему губернатор не слезает с фатона? Прохожие, узнавшие его, кланялись и старались пройти поскорее, — казалось, что у них мелькала тревожная мысль: губернатор приехал.

II

Чиновник выбежал на улицу в застегнутом сюртуке; вид-у него был испуганный, и во всем — в широко раскрытых черных глазах, в низких поклонах, от которых встряхивались и падали наперед длинные, лоснящиеся волосы, в суетливых, бестолковых движениях сразу нарисовалась прежняя тяжелая, обременительная жизнь.

- Мое почтение! — ответил на приветствие губернатор, и в голосе его слышались те ноты; которые говорили, что он хочет быть простым и несердитым. — Все еще служишь?

- Служу, ваше п-во! — отвечал чиновник, стоя перед ним по-солдатски, во фронт и, видимо, не зная: бояться ему или радоваться.

- Дежурный по канцелярии?

- Точно так!

- А сапоги все по-прежнему скрипят?

- Никак нет! — рапортовал чиновник. — Я их, подошвы то есть, восемь дней тогда коровьим маслом мазал.

- И что ж? Прошли?

- Точно так. Прошли.

Было видно, что чиновник этот — славный парень; Пыпов наваливался на темную тушу, подминал ее под себя и начинал бить. Бил он жестоко, но умно и осторожно: после его боя на теле не оставалось следов, и доктора не выдавали медицинских свидетельств, но случалось, что человек выходил из полиции, хирел, ходил, как горбатый, согнувшись, и потом, месяца через три, умирал, кашляя кровью.

Когда туша переставала взмахивать руками и замолкала, Пыпов приходил в себя, поднимался, тяжело дыша, с пола, оправлял на себе сюртук, приглаживал дрожащими руками волосы по обеим сторонам головы, выходил из камеры, снова запирали ее на ключ и говорил сам себе:

- Побаловался.

Потом, выйдя из казармы, принимал на воде тридцать три капли из коричневого пузырька, ложился па кровать и снова уже не мог прогнать дум о девушке-дочери, глаза которой похожи на цветы, о зяте, благородном полковнике, о сыне-студенте в толстых золотых очках; думал о чистом маленьком домике, с крашеными полами, с изразцовой печкой, с висячей лампой, с горящими лампадами в святых углах, с благословенным хлебом после всенощной под годовой праздник, — думал, и становилось ему жаль самого себя, жаль жизни, которая у него не сложилась, как у хороших людей. Нужно было кого-то ругать, кого-то упрекать, и прежде всего самого себя, — и Пыпов, ощущая на лице

теплые солоноватые капли, толкал в подушку опять судорожно сжавшимся кулаком и, стиснув зубы, приговаривал за каждым ударом:

- Хам ты, холуй, мурло, селедка несчастная, фараон! Так тебе и надо!

Запивал он редко, с каждым годом все реже и реже: на рождество, на пасху, на осеннюю ярмарку. Когда же напивался, когда красным, как свекла, делалось лицо, когда в туманную голову лезли воспоминания, Пыпов загибал палец за пальцем и говорил:

- Зайцева убил. Учителя Емельянова убил. Поляка Пташицкого убил. По закону убивал. По правде. Следовало их, иуд, прохвостов! И на страшном суде, перед господом богом, за эту паршь отвечать не буду. А хорошего человека, – и Пыпов высоко поднимал не разгибающийся прямо палец, – никогда в жизни своей ногтем не тронул. И не позволю! И не позволю!

Х

Жизнь в полиции начиналась рано. Первым на дрожжах приезжал помощник полицмейстера Крыжин, сильно со лба облысевший, здоровый, толстоносый человек. Он заведовал канцелярией и был грозой Шульмана, – маленького, тихонького, с куцерывыми промасленными волосиками выкреста, отставного, выгнанного из полка ротмистра и прочей канцелярской мелкоты. В полиции выдавались виды на жительство, отсрочки, паспорта; через полицию велась огромная переписка со всеми ведомствами, вручались судебные повестки; в полиции происходили разного рода явки и регистрации проституток. Приходили за разрешением афиш антрепренеры, хироманты, отгадыватели мыслей, шпагоглотатели, короли огня и черной магии. Являлись девушки за получением желтых билетов. Являлись они часто, большей частью еще робкие, в платочке, у щеки забранном внутрь, принаряженные, с ярким, то и дело меняющимся на (румянцем, иногда для храбрости выпившие.

Если девушка была хорошенькая, если под одеждой чувствовалось молодое, только что тронутое тело, у Крыжина загорались глаза, пересыхало в горле, он переставал понимать самые ясные, напечатанные на ремингтоне бумаги, сурово из-под рыжих, торчащих бровей взглядывал на нос и отрывисто, внутренне задыхаясь, говорил:

- Подождать!

Девушка опять выходила на площадку лестницы и, глядя на пожарный двор, ждала, ждала все утро, когда посетители будут приняты, когда бумаги, назначенные в этот день к отправлению, будут написаны и заклеены в длинные, печатные внутри, конверты; когда требования ведомств, помученные письменно и по телефону, будут удовлетворены; когда репортеры газет, расхаживающие здесь с видом привычных посетителей, получают сведения, – когда Крыжин совершенно освободится от всех обязанностей.

Когда все бывало окончено, когда Шульман и ротмистр, просунувши по очереди головы в полуоткрытую дверь, прощались и уходили в трактир «Русское хлебосольство», – Крыжин шел в соседнюю с его кабинетом комнату, где были только стол да плохонькая шаткая кровать для дежурных чиновников, смотрел, пригнувшись, на свою лысину в маленькое, трехвершковое с косым стеклом зеркальце, приглаживал, плюнув на ладони, волосики с темени наперед, расправлял жесткие, никакому фиксатару не поддающиеся усы и зычно кричал:

- Зови оставшуюся!

Отворялась половинка двери, и девушка не входила, а проскальзывала в комнату, становилась перед столом, захваленным книгами, бумагой и штемпелями в красных плодах-коробочках.

- Вы что? – спрашивал Крыжин, не умея сдерживать не нужной ему, мешающей и в то же время притворной суровости. – Проституцией желаете заниматься?

Девушка чаще всего молчала: тогда в глазах у ней наливались слезы, пальцы рук сильнее начинали дрожать, и это молчание, – после некоторого со стороны Крыжина колебания и разглядывания еще свежего лица, только что налившейся груди, выбившихся из-под платочка волос, – истолковывалось как утвердительный ответ.

- Причина какая? – спрашивал Крыжин.

На этот вопрос почти никогда не отвечали, а если и отвечали, то только одним, насилиу выданным из горла словом:

- Хочу!

- В заведение поступаете или думаете вольно? – спрашивал Крыжин. Девушка отвечала.

- Дело ваше, – сказала мамаша! А только бы не советовал бы. Грязная история! – говорил Крыжин и решал, что совет дан, дело доброе сделано, совесть его чиста и перед службой, и перед людьми, и перед господом богом.

Он кричал, поворачивался к окну и долго думал, как бы полегче и игривое перевести разговор на другую тему, чтобы не было крика и грубости. Вспоминалась ему собственная жена, – маленькая, с раннего утра густо напудренная женщина, родившая пять больных, рахитичных ребят, которые высосали ее когда-то красивую грудь, блеск глаз, пышность волос, краску губ, упругость щек. Лезли в голову постоянные ссоры, ревность, упрёки, просьбы в гимназии за старшего, и загоралась душа при мысли: «А что, если бы взять где-нибудь, на далекой улице, маленький домик, поселить в нем вот такую свежую, почти чистую девушку и по вечерам, когда все стихнет, когда откроются театры и уйдут Шульман и ротмистр, – ездить к ней: и любила бы она, и целовала, и говорить бы с ней можно было обо всем, и, снявши мундир, полулежа, тихо наигрывать на гитаре с итальянскими струнами, петь старинные бурсацкие песни». Крыжин был из духовного звания, дошел до третьего класса, не преодолел супина, герундия и винительного с неопределенным и поступил на службу в полицию, отличился во время революции и теперь мечтал о полицмейстерстве. Он был уверен, что красивому, мало занимающемуся службой полицмейстеру долго не протянуть: мешают ему какие-то думы, какие-то часто приходящие по городской почте письма, видимо, анонимные, которые он нервно рвет на мелкие клочки и выбрасывает, как хлопья, в окно, на ветер. Крыжин вплотную, близко подходил к девушке, брал ее жесткими, холодноватыми пальцами за подбородок и, дыша ей в лицо табачным и от гниения зубов запахом, говорил:

Миленская, хорошенькая. Эх, много здесь идет вашего брата! Так билет тебе?

- Да, – отвечала девушка.

- Ну ладно, – снисходительно говорил Крыжин, встряхивая потускневшую портупею: – Иди теперь в эту комнату и жди...

Списывал с паспорта ее имя и фамилию в желтый, крупным курсивом с обеих сторон напечатанный бланк, ставил четкий номер, осторожно, с левой

стороны, прикладывал фиолетовый с орлом штемпель и, неразборчиво выводя огромную букву К, расписывался. Когда все было готово, Крыжин опять приглаживал волосы и усы, вызывал на лице неестественную, кривую улыбку, долго к чему-то прислушивался и, дрожа телом, на цыпочках шел к девушке; если она сопротивлялась, громко шипел:

- Без р-разговоров! Таковская!

И когда все кончалось, когда рядом, в соборе, начинали и средний колокол звонить к вечерне, Крыжин вспоминал, что его ждут дома обедать, что может прибежать сюда чутьем узнающая ревнивая жена, тогда он наскоро одевался, ронял на пол запонки, левый сапог надевал на правую ногу, торопил девушку и совал ей в руки еще не смятый бланк. На лестнице ее ожидал злобно улыбающийся солдат и с криво, жадно к ее телу перекошенным лицом спрашивал:

- Проздравить можно? С вручением?

И когда девушка торопливо сбегала по деревянным, дрожащим, стоптанным ступенькам, он выругивал ее вслед длинной, как кнутом бьющей, бранью.

XI

Пожарные осматривали фэзтон, пробовали, наседая, рессоры, отворяли сделанные из шлифованных стекол дверцы фонарей. Пристав Ерема отвел черного господина в сторону и разговаривал с ним дружески и интимно. Этот господин имел странный вид: лицо у него было крупное, красивое, но неопрятное, хищное, жадное. В длинном галстуке, концы которого прикрывались жилетом, торчал плохо горящий камень, а белье было посвежее, мягкое, с полосками желтого, высохшего пота по краям воротничка; на цепочке висело много тяжелых, грубоватой работы медальонов и брелоков в виде тигровых глаз, золотой ноги, миниатюрного бинокля. Вещи были все такие, в которых сразу видна дороговизна. Звали этого человека Яковом Бронштейном; были у него великолепные лошади, в городе он славился щедростью, на студенческих вечерах платил огромные деньги за билеты; но когда жертвовал на синагогу, там на его пожертвования устраивали только выпребные ямы.

- На этот раз тебе несдобровать! – говорил Ерема, завистливо ощупывая глазами торчащий из галстука Бронштейна бриллиант.

Глаза Бронштейна сразу сделались маленькими, забегали по двору, замелькали в них острые, трусливые искры.

- Попробую, – сказал он с акцентом, – авось. Черт наавосе ехал!

- Здорово кадило раздули! – говорил Ерема, шурша своим серым плащом, из-под которого выглядывал кусочек вдвоесложенного портфеля. – Того и гляди, в газетах ахнут. А тогда, господин общий тесть, шабаш!

- В газетах не ахнут...

- Уже? – и пристав Ерема потер палец о палец.

- Там уже, успокоительно подтвердил Бронштейн и сделал умильное лицо. – Слушай, сто раз прошу тебя, ежно сказал он, – не зови меня господином общим тестем. Ну что тебе сладко, что ли, если ты говоришь: господин общий тесть. Ну?

- Ну не буду, – примирительно ответил Ерема и с заботливостью спросил: – Теперь только сам, значит, остался?

- Только он.

- Подлабунья. Представься Алексеем, человеком божьим. Деньги ему нужны – во! – и пристав Ерема провел пальцем по шее. – Супруга-то, – и пристав

незаметно подмигнул на окно полицеймейстерского дома, – по сто монет за перо на шляпу платит. Вот ты и нюхни...

- Кроме фазтона, сдачи буду давать с двух, – сказал Бронштейн.

- И великолепно! И великолепно! – словно сделав открытие, тоненьким голоском вдруг заговорил Ерема. – А если потребует сдачу с трех, – вали и с трех... Тебе что? Три ночи поторговал – и опять капитал на руках. Как из бездонной бочки деньги ловишь...

- Да, три ночи! – укоризненно заметил Бронштейн. – Прошли, брат, те времена, когда за три ночи капитал собирали.

Пристав Ерема покосился на него, покачал головой и сказал:

- Рассказывайте азовские басни! Запускайте арапа! Мы отлично ваш странный характер знаем!

В это время во двор въехал полицеймейстер. Кучер Ефрем, гордившийся тем, что на своем веку перевозил восемнадцать полицеймейстеров, круто сдержал, откинувшись назад, пристяжку и острыми, наблюдательными глазами сразу оглядел всю компанию, собравшуюся во дворе. Пристав Ерема вытянулся во фронт, Бронштейн снял котелок и кланялся, блестя на солнце черными с проседью волосами.

Полицеймейстер встал с пролетки и подошел к фазтону. В сравнении с фазтоном, блестящим, похожим на большую игрушку, пролетка, на которой он приехал, была жалкой и бедной. Глаза его слегка блеснули, когда провел он рукой по гладкой, холодноватой поверхности кожи. Молча, как и пожарные, потрогал он шины, надавил рессоры, качнул несколько раз кузов.

- Этот экипаж вы продаете? – после подробного осмотра спросил он, не глядя на Бронштейна.

- Точно так, этот! – не своим, а каким-то высоким, зазвеневшим, голосом ответил тот, опять сбрасывая с головы котелок, и опять ветер прошелся по его роскошной, густой, седоватой гриве: не будь этих бриллиантов.

Казалось, что в их душах живет тоска, которую человек никогда ни уяснить, ни понять не может, которая приходит к человеку и неизвестно откуда, и неизвестно зачем.

Полотно пересекало казенную дачу; в одном месте образовалось что-то вроде высохшей речки, и на самом дне ее лежали рельсы. На берегах нагорных, высоких росли густые кустарники, дикие розы и еще какие-то белые, остро пахнущие цветы.

Ярнов ложился в высокую зеленую траву, смотрел в небо, на Северный венец, и думал, что можно было бы притащить сюда губернатора, если бы у него не болело сердце и он сумел бы одолеть спуск от бассейна. Ему нравилось бывать у старика. Оттого, что к нему приезжала Соня, он делался хорошим и казался родным.

В десять часов, сотрясая гулкою землю, пролетал почтовый поезд, и можно было на секунду увидеть, как при слабом освещении возились в вагонах люди, только что выехавшие в путь: еще не устроились как следует на местах, еще не разместили в нужном порядке багажа. На повороте исчезал красный, немигающий глазок последнего вагона, и шум, в последний раз перед утром потревоживший птиц, постепенно пропадал вдаль, у кладбища. Належавшись на траве, Ярнов как-то раз шел по полотну домой. В душе жили нежные образы, разговаривали звезды, плыл по воздуху ангел и оберегал его от змея и василиска. Все это, как прозрачную воду из чаши, – нужно было выплеснуть из души, лишь только почувствуется под ногой первый камень города, и было жаль, и невольно делались медленными и ленивыми

шаги. Вдруг Ярнов увидел, что торопливо и тревожно его обгоняет какая-то темная фигура. В ее движении, манере держать голову и размахивать левой рукой было что-то очень знакомое, – и Ярнов окликнул:

- Свирин!

Человек сразу остановился. Ярнов подошел к нему, затянулся папироской и увидел, что это и вправду был Свирин.

- Откуда это вас бог несет? – спросил он.

В ответе Свирина прозвучало явное смущение. – Да вот тут у знакомых был, – ответил он, – недалеко живут, – и, вероятно, выдумав, добавил: – На именинах был.

- Здесь? По полотну живут? – спрашивал Ярнов.

- Эге! – по-хохлацки выговорил Свирин. – По полотну. Вон там, где кирпичные заводы. Там немало людей обитает.

Свирин шел босиком, сапоги нес в руках, и только теперь Ярнов заметил это. – А чего это вы разулись-то? – спросил он.

- Да в городе надоело обувшись ходить, – ответил Свирин, – а тут что же? Ночь тебе теплая, воздух ароматичный, песок: идти мягко, тепло, как по вате. Знаете, такая в аптеке продается! Гигроскопическая, – и Свирин по складам вымолвил заученное слово.

- Простудиться можно, – заметил Ярнов.

- Мы люди привычные! На дождю бывали по три дня, и то ничего. Бог милывал. А это – чепухенция.

Пошли вместе. Когда долезли по горе до бассейна, Свирин подошел ко льву, потянул на себя кольцо, набрал в кружку воды, напился и, вытирая усы, окказал Ярнову:

- И Вам советую. Вода прямо целебная.

А когда добрались до галантерейного магазина брат Синявиных, Свирин неожиданно остановился и попросил Ярнова:

- Уж бывайте такими добренькими, – сказал он, – не говорите губернатору, что виделись со мной. Ушел-то я не спросясь, – узнает он, может шибок выругать. Шибко!

И Свирин сделал при свете фонаря умильное лицо.

XV

Архиепископ Герман все лето жил у себя на даче, которую звали «Монашеским лесом». Дом его на даче был деревянный, просторный, весь, как гнездо, окруженный зеленью. Перед домом была разбита большая широкая поляна с цветниками. В центральной клумбе был сделан вензель из двух переплетающихся цветочных букв: А и Г. За поляной сквозь ленту молодого леса блестел пруд, который на всю губернию славился карасями, и лебедями. Дальше шли монастырские постройки; эти постройки были в городе известны под шутивным названием: бесплатное приложение к творениям святых отцов. Рассказывали, что там нередко бывали женщины.

Герман давно уже собирался провести губернатора, несколько раз справлялся у него по телефону о здоровье и, наконец, решил поехать. Подали карету; рядом с кучером сел келейник Леня, и поехали сначала в гору по лесу, потом мимо большого зимнего дома, в котором через окна были видны закутанные тюлем люстры, и выехали в город. Полицейский, дежуривший у ворот, вытянулся и отдал архиерею честь; богомольцы, пришедшие из деревень к мощам, поклонились ему

вслед, бабы – чуть не до земли. Герману было приятно благословлять их через окно кареты и чувствовать себя владыкой и раздавателем даров духа святого.

Губернатор не любил этого маленького монаха, не любил его юрких, прыгающих, прищуренных глаз, его речей быстрых, шепотливых. Неприятно было в нем, в согнутом старичке, – честолюбие, жажда орденов, скупость. Чтобы получить Александра Невского, он недели за три до больших праздников писал в Петербург поздравительные письма синодским чиновникам, рассылал их в заказных пакетах и почтовые расписки хранил на всякий случай. Была у него страсть переставлять ударения в словах и говорить, что от этого речь делается звучнее и красивее.

– Русский язык плоховат, – говорил Герман по-славянски, – не так люди произносят слова. Надо говорить: фонтан, а не фонтан, – Тегеран, а не Тегеран. Оттого иностранцы не любят нашего языка. Оттого.

Герман долго расспрашивал про Наугейм, про заграничные порядки; рассказывал о том, как он служил в Китае в миссии, как приходилось работать над составлением китайского словаря, и, когда кончили чай, повел губернатора в кабинет и, сделав таинственной вид, осмотревшись по углам, не подслушивает ли кто, долго шепотом говорил ему на ухо:

– Молось, брат, за тебя. За великим выходом втайне тебя поминаю. Восемь лет вместе служим. Привык я к тебе. Люблю тебя. Хороший ты человек. Примерный. Только, брат, слухи про тебя скверные пошли. Дошли они и до меня, до моей лесной мерлюги. Жаловались мне на тебя. И скажу прямо, кто жаловался. Клейн приезжал ко мне карасей ловить, пил марсалу и жаловался. «Не пойму, говорит, что с нашим губернатором сделалось. Какого-то, говорит, революционера известного на дом к себе принимает, разговоры с ним водит, по улицам разгуливает». Правда, а? – допытывался Герман и лез все ближе. – Если правда, то нехорошо, брат, очень нехорошо. Скандал может выйти. Потом оно и Клейн. Ты хорошо знаешь Клейна? Проворный он! Он и донести может. Может! Беда выйдет. Скандал.

Маленькие, сухие, очень белевские ручки Германа тряслись, перебирая четки; острые глазки нащупывали каждый уголок кабинета и часто, с болезненным напряжением, мигали. Говорил он: беда, скандал, человек.

Архиерей посидел часов до шести, поговорил еще о Клейне, пригласил губернатора к себе обедать и опять поохал в карете, с келейником Леней на козлах. Свирин провожал его и, вернувшись, ворчливо сказал:

– Старым нашатырем от него из зуб пахнет.

После визита Германа осталось какое-то скверное ощущение, и было оно в душе до тех пор, пока не получилась телеграмма от Сони. На ленточке, приклеенной к телеграфному бланку, без мягких знаков, с грамматическими ошибками было напечатано:

– Буду восемнадцатого. Час тридцать.

В подписи была ошибка. Вместо «Соня», было напечатано: «Сяня».

Губернатор, спрятав телеграмму в жилетный карман, прошелся по всем комнатам дома и несколько раз, улыбаясь, говорил сам себе:

– Сяня едет! Сяня!

Восемнадцатого числа он встал рано утром, открыл окна и сад, надел крахмальную, с очень тугими петельками, отложную рубашку, и когда Свирин подал ему сюртук с полосатыми погонами, отстранил его рукою и снова спросил свой, заграничный костюм.

- Не чистил я вашего костюма сегодня, – буркнул Свирин, – думал, мундир наденете. Примундириться надо бы... Народ на вокзале будет. Сами знаете: служить – не кудрями трусить.

- Давай нечищенный, беда невелика, – говорил губернатор, – нам не жениться. Нас и в рогожке узнают.

Свирин становился строгим. В тоне его появилась опекунская внушительность: иногда он так настойчиво заставлял принимать какие-то зеленоватые порошки, что губернатор, долго сначала отказывавшийся, брал их и торопливо запивал, чтобы не горело во рту, подогретой минеральной водой. Все чаще и строже Свирин говорил, что каждому человеку нужно жить в семействе, что очень скверно, особенно в генеральских чинах, оставаться бесприютным байбаком. Он уже открыто пропирал штатский костюм губернатора, и когда по утрам начинал чистить его, то нарочно тер щеткой так, чтобы поскорее испортить материю. Свирин был уверен, что, изнашивши этот костюм, губернатор уже не закажет себе нового, потому что хороший портной в городе Лазарь Азарх уехал к сыну в Филадельфию, а ехать из-за костюма в Москву нет, разумеется, смысла; придется тогда волей-неволей надеть мундир. Свирин старался прельстить губернатора красотой и блеском военного покроя. Он стал по-жениховски следить за своим собственным туалетом: нашивки у него всегда были белоснежны, пуговицы – новые, без желтых пятен, сапоги строго, до последней возможности натянуты, а брюки из царской диагонали украшены ярко-красным кантом. Иногда Свирин поглаживал себя ладонью по груди и говорил губернатору, думая вызвать в нем зависть и любопытство: – Суконце-то, а?

Утро восемнадцатого числа было хорошее, свежее; изредка перед рассветом чуть заметно потягивало холодком, которого не знали летом. Чувствовались новые, бледные тона на небе, серьезнее стал, словно возмужал, ветерок, и на ночь уже нельзя было оставаться с открытыми окнами. На улице по обыкновению чинили телефонные провода, и рабочие в синих распоясанных рубашках, с железными серпами на йогах лазили по столбам. Солнце стояло направо, и во всю дорогу от домов ложилась, как коричневое покрывало, очень прохладная, успокаивающая тень.

На этот раз губернатору подали уже его собственных черных, подаренных ему князем Дадияни, лошадей. Кучер, круто намотавши на руки синие вожжи, еле сдерживал сильную, застоявшуюся пару. Ландо было широкое, просторное, с выгнутыми на конце рессорами. Быстрым, семенящим шажком, запахивая полы расходящейся черески, бежал впереди губернатора дежурный казак и, став во фронт, отворил ему дверцу экипажа. Взявшись правой рукой за козлы, губернатор тяжело ступил на решетчатую подножку и сел в правый угол кузова. С пальто в руках, легко, вспомнив старые времена, вскочил к кучеру Свирин.

- Тро-огай! – как будто вопросительно и в то же время лихо крикнул казак.

Мягко взяли лошади; Свирин как-то особенно, с шиком наклонился вперед от первого движения; сухо зашуршали подпрыгивающие колеса, пахнуло в лицо серым дымом; вытянулся на перекрестке постовой стражник, мелькнул в окне весь как повар белый лохматый парикмахер.

Улицы были длинная; большие постройки центра заменялись к концу маленькими приземистыми домиками; на краю бульвара, лицом к площади, стояли остатки белой крепости с амбразурами, в которых теперь, вместо пушек, были фонари. Тут же около водопроводного крана, плескаясь, кружились бабы

и мальчишки. Неподалеку, с огромными вывесками на столбах, был расположен склад земледельческих орудий, и американские плуги блестели поднятыми вверх металлическими остриями. В конце площади было Спасо-Преображенское кладбище. Посередине длинной каменной ограды большим полукругом выделялись решетчатые железные ворота.

Свирин, почему-то смешной со своим выбритым, поседелым затылком, засмотрелся в ту сторону, где было кладбище.

«Тоже, должно быть, о смерти вспомнил», — подумал губернатор.

Вдали вырисовывалось темно-красное здание вокзала с башнями на крыше, с круглым цветником перед подъездом, с высокой водокачкой, с белым, как из трубки попыхивающим, дымком над депо.

Перед входными дверьми кучер, отклоняясь назад, натянув вожжи, лихо осадил лошадей. Свирин, тоже стараясь быть лихим и молодеватым, соскочил с козел, но пальто, которое он держал перекинутым через руку, неожиданно какою-то петлей зацепилось за козлы и не пустило его. Свирин покраснел, начал поправлять дело, а в это время к экипажу подскочил носильщик, румяный парень с солдатской серебряной серьгой в ухе, и отворил дверцу.

Губернатор вышел и слышал, как сзади него раздался раздраженный голос Свирина:

- А ты, болван, не в свое дело не суйся! Ты вот прямую свою обязанность — клать господ пассажиров таскай, лучше будет!

Испуганно, тенерком ответил носильщик:

- Извините, дяденька!

- Дяденька, — бормотал, передразнивая, Свирин, — дяденька! Рязань несчастная! Огурцом телушку резали!

Вокзал был устроен так, что на платформу нужно было проходить через зал третьего класса. В зале лежал, толпился народ, около кассы стоял жандарм с завязанной щекой; в противоположные открытые окна тянуло сквозняком. Тут же на десятичных весах, передвигая гирьку, вешали багаж и через оцинкованный прилавок перебрасывали хрустящие корзины, перевязанные веревками, и угловатые сундуки.

Откуда-то вынырнул ротмистр Клейн в синем мундире, с эффектными вышитыми шнурами через плечо и, брякнув шпорами, наклон пишись корпущом, доложил:

- Готов чай для вашего пр-ва! В зале первого класса.

И он указывал рукой на стеклянную дверь, сквозь которую были видны какие-то пальмы и поп в лиловой камилавке.

Губернатор подумал, посмотрел на Клейна, и в голове почему-то мелькнула мысль, что этот человек с густыми нависшими бровями может убить кого угодно, если это будет выгодно.

- Спасибо, ротмистр! — ответил он. — Чаю не хочется.

Вспомнились слова архиерея, который говорил, что Клейн даже на губернатора донести может, и показалось, что он не только может донести, но и уже донес: как-то особенно, избегая смотреть прямо, прыгали глаза Клейна. Хотелось спросить, донес ли, но не хватило духу.

Ротмистр, учтиво наклонясь, звеня шпорами, спрашивал о здоровье, и нужно было отвечать.

- У меня в Наугейме лечился дядюшка, барон Шауфус, – весело и развязно говорил Клейн. – И, представьте, так поправился, что в бытность свою в Италии хотел на Везувий пешком идти.

И ротмистр громко смеялся.

- Вашему дядюшке, барону Шауфусу, очень везло, – сухо ответил губернатор, теперь уже почему-то уверенный, что Клейн донес.

На платформе было немного народу: священник в короткой, немного обившейся внизу рясе; два пристава, готовые ринуться по первому знаку; какой-то старик в выпуклых синих очках; немцы-колонисты. Все это, видимо, был народ, который уезжал с поездом № 18. Асфальт платформы был смешан с гольшниками; солнце выделяло их на черном фоне, и они блестели, как лакированные. Между рельс стояли черные масляные лужицы; невдалеке тянулись низкие пакгаузы с меловыми надписями на дверях.

Начали понемногу съезжаться чиновники: управляющие палатами, ревизоры; все, видимо, смущались, что губернатор приехал на вокзал раньше их. Они думали, что он может сбросить с себя спячку, и тогда начнет кричать, топтать ногами...

Губернатору было неприятно, что все эти чужие ему люди в форменных фуражках узнали о приезде Сони и теперь почли нужным ехать на вокзал и вмешаться в семейное дело человека, которого они только боятся. Он поглядывал на них, ставших сзади него широким полукругом, и думал: кто из них писал анонимные письма? Чиновники чувствовали себя неловко под его тяжелым, пронизывающим взглядом, безмолвно решили, что он сердит на них за поздний, неприличный приезд, и, чтобы скрыть свое смущение говорили о предстоящих переменах в министерстве внутренних дел.

- Но кто же знал, что тебя принесет ни свет ни заря? – думал и злыми глазами смотрел в губернаторскую спину Ядзевич, начальник контрольной палаты; но лишь только замечал, что губернатор хочет повернуться, делал такое же угодливо-напряженное движение, как пристав. Ему нужна была протекция для сына. Как гиппопотам, с вечным зонтиком в лакированном чехле топтался на одном месте другой чиновник, в калошах, в пальто на генеральской подкладке, – старик, явно красивший себе усы, – и бесконечноповторял:

- Что вы хотите этим сказать? Спаржа, а потом брюква? Что вы хотите этим сказать? Перед сном нужно пить вермут с холодной водой...

Губернатор отошел от них и стал в стороне один. Скоро раздражение прошло, и опять зашевелились и сделались близкими думы о том, что теперь уже Соня близко; скоро он поможет выйти ей из вагона, увидит ее лицо, поцелует ей руку, поедет с нею в коляске, и она, порозовев от солнца, будет похожа на иностранную наследную принцессу, не знающую языка той страны, в которую приехала. Если б не было этих головотяпов, думал губернатор о чиновниках, – можно было бы сказать ей: «Здравствуй, милая Сонюшка! Вот

спасибо что приехала к старику – скучному, больному. Ты не моя дочь, но ты ты милее мне и ближе, чем родная. У меня болит, сильно болит душа, Сонюша. Я измучился. Я убил ногою человека, Сонюша; он корчился на земле, как червяк. Теперь перед смертью я почуял правду жизни: вот она где-то близко от меня, но где она, что она, – своим стариковским, испорченным умом понять не могу. И живу, как птица, у которой выкололи глаза. Мы с тобою, когда ты отдох-

нешь от дороги, посидим в твоей комнате, подумаем о жизни. Ты – человек молодой, ум и сердце твои свежи, ты чуткая, ты женщина, и, может быть, что-нибудь я отыщу, что-нибудь пойму, чему-нибудь научусь. И умру, примиренный с жизнью и успокоенный. Мне бы не губернатором быть, а профессором, и жить бы летом, на каникулах, в какой-нибудь усадьбе с большим садом, рекою и готовить бы по утрам что-нибудь к печати». Послышался звонок.

«Уже близко, здесь? – подумал губернатор и почувствовал, что у него закружилась голова. – Однако какой я слабый стал, – упрекнул он себя, – значит, дела плохие...»

- Звонки обозначают что? – сказал кто-то сзади, и губернатор не узнал голоса. – Звонки обозначают, что поезд вышел из Константиновки. Через двадцать три минуты он будет здесь. Пролет маленький. Ерундовый.

Казалось, что, если бы сейчас, внезапно, обернуться назад, топнуть ногой и крикнуть: «Вон отсюда! Кто вас просил?» – вся эта орда разбежалась бы, но потом, не преодолев любопытства, по-воровски подкралась бы все-таки и, затаив дыхание, стала бы высматривать из-за углов: что сделает губернатор при встрече с дочерью? Как он подойдет к ней?

Что скажет? Чиновники знали, что между ним и женою все было уже давно покончено, знали, как и почему это случилось, но о том, что Соня – не его дочь, было известно только троим: ему, жене и Броккому, да и Броккий, если бы встретился с ней, не мог бы теперь ее узнать.

Страшно было подумать: а вдруг хлынут слезы? Поднимался в душе протест: почему? откуда возьмутся они? Но какой-то ехидный, тоненький голосок не отставал: а вдруг? А вдруг ты, старый, бесстрашный генерал, заплачешь? Заплачешь вот при этой сволочи, которая сегодня же по клубам, за карточными столами, у буфетных стоек будет чавкать, пережевывая ветчину, и рассказывать, как плакал губернатор. Вспомнилась фраза, где-то, когда-то им сказанная, – кому сказанная, при каких условиях, нельзя было представить себе. Кажется, было светло, стоял он в большой зале, чуть ли не клубной; кругом, кажется, танцевали, играла музыка, а он говорил о женских слезах и, может быть, говорил чужими, когда-нибудь слышанными или прочитанными словами:

- Слезы женские – это вода, в которую всыпали ложжусоли, чайную, конечно. – И теперь вылезал ехидненький, тоненький голосок:

- А в твоих слезах соль тоже есть? И в каком количестве? Или сие тебе неведомо? Неведомо? Не хочешь ли узнать теперь, когда вот едет к тебе чужая девушка, которую ты, как деревце, хочешь прицепить к своей дикой душе? Но примется ли это деревце? Захочет ли оно воспользоваться твоими соками?

«Глупости! – думал губернатор. – Глупости!»

За станционными постройками был виден огромный кусок спускавшейся к земле синевы, пропадала куда-то под гору степь, сверху похожая, вероятно, на зеленое небо. Туда же, вдаль, уходили, словно поссорившись и распозаясь в разные стороны, две полосы дороги: одна направо – в Ивановский уезд, другая налево – в Крутицкий; Ивановский уезд славился своей воровитостью, Крутицкий – убийствами, и все больше на любовной почве; в этом уезде рос виноград. По этим дорогам приходилось в былые времена ездить на лошадях в колясках, по ревизии; тогда тянулась за ним большая и шумная свита; было

весело; часто по вечерам останавливались в поле у самого села, разводили костры и жарили на вертеле баранину. Слышно было, как в селе лаяли собаки, девчата хором пели песни. А утром в селах выходили с хлебом-солью, и впереди всех стояли обыкновенно бледный земский начальник с эмалевым крестом на сюртуке и одетый в новую поддевку старшина.

Раздался свисток, взвившийся, как тонкая, легкая струя, очень высоко: казалось, верст на пять.

- Поезд уже на казенной даче, — опять сказал тот же голос. Скоро послышалось тяжелое, отрывистое, утомленное дыхание. С остервенением, как очень голодный зверь к мясу, вылетел из-за поворота паровоз, мелькнули цветные вагоны, еще слитые в одну полосу; что-то зашипело, обдало всех белым теплым паром; перед глазами уже тихо проплывали, разделившись, синие, желтые и зеленые пятна... Чьи-то руки охватили вдруг шею губернатора, послышался запах неведомого нежного цветка, и над самым, ухом мягкий голос повторял взволнованно одни и те же слова:

- Здравствуй, папочка! Здравствуй, милый папочка! И потом опять слышалось:

- Какой ты милый! Ты совсем не похож на губернатора! Я думала, что ты в орденах, в звездах, в красной ленте. А ты — просто доктор, наш один знакомый в Москве: Всеволод Васильевич.

Гудели голоса, сзади мелькали склоняющиеся лысые головы, звенел шпорами и говорил французские фразы Клейн. Опять шли через залу третьего класса; болевший зубами жандарм отдавал честь; с виноватым, сконфуженным видом стоял молодой носильщик; дверцы коляски отворял победоносный и счастливый Свири́н. Все это, как отдельные, не имеющие меж собой связи пятна, мелькало в глазах и, казалось, сразу провалилось сквозь землю. Поехали в город. По бокам шоссе росли парами, как молодые жены и мужья, деревца; город со всеми своими садами, церквями и колокольнями был весь как на блюде. По прямой, наезженной дороге везли подводах на двадцати какую-то высокую кладь, затянутую парусиной. На парусине черной краской, неровно и неумело были нарисованы три печатные буквы А. Р. И. Чтобы объехать эти подводы, пришлось взять вправо от дороги и Сделать крюк почти у кладбища. Когда поворачивали на другую сторону, Сви́рин наклонился к подводчикам и спросил:

- Что, ребята, везете?

Мужик, рыжий, степенный, в запыленной рубаше, ответил:

- Иконостасы, дяденька! На свечной завод! Когда подъехали к белой узорчатой ограде, то над воротами, совсем близко, стала видна полукруглая яркая картина с трубящими ангелами и людьми в белых саванах, выходящими из могил. Под картиной была сделана надпись по-славянски, с титлами: «Грядет час, в он же вси сущие в, гробах восстанут, и оживут». Губернатор прочитал эти слова и повторил велух два последние слова:

Восстанут и оживут.

На душе потеплело, стало радостнее, более красивым показался город на горе. Захотелось быть ближе к богу, в которого верил в детстве; захотелось сделаться маленьким, ничтожным, отдалиться, закрыв глаза, под какое-нибудь покровительство, сильное и большое, — и губернатор, неожиданно для самого себя, перекрестился на кладбищенскую церковь истовым, староверческим крестом.

Молодой, близкий и звонкий голос сказал:

- Да ты богомольный, папочка!

И тут только губернатор в первый раз увидел большие, только, кажется, на время оставившие свою грусть глаза, шляпу с пушистыми черными перьями, вуалетку, поднятую на лоб, – тут только он поверил, что приехала Соня, – такая именно Соня, какою он и представлял себе, в которую верил. И сказал:

Это я за тебя перекрестился. Чтобы бог дал тебе здоровья и счастья за то, что ты поехала не в Германию, а ко мне, больному и старому. Да, да.

Глаза девушки как будто то уменьшались, то увеличивались. Подъезжали к какому-то мосту, и Свирина строго проговорил кучеру:

- Лошадей сдерживай! Сдерживай лошадей, Рязань несчастная!

XVI

Вечерами, когда в губернаторском доме кончался чай, Спирин считал себя свободным и первым долгом, для здоровья, гулял по бульвару, выпивал в кофейной «Чикаго» бутылку Эссентуков № 20 и затем шел в трактир «Мадрид», к своему старинному другу Николаю Ивановичу. Николай Иванович служил в «Мадриде» маркером. Лет ему было за 50; был он лыс, толст, страдал астмой, лечился от нее магнезией и белыми порошками по рецепту; славился в городе среди купечества тем, что до обмороков парился и бане; астма тогда у него разыгрывалась, и Николай Иванович не дышал, а свистел. Когда пришел почтительный, с белой салфеткой лакей, он сказал ему:

- Принеси нам, паренек, чаю три стакана и печенья. Лакей почтительно выслушал и спросил:

- Печенья прикажете которого-с?

- А которое у вас есть? – шутливо говорил губернатор.

- Есть «Мария». Есть «Альберт».

- Пожалуйста «Альберта»...

Когда кончили чай, губернатор вошел в ложу; театр был освещен. На противоположной стороне сейчас же кто-то встал и, сняв шапку наотмашь, низко кланялся. Губернатор пригляделся и увидел, что это – управляющий акцизными сборами, штатский генерал Палабан. Про него говорили, что дед его был цыганом и сидел в тюрьме за кражу лошадей.

В сентябре месяце, когда стояли золотые, безветренные дни, когда стаями ходили по небу еще белые жирные облака, в городе случилось два события: во-первых, был убит на дуэли полицмейстер, а во-вторых, на ярмарочной площади сторела егоровская лесная биржа. Дуэль была ранним утром, на опушке архиерейского леса.

Свирин вошел в спальню губернатора по первому звонку. Только что начался восьмой час. День, как больной, медленно, неохотно раскрывал свои глаза. У Свирина было беспокойное лицо, глаза бегали. Держа полотенце на руках, в ожидании, пока губернатор натрет мылом руки, он долго стоял, переминался и, наконец, кашлянув, сказал:

- Не знаю, как доложить.

Так он обыкновенно начинал, когда случалось что-нибудь важное, необычное. Это знал губернатор и, не разжимая намыленных рук, выпрямился.

- Что случилось? Говори прямо, – тревожно сказал он подозрительно взглянул Свирина в глаза, – с Соней?

Свирин затоптался на месте, заморгал глазами.

- Никак нет... несчастье...

С кем? С Соней, – спрашиваю я тебя? – уже крикнул губернатор.

- Никак нет-с, ваше пр-во! – залепетал Свирин, вытягиваясь во фронт и глядя ему в глаза; в крике, который со странной, неожиданно родившейся гулкостью отдался у карнизов потолка, проснулся старый грозный губернатор. – Полицмейстер сильно ранен-с...

- Где? Кем?

- Так что дуэль была.

- Дуэль была? – изумленно повторил губернатор; в голове мелькнула мысль: уж не пьян ли, чего Точно так! Дуэль! – рапортовал, словно обрадовавшись строгости, Свирин.

- Но с кем? Почему?

- Не могу знать! – отвечал Свирин. – Сказывают, с каким-то высоким человеком в котелке... Звания неизвестного. Убил полицмейстера и скрылся.

- Так, может, не дуэль, а прямо так убил да и скрылся?

- Никак нет! Дуэль. По правилу и формату. Ездили в лес, меряли шаги, потом раз, два, три – и бабац! С его благородием господин Клейн изволили ездить.

- А никто с докладом не приезжал?

- Никак нет, не приезжал. Суэта-с! Помощник полицмейстера рассказывал по телефону и велел вам, как проснетесь, передать.

- Рана смертельная? – спросил губернатор, теперь торопясь окончить умывание.

- Дышит. На перевязке-с. Но труден-с, – говорил Свирин.

- Еще жив?

- Вероятно-с, жив. Сказали бы, ежели что.

- Дурак, что не разбудил...

- Не велено-с...

- Не велено-с! – передразнил губернатор, принимая из рук Свирина чистое, тонкое, с красными инициалами полотенце.

Что вошло в душу, – еще трудно было определить, но вошло что-то большое, шумное и тревожное. Жалости не было. «Все равно, – дело конченное», – думал губернатор. Проснулось желание видеть этого человека, который когда-то, – это уже казалось очень далеким, – так спокойно выходил от него после приема и, застегивая перчатку, ждал пока подъедет сдержанным шагом пролетка, и потом, поехавши, шурил против солнца свои черные глаза. Ярko выявилось желание посмотреть на комнаты, в которых жили красивые молчаливые люди, па вещи, к которым прикасались их руки, на окна, в которые они смотрели. Тогда, казалось, когда он увидит, все разгадается и будет ясным что-то большое...

Дом полицмейстера был недалеко, – нужно только подняться в гору и потом проехать по маленькой, засаженной молодыми ясенями улице. Вспомнилось почему-то, что в том доме, который был назначен для полицмейстера, когда-то, проездом на Кавказ, жил три дня Пушкин. Около подъезда беспорядочно толпились освещенные солнцем полийейские чиновники, ходил, выпятив грудь и держа пальцем за портупею, Крыжин – все это, когда губерна-

тор подъехал, сразу сгрудилось, построилось по-военному, в шеренгу. Дом был низковатый, старинный; перед окнами, огороженные каменной, просвечивающей оградой, росли акации. Когда губернатор, вошел в переднюю, его поразила какая-то настороженность в доме. Было тихо, как вечером в поле; но ясно, что здесь чего-то ждут, — все ждет: и вешалка с железными крючьями, и гардероб с круглыми из-под женских шляп картонками наверху, и зеркало, и стенная лампа с матовым абажуром. Все это, как живое, затаило дыхание и ждет.

«Смерть! — пронеслось в голове и показалось, что это слово — длинное, необычно длинное, верст в пять. — Смерть! Какая ж ты есть?» — мысленно ощущая жадность увидеть и познать ее, спрашивал губернатор тех мертвецов, каких он видел на своем веку. Было их много: отчетливо лежал в памяти, как на длинном столе, ряд лиг; то спокойных, то искаженных, то закрытых ватой, то церковными воздухами, то перевязанных, как при зубной боли, платком; но все это не была она — смерть. Смерть была сейчас вот, в этом доме, в котором жил три дня Пушкин, была она здесь, здесь только можно было увидеть ее лицо, — то лицо, которое скоро войдет и к нему, в его губернаторский дом, которая, быть может, в длинном саване, со скрюченной косой в руках, носится за ним, как по осени паутина, невидимая, неоставляющая, которая, может быть, покончив здесь, должна полететь еще в другие дома, в другие города, в другие страны, — может быть, туда, где сейчас начинается весна и лазурью освещено вечернее небо.

- Хочу видеть лицо твоё! — как молитву, прошептал слова губернатор. — Хочу видеть твоё лицо!

Мысли необыкновенные, далекие от службы, от города заструились в голове, как ручей на солнце. Голова слегка кружилась, и странно было, что пахнет чем-то удушливым, аптечным. Хлопнула дверь, на мгновение мелькнуло за ней большое окно, чьи-то спины, и мимо губернатора через гостиную пробежал с тазиком в руках врач, черненький кучерявый еврейчик, который только что в феврале, после сретенья, приехал из ссылки, из Архангельской губернии. Доктор, боясь расплескать из таза красную жидкость, похожую на розовое вино, толкнул губернатора и даже не обернулся.

- Мошенник! — подумал губернатор и с сожалением улыбнулся: — Жизнь хочет спасти!

Раненый лежал в комнате направо: там слышался шум, сдержанные разговоры, туда же юркнул доктор с тазом. Там, должно быть, делали операцию, извлекали пулю.

Было часов около восьми. Утро все еще не наливалось полным светом; окна были охвачены тонким матовым потом еще не ушедшей с земли холодноватой, почти осенней ночи.

Губернатор сел в угол, в кожаное кресло.

- Эх, сюда бы да Максима Андреича! — подумал он, вспомнив врача, с которым был вместе на Дунае. — Тот не стал бы бегать с тазиками... — Сразу нарисовался в памяти человек, то и дело похлопывающий своим серебряным портсигаром, на крышке которого черной эмалью был нарисован московский кремль, — человек лысый, в белом кителе, застегнутом только на две нижних пуговицы. Любили его все за бодрость, за веселый нрав, за синий дымок, который он как-то особенно, прищурив глаз и поднимая голову, умел пускать изо рта; любили его за слова, хорошие, слышные на весь лазарет:

- Вылечим! Чепуха!

...В комнате направо становилось все шумнее, чаще где-то там, еще дальше, хлопали двери, бегали на цыпочках городовые, и ненужными почему-то казались в их коричневых руках нежные, завернутые в тонкую аптечную бумагу пакеты и пузырьки с приклеенными длинными, расширяющимися к концу рецептами. Выснулась из двери чья-то женская, в белой косынке, голова и громким шепотом спросила

- Поехали?

Уходивший городской обернулся, махнул рукой и досадливо ответил тоже шепотом:

- Поехали!

Этот шепот, косынка, розовые пакеты сделали то, что в душе ослабевало первоначальное торжественное волнение, и все мало-помалу становилось обыденным; кругом была обыденная обстановка гостиной: картины, затянутые от мух кисеи; маленькая трехрожковая люстра – тоже в кисее; в углу – темная бронзовая фигура сидящего Мефистофеля; на столе – альбом с большим золоченым якорем на крышке. Все это говорило и возвращало к жизни, которую устраивали весело и спокойно, без дум о смерти какие-то люди. И особенно не уходила мысль, что и картина, и кисея, и люстра, и фигура принадлежали полицмейстеру.

Губернатор взял альбом, развернул его... В рамку первой страницы был вложен портрет полицмейстера: он еще юнкер, – залихватский, красивый мальчуган, шапку с плоским верхом лихо надвинул набекрень, руку важно и властно положил на тесак; на правое плечо небрежно накинута серая шинель с буквами на погонах. В глазах – гордость, радость, молодость.

- Штык-юнкер! – невольно улыбаясь, прошептал губернатор.

Рядом с ним, на другой стороне, был портрет девушки в институтской пелерине, с гладко зачесанными волосами. Глаза у нее особенные, что-то обещающие. Совсем, кроме глаз, не похожа на ту прекрасную грустную женщину, которую все зовут цыганкой Азой. Голос у нее бархатный. Глаза ласкают того, на кого смотрят. Говорят, что она – добра и душу имеет милую. Губернатор вспомнил, как зимой, на благотворительном концерте, она читала какое-то стихотворение. Он не запомнил его, но ясно представлял себе глубоко затосковавшее лицо; от сердца поднявшиеся к глазам крупинки слёз, тихо, под спущенный модератор, играющий рояль и слова – не то печальные, не то радостные:

- Сны мимолетные, сны беззаботные, – говорила она немного нараспев...

Тогда ему сидевшему в первом ряду, мучительно захотелось, чтобы она повторила эти слова еще раз, и стыдно было крикнуть об этом желании. Но оно, это желание, перебросилось к ней тайно, от души к душе, – и она взглянула на него. Проиграл рояль, Аза сделала шаг вперед, как-то особенно хрупнули сцепившиеся пальцами руки, слезинки, как живые, потекли по щеке, и совсем тихо, тоскуя о минувших снах, она, забыв о всех людях, собравшихся в зале, только, почудилось, сказала ему одному, незнакомому снятся лишь раз...

И об этой минуте он никому не рассказал бы...

Губернатор подошел к окну, протер носовым платком стекло и стал смотреть в сад. Сад был еще свеж, но по маленьким аллеям уже лежали мертвые, прожившие свою трехмесячную жизнь листья; на круглых клумбах росли астры. Неподалеку, в соборе, раздался удар колокола, – не большого, а среднего, в который звонят по будничным дням; спустя некоторое время ударили еще раз,

потом еще, — зазвонили. Зазвонили к обедне и, как бы отвечая звону, шумно и торопливо в дальних комнатах пробили часы восемь раз. Еще на войне Свирина рассказывал, что звон нужно различать: первый удар — молиться за умерших, второй — за самоубийц, третий — за всех православных христиан. Тогда Свирин был молодой, и дразнили его тушканчиком. Кто-то тронул губернатора за руку. Обернулся, — сзади стоит доктор в белом халате, мнет полотенце и говорит:

- Кончается. Уже батюшка пришел. Сейчас молитвы будут читать.

Губернатор посмотрел на него насмешливо.

- Не спасли, значит? — спросил он.

Доктор с недоумением пожал плечами; лицо у него осунулось, будто он не спал четыре ночи.

Губернатор пошел в ту комнату, где лежал умирающий. Священник, неизвестно когда появившийся в доме, стоял в короткой, сильно распутившейся рясе, в старой, потертой епитрахили с выпуклым распятием на кресте и торопливо читал по рассыпавшемуся из переплета требнику прекрасную и нежную молитву, в которой говорилось, что умирающий до самой смерти славил святую троицу, в единице почитаемую.

На широкой кровати с полукруглыми спинками, до живота прикрытый одеялом, в одной рубашке лежал полицмейстер и, не моргая, глазами потускневшими, покрывшимися матовым, как на черном винограде, налетом, смотрел на требник. Одна пуговица рубашки была не застегнута, край ее немного поднялся, сквозь отверстие виднелась большая желтоватая грудь.

- Ноги уже — как лед, — шепнул кто-то сзади.

Смерть шла от ног и медленно вползала в тело, вытесняя жизнь. Полицмейстер уже бредил, говорил о какой-то бумаге, называл две тысячи первый номер и отрывисто, несколько раз произнес слово «demi-sec». Руки еще двигались, но было видно, что смерть, как плотный воздух, как туман, насыщает их: все медленней и медленней шевелятся пальцы, ногти теряют блеск и покрываются налетом.

На коленях перед ним стояла его жена и, крепко прижавшись, точно желая согреть, обнимала его левую, свесившуюся руку. Была она в каком-то наскоро наброшенном капоте и, разбуженная, не успела причесать волос, и они теперь, черные, густые, щедро рассыпающиеся, мешали ей, закрывали ее и напоминали тициановскую Марию Магдалину.

Священник читал быстро, протяжно задерживал голос только на концах фраз, слюнил палец, когда нужно было перевернуть страницу с желтым, от частого прикосновения вдавленным углом.

Полицмейстер закрывал уже глаза. Слева от него было открытое окно: утренний свет, как нежной тканью, мягко лег ему на лицо, выровнял морщины, выделил над глазами выпуклости лба, — и перед этим светом, перед огнем свечи, перед словами прощающей все молитвы было жалко, что красивый полицмейстер, произносящий теперь слово «sec», этими же устами когда-то велел расстрелять перед кондитерской Люрс взволновавшийся народ.

Губернатор вспомнил, что и он в Далеком убил Волчка, — и было это так нелепо, не нужно, что к горлу подступил смех, и нельзя было от него удержаться. Когда раздался фыркнувший, как в школе, смех, священник перестал читать, задержал пальцем то место, где остановился, посмотрел сверх очков, но, увидев, что смеется губернатор, пугливо подобрал голову в плечи, поправил около шеи

епитрахиль, ближе к глазам поднес требник и начал, ударяя только на слог «го», бесконечно повторять сливавшиеся и оттого странно звучащие два слова:

- Господи помилуй, господа помилуй, господа помилуй...

Губернатор, не дождавшись конца, опять вышел в гостиную. Посредине комнаты, прислушиваясь к тому, что делается за дверью, стоял с маленькой кожаной сумочкой на поясе разносчик телеграмм.

- Ты чего? – несколько удивленный, спросил губернатор.

- Дешеша-с, – ответил почтальон и, узнав губернатора, сейчас же вытянул руки по швам, выпрямился и стал походить на солдата.

- Кому?

- Господину полицмейстеру.

- Давай сюда. Карандаш есть?

- Точно так-с, – и почтальон сунул ему в руку маленькую, чуть с конца обструганную, полинявшую палочку.

Губернатор, наклонясь над столом, расписался на листке, и, делая росчерк, немного порвал бумагу. Большим пальцем разорвал затем печать, склеивавшую депешу, и прочитал напечатанные на ленточке слова: «Куропатки высланы, полтора пуда. Меду куплю Нежине. Буду ноябре. Михаил».

Телеграмма была из Минска. Рядом с именем этого города стояло много каких-то цифр.

Губернатор несколько раз перечитал депешу и как-то машинально уже не мог забыть фразы: «Куропатки высланы, полтора пуда...»

В это время в комнате кто-то зарыдал. Минуту спустя вышел священник, завертывая изнанкой епитрахии бархатное, с железными углами евангелие и дребезжащий крест. Увидя губернатора, он виновато и низко, так что упали наперед волосы, поклонился и сказал:

- Отошел-с...

- Умер? – переспросил губернатор.

- Так точно, ваше пр-во! Скончался! – ответил священник и затем, приложив палец к губам, рассуждая с самим собой, добавил: – Теперь нужно пойти в собор, собрать иереев и справить первую панихиду. – И, согнувшись, боясь оступиться на темном пороге, близорукий, он торопливо вышел в переднюю.

Маленькими, блестящими гвоздиками и, скользя по черной, взрытой земле, опустили гроб в широко раскрытую яму. Священники первые бросили на Соно землю.

Поехали домой. Там принесли телеграмму от Свирина:

- Все исполнено. Ярнова привезли в тюрьму.

В соседней комнате Янышев вел

XLI

Домой губернатор поехал во вторник на страстной неделе. Ехал он один, в маленьком купе; на каждой станции покупал газеты, но оставлял их неразвернутыми или читал только сверху, об условиях подписки. Неслись навстречу, как и прежде, поля, и он подолгу смотрел то на них, то на маленький, с лестницей внизу столик, то на зеркало, вставленное в двери...

Иногда начинало болеть левое плечо: он выходил в коридорчик и через широкое, толстое стекло, заделанное внизу тремя ярко вычищенными медными прутьями, смотрел по другую сторону поезда. Где-то вблизи слышалась мерная, басистая речь:

- Когда я вояжировал по загранице, со мной случился конфликт...

И опять он уходил в свое купе, садился посередине дивана, нагибался, складывал меж колен руки и думал... Думал он о городе, в который скоро, через полутора суток, придет; думал об улице, идущей вверх, о бульваре, о большом доме с четырьмя гипсовыми женщинами, поддерживающими балкон. Мысленно бродил он по этому городу, останавливался перед знакомыми домами, входил в них, в их гостиные, убранные с аляповатой провинциальной роскошью, садился в кресла и смотрел на хозяев, радостных и заранее учитывающих то обстоятельство, что к ним пришел губернатор. Потом мысль его перебрасывалась к угрюмому, тоскливому, длинному дому, который стоял на краю города, на площади, за губернским акцизным управлением. Дом был двухэтажный, но казался почему-то маленьким, приплюснутым к земле, и никогда нельзя было подумать, что в нем под красной, почти плоской крышей, за маленькими решетчатыми окнами живут люди. И опять приходила странная мысль, что за этими решетками сосредоточилось все зло, которое он сделал. Мысль эта теперь была еще выпуклее и ярче, потому что теперь в этом доме, рядом с людьми, одетыми во все серое, сидит Ярнов.

- Ярнов – плохой человек: его надо в тюрьму, – думал губернатор, – а я – хороший.

Он тихонько смеялся, когда вспоминал, что вот пройдет еще ночь, и Свирин будет держать на руках полотенце во время умывания, снова будет давать ему зеленые порошки и насыпать в ванну длинные ржавые гвозди. Нельзя было представить себе, как вернется он в свой дом. Теперь ему казалось, что в нем холодно, как в леднике.

Когда свечерело и на станциях уже горели огни, тогда неожиданно пришли думы – радостные, как мечты. Думы эти были о том, что хорошо бы совершить какое-нибудь преступление, за которое жандармы, щелкающие на платформе шпорами, вдруг обозлились бы, схватили его, вытащили из купе и отправили бы в тюрьму; там он упросил бы, чтобы его посадили с Ярновым, дали бы ему вместо пиджака толстую старую куртку, кормили бы щами из прокисшей капусты, и никто не заикался бы о зеленоватых порошках. И потом по всем камерам и коридорам пронеслась бы весть, что вот и губернатора посадили в тюрьму.

Мысль о физическом страдании, которое даст новую жизнь, которое будет молитвой, дума о плохой комнате с асфальтовым сырым полом, о соломе вместо кровати, о черством хлебе не уходила от губернатора и была радостной; а когда он осматривался в своем маленьком бархатном купе, то оно казалось ему нудной, зудящей грязью, которую, как можно скорее, надо отмыть от своего тела. И еще тогда казалось, что поезд идет необыкновенно медленно, как на волах, и дороге – конца не будет.

Он рисовал себе картины, как придут его арестовывать: придет, вероятно, Клейн и не посмеет взглянуть в глаза; придет, может быть, прокурор, – заберут его, и полетят телеграммы в министерство, в газеты; вечером заговорят о нем в Москве, в Петербурге, а там расползется весть по России, дойдет до царя, – и все будут говорить о нем, о губернаторе, как о плохом человеке; потом будут его судить, сошлют в Сибирь, и там, где-нибудь по дороге, от какого-нибудь толчка придет смерть. Эти думы давали острую до слез радость, – и губернатор опять выходил в коридор.

Была уже ночь, но басистый человек все говорил.

- Ехал я по Австрии, — рассказывал он, — в троицын день. И, понимаете, у каждого начальника станции, как «у нашего статского генерала по ведомству императрицы Марии, замшевые штаны, т. о. не замшевые, а белые, похожие на замшу. А около самой Вены встречаю человека. Сидит, понимаете, этот человек в вагоне, смотрит, как истукан, в одну точку и вдруг говорит этак, вздохнув: «О, господи боже мой!» Так по-русски и говорит. Вижу — соотечественник. Разговорились — эмигрант. И хочется, видимо, душу ему отвести, и побаивается он меня, и твердит только одно: «Ох, трудно быть русским, — говорит, — человеком. Трудно. Очень, — говорит, — трудно и мучительно!» Вот ты и поди... Приезжаю в Вену, а в Вене, понимаете, фонарные столбы перевиты цветами, и фонтан такой, что версты, кажется, на полторы вверх, понимаете, чешет.

«Что же сделать? — под монотонный голос рассказчика думал, стоя у окна, губернатор. — Что же сделать?» — И вдруг, когда подъезжали к маленькому подслеповатому полустанку, понял, понял — и так громко засмеялся, что голос в соседнем купе замолк, и какой-то человек, в дорожной ермолке, вылез оттуда и посмотрел сначала на губернатора, а потом в окно: что, мол, там на полустанке такого смешного? Ничего не разобрал, удивился и снова повел рассказ, немного потише обыкновенного.

Губернатор снова слушал и думал о том, что и этот человек, рассказывающий об Австрии, будет, может быть, слушать о нем, и осуждать, и удивляться... Целую ночь, до утра, не мог уснуть губернатор и видел, как синело окно, чувствовал, как в купе, к свету, стало холоднее. Когда приехали на узловую станцию, он опять пошел на вокзал и побродил между столиками, посмотрел карточки в фотографической витрине, объявление о Гаграх; заглянул в парикмахерскую: знакомый парикмахер сидел у окна и озабоченно правил на ремне бритву. Так как был день, двенадцать с половиной часов, то все казалось иным, чем тогда.

Губернатор ходил и рассматривал людей, которым предстоит скоро удивиться. Купец давил в чаю лимон; буфетчик расставлял в шкафу папиросы; гимназист ел рыбу; какой-то человек в валенках спал, положив голову на чемодан. Губернатор посмотрел на валенки и вспомнил, что теперь уже весна: железнодорожные служащие ходили по платформе без пальто. Прошло несколько минут, — купец выпил чай, гимназист съел рыбу, буфетчик покончил с папиросами, человек в валенках спросонку потер себе нос. И было странно думать: скоро они удивятся.

- Удивятся! — сам себе сказал вслух губернатор.

Поезда для пересадки пришлось ждать часа два. И опять было маленькое купе, зеркало, вделанное в дверь, и лесенка под столом, и опять он сидел посередине дивана и радостно думал о близости города, о встрече со Свириным.

- А что скажет Свирин? — вспомнилось вдруг.

Народу в поезде почти не было, кондуктора суетились, и когда губернатор долго не мог найти билетов, терпеливо ждали. Когда в прозрачном вечернем воздухе показались огни города, то так забило сердце, что не хватило сил подняться к окну. Казалось, что над городом в разных направлениях повесили несколько рядов бус, и по тому, как четко и ясно определялись они, было ясно, что там весна, тепло, земля мягка, ей надоел снег. Остановился поезд, вбежал носильщик забирать вещи и сказал:

- Восемьдесят третий.

И когда вслед за ним губернатор вышел на платформу и торопливо, нагнув-ши голову, чтобы не узнали, прошел на другую сторону вокзала, то услышал, что в городе, в церквах, звонили. Было темно и, только привыкнув, можно было разоб-раться, где стоят извозчики.

- Чего это звонят? – спросил губернатор. – Уже ведь поздно, часов семь...

- Сегодня страсти, барин. Читают страсти, – ответил носильщик.

Он разместил в фэтоне багаж, какую-то корзину долго прилаживал у ног извозчика, о чем-то разговаривал с ним, поднимая голову. Лошади тронули осторожно, боясь на ткнуться в темноте, обогнули круглый цветник, выехали на шоссе, и сейчас увереннее застучали о камень.

И опять чувствовалось тепло, мягкая, начинающая согреваться земля; было уютно, тихо, и огни на горе казались живыми. Было радостно сознание, что теперь в церквах читают и слушают писание о том, как прославился Сын чело-веческий. Губернатор думал, что он сейчас сделает, – и слышал, как бьется его сердце. копыта, поехали к городу, в котором печально звонили.

Удары его были неровны, напоминали оинплохой маятник: в одну сторону качнется больше, в другую – меньше. Хотелось куда-то спешить, и оттого ка-залось, что лошади идут тихо.

- У тебя лошади-то подкованы? – спросил губернатор.

- А как же? – ответил извозчик. – Разве на неподкованных далеко уедешь? А ехать куда прикажете? – спросил он.

- Вверх! – сказал губернатор.

Проехали площадь, и опять потянулась знакомая улица с бульваром, магази-нами, фонарями. Фонари эти, смотря по расстоянию, бросали от пролетки то чер-ные, то жидкие, то длинные, то короткие тени. И опять приехал он в свой дом, и опять в приемную прибежал радостный Свирин и удивился, что губернатор не пошел наверх, в приготовленные и натопленные комнаты, а шепотом, не глядя ему в глаза, говорил, торопясь и дрожащими пальцами перебирая пуговицы пальто:

- Ну, здравствуй, здравствуй: одевайся да скорее поедем...

- Куда поедет-то? – спрашивал Свирин и вглядывался губернатору в лицо, которое показалось ему необычайным, – как-то странно, суховато заострившим-ся и беспокойным.

- В тюрьму поедем, – отвечал губернатор, и словно боялся, что Свирин от-кажется и не поедет в тюрьму.

- Зачем в тюрьму-то?

- Дело есть, не разговаривай. Не разговаривай! А раз говорю: в тюрьму, – нече-го зря слов терять. Бери шапку, да и дело с концом... А то извозчик-то стоит, ждет.

- Да вы бы наверх зашли... Переделись бы... – говорил Свирин.

- Оставь, не глупи, – шепотом, недовольно сморщившись, отвечал губер-натор, – бери шапку, да и дело с концом.

- А барышня где же?

- Барышня? Барышня в Германию к матери уехала.

- В Германию?

- В Германию.

Свирин побежал одеваться. Губернатор остался в приемной один; хотелось ему покурить, но не было папирос. Не было и чиновника, у которого можно бы попро-сить. И опять вспомнилось, что завтра – великая пятница: будет воспоминание о том, как умер Христос и сказал в последний раз: «Или, Или, лима савахвани».

Пришел Свирин; вышли на улицу, сели рядом в фэтон и опять поехали вверх. Губернатор оглянулся на свой дом; был он темный, большой; блестели от фонарей зеркальные окна: вот зал, вот кабинет, вот балкон, вот Сониная комната.

На улицах уже затихало движение; небо местами было освещено, и яркие огни горели только в типографии. Когда выехали из центра, стало еще темней, и как будто посвежел ветер. Направо, далеко за городом, поднимался полумесец, — и опять, как ковры, бежали за фэтоном тени то сбоку, то под ногами у лошадей. По улицам тянулись уже маленькие, приземистые домики, горели керосиновые, широкие вверх фонари. А когда губернатор оглядывался назад, то видел, что над городом висит какое-то матовое пятно, похожее на фосфорическое.

— Чего же в тюрьму-то? — спрашивал Свирин, поворачиваясь к губернатору. Он видел, что губернатор — светел и радостен, и сам заражался этим чувством. И хотелось скорее узнать, что случилось, и была даже досада на губернатора за молчание.

— Чего в тюрьму? — переспросил губернатор. — Чего в тюрьму? А вот догадайся-ка... — губернатор, улыбаясь, помолчал и потом сказал: —

Арестантов, брат, освобождать едем.

— Как освобождать? — изумился Свирин, и глаза его расширились.

— Очень просто, — ответил губернатор, — вот приедем и выпустим.

— Всех?

— Всех.

— И тех, кто на казнь?

— И тех, кто на казнь.

— Да что же это такое? — недоумевал Свирин, и какие-то особенные ноты зазвучали в его голосе. — Указ, что ли, к пасхе вышел?

— Указ, конечно, — ответил губернатор, — вышел указ, чтобы к пасхе, к воскресению Христову, к весне всех простить, всех до единого человека. По всей России.

Свирин долго думал, смотрел на губернатора и потом, странно покачиваясь от толчков экипажа, сказал:

— Правды много в этом. И что я вам на это скажу: самые лютые разбойники заплачут, потом увидят — правда.

Подъехали к тюрьме, к воротам, около которых стояли полосатые будки и ходили два солдата с ружьями. Ворота были, как в старинных монастырях, коротким, сводчатым коридором. Первый вылез из фэтона Свирин и обежал сзади него, чтобы помочь губернатору. Губернатор вышел, стал на землю и почувствовал, как она мягка и покорна. После долгой дороги ему хотелось расправить заплывшие кости так, чтобы они хрустнули. Почувствовалась усталость; он закрыл глаза, и как-то сразу представился весь путь: станция, поля, рельсы, сторожевые будки, на которые он смотрел по ночам, когда не было сна, и голова горела, как в огне. Было кругом тихо и темно; чувствовалась в этой темноте широкая и пустынная площадь, а вдали, над городом, маячила по-прежнему фосфорическая полоса.

— В тюрьму теперь нельзи! — сухо и недруже любно сказал солдат, подходя, и стало видно его круглое, белеющее лицо. — Нельзи теперь, — повторил он.

— Нельзи? — задорно, с тайными, торжествующими нотами в голосе передразнил его Свирин. — Рязань несчастная!

За воротами послышался шорох, звон ключей, щелканье замка; отворилась маленькая калитка, вырезанная в середине, высунулся какой-то человек и тоже враждебно спросил, поднимая фонарь:

- Что за люди? Ково вам надо?

Фонарь поворачивался в его руках, скользили по земле широкие четырехугольные пятна, падая на какой-то палисадник, на колеса фазтона, на ноги лошадей.

- Начальника нам надо! – гордо и повелительно сказал Свирин: – Поди доложь, что, мол, его превосходительство господин начальник губернии пожаловал и разговор с ним иметь желает.

- Начальник губернии? – переспросил сторож, и в голосе его скользнуло сначала недоверие, а потом и опасение, а может, и в самом деле...

- Ну да, сто раз тебе повторять, что ли? – торжественно ответил Свирин.

Он уже чувствовал, какая суматоха пойдет через час, как заскрипят ворота, как удивятся солдаты, какие разговоры пойдут в этой тишине, как оживится далекий город, как по его улицам пойдут новые люди, как их будут сначала бояться, а потом поймут...

Сторож запахнул шубу, заторопился.

- Пойду, скажу... В церкви небось... Страсти идут.

Ушел и фонаря с собой не взял. Свечка в фонаре была маленькая, затекшая, и огонек ее, словно привязанный, болтался на закоптевшей нитке и, казалось, хотел прыгнуть вверх...

Губернатор, как будто впервые, видел и этот фонарь, каждое стекло которого было заделано крест-накрест проволокой, и ворота, тяжелые, с толстыми перекладинами, и засовы, огромные, железные, – и какие-то радостные предчувствия все больше и больше входили ему в душу. Он верил, что Соня не умерла, что она теперь незримо следит за ним и видит его любовь к ней. Было ясно, что когда через эти ворота приведут его самого в тюрьму, тогда начнется в его жизни самое удивительное время. Становилось немного жаль Свирина: пойдет он по земле, по лугам, по лесам – замучается.

«А может, не бросит меня», – подумал губернатор, и очень хотел спросить Свирину: «Бросишь ли ты меня?» И когда вглядывался в сухую солдатскую фигуру, не умеющую стоять спокойно, то тихонько шептал самому себе:

- Не бросит... – И хотелось обнять его и поцеловать.

Торопливо из темноты явился вместе со сторожем взволнованный начальник и, освещаемый сбоку высоко поднятым фонарем, сделав под козырек, держа локоть на уровне плеча, говорил:

- Честь имею, ваше пр-во!

От освещения правая сторона его лица была светлая, а левая – темная, и едва виднелся глаз и кончик уса. По каменной настилке пошли по двору. Было видно, как освещался сверху купол тюремной церкви. Пришли во второй этаж, в контору. От конторы длинный коридор, какие бывают в больших учебных заведениях, вел к церкви. Через все стеклянные двери виднелся сплошной туман и расплывающиеся в нем пятна свечей. Слышно было пение. Большой мужской хор с преобладающими басами истово и медленно выводил:

- Слава страстям твоим, господи! – И бесконечными переливами повторял еще раз: – Го-о-о-осподи! – и было ясно, что басы не поспевают за тенорами.

Начальник торопливо, поглядывая под абажур, звеня стеклом, зажигал лампу, руки его тряслись, и спички почему-то то и дело гасли.

Когда огонь разгорелся, стал виден на стене портрет государя, два конторских каких-то, около задней стены ящика, перевязанные веревкой. Губернатор

сел за стол. Глаза у него блеснули: он избегал смотреть на начальника, который стоял перед ним, держа руки по швам.

Губернатор хотел заговорить, не давало покоя сердце, билось оно как-то странно: казалось, что кто-то снаружи стучит по груди маленьким молоточком, вроде тех, какие бывают у докторов. Было еще ощущение, будто идет сейчас, экзамен, и начальник – экзаменатор. Свирин стоял в углу, смотрел куда-то вдаль, на окно, и, видимо, затаил дыхание.

Наконец губернатор хотел начать; но в церкви опять запели «Слава...», и он подождал, пока все стихнет. Все время вертелась еще мысль: а вдруг начальник не послушается?

- Вот что, – вдруг сказал он и не узнал своего голоса, был он какой-то звонкий, переламывающийся. – Вот что. Вышел приказ: немедленно в эту ночь освободить всех узников... Выпустить на волю всю тюрьму.

Начальник глубоко и смешно моргнул.

- Понимаете? – повторил губернатор. – Всю тюрьму сегодня... Подите и объявите сейчас, что все – свободны. Понимаете?

Начальник опять моргнул и залепетал:

- Служба идет, ваше пр-во... страсти...

- Прервите службу...

- Как же так, ваше пр-во, – лепетал начальник, – такая неожиданность...

- Ну, это не наше с вами дело рассуждать о неожиданности, – сухо прервал его губернатор, – как так, почему не так? Нам приказывают, и мы не рассуждаем.

- Ваше пр-во! – долго подумав, опять залепетал начальник. – У меня жена, дети... Ваше пр-во...

- Ну что ж, что у вас жена, дети? – приподнял голос губернатор. – Кто вас назначал? Я? И приказывает вам Ктотеперь? Я? Так чем же вы рискуете?

- Письменный приказ надо, ваше пр-во....

- Ах, так вы мне не верите? Завтра вам будет прислан письменный приказ.

- Надо сейчас, ваше пр-во... – пролепетал начальник и как будто чего-то недоговорил.

- Что? – крикнул губернатор, ударил рукой по столу и почувствовал, что в грудь ударили уже не молоточком, а чем-то тяжелым и острым. Сразу во рту появилось ощущение какой-то горечи, которую нельзя выплюнуть и нужно глотать. От этого кружилась голова и в висках стучало... Как-то криво, одним боком, он приподнялся, и странным, огромным криком вылетели слова:

- Мне, губернатору, нет уже веры? Моего слова мало? Я тебе должен давать отчет? Я? Губернатор?

И вдруг не хватило сил стоять, какие-то зеленые круги завертелись, как колеса, перед глазами; опять как-то криво, одним боком, губернатор опустился на стул и сжимал зубы, чтобы не крикнуть от боли.

- Давай бумагу, – тихо сказал он, – напишу приказ... Начальник бросился куда-то в сторону и скоро заговорил над самым ухом:

- Вот бумага.

- Перо давай!

- Вот перо...

И скоро опять осторожно послышался его робкий голос:

- В чернила нужно перо обмакнуть, ваше пр-во... Так не пишет...

Что-то шуршало под локтем, пальцы сжимали какую-то скользкую палочку, — круги вертелись теперь в другую сторону, примешивался стыд, что он не видит бумаги и не может написать несколько простых слов.

- Выпейте воды, успокойтесь, — говорил Свирина. И нельзя было разобрать, с какой стороны он стоит. — Черт бы вас взял совсем!.. Губернатору такие слова говорить, а?

И кто-то лепетал над самым ухом о прощении, но губернатор стучал ногами по полу и глухо говорил:

- Не-ет, не-ет! — и чувствовал, что буква «т» выговаривается с трудом, и нужно как-то особенно, с каким-то усилием прижимать язык к нёбу.

Вода проливалась и текла за воротник, чувствовался острый, живой холодок, пробирающийся все дальше и дальше по телу. Было щекотно и приятно... Откуда-то послышался голос Ярнова, — нельзя было разобрать, что он говорил, но, конечно, спрашивал о Соне: о чем же он еще может спрашивать? И губернатор, опять ощущая, как трудно оторвать язык от нёба, когда подходит буква «т», говорил и чувствовал, что получается неразборчиво:

- Она в Альбано... поехала в Альбано... к матери... я дам тебе адрес... это два часа от Рима... по Аппиевой дороге...

Ноги сами собой стучали по полу; был какой-то странный озноб, похожий на лихорадку; слышалось пение, в котором басы не могли поспеть за тенорами; и вдруг стало ясно, что кто-то, выждав момент, как бритвой скользнул у него внутри по какой-то ленточке, — и на всю контору, на весь коридор крикнул он от ужасной боли, и глаза его, широко раскрывшиеся и ужаснувшиеся, остановились на крутом язычке лампы. И сейчас же боль от пореза пропала: загорелось перед глазами широкое, идущее вверх, синее пламя, похожее на неопалимую купину. Он ясно представлял себе, что опускается куда-то вниз, как будто на пол, тянет за собой какие-то бумаги, кто-то подходит к нему и быстро ощупывает в том месте, где у него пришит боковой карман, — и делается смешно: уж не хотят ли его обокрасть?

Открылись глаза, и тогда только он понял, что перед ним — огромный зеленый луг, и стоит на нем много людей, которые все кланяются в ту сторону, где расположена станция Кривая. Потом пришла Соня, в круглой соломенной шляпе с фиалками, в белом платье, — и все эти люди перестали кланяться и начали слушать старого профессора, который взобрался на высокую, окованную железными обручами бочку. Профессор звонким голосом что-то говорил. Было ясно, что Свирина, тоже стоящий в толпе, не верит его словам. Потом солнце начало мигать, как плохое электричество, потом совсем погасло, стало темно, и послышалось какое-то пение.

ХІІІ

После панихид чиновники очень долго не расходились из губернаторского дома: все они потихоньку, на цыпочках подходили к покойнику, с любопытством, с боязнью рассматривали его лицо и говорили друг другу:

- Вечером он иной, чем днем.

Было странно смотреть на человека, про которого рассказывали, что перед смертью он сошел с ума. Лежал он, как лежат вообще все, под образами, и у каждого, кто смотрел на него, являлась мысль: где же, в чем отразилось сумасшествие? И все взглядывали на лоб. Там, за костяной крышкой, выпуклой над глазами, что-то случилось: являлось острое желание постучать по ней пальцем.

Управляющий Балабан, у которого вторую неделю болели зубы, волновался больше всех и, держась рукою за щеку, говорил:

- Ну, скажи ж ты на милость! А?

Губернатор лежал, одетый в генеральский мундир, на котором было два ряда золотых пуговиц, и имел строгий вид. По бокам гроба, на бархатных подушках, обшитых витым шнуром, лежали ордена: эмалевые крестики, широкие в концах, с мечами, орлами, бриллиантами, и звезды, перевитые разноцветными лентами.

И только ночью, часов около трех, когда замолкал со своими псалмами лысый, тонкоголосый монах, присланный с архиерейского подворья, – только тогда, откуда-то из глубины дома, показывался осторожно, как вор, Свирин. Убедившись, что в зале никого нет, он тихонько подходил к гробу. Сначала он осматривал, нет ли какого беспорядка, и и то поправлял губернатору волосы, как-то странно после смерти сразу отросшие, то сдувал с мундира какую-то пыль, отворачивал к ногам парчу. Потом близко наклонялся к его лицу, гладил рукою по щеке, ложился головой к нему на грудь, словно прислушиваясь, что там делается, потом шептал ему на ухо:

- Дорогой ты мой, дорогой! Родной ты мой, родной!

А как мы с тобой Дунай-то переходили, а? Дунай-то... А?

В последнюю ночь перед похоронами, когда он шептал эти слова, вдруг что-то случилось. Свирин вздрогнул и, выпрямившись, прислушался. Потом сразу все понял, – улыбаясь, подошел к окну и начал отворять его. Была уже весна: рама набухла, прилипла к косяку, и нужно было усилие, чтобы оттолкнуть ее. Ровно, далеко звонил одинокий, ранний колокол.

- Слышишь? – выждав в молчании минуты две, громким, торжественным шепотом спрашивал Свирин. – Слышишь?

И особая теплота, и счастье рождались в нем оттого, что он называл покойника на ты.

Службы на страстной неделе и так длинные, акафист страстям, например, пришлось читать, стоя все время на коленях, а тут еще нужно было до первого дня похоронить губернатора. Герман выбивался из сил и пил верное средство против утомления: боржом с сантуринским вином. Перед отпеванием он получил от одного синодского столоначальника телеграмму о том, что к пасхе его пожаловали орденом Александра Невского. Так как губернатор был мертв, то выходило, что теперь самую высшую награду в губернии имеет архиепископ. Это несколько подняло дух Германа, и он, выбрав время между заупокойными ирмосами, стал у изголовья гроба и, держа в руках жезл, сказал поучение на слова апостола Павла, выбранные из послания: – «Ходите достойно звания вашего...» И в голосе архиепископа, когда он взглядывал на покойника, прорывались иногда укоризненные нотки.

СЕДЕЛЬНИКОВ

(рассказ)

- Местечко нижнее-с, номер первый-с! – сказал носильщик, отдавая сдачу.

- И отлично, – ответил отставной штабс-капитан Седельников. – Волоки багаж.

- Еще рано-с, – возразил носильщик. – Еще первого, звонка не было-с. Пропуску-то еще нет-с. У вас три местечка?

- Три.

- Ну вот-с. Как только звонок-с ударит-с, так мы итovo...

Какой-то человек с бородой, но без усов (не лакей ли?), евший за соседним столом осетрину, взглянул мельком, словно нечаянно, на багаж штабс-капитана, и, конечно, презрительная улыбка скользнула по его лицу.

Седельников стиснул зубы так, что двинулись скулы. «Презираешь?» – хотелось сказать ему. Вот этак, картинно встать, опереться на полку, чтобы видна стала больная; оторванная на войне нога, и со злостью, глядя в упор, сказать: «Презираешь, черти б тебя взяли? Презирай, имеешь право. Смотришь на мой багаж? Любопытствуешь? Изволь, я тебе расскажу про мой багаж. Вот видишь? Корзиночка маленькая, старенькая, перевязанная старенькой же разлохматившейся веревкой. Тут – моя еда. Ты вот ешь осетрину, а я вот посиживаю и курю. В стакане чая себе отказываю. Буду в вагоне из чайника пить. Ты хочешь знать, что в узле? Изволь. И это любопытство твое удовлетворю. В узле – две подушки и одеяло. Одеяло – бёз пододеяльника. А на подушках – наволочки грязные. А вот в этом ящике – запасная нога моя. Лишняя. На всякий случай. Вот сейчас, опираясь на палку, я пойду за носильщиком. И ты, быть может, догадаешься, если наблюдателен что одна нога моя – деревянная. Кровь на войне за тебя, холуя, проливал. Чтобы ты свою осетрину мог спокойно жрать. Так-то, братец. Где ногу потерял? А на что тебе это нужно? Потерял, и концы».

Седельников любил вести такие разговоры. Ему нравилось, сидеть на вокзалах, в фойе кинематографа, на бульварах в своем городе и думать: вот он сидит один, мимо проходят люди и видят, что человек молчит; прищурился, смотрит на свет божий и молчит. А человек совсем не молчит. Он ходит и не кланяется, а знаком со всеми и беседует со всеми: и с буфетчиком, и с протоиереем, и со зрителем ночлежного дома, и с кассиршей кинематографа. Он может, если захочет, поговорить и с губернатором, и с архиереем. Может написать письмо даже министру, – кто ему запретит? Разве человек сложен? Всякого можно скоро разгадать: все по утрам пьют чай или хотят пить чай; все между двенадцатью и шестью обедают; все спят – спят обязательно все: без сна человек жить не может. Все видят сны: кому снится пища, кому – ордена, кому – женщины, кому – лошадь. Ему, например, Седельникову, всегда снится утро мая. Одинаково все, за малыми исключениями, любят женщин. Одинаково все, за малым исключением, боятся смерти.

«Все вы одинаковы! – наставительно говорит людям штабс-капитан. – Вот и вы, сидящие сейчас в зале первого класса. Зачем вы в Москве? Сейчас вот вас здесь человек тридцать восемь. Вы сейчас кушаете, пьете чай, в уме подсчитываете ваши дорожные расходы. А придет такой час, – и все вы будете спокойно лежать головами к востоку. Все! Ручки вам сложат чуть повыше животика. Ножки обуют в туфельки, – в этикие маленькие, на картонных подошвах, чтобы легче было шагать по горным селениям. А вот попа того, который для желудка пьет эссен-ту-ки, оденут в золотую ризу, положат на грудь книгу, закроют лицо вышитым бархатом и над самым ухом будут читать ему евангелие. И удивится мертвый поп, когда услышит евангелие, и подумает: откуда, мол, льются такие прекрасные слова? Откуда такая светлость? Почему в жизни своей я этих слов никогда не слышал? И неужели их теперь читает знакомый дьякон Степан?»

Седельников засмеялся и продолжал свою воображаемую речь.

«Подойти бы к нему и надоумить человека: «Батюшка, – сказать бы, – по-что столь много печешься о здравиии своем? Посмотри, к чему ведешь ты

дело свое. Борода у тебя роскошная, и подтеков под глазами нет, значит, почки твои очень хороши. Губы твои – красные, зубы твои – белые – значит, и все внутри тебя хорошо. Готовишь ты себя свежий и вкусный кисель для земельных властителей, Стоят ли они, червячки, того внимания?»

Седельников потихоньку смеялся и ясно видел, как человек, уже покончивший с осетриной и теперь доедавший маленькие соленые огурчики, осторожно взглядывал на него.

«Смеюсь? – внутренне рокотал Седельников. – Смеюсь? И буду смеяться. Думаешь, что сумасшедший? Думай. Ничем не рискую».

На платформе один раз ударили в колокол. Швейцар, желтолицый, болезненный, с отеками, видимо, ногами, провозгласил на всю залу каким-то колючим, скопческим голосом:

- Пер-рвый звонок! Рязань, Козлов, Ростов! Поезд стоит на первом пути!

И сейчас же подошел к Седельникову носильщик и, вытирая руки о фартук, сказал:

- Удачливо вам вышло. Маленькое купе-с. Двухместное. Беспокойства будет не весьма.

- Ну, проводи, – ответил Седельников, и, упираясь в палку, – эх, добрая палка! – поднялся. – Ну, вот, – говорил он, прихрамывая, и – прощай, Москва, прощай, златоглавая! Спасибо за хлеб, за соль. Накормила на мои деньги, матушка! Походил по театрам, посмотрел соборы, памятники, а теперь – домой!

Седельников жил на юге, в маленьком заштатном городке, где у него была сестра, был свой домик, доставшийся от отца, где он когда-то, приезжая из училища, был первым кавалером и покорителем сердец и где теперь по вечерам, особенно зимним, была такая длинная, особенная, молчали-вая скука.

Подниматься по лесенке вагона было трудно; деревянная нога плохо сгибалась, – нужно было подтолкнуть ее рукой и в то же время ухватиться за перильца, а перильца были железные, холодные, настывшие.

Седельников, чтобы предупредить смех носильщика, сказал:

- Ножка-то, брат, не своя. Лесом подарена. Мою ножку посадить в землю, – яблоки вырасти могут. Я ту-то, кожаную, мамашину, японцы с кашей съели, – подай им бог побольше здоровья!..

А носильщик, улыбаясь, помогал и говорил:

- Это еще – не горе, а полфунта. Других-то япоши в сырую землю отправили.

Седельников взобрался на площадку, ответил ему в тон: «Вот тебе и полфунта!» – и дал ему вместо тридцати полтину: такой хороший был мужик этот носильщик; такие светлые глаза были у него, так они ясно смотрели, – синие с, черными крапинками.

Было холодно, но уже чувствовалась весна: четко ясна даль; начинался март. На платформе резко легли тени, и видно было, как темная полоса хочет срезать полосу света, как тень грядущего вечера пожирает свет дня. Идет человек по платформе, белый и свежий; вошел в тень – и сразу постарел лет на пять. Вышел на свет – и опять прежний, и опять на щеках проступает румянец.

«А я – все в тени!» – подумал Седельников: и вдруг по-старому сжалось сердце и вспомнилось, как ушла от него Фрося, два года жившая с ним как жена; как пропали поглощенные какой-то тенью связи с товарищами; как все больше и больше оставался один; и только в снах еще видел светлое утро мая

и бывал в хороших компаниях. Только во сне карманы бывали набиты золотом; только во сне кипело в стакане вино; только во сне улыбалась ему прекрасная дама, которую Фрося, стоя на коленях, одевала в бархатное платье.

А наяву – искусственная нога. Он дал ей имя Маруся. А ту, запасную, что была в ящике, звал неласково – Аленой, а свой пенсию в 86 рублей – Егор Егорычем, и когда первого числа шел на площадь к присутственным местам, в казначейство, то говорил:

- Пойду за Егор Егорычем.

Обступали его знакомые мальчишки; показывали ему на небо, еще не вечернее, и спрашивали:

- Барин! Ведь народился молодой месяц. Куда девался старый?

Седельникову почему-то очень нравилось слово народился». Он долго в уме повторял его и потом говорил смеясь:

- Куда девался старый? Эх, вы, дураки! И чему вас учат в школе? Старый на звезды покрошили.

Мальчишки смеялись, рассказывали родителям и скоро, неизвестно по каким основаниям, в городке прошел слух, что японцы повредили штабс-капитана. Ничего не понимали ни мальчишки, ни город, который совершенно справедливо выделили за штат.

И вместо счастья, вместо интересной и веселой жизни, о которой мечтал еще с корпуса, на долю выпал этот тихий городок, тихий звон к вечерням, тихие и скучные жители. Девушки его не замечают, не смеются, когда проходят мимо, – все знают и смотрят на деревянную ногу. Нога унесла все: с тех пор как ее отрезали, стал толстеть, лысеть, носить пенсне, и даже усы почему-то сделались рыжими. И бриться он стал не так часто: раз в неделю, по субботам, часа два до всенощной.

Вагон наполнялся пассажирами.

«Кого-то бог пошлет мне в попутчики?» – думал Седельников и разглядывал соседей; какой-то иконописный старик в поддевке, с ним старуха в бархатной шубе и платке. Стоят в проходе у окна, разговаривают и мешают носильщикам. «Нумерок второй будет там-с!» – послышался разливной говорок в другом конце вагона. За носильщиком шел высокий человек, лет тридцати двух, в шубе с пушистым воротником, в желтых перчатках, и прищуренными глазами взглядывал в те купе, мимо которых проходил.

Седельников смотрел на него и думал: «Господи! Почему всегда так ласковы носильщики!» Это была первая дума, – показная, наружная. А внутри, под ней, как под слоем, уже шевелилась вторая, – тайная, глубоко скрытая, еле для самого себя заметная:

«Не хромает. Красивый. Бритый. Глаза прищуренные».

- Вот здесь, – повернувшись к своему барину, лебезил носильщик.

- Ну, что ж? Клади, – ответил пришедший, начал медленно снимать с правой руки перчатку, взглянул на Седельникова, догадался, видимо, что это попутчик, и ласковым голосом, в противоположность прищуренным глазам, спросил:

- Далеко изволите ехать?

«Это он надеется что освобожу нижнее место», – сообразил Седельников, сразу загорелся неприязненным чувством и, ответил, стараясь походить на богатого барина, холодным тоном: «Да. Не близко». Отвернулся к окну и, довольный собой, стал разглядывать, как в промежутке меж рельсов мужик на голове тащит какое-то ведро: похоже, будто несет сахарное мороженое.

Не в голове, а, казалось, где-то далеко, в душе, под сердцем, уже была вторая дума:

«Усмехнулся. Пренебрегает. Подумаешь! Шушера иерихонская. Увидит, что хромой, еще усмехнется. Узнает, что нога деревянная, – еще усмехнется. Лягу спать, – подумает: почему не снимает сапог? Догадается. Усмехнется. Шушера!» Носильщик уложил чемоданы и побежал за другими вещами.

«Как баба, – думал Седельников, – семьдесят семь мест с собой таскает. Ты бы еще письменный стол захватил...»

И вдруг среди шума, толкотни, суетливых, беспокойных, мелко-тревожных разговоров послышался женский голос:

- Ты здесь?

С радостным лицом, со светлыми, широко открытыми глазами, с поднятой на лоб вуалеткой, с большими длинными стеблями белых роз в руке шла по коридору женщина. Она спешила, она боялась опоздать, – и разругались зарей ее упругие щеки, и горели глаза, – видимо, бегала по всем вагонам, искала бритого, слегка запыхалась, – жарка была шуба, – и от этого, должно быть, была красивее, чем всегда, и ярче, чем всегда, и радостнее, и приветливее, чем всегда, расширялись ее глаза и горело в них, не потухая, не уменьшаясь и не усиливаясь, что-то редкое, хорошее, всем видное и понятное, ибо даже старик иконописный, который всем мешал, вдруг перестал разговаривать со своей старухой и смотрел вслед той, что шла, поспевая, с белыми розами в руке.

Седельников взглянул, все понял и подумал: «Еще одна дура в бархатной шубе».

И вдруг стало досадно: зачем это подумал? Кажется, не нужно было этого думать.

- Ты здесь?

- Здесь.

Седельников оглянулся, – тот, бритый, уже снял шубу. Был он теперь в статном, хорошо выглаженном костюме, в воротничке с отложными концами. Не успел Седельников разглядеть только одного: какого цвета у него галстук. И когда он снова видел мужика с сахарным мороженым то мучительно, неотвязно, как будто в этом была какая-то разгадка, вертелось одно желание – узнать: какого цвета галстук?

«И на что это нужно? – тревожно удерживал он себя. – На кой черт? Ну, буду смотреть в окно, – заставлял он себя, – вот идет мужик, несет сахарное мороженое. Мужик, дай сахарного мороженого! В чайный стакан, на гривенник! Клади с верхом!»

А где-то под сердцем, как обезьяна, вертелась одна мысль:

«Ну какого цвета галстук? Может быть, благодаря галстуку он так красив? Может, в галстуке – весь секрет? Может, за галстук любит его женщина эта?»

- А я вот тебе принесла розы, – слышался из купе разговор, и в тоне этой фразы ясно Седельникову одно желание: «Похвали меня за эти розы, приласкай, взгляни так, чтобы была видна и твоя любовь».

И отвечает он коротко, но за короткими словами этими слышится другое, им двоим и их глазам только понятное, – договаривают радостные глаза: «Спасибо, милая».

Поцелуй. Что он целует? Руку или губы?

- Спасибо, милая.

«Шифрованные телеграммы».

Он тронут. Он еще раз целует. Что? Руку или щеку? Так хочется оглянуться, – хоть на долю секунды.

«Ах, черт возьми! – думает Седельников, и от досады чуть не выступают слезы на глазах. – Да какое же мне дело? Ну и пусть целует ей губы, руки, глаза... Может быть, и цена-то этой женщине – десять целковых. Что мне?»

Экой дурак я стал! От одиночества, что ли? Да ведь стоит захотеть... Эй, мужик! Дай сахарного мороженого! Что за дурацкий мужик болтается здесь под окном с ведром на голове? Заявить бы начальнику станции, чтобы хорошенько взмылил его, осла этакого! По путям посторонним лицам ходить строго воспрещается».

Взглянул Седельников на часы: двадцать минут шестого. Часы идут на пять минут вперед: значит, по-настоящему – четверть пятого. До отхода поезда – еще семь минут.

«Мало, мало вам осталось, дружки сердечные!» – думает Седельников, на сердце делается легче, и он напевает мотив, – веселый мотив, прыгающий на высоких нотах.

А там, за спиной, – опять поцелуй.

«Черт возьми! – И снова негодование вселяется в сердце Седельникова: – Это вам поезд, – вагон второго класса, а не дом свиданий! Целоваться можете в меблированных комнатах!»

А за спиной говорят:

- Милый ты, мой милый! Только одна дума о тебе и есть! Ну, пиши же чаще! Ну, не забывай! Ну, дай слово!

Седельников думает «Он напишет! Жди! Держи карман! Как приедет, так сейчас же за горничной ухаживать начнет. Едет-то, должно быть, в Ростов. Знаем мы ростовских».

- Поставь розы в воду. Возьми у проводника стакан.

Говорит почти шепотом, но ведь все же слышно, глупая женщина!

- Я, – говорит почти шепотом, – заколдовала розы. Розы чудотворные. Я с ними молилась. Понимаешь? За тебя, за любовь мою молилась...

Говорит почти шепотом:

- Розы будут сниться тебе. Я хочу, чтобы они снились тебе!..

Все говорит почти шепотом, как будто о ворованном, но ведь все же слышно, глупая женщина, – слышно так, будто молотом стучишь ты по железной стене, – и Седельников орет вдруг:

- Пр-роводник, чер-рт бы тебя драл, скотина, закрывай дверь, если идешь! Не май месяц!

В ответ послышалось:

- Извините, ваше благородие!

- Извините, ваше благородие, – басом передразнил его Седельников и добавил: – Дурак голландский!

Добавил и подумал: «Почему голландский?» Смешно.

За спиной замолчали. Остолбенели? Язык отнялся? И вдруг – два звонка. Слава тебе, господи! Как лету в полночь. Исчезай, нечистая сила!

А нечистая сила вцепилась в грешного человека и шепчет, – но ведь все же слышно!

- Ну, люби же! – шепчет. – Ну, не забывай же! Ну, прощай же. Ну, до свидания же. Ну, мой милый. Ну, мой единственный!..

«Дешевоу тебя стоит слово. Ну, – думает Седельников и сейчас же поправляется: – Даже и не слово, а приставка. Этимологию начал забывать».

А нечистая сила, слегка зацепив Седельникова за руку, уже перешла на площадку, – и опять дверь не затворена, опять дует в бок холодным колючим ветром, опять иконописный старик морщится и прикрывает лысину ладонью.

«Это нарочно, – решает Седельников и холодеет от злости. – Ага! Нарочно? Ну, постой!»

- Черт возьми совсем! – демонстративно громко говорит он. – Тут швейцаров за вами нет! – с досадливой силой захлопывает им вслед массивную желтую, обитую железом дверь.

Там засмеялись? О, конечно, засмеялись! Когда человека выкидывают на лестницу, то ему, конечно, остается одно – смеяться.

Седельников презрительно смотрит в окно. Отворить бы его?. Нельзя. Туго заклеено. Зимнее положение: вагоны еще отапливаются.

А даль синее. Скоро ночь. Скоро зажгутся огни. Люди начнут думать уже о завтрашнем дне. Скоро придет вечер, слуга ночи. Он под ноги расстилает ей ковер звездный. Сегодня вечер будет святой. Хорошо тому, у кого мир в душе. Плохо умирающим.

Третий звонок. В окно отлично видно, как она сходит на платформу. Остановилась и глаз не сводит с площадки.

Что-то говорит, но разве через зимние рамы услышишь? Только губы шелеются: как в кинематографе. Улыбка вдруг делается неестественной, как-то в сторону, кривятся красные губы, из левого глаза показывается давно уже там родившаяся слеза.

«Плачешь? Плачь, Маргарита!» – думает Седельников, а кто-то там, в глубине, как незванный гость, как татарин, взял и прошептал:

- А сколько бы ты дал за одну такую слезу?

Седельников бледнеет. Что-то внутри так сильно крикнуло, что эта мысль, как сразу и очень испуганная птица, вспорхнула, унеслась ввысь, скрылась из глаз, – и дай бог, чтобы навсегда, чтобы навсегда! И бог с ней! И бог с ней!

И Седельников плотно сжимает ладонями оба уха, словно боится: вот подойдет опять кто-то и шепнет такое, от чего снова крикнет сердце...

Поезд тронулся. Ненужным стало все то, что осталось слева. А она все-таки хочет быть нужной: она идет вслед за площадкой, все что-то говорит, все куда-то, в одну точку, смотрит заплывающими глазами. Ах, спотыкаешься! Ах, ударись о трубу! Ну, уходи же! Ну, зачем он тебе? Есть люди и по красивее его! Чем он так мил? Ведь ты же все равно останешься слева!

А около водокачки стоит, раскорячив ноги, мужик, и нет уж на его голове сахарного мороженого.

Исчезает понемногу все. Исчезла и она: мелькнула в последний раз бархатная шубка и протянутая с прощальным приветом рука. Тянутся вдоль рельсов какие-то красные дома, одноэтажные, двухэтажные – скучные, как строки канцелярской бумаги.

Отворилась желтая дверь. Седельников прильнул к толстому и холодному стеклу. Седельников знает, что это – он; на площадке холодно. Пошел в купе, – сидит, неслышный, проходит пять минут. Проходит десять минут.

Седельников оглядывается. Почему же, в самом деле, ему и не оглянуться? Ведь у него есть место, номер первый, у него есть багаж. Может быть, в багаже у него есть вещи тысячные?

Седельников оглядывается и видит: сидит на диване человек, наклонил голову и о чем-то думает, и кажется, даже, что его губы что-то нашептывают.

«Не опоздал ли, мой друг, думать?» – мысленно спрашивает у него Седельников и снова смотрит: галстук у него черный, с красными полосками. Жилет серый. Жакетка темно-синяя.

«Шепчешь? – думает Седельников. – Ну, пошепчи, пошепчи».

Хочется ему думать, что сегодня же барыня и розы свои забудет, и слова свои забудет, и слезы свои забудет и сегодня же позвонит в телефон, номер которого записан на тайном листке.

«Эх, друг!» – вздыхает Седельников, и хочется ему ударить этого человека по плечу и рассказать ему, что такое любовь, повеселить его душу каким-нибудь словом, залихватским, веселым, выбранным из песни.

А человек поднимает глаза, взглядывает на Седельникова, и выражение лица у него такое, будто хочется припомнить: где он видел этого штабс-капитана, серенького, хроменького, с рыженькими усиками? Где он видел это кривосидящее пенсне? Эту фуражку с помятыми полями, с потускневшим, выпуклым по обрезу козырьком?

Смотрит он на Седельникова, а у самого в душе – счастье: счастье в глазах, счастье в улыбке, счастье в углах губ, – и даже, кажется, в прядях волнистых, откинутых назад волос струится счастье.

Седельников опять отворачивается, и снова лоб его ощущает приятное, холодное, толстое стекло. За стеклом – ночь, все шире и шире дышит она в полях. Как ведьма, – она сожрала весь свет весеннего дня. Как ведьма, из злой старухи она превратится в красавицу, у которой корона на голове.

Приходит из вагона-ресторана лакей с бумажкой в руке. Седельников видит его белый, словно из бумаги сделанный и плотно приглаженный галстук, видит в его петлице четыре жестяные цифры: 1844.

- Обедать изволите? – спрашивает лакей.

Нет, – глядя в сторону, отвечает Седельников, и ему стыдно за то, что он не может израсходовать два рубля на обед. Придется есть сыр, копченую колбасу. В корзиночке имеются еще три апельсина, коробка фиников и филипповские калачи.

- Обедать изволите? – снова, повернувшись к Седельникову спиной, спрашивает лакей.

- Да, – отвечает сосед, – да.

И когда тот через десять минут, забрав газеты, уходит в вагон-ресторан, Седельников, хромая, идет в купе и садится на свое место, у окошечка. Побаливала нога: натрудил ее за день.

На столе лежали розы, – прекрасные, белые розы! Что такое розы, лежащие на вагонном столе? Или их отняли от груди матери? Или на то они и рождаются, чтобы быть свидетелями любви? Хорошо ли, что подкосил их нож садовника, плохо ли?

Седельников встает и, не наступая на большую ногу, закрывает дверь купе, защелкивает замок, защелкивает наверху предохранитель и опять садится на свое место. Теперь никто не войдет. Теперь он – хозяин этой мягкой клетки. Седельни-

ков сделает то, что хочет. Седельников забирает в руки длинные стебли, – все, все! Седельников осторожно, благоговейно, – как священник – чашу, в которой уже свершилось чудо, – поднимает их, наклоняет к ним лицо свое и чувствует, как струится из них аромат, белый, чуть ощущаемый аромат: дыхание полюбившей.

И ясно: ни роз своих она не забудет. Ни слов своих она не забудет. Ни слез своих она не забудет. И нет у нее никаких тайных записей.

Струится аромат: дыхание полюбившей. Осторожно, как крылья бабочки, обрывает Седельников по несколько лепестков с каждого цветка и кладет их в свою записную книжку, между страницами, на которых записано: кому должен, сколько должен; в которых написано, как долить муравьиный спирт, полезный при ревматизме, в которых записан адрес Фроси, по которому писал, но не получал ответа; в которых записано много вещей, – нужных и ненужных. Кладет потом розы на прежнее место, открывает дверь, выходит в коридор. Кстати, идет контроль, – надо предъявить билеты.

Темно. Скоро, должно быть, зажгут электричество. Поезд подкатывает к станции, замедляет ход, но не останавливается. На станции горят керосиновые фонари, на платформе, в ряд, как магометане на молитве, стоят семь молчаливых мужиков в бараньих шапках. Вот бы всем им на головы дать сахарное мороженое!

Темно. В воздух как будто закачивают темноту, – все больше и больше. Звезды смотрят и словно ждут: что будет сегодня на земле хорошего?

- Ваш билет, пожалуйста. И плацкарточку. Ваш номерок первый-с? Проводник, отметьте: номер первый-с. До Ростова. В Ростове – пересадочка.

Все – ласковые люди. Как хорошо.

Зима в том году была странная, неровная. На крещение, на водосвятии, дамы стояли под зонтами: так было тепло. А уже в ночь на тридцатое выпал снег и начались морозы. Через несколько дней по улицам города, по направлению к пивным заводам, потянулись возы с большими, продолговатыми глыбами льда. Лед был похож на очень толстые, плохо промытые увеличительные стекла.

ПИСЬМО

Когда наступает осень; когда небо, как ведьма, из красавицы превращается в злую старуху и целыми днями брюзжит и не знаешь, когда придет конец этому; когда злее и раздражительнее становится обыватель, запертый в своем скучном и сером городе; когда отовсюду выползают и начинают ворчать старики, – плохие провинциальные старики, уже умирающие и еще не знающие, что такое смерть; когда адвокаты, самые интересные люди в городе, идут в клуб, играют и за весь вечер проигрывают в стукалку по три с половиной; когда отовсюду ползет скука и жизнь делается противной и омерзительной, – тогда Анин зажимает лампу, открывает средний ящик стола и достает оттуда письмо.

Это – длинный, мудреный листик, который посылается без конверта и склеивается по краям. На обратной стороне, рядом с круглыми почтовыми штемпелями, тянется адрес, который говорит, что письмо это когда-то пришло из Москвы в Петербург, на Гороховую улицу, в Графские меблированные комнаты, в номер 8.

В этом письме мелким, без нажимов, почерком написано: «Как быстро все прошло. Так много хотелось сказать, спросить. Ты поторопился со своим отъездом. Тебя тянуло в Петербург. В этот приезд ты уже не замечал моей любви. Ты забыл лето и далекий город. Ты забыл, как мы каждый вечер уходили на полот-

но, спускались с высокой горы, ложились на зеленой траве. Небо было всегда ярко, и я уверяла тебя, что в северном венце справляют праздник: играет музыка, горят ярко свечи, пестреют бархатцы, алеют георгины. Ровно в одиннадцать часов начинало слышаться глухое, отдаленное гудение, дрожала земля: это пролетал поезд, который потом и тебя, и меня унес сюда, на север, в чужую жизнь. На повороте, возле балки, мелькал в последний раз цветной фонарик, и мы снова оставались одни, и опять темная ночь была нам ласковой матерью.

Раз ты, поднявшись на локте, прислушался к музыке, которая неслась с горы, из города, вероятно, из какого-нибудь сада. Солдаты, вероятно, играли громко, грубо – но сюда, до нас, долетала мелодия нежная и широкая, которая родилась у автора ночью, быть может, среди слез и печальных поцелуев.

И ты сказал:

- Я не знаю, как называется эта музыка. Но я, вот сейчас, посвящаю ее тебе, этой ночи, этому небу. Где бы, когда бы я ее ни услышал, – буду думать о тебе, вспомню эти теплые вечера, вспомню твои глаза, твою улыбку, – всю вспомню тебя, мою зорю ясную...

А огоньки, которые я тебе проспорила? Как мне нужны были тогда, одним утром, огоньки! Непременно те самые, что растут в городском саду, в цветнике, под высоким фонарем. Рано-рано, сначала по спящим улицам, потом по росистым аллеям, я бежала к дому садовника, – садовник еще спал, и мне хотелось постучать в решетчатую закрытую ставню и тихонько-тихонько сказать:

Садовник, встань. Мне нужны цветы для моего милого. Мне нужны те огоньки, что растут в цветнике, под высоким фонарем.

Хотелось сказать это тихо, чтобы не разбудить жену его, – и я побоялась, и не постучала, и не сказала.

Пришлось терпеливо, дрожа от утреннего холода, сидеть на влажной еще скамейке, пока проснулся и вышел из дома сам Карл Борисович, еще заspanный, еще неумытый и серый. Целый час он не соглашался резать огоньки под фонарем и говорил, что по контракту с городской управой он имеет право продавать цветы только из оранжерей, – и все-таки мальчик принес тебе проспоренные огоньки из-под фонаря и потом вечером ты сам видел следы преступления Карла Борисовича...

Письмо длинное, и я, чувствую, пишу то, что ненужно...

Люблю ли я тебя? Не знаю. Но я так жду, когда наступит скучный московский вечер и сквозь двойное окно будет слышен тихий монотонный звон вечерне. Я тогда не зажигаю огня. Я ложусь на диван, закрываю глаза и вижу северный венец и слышу, как дрожит земля под пролетающим поездом.

Двенадцать уже пробило.

Где-то, за океаном, за высокими горами, за глубокими синими реками рождается день, который не несет мне ничего нового.

Прощай. Письмо и длинно, и неразборчиво...

Когда Анин перечитывает по памяти это письмо, то перед ним оживает лицо с глубокими темными глазами, с волной волос, спадающих на угловатые, девические плечи...

И исчезает осень; и опять роскошной, синеокой красавицей раскинулось небо, и нет раздражения на этот глупый, глухой провинциальный город, где живут старики, не умеющие сказать, что такое смерть, и адвокаты, проигрывающие по

три с полтиной в стукалку и считающие это таким событием, о котором можно поговорить с женой всю ночь до зари... За час застегивают тугие крахмальные воротнички, изнутри подгалкивая запонку большим пальцем; завязывают узлы ярких галстуков-самовязов; заводят праздничные часы с тремя дедовскими крышками, механизм на рубинах; жмутся в новой, упругой и еще не блестящей обуви; с искушением поглядывают на роскоши пасхального стола: эффектные куличи выпечены из нольной муки и распространяют запах ванили и кардамона.

В отдалении в углу, на большом подносе, установлена батарея: водка с еще ненарушенной белой головкой; удельное вино N 21 и N 26; коньяк Шустова «Золотой колокол»; цинандали князя Андронникова; рислинг Токмакова и Молоткова; вишневка Штритера и рижский бальзам; фруктовые воды Ланина и местное пиво Салиса и Антона Груби... Пустяки, конечно, но все это сидит в памяти, в каком-то левом углу черепа, и записано, как на граммофонной пластинке...

Скользки навощенные подошвы новых сапог, нужно осторожно ходить по праздничным плюшевым дорожкам, — ощущение чистоты, обновления и заботливой прибранности к празднику. Все уже устали торопиться и нервно ждут первого удара в большой колокол, в который зазвонит старший звонарь Кафедрального собора Тарас. Тараса знает весь город и сейчас весь город думает о нем. В руках у Тараса — первая строчка стихотворения.

Все уже оделись, все готовы к выходу, но еще не разрешает Тарас. Все еще нет праздника, еще холодновата эта ночь, ночь весеннего волнительного равноденствия. Хмур Северный Кавказ. Посматривают украдкой на часы. И вдруг:

— Бо-ом! Сказал свое первое слово большой колокол, отлитый при преосвященном Иеремии, первом епископе Ставропольском, как гласит надпись на торжественной меди.

— Бо-ом! — отвечает ему растрепанный монах Агафангел из Троицкого собора.

Песнь начали главные басы, основа хора, — вслед за ними вступают другие голоса: баритон Рядской церкви, серебристый тенорок из духовного училища, женский альт архиерейского старого подворья, и стоящий на горе город с торжественным греческим именем слушает с благодарной улыбкой ночную, единственную в мире симфонию колоколов, украшенных славянской вязью, с выпуклыми буквами императоров, архиереев, с упоминанием событий, с именами жертвователей, усердных к церкви и вере, с именами купцов Чепелевых, Нестеровых, Волобуевых, вычурные могильные памятники которых так пугали меня в детстве.

И да будет прославлен Бог, который в эту ночь возвращает слух мертвецам: свят и забываем звон святого колокола; интересно бы посмотреть на чертей, которые в эту минуту вверх тормашками летят с колокольни. За целый год не удалось подточить каната, на котором висит колокол.

ВАНЬКИНА МОЛИТВА

Ванька, мужчина восьми лет, уже минут десять как проснулся. В былые времена, так недели три тому назад, он сейчас бы соскочил с широкой материнской кровати, проскочил одной ногой на крыльцо, умылся, натянул бы штанишки и в мгновение ока очутился бы за воротами, где в это время уже начиналась обычная жизнь пригородья: проходило стадо, запоздавшее благодаря вечному пьянству па-

стуха Сиволдая, малого без одного уха и без царя в голове, как отзывались о нем его доверители; бабка Кириллиха уже второй раз ругалась со своей невесткой из-за невывыгнутых сковородок или по поводу другого, подобного же случая; показывался, отправляясь на нищенство в город, бывший звонарь кафедрального собора, Никифор, лохматый, похожий на домового старик. Борода у него была длинная и всклокоченная, и ребят пугали, говоря, что в ней водятся мыши.

Мальчишки, которых в пригороде было так же много, как мух в летний день, приступали к исполнению своих обязанностей. Они, в почтительном расстоянии от Никифора, становились в ряд, прикладывали трубой руки ко рту и орали что есть мочи:

- Сороко-умов! Сороко-умов!

Никифор, которому, по каким-то таинственным причинам, эта фамилия была ножом в сердце, шел вперед, откинув свою суму на плечо, и терпел, долго терпел, но так как, по законам природы, всякому терпению, даже ожесточенному, положен предел, – то старый звонарь вдруг срывался с места, схватывал комок земли, камень или что первое попадется в руки, – и летел как оглашенный за ребятами. А те рассыпались как горох.

- Ах вы подлецы, прохвосты, погибели на вас, оканные.

Сегодня Ванька лежал в постели, один в хате, так как мать его еще в три часа утра ушла в город торговать зеленью и молоком, – и обсуждал все то, что ему до сих пор пришлось пережить и что предстоит в будущем. Вышла такая оказия: оказалось, что ему, Ваньке, нужно зарабатывать деньги и, что еще страшнее, – что он может зарабатывать их, те самые медные, круглые пятаки и трехкопеечники, которые мать всегда приносила с базара и считала своими мозолистыми, заскорузлыми пальцами, причем, рассматривая иную монету на свет, говорила, неодобрительно качая головой:

- Ишь ты! Всучили! Совсем стертая!

Ванька, откинув ногой ситцевое одеяло, лежит на постели, смотрит в потолок, закинув руки за спинку кровати, и соображает, много ли ему нужно денег для поддержания жизни своей и материной.

Его отец был пьяница и служил в «Городе Костроме» номерным, и когда его жалели, что он умер от водки, то говорили:

- Золотой был человек!

После отца начались скучные дни. Мать плакала, никого родных не было, и один Ванька утешал ее и говорил, что папа вылезет из ямы, когда належится, – надоест! А так как отец из ямы не вылезал, а денег не было, то матери пришлось каждый день ходить в город и продавать там молоко и зеленый лук. А в прошлую среду она пришла и, когда сели за постный борщ, сказала:

- Ну, Ванюшка, нашла тебе место... Вот сошью тебе рубашки и отведу.

- Какое место? – спросил Ванька.

- А в трактире, где отец твой служил. У Панфил Ивановича. Будешь вилки чистить, за бубликами для гостей бегать. Два рубля в месяц!

- Это туда? В город? – спросил Ванька, кивнув в том направлении головой.

- Туда, деточка, туда...

Пришла с базара мать, и Ванька начал ставить самовар. С матерью его делалось что-то странное. Став на колена перед сундуком, она щелкнула замком,

издавшим музыкальные звуки, подняла крышку, и начала доставать оттуда Ванькино добро.

- Вот, Ванюша, это твои рубашечки... – говорила она. – Береги: надевай по праздникам. Вот – поясок. Делать заставляй что будут, надевай фартучек. Береги.

Хозяина, Ванюша, слушайся; почитай, – говорила мать, – буфетчика, Исай Исаича. Они люди хорошие и... добра тебе желают... Услуживай им. Будь ласковым. Ласковая телка двух маток сосет.

Наговорившись вдоволь, она постлала на пол чистую скатерть, вынула половинку давно хранившегося лимона, и они, вдвоем в последний раз, сели пить чай.

В соборе зазвонили к обедне.

- Ну, Ванюшка, заблаговестили... – сказала мать, поднимаясь из-за стола. – Давай с тобой помолимся богу, зажжем лампадочку... и в путь... – Вот, становись рядом со мной на коленочки и гляди на боженьку. Вот так!

Ванька стал рядом с матерью на колени и начал глядеть на бога. Ванька, бережно прикладывая сложенные пальцы ко лбу, груди и плечам, начал кланяться седому богу, сознавая всю важность своих действий, и бог, казалось, сделался еще серьезнее, собираясь слушать Ванькину молитву.

Ваньке нравилась такая торжественная обрядность, так как она лишний раз подтверждала, что он большой, взрослый и скоро может сделаться солдатом.

- Ну, говори, – прерывистым всхлипывающим голосом продолжала мать, и глаза ее покраснели еще больше, – говори: господи! Батюшка! Царь небесный! Николай-угодник! Пощади меня, сиротинку маленького...

- Господи! Николай-угодник! Пощади меня, сиротинку маленького... – скороговоркой повторил Ванька, следя, как по половице ползла большая зеленая муха, которая может жужжать на весь дом, если поймать ее за крыло. Хотя, именуя себя маленьким, он не был согласен с этим, но спорить и прекословить в данную минуту не хотел.

- Я иду в жизнь трудную... – неразборчиво говорила мать, и так как слезы застилали ей глаза, то она, вероятно, не видела бога.

- В жизнь трудную... – уныло повторил Ванька, посмотрев, не разошлись ли у него пальцы.

- Пошли мне ангела своего хранителя. Защити меня от злого человека, беды и всякой напасти.

Мать раскраснелась, с ней делалось что-то неладное: губы ее по-прежнему подергивались, слова все более и более делались неразборчивыми, и становилось опасным, разберет ли бог. И Ванька поэтому старался поправить дело и повторял яснее:

- От злого человека, беды всякой напасти... – Вдруг мать припала головой к полу и, захватив ее обеими руками, залилась слезами, и Ванька мог разобрать только такие слова:

- Спаси его! Сохрани! От беды, лютой жизни!

Мать говорила совсем невнятно, слезы лились у нее ручьем, и Ванька решил сам передать ее слова богу. Подняв свои серые спокойные глаза на образ, он сказал, указывая пальцем на мать, прикишую к земле:

- Она просит, чтобы ты спас меня! От беды, от лютой жизни! – передавал он по порядку ее рыдающую речь. – От злого человека. Ангела послал бы ко мне... Моего ангела Иваном зовут... – уж сам от себя пояснил он.

А мать продолжала стучать головой по полу и уже говорила другие речи:

- Бедность одолела! Бедность, бедность, бедность! – И, прижав к себе Ваньку, рыдала: – Не отдала бы я тебя, касатика, в жизнь трудную, жизнь грубую! В школу бы ты у меня бегал. Если бы... жив был папка... Наш па-апочка... миленький...

Ванька, к стыду своему, почувствовал, как что-то теплое течет из его глаз и падает на материну грудь. Вытерев кулаком щеки, он поднял на мать глаза, тоже полные слез, и сказал:

- Если бы, да кабы, да во рту росли грибы! Если бы жив был папка, то мы с ним в хоре пели бы! Так пели бы, что только держись. Архиерей по сто рублей давал бы нам. Но я сам бы себе ничего-о не брал... – И Ванька сделал большие, круглые глаза. – А все папке бы отдавал: пусть бы пил водку! Бог с ним.

Через полчаса оба они, и мать, и Ванька, поднимались по пыльной дороге в город.

Мать все всхлипывала, вытирала слезы, и Ваньке стало жаль ее. Когда они совсем вышли на гору и стала видна нижняя часть города с железной дорогой, маслобойными заводами и могилой купца Гривова, – Ванька остановился, лукаво поглядел на мать и с улыбкою спросил:

- А хочешь, я тебе сербское «Тебе господи» спою?

Мать тоже остановилась, и глаза ее, лучистые от слез, улыбнулись.

- Ну, спой, – сказала она.

Ванька, передав ей узел с рубашками, оправился, кашлянул и, разведя руками, как регент, медленно, торжественно пропел:

- Тебе-е, го-осподи!

И потом долго прислушивался, как звучит его бас...



ГАЛИНА ТУЗ

(1958)

Туз Галина Георгиевна родилась 23 июля 1958 года. Окончила Литературный институт имени Горького в г. Москве в 1990 г. по специальности «литературная работа» с присвоением квалификации «литературный работник». Печататься начала рано, еще подростком, с 1975 года.

Печаталась в газетах «Ставропольская правда», «Литературная газета», «Культура», американской газете «Вместе», сборнике «Нужен ли Гитлер России?» и др.

Выступала в прямом эфире Би-Би-Си и «Голоса Америки».

Автор книги «Провинциальный фашизм». Издательство ПИК г. Москва 1987 г.

Галина Георгиевна – член 5 творческих Союзов: Союза журналистов России (1983 г.), Независимой ассоциации писателей «Апрель» (1987 г.), Союзов писателей Москвы (1998 г.) и Санкт-Петербурга (1999 г.), Союза российских писателей (2000 г.). Участник 1 Конгресса интеллигенции (1997 г.). Лауреат краевой журналистской премии им. Германа Лопатина за 1996 г.

Награждена грамотой Губернатора СК от 19.03.03 г. Работала корреспондентом краевого радио, литературным редактором альманаха «Ставрополье» Ставропольского союза писателей и краевого книжного издательства, старшим преподавателем кафедры СМИ СГУ.

Творческие интересы Галины Григорьевны чрезвычайно разнообразны как по направлениям, так и по жанрам. Ее деятельная натура находится в постоянном поиске новых тем, идей, связей. Проблемы края, его жизнь и конфликты совершенно неожиданно пересекаются в ее деятельности с общероссийскими и международными. В этой многосторонности и полифонии одно остается неизменным: она писатель, журналист, общественный деятель. При всей своей занятости не может оставить педагогику, наставничество, своих студентов, школьников, учеников.

Г.Г. Туз – участник российско-американских программ «Открытый мир» (поездка в США, штат Нью-Йорк, с целью изучения образования, 2002 г.) и «Климат доверия» – (поездка в штат Калифорния в 2005 г. с целью изучения взаимодействия правоохранительных органов, педагогов, общественных организаций и средств массовой информации в вопросах межнациональных отношений).

В настоящее время Галина Георгиевна является литературным редактором издательского Дома MediaPRO (журналы «PRO-Край», «PRO-Кавминводы») и PRO-Сочи. Колумнист журналов «PRO-Край» и «PRO-Сочи», ведет секцию «Журналистика» в Малой академии наук и искусств Ставропольского Дворца детского творчества и литературную студию при 7-й школе

г. Ставрополя. Руководитель литературной студии «Ассонанс» Ставропольского отделения Союза российских писателей. Составитель и редактор литературного альманаха «Ассонанс» Ставропольского государственного университета.

ПРОЗА ЖИЗНИ **«СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА», ИЛИ ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДУЭНДЕ!**

Мне казалось, это называется «кураж». Это такое классное человеческое качество, без которого многие по-настоящему пропадают. И профессионально в том числе. Вот я, например. Кураж мне нужен в силу моей профессии – не просто нанизывать буковку к буковке на сомнительно прочный капрон сюжета, а куда-то рваться, менять внешность и мироощущение, проникать, выуживать... А потом уже составлять собственное мнение и нарочито объективно высказывать его на страницах разных изданий. Но нет. Нет у меня куража, и поэтому сижу я уныло перед монитором и фантазирую, отчаянно завидуя куражу и деятельной созидательности тех, кто из другого теста сделан (проговорочка такая «по Фрейду» у компьютера была: «из другого теКста сделан»).

Но вот, является мне Федерико Гарсиа Лорка (не бойтесь, это не мания величия и не психоз. Является опять-таки с помощью текста, конечно). И говорит: «...Тайна, корни, вросшие в топь, про которую все мы знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой нам приходит главное в искусстве. ...Дуэнде – это мощь, а не труд, битва, а не мысль». Дуэнде! Так вот что это такое. В русском языке нет такого понятия. Вдохновение? Божья искра? Все не то. Дуэнде! В жизни, в любви, в творчестве, в самом приземленном деле... И все у тебя получается качественно иначе, чем у других. И другие это знают и сторонятся тебя или, наоборот, носят на руках, что на самом деле не многим лучше. Терпеть чужой восторг по поводу того, что делаешь – мучительное переживание. Впрочем, какое это имеет значение по сравнению с тем, что дуэнде посетило тебя – неожиданно или ожиданно, и ты сам себе уже не принадлежишь, а являешься Чьим-то инструментом, заточенным на свершение. Об этом многие «инструменты» говорили.

«Она играла своим темным голосом, мшистым, мерцающим, плавким, как олово, кутала его прядями волос, купала в мансанилье, заводила в дальние глухие дебри»... Читая такое, почти что плачешь.

Однако чувствую, «дуэнде» – это то, что все поминать не стоит. Поэтому, наверное, и возник у меня в голове эвфемизм «кураж», еще тогда, до приобщения к таинству, открытому текстом Лорки.

Что ж, пусть пока будет кураж. То, что в нас вселяется, то, что ведет нас, то, что сами в себе объяснить мы не можем...

Итак, о кураже. Был у меня один знакомый предприниматель (бр-р, слово-то какое! Но «бизнесмен» – еще хуже!), который в свое время довольно часто пользовался самолетом. Наберет полные карманы денег – и летит в Москву. Оттуда – везет товар, продает его в Ставрополе, и обратно в Москву – с деньгами. Такой вот круговорот денег в природе, мало кто его в славные девятые миновал. А в тот раз не получилось у моего дружка с закупкой товара – затемпературил в Москве и принял решение срочно возвращаться домой. Билетов на самолет в кассе аэропорта не было, стоял он так грустно и размышлял: то ли на поезде ехать, то

ли... Тут к нему подходит не сильно молодой, заросший щетиной человек и говорит, как некий сказочный персонаж: «Вижу я, улететь не можешь. Давай деньги, паспорт, 300 сверху – и будет тебе билет». 300 сверху – многовато. Это ж сейчас инфляция слопала у сотен всю покупательную способность, тогда это была более-менее сумма. Чешет он затылок, решается в конце концов и отдает деньги и паспорт заросшему. Буквально через 10 минут тот появляется с билетом и говорит: «Только 300 – мало. Еще нужно заплатить вот ему, – показывает на другого заросшего, и кассиру, и...» Типа: он печку топил, а он воду носил, а он кашку варил. Мой дружок говорит: «Не-е, я так не согласен! Да и денег у меня больше нет – что были, все вам отдал». Они: «Лететь-то тебе все равно надо, паспорт твой у нас, а деньги у тебя есть, мы знаем. Боишься при нас доставать – иди в туалет, там никто не увидит». Ага, думает мой горе-летун. Нашли дурачка. Я в туалет, а вы меня там- цап-царап! Долларов-то (чужих, кстати) у него действительно было полно. Скрученных и в пистон джинсов туго задвинутых.

«Иди-иди!»- говорят. Он и пошел, повесив буйну голову. Но не в туалет, а так, пройтись и подумать. Ходит-ходит, вдруг видит угловым зрением – передвигается за ним какой-то мальчик лет 13-ти. Он к киоскам – мальчик к киоскам. Он в зал ожидания – и мальчик в зал ожидания.

А надо сказать, у героя моего с куражом было все в порядке. В обычных обстоятельствах – человек как человек. В меру вспыльчивый, в меру неуверенный в себе, но стоило ему попасть в экстремальную ситуацию, и кураж заставлял его не только брать невообразимые планки, но и делать это элегантно и остроумно – как раз для будущих «пластинок» (так называла Анна Ахматова «обкатанные на слушателях устные рассказы»). Так вот.

Усек он, что мальчик следит за его передвижениями, и отправился напрямик к очереди на регистрацию рейса «Москва-Ставрополь». «Сограждане! – проблеял мой друг очень жалобно. – Так, мол, и так. Займите денег на вызволение билета и паспорта у наглых спекулянтов! Честное слово, как только прилетим в Ставрополь, я с вами расплачусь! Запишите адрес!» Блеет он так, а сам крестится мысленно: не дай бог, какой альтруист выищется и денег займет! Пропало тогда дело! Но уж психологию нас, умелых ставропольцев, друг мой знал неплохо. В том и расчет был – все ему нравouchениями помогать стали, отнюдь не деньгами: «Ну кто ж так делает, кто ж документы отдает в чужие руки...» Глядь – а мальчика-то рядом уже и нет! Шпион с донесением отправился в штаб. И идет к моему другу навстречу тот, щетиный: «Бери, дорогой, билет и паспорт! Счастливого полета!».

Что тут скажешь? Разве что – да здравствует дуэнде!

КРОЛИКИ В ШЛЯПЕ ФОКУСНИКА

Все-таки правильно говорят: «Чужой судьбы не проживешь». Банально, конечно, но ведь истина – это именно то, что не предполагает размышлений, что не требует доказательств, просто так принимается на веру. Так что банальны все истины.

И не то чтобы я фаталист... И не то чтобы свято верю в предопределенность судьбы... И уж точно не верю во всякие гороскопо-гадательные прикормасы, а все же, все же... Послушаешь окружающих – так у них все предопределено было в жизни. И любовь не случайна, и профессия, и дети – такие, какими и должны

были родиться. И подводные течения их не берут, и ветра судеб не задувают за воротник... Но, с другой стороны, если все знать наперед, со скуки сдохнешь. В Интернете, к примеру, появились сайты, которые зазывают: «Узнай дату своей смерти!». Вот не было печали. А потом что, сиди и тупо смотри в календарь, когда заветный миг настанет? Ну уж дудки! Пусть это мне будет очередным сюрпризом! А пока что я обожду к ней, родимой, готовиться. И, раз уж поэт сказал, что «любовь и смерть всегда вдвоем», так пусть это все-таки будет по большей части первое, а не второе, Эрос, а не Танатос.

...Сроду я не звонила Войтеку на работу, впрочем, и домой тоже не звонила никогда. С чего бы это мне взманнулось именно в тот день и в ту минуту? Черт дернул, бог или судьба, тут выбор зависит от умонастроений. Атеисты обычно выбирают судьбу. Так вот, за каким-то все-таки чертом звоню я Войтеку, в его не сильно дальше зарубежье. И Войтек мне с характерным своим таким смешочком и говорит: «О, привет!». А через паузу: «Подожди». И трубку берет кто-то другой. С этим «кто-то» мы не виделись два года. Не писали друг другу писем, не говорили по международнойке, а имейлов и эсэмэсок тогда и в помине не было, да судя по всему, они бы нам тоже были без надобности. Ясь...

Мы расстались с ним на пресловутом месте всех расставаний – вокзале, расстались без тени надежды на общее будущее, я глотала слезы в двухместном купе, он с другой стороны окна писал мне на запыленном стекле... Так и ехали со мной эти буквы до места назначения, истекая дождевыми дорожками, истончаясь, постепенно пропадая, а ухоженная моложавая соседка по самому временному из всех временных мест пребывания с восторгом рассказывала мне про своего внука, показывала предназначенные любимцу подарки.

Мне в дорогу мы купили два шоколадных батончика, так уж получилось, денег больше ни на что не хватило, мы оба были очень легкомысленные и нерасчетливые, шатались по городу, как чумные, взявшись за руки, ну не до продуктов питания нам было. Выходили на незнакомых остановках, угожили незнакомые районы, попали на какой-то Разноцветный бульвар, не соображая, в общем-то, где находимся, изолированные от окружающего... «Губы горячее льда...».

Меня тогда накрыло великое чувство защищенности любовью. Понятно, нет ничего более эфемерного, чем это предательское чувство, нет ничего более иллюзорного. Рраз – и умные руки Великого Фокусника неуловимым движением отдергивают занавес, все развидняется, и ты опять «голый человек на голой земле». Все так. Но единственная наша общая поездка на юг оказалась фокусом удачным, на своем авто нас вез все тот же безотказный Войтек – лохматый и похожий на дрессированного мишку. Я смотрела из окна расписного рыдвана, и видя, как Ясь рвет для меня дикие абрикосы и рассовывает их по карманам, с изумлением открывала в себе парализующую силу любви. Такие открытия, конечно же, не делаются два раза, тут уж тебе никто не скажет: «Повторяю для особо тупых!», и все равно хотелось попробовать это чувство раз за разом, как пробуешь языком большой зуб – еще сильнее болит, зато потом на секунду становится легче.

Соседка угощала меня бутербродами с красной икрой, а я все совала ей свои шоколадки. Прямо как в рассказе питерца Валерия Попова: «А я вам говорю: берите печенье!!!». Я слушала бесконечные истории про внука, а внутри все росло и росло дерево боли (слово «боль» в польском языке – мужского рода),

казалось, сейчас прорастет, как волшебная горошина у деда из сказки, и придется рубить потолок... Это была очевидная безнадега, абсолютная точка, прощание совсем и навсегда. И оно длилось и длилось целых два года, а потом я, не разберешь почему, позвонила Войтеку. Мы потом этот момент обсудили: Ясь, оказывается, на работу к своему другу тоже в первый и последний раз зашел.

С тех пор, лет эдак двадцать подряд, где бы мы ни находились, номера друга набираем одновременно, слушаем короткие гудки, а потом, все-таки дозвонившись, смеемся: «Астрал! Нам с тобой в цирке выступать надо, номер был бы супер – «чтение мыслей на расстоянии».

Вот только бы Фокусник на нас не рассердился – трюки и чудеса – это по его части. А мы – мы ведь просто кролики, попавшие в Его шляпу и исчезающие в ней один за другим.

ПРОЗА ЖИЗНИ

«ГУСЬ, ГУСЬ, ПРИКЛЕЮСЬ, КАК ВОЗЬМУСЬ!..»

«Так что же остаётся, когда съедена банка варенья? Что останется, когда спета песня?» – сакраментальный вопрос из кэрроловской «Алисы» мучает нас похище вопроса о смысле жизни. А может, это он как раз и есть? Тем более, как говаривал Додо из той же «Алисы»: «Банки из-под варенья никогда не бывают пустыми». То есть, остаться явно что-то должно. Варенье нашего существования и песни нашей судьбы кому-то несомненно должны прийти по вкусу.

...Мы совершенно не отдавали себе отчета в том, что прощаемся навечно. Мы резвились. Еда сегодня нас интересовала мало, хотя многие чуть ли не впервые за месяц могли себе позволить оторваться в этом смысле на полную катушку. Вот и Довлатов когда-то недоумевал, мол, на закуску денег могло и не найтись, зато на выпивку хватало всегда. Столы для нас были накрыты в актовом зале нашего знаменитого общежития на Добролюбова – общежития Литературного института. В ритме шейка мы скакали как кони, а под медляк пытались наверстать упущенное за шесть лет учебы – мы объяснялись друг другу в любви, пытаясь напоследок закрутить уже невозможные по причине окончательного расставания романы. Кто-то расчехлил гитару: «По дороге из праха в прах восклицаем то «ох», то «ах», напоследок почти у всех получается «эх»!...» Но на философию нынче мы настроены не были. Моя подруга Ленка, вспомнив, как они что-то там отмечали всем семинаром (при этом дружно распевая песни и подскакивая, сидя на чьем-то спальном ложе), крикнула через стол своему руководителю: «Владимир Иванович, а помните, как мы с вами в общежитии кровать сломали?». Именитый литературный критик слегка поморщился: «Принцесса, вы столь невинны, что вечно скажете непристойность!». Я в этот момент узнавала от известного в будущем прозаика, что, оказывается, мое творчество – это полная лабуда, а вот в смысле фактуры я очень даже ничего. Я благодарно посмеивалась, пропуская первую часть признания мимо ушей: похвалите женщину за ум, за талант, за что угодно – и эффект будет далеко не таким, каким он мог бы быть, похвалив ее внешность.

Результаты у нас были прекрасными: пятерками за творчество обеспечены оказались все, кто ими интересовался или их действительно заслуживал, документ о

получении высшего образования был рассован по карманам и сумкам, в нем значилось, что отныне и навсегда каждому из нас присвоена квалификация «литературный работник». Литературная работа – это было именно то, чем мы и хотели заниматься в ближайшие 50-60 лет. И вот посреди всей этой лучезарности и блистательных перспектив раздался голос одного из тех, кто благородно взялся приглядывать на этаже за готовящимся для нас угощением: «Ребята, гуся украли!».

Ну да, из духовки гусь улетел в неизвестном направлении, унося на своих поджаренных аппетитных крылышках все то, что позволяло нам ощущать себя вечно юными – общежитскую неустроенность, безденежье, безалаберность, сумасшедшую чувственность, пузырящуюся в крови шампанским – казалось, ткни пальцем – и брызнет. Уносил мимолетные шуры-муры, заплочные стихи и обоюдные обиды, которые изывались традиционным русским способом, утишаясь при этом украинскими горилкой и салом, грузинскими зеленью и чачей, еврейским форшмачком, балкарскими мантами... Да мало ли чего еще мы лопали и пили совместно, расстелив дырявую скатерть-самобранку на праздношатающемся общежитском столе. Но гуся не лопали ни разу! И вот он, неблагодарный, покинул нас, не сказав последнего «прости». Короче, «гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь»!

Мы хохотали, как безумные. Ну что еще, по гусю заплакать? Мало у нас сегодня поводов для слез? Кто-то тут же вспомнил из детства про путешествие Нильса с дикими гусями, а те, кто не клевал носом на лекциях по зарубежной литературе – про охальника Гаргантюа, который открыл, что гусенком лучше всего... Кое-кто потом уверял, что своими глазами видел, как в дверь проскользнула тень Паниковского с гусем наперевес. Кто-то, совсем расшалившись, крикнул: «Гуси-гуси!». И мы все заорали: «Га-га-га...». А я – я вспомнила Алису, которой пришлось играть в королевский крокей, гоняя гусем живого ежика. И где сейчас та Алиса, которая 17 лет назад увела из духовки нашего жареного гуся? Возможно, она прославилась как писательница, и теперь ей немного стыдно за тот перестроечный перфоманс, который она устроила. Но и некий процент гордости должен быть, безусловно, в этом чувстве. Если бы Алиса тогда не подсутилась (а может, это все-таки был Паниковский?), выпускники 90-го года съели бы этого гуся и не вспомнили о нем, а так жареный гусь оказался не только символом отлетающего лично нашего прошлого, но и символом исчезающей прямо на глазах невозвратной эпохи.

P.S. Вы, конечно, можете смеяться, а то и вовсе мне не поверить, но фамилия Ленкиного руководителя семинара – Гусев. А фамилия молодого прозаика – Гуськов.

P.P.S. А через несколько дней я проснулась с мыслью: если отлет нашего гуся подвел черту под эпохой перестройки, то отлет Гусинского и разгон НТВ подвел черту под эпохой нашей надежды на необратимость перемен в стране, где мы живем. Не это ли я подсознательно имела в виду, когда писала эссешку про гуся?



ВАЛЕНТИНА ТУРЕНСКАЯ

(1913-1964)

Валентина Ионовна Туренская родилась 6 апреля 1913 года в городе Гатчине в семье служащего.

Отец, Иона Дмитриевич Туренский, историк, автор многих монографий по истории церкви.

После окончания семилетней школы несколько лет работала в книжном магазине продавцом, счетоводом в различных учреждениях. Сдав экзамен за среднюю школу, окончила сначала учительский, а затем и Ставропольский педагогический институты (1940).

Учительствовала, работала заведующей отделом школ Ставропольско-зюкереаевского управления народного образования, была директором Ставропольского института усовершенствования учителей.

С 1940 года Валентина Туренская была членом ВКП(б).

В 1949 году в «Ставропольском альманахе» была напечатана первая её повесть «Дружба». В последующие годы Валентина Ионовна написала романы «Зрелость», «Просторы» и другие произведения. В 1952 году принята в члены Союза писателей СССР.

Светлый мир юности, жизнь школы, которые Туренская знала прекрасно, – тема многих её произведений. Лучшее, что ею написано – о молодёжи и для молодёжи.

В. Туренская известна не только как прозаик, но и как драматург. В соавторстве с П.П. Мелибеевым ею написаны пьесы: «Своя линия», «На перекрёстке дорог», которые с успехом шли на сцене Ставропольского драматургического театра.

Валентина Ионовна была педагогом – воспитателем. Она любила весь мир – в его движении, разноречии, блеске красок, сложности разных обычаев, привычек. Она много и с удовольствием ездила. Но наряду с этим в ней жило то постоянное, настойчивое чувство Родины, которое она так ярко передала в своей последней книге «Марианна ищет родных», вышедшая уже после смерти автора.

Большинство произведений Туренской посвящено советской школе, нравственному формированию нового человека.

Занимая активную жизненную позицию, Валентина туренская писала: «Если повести мои получают отклик в сердцах молодых читателей, этого «нового поколения у хижин», то я могу с полным основанием считать, что задачу свою в какой-то мере выполнила. Ведь как ни сбивают сегодня молодёжь, у нас, людей старшего поколения, с ней общая судьба. Мы живём в одном времени, имеем одну родину с непростой и трагической историей, нас роднит одина-

ковое восприятие природы, традиции и обычаи, которые нам надо отстаивать от агрессивного навязывания чужих ценностей и норм жизни. И делать это надо сообща, если мы хотим сохранить самобытную культуру России»

Некоторые книги Туренской переведены на иностранные языки и языки народов СССР.

Умерла Валентина Ионовна Туренская 6 августа 1964 года в её родном городе – Ставрополе.

Валентина Туренская – автор книг, в которых передаются радостное восприятие мира, удивления перед его красотой и многообразием; вера в лучшее, гордость за свой народ, историю, где есть место подвигу. Основные грани ее творческого почерка – красочность и ясность образного строя, мягкий лиризм, стремление тонко и проникновенно передать неповторимость жизненных мгновений, четкая гражданская позиция.

Читатели полюбили творчество Туренской за стремление к ясным и возвышенным образам, в которых есть живой интерес к жизни предков, оставивших нам и «родниковые колодцы», чистые как слеза, песни, воспевавшие самые сокровенные думы и чаяния.

СЕДЬМАЯ ПАЛАТА

В палате их было трое. Четвертая кровать пустовала. У двери слева лежала Галя Степанчук. У окна – Александра Петровна и Тося. Когда из детской по длинному коридору до них доносился плач, Галя приподнималась на локте.

- Моя, – убежденно говорила она, – Я уж знаю. Певунья...

Она прикрывала улыбку уголком белой косынки, но сдержаться было трудно. Доверчиво и откровенно рассмеявшись, она уже без стеснения хвалилась:

- У нас и сынок такой же. Буян. Ванюшкой назвали. Отец захотел. По деду. Мужа моего Григорий Ивановичем зовут, а сынок будет Иван Григорьевич. А дочку Нюрочкой назовем. Ишь, орет как! Ничего... Пой-пой!

Набирайся силушки.

Галин муж уже дважды приносил под окно Ивана Григорьевича, который вполне оправдывал такое солидное имя. Паренек был как сбитый, серые глаза смотрели чуточку исподлобья. Он оглушительно орал, когда отец уносил его от окна. Больше всего посетителей было у Александры Петровны, сорокалетней женщины. Кроме мужа и сестры, посещали Александру Петровну три сына и две дочки, старшему уже шел восемнадцатый год. Жизнь большой семьи доставала ее и здесь: то у окна стоял средний сынишка, с кепкой, сжатой в кулаке, отчитываясь за школьные отметки, то пришел старший рассказать, что сегодня он впервые совершенно самостоятельно нарезал гайку. Муж Александры Петровны – железнодорожник, отличался немногословием, но и он, передав ей увесистый узелок с «пропитанием», как он называл, рассказывал ей о своих делах...

Тосе только что исполнилось двадцать, она была самой младшей в палате. Тося немного завидовала Александре Петровне и Гале. Ребятишек в палату приносили туго запеленатыми сверточками, виделось только личико с еле намеченными бровями, крохотным носиком. Иногда и глазки были закрыты. Александра Петровна ловко разворачивала ребенка, касалась его ножек с пальчиками-горо-

шинками, его крохотных ручек. Быстро и ловко спеленывала его снова, приговаривала такие ласковые слова, будто он был ее первенцем, жданным и моленным. Могла распеленать ребенка и Галя. А Тося не смела этого делать, она знала, что просто не справится с такой сложной операцией. Когда ее Светланку после кормления уносили, Тося откидывалась на подушку, закрывала глаза и мечтала, как дома развернет малышку, поцелует каждый пальчик, прильнет к ней, родной, слабенькой, беззащитной. Она в уме называла ее десятками самых ласковых имен, которые слышала в свое время от матери, сейчас – от Александры Петровны, уже изобретала сама, но еще не смела произносить, потрясенная переменой в своей жизни. С Тосиной кровати, тоже у окна, был виден больничный сад, и Тося всегда заранее чувствовала, когда в конце аллеи покажется Митя. Каким он растерянным был еще так недавно и каким счастливым – сейчас! Словно вчера еще привыкала к словам: «Мой муж. Муж...», а сейчас Митю уже называли отцом. Он приносил ей цветы, шоколад. Три дня тому назад, отправляя ее в больницу, он в суматохе разбил свои очки и купил себе новые. Черная роговая оправка делала его очень солидным, но Тося никак не могла привыкнуть к ней, ей все казалось, что Митя просто нарядился в них, чтобы подразнить ее.

Митя приходил дважды в день и всякий раз с какой-нибудь новостью: то он купил ванночку, то градусник. Она ахала – дома же есть градусник. Митя снисходительно улыбался и терпеливо разъяснял, что этот для определения температуры воды, а еще нужен третий – комнатный. Он закуривал, а она безоговорочно заявляла: «Придется бросить курить, или будешь курить только на лестнице». Митя не спорил, покорно готовясь к тому, чтобы в изгнании обживать лестничную площадку.

Бывало, что Митя забегал и в сумерках. Темнело. Силуэты деревьев сливались в одно целое, только кое-где мелькал кусочек неба с одинокой звездой. Деревья шумели, как шумят они только вечерами: глухо, таинственно, ритмично, словно морской прибой в тихую темную ночь. Вечерами Мите особенно не хотелось покидать свой пост у больничного окна. Но входила няня и закрывала его. Закрывала, несмотря на протесты и Тоси, и Гали, и Александры Петровны. Няня с переменным успехом воевала с мухами, бабочками, комарами, а те просто рвались вечерами из темного сада в ярко освещенную палату. Митя в последний раз прикинул к стеклу, кивал, барабанил в оконный переплет пальцами и уходил, то и дело оглядываясь.

Постепенно палата затихала. Иногда ночью Тося внезапно просыпалась от огромного счастья: пройдет еще несколько дней, и Митя явится за ними. Он понесет на руках домой дочурку в шелковом нарядном одеяльце, в белых кружевах. И всю жизнь они будут вместе: Митя, Светлана и она.

Люди казались Тосе удивительно хорошими и счастливыми, и только одна из женщин вызывала в ней жалость. Звали ее Пашей. Ей уже позволили ходить, и она нередко заглядывала к ним в палату.

К Паше никто не приходил. Ее привезли в город издалека и давно: врачи в станции, где она жила, опасались за исход родов, и не напрасно. Пришлось делать операцию. Врач предупредил Пашу, что она теряет надежду иметь других детей, но операция единственное средство спасти этого ребенка. Паша согласилась. И все оказалось напрасным. Ребенок, правда, родился живым, но и часа не жил.

Когда Паша с устремленным в одну точку взглядом спрашивала: «Что же теперь делать-то?», она не плакала, плакала Тося: Галя молчала, страстно желая и не умея найти слов утешения. Находила их Александра Петровна.

Самым тяжелым было для Паши, когда в палату приносили кормить малышей. Крепко сцепив пальцы, она оставалась сидеть, словно сознательно растравляя свое горе. А потом все-таки не выдерживала, уходила. Паше было уже за тридцать. Так скверно сложилась ее судьба, что и первые двое детей умерли у нее. Муж-тракторист, видный и веселый (у Паши была с собой его фотография, и она сейчас подолгу разглядывала ее, словно пытаясь в ней обрести защиту от того неминуемого, что угрожало впереди) мечтал о ребенке. «Без детей – не семья», – говорил он.

– Бросит он меня, уйдет, – она вглядывалась в лицо Александры Петровны, будто именно та могла рассудить, как сложится дальнейшая Пашина жизнь.

Решительная Галя нашла было выход:

– А ты молчи, что у тебя детей не будет. Молчи и все.

– Обманывать. значит? Не могу я... Нет уж, захочет. Пусть в другом месте счастья ищет.

Она послала мужу два письма, но оттягивала решительную минуту, не могла нанести удара, писала, что, ошиблась в сроках, и время еще не пришло.

– Ну, как же ты? Ведь тебе выписываться скоро? Ведь он не придет за тобой?

Паша покорно наклоняла голову.

– И пусть не приезжает. Галя взрывалась:

– Да ты что, ровно виноватая.

– А может, и виноватая. Троих не уберегла.

Она горько умоляла. Тут уж вступала Александра Петровна:

– Нечего себя виноватить. Напустила на себя. Чего мужу плохо веришь? Что он у тебя – бессердечный камень, деревяшка, что ли?

– И не камень, и не деревяшка. Жили мы все годы ладно. А все впереди что-то маячило.

Тося вглядывалась в похудевшее бледное Пашино лицо: ну, какие тут слова могут быть, ну чем можно ее утешить?

Помолчав, Паша говорила:

– А я возьму и домой не поеду. В Астрахань подамся. Туда, я слыхала, на рыбные промысла вербуют. Вот и уеду, а с дороги мужу отпишу: так и так, дорогой Сергей Максимович, не хочу я тебе свет застить, ищи свою долю.

Тося ясно представляла себе: все так и будет, Сергей Максимович бросится искать Пашу. А как найдешь? Поскучает, потоскует да и женится. Будет жить счастливо, дети пойдут... А Паша так и останется одна. Состарится. Руки разест соль. Лицо от ветра огрубеет. Вечерами станет сидеть у моря. Одна. Всю жизнь одна...

На другой день Александра Петровна заявила Паше:

– Вот что, Прасковья, ты дурь из головы выбрасывай. А другого пути нет – надо тебе приемыша брать

– Вот здорово! – подхватила Галя, – а мужу и не заикнись, что приемыш. «Смотри, Сереженька, у него и глаза твои и бровки, и с лица он на тебя, а не на меня смахивает».

Паша крепко задумалась над советом. Решили поговорить с врачом Ольгой Ивановой, и та отнеслась к плану одобрительно, обещала позвонить в Дом младенца.

Однако события развернулись иначе.

Полуобняв за талию, няня ввела в палату женщину. Обычно женщин до родов помещали в других палатах, но сейчас все места там оказались заняты, иного выхода не было, и ее положили на пустовавшую до этого койку.

- Вы уж не обижайтесь, – обратилась няня к старожилам палаты, – она бабочка здоровая, кричать не будет, вас не потревожит. Забралась-то она сюда загодя...

- Ничего, ничего, – ответила за всех Александра Петровна, милости просим.

Вошедшая не ответила на приветствие, грузно опустила на кровать, сердито толкнула рукой подушку. Тося с любопытством разглядывала женщину. Рыжеватые жидкие волосы свернуты у нее в небольшой узелок на затылке. Мясистые щеки и низкий лоб покрыты коричневыми пятнами. Не разобрать, где пятна, где природные веснушки. Губы выдаются вперед, и это делает лицо особенно грубым. В палате наступило молчание, впрочем, ненадолго.

Александра Петровна приветливо взглянула на новенькую

- Значит, нашего полку прибыло? Давай знакомиться. Меня Александра Петровна зовут, вот это Галина, это – Тося. Первенький у нее, так она совсем без памяти от радости.

- А тебя как звать-величать?

- Аглая, – хмуро откликнулась женщина.

- Так... Аглаюшка, значит. Ну, о ком же ты мечтаешь? Ждешь-то кого? Сына? Дочку?

Тут женщина неожиданно быстро повернулась, словно собралась прыгнуть:

- Сына? Дочку?.. А на кой дьявол мне и сын и дочка. На кой дьявол, я тебя спрашиваю? Чтобы по рукам, по ногам связал? Мяукал по ночам? Где я на него денег напасусь? Или, думаешь, его папаша поможет? Держи карман шире... Только того дожидался. Да он, собачий сын, стервец, уже полгода, как смылся...

Зачем-то натянув до подбородка одеяло, Тося лежала, боясь привлечь к себе внимание, пытаясь отгородиться от того грубого и страшного, что, пусть стороной, но врвалось в ее счастливую и такую, казалось, ясную и налаженную жизнь.

Притихла и Галя. А с губ рыжей женщины еще рвались жалобы вперемежку с ругательствами.

Спокойное достоинство Александры Петровны еще больше раздражало Аглаю, и она пыталась задеть именно ее:

- Это вам, мужним женам, лафа: таскай, как Крольчиха, каждый год по крикуну. А чтоб вы повыздыхали все, проклятые...

Трудная жизнь началась в палате. Правда, Аглая после замечания сестры несколько притихла, но раздражение то и дело прорывалось в ней. Она готова была оплевать все на свете.

Наступил жданный и любимый матерями час кормления. Аглая напряженно наблюдала, как обихаживала сына Александра Петровна.

- Лячкайся с ним! Думаешь, вырастет – вспомнит? Черта с два. Наплачешься еще.

Прибежал Митя, сунул в окно букетик гвоздик, торопился на собрание. Аглая и здесь нашлась.

- Цветочки принес, а сам уж, поди, примеряется, как на сторону податься...

Отвернувшись к стенке, Тося лежала с полными слез глазами.

Александра Петровна обрывала бы грубые выходки Аглаи, но мешала жалость. Хоть и сказал врач, что до завтра можно не тревожиться, но лицо Аглаи нет-нет и кривилось от боли. Несмотря на крепкое сложение, Аглая была, видимо, нетерпелива. Она стонала, даже не пытаясь сдержаться, чертыхалась, а когда боль отпускала, снова возобновляла свои нападки на соседок.

Слишком ясно бросалось ей в глаза, что все три женщины по-разному, но счастливы. Слишком ясно говорили об этом цветы на тумбочках, коробки конфет, спокойное выражение лиц. Почему они счастливы, а горькая доля досталась ей, Аглае? Ведь любила его, проклятого... А он пить начал. Все из дома по ниточке растащил. Пробовала уговаривать... Сколько слез пролила... Потом бунить стал. За трояк избить готов. Домой ввалится пьяный, грязный. Да откуда у гада и силы находились!.. И сейчас на затылке можно нащупать затянувшийся шрам, а полгода прошло. Когда он бросил ее, Аглая даже обрадовалась. Будет жить одна. Что же, на себя всегда заработает. Руки есть, спина тоже сдюжит... А когда поняла – будет ребенок, напугалась. Испробовала все. С лютой ненавистью к тому, что произошло, флаконами пила какую-то дрянь. И ничего! Озлобилась... О ребенке и думать не могла: его – ненавистный...

В палату опять забрела Паша.

- Эх, ты! Ребенок коришь! Совести у тебя нет, упрекнула она. – А у меня – жив был бы сыночек – пылинке не дала бы сесть.

- Ну, и рожай на здоровье. А мне на черта! Капельки пота снова выступили на лбу Аглаи, она стиснула зубы, застонала.

- Послушай, – осторожно спросила Паша, – тебе, Правда, не нужен ребенок?

- Так бы своими руками и придушила...

- Так отдай его мне.

Аглая недоверчиво посмотрела на Пашу, а та, торопись, стала объяснять ей, как невозможно ехать к мужу без ребенка.

Галя и Александра Петровна тоже вмешались в разговор. Пашин план пришелся и им по душе.

- Погодите вы все, помолчите, – отмахнулась Аглая.

Она сидела на кровати, наклонившись вперед, тяжело опершись локтями о колени. Потом подняла голову.

- А что, я согласная, – как-то неуверенно произнесла она.

Нет, ты правду говоришь? – не смея еще поверить, переспросила Паша.

- А чего мне брехать? – так же медленно сказала Аглая. – Тебе он нужен позарез, мне не с руки, так и бери его.

Разговор продолжить не пришлось. Аглаю увели. Скоро вся больница знала, что она отдает ребенка Паше. Няня передала, что Аглая спросила: «Узнайте у той бабоньки, что из Обильного, а если у меня двойня будет, обоих забереет или нет?». Паша согласилась.

Наступил вечер. Горела только синяя лампочка у двери. Тося лежала на кровати с открытыми глазами и думала. Ей казалось, что все очень хорошо. Паша не уедет одна, привезет своему Сергею Максимовичу сына или дочь. У ребенка, который вот-вот родится, матерью будет не рыжая грубая женщина, а милая, ласковая Паша. Все правильно.

За окном шумел ветер, раскачивая ветви деревьев, и |от этого звездочка, на которую любила смотреть с вечера Тося, то исчезала, то снова открывалась. И Тосе вдруг до слез стало жаль малыша, который еще не явился на свет, а уже был ненужным и ненавистным для своей матери. Вспомнилась Светлана. Сегодня Тося чуть-чуть отогнула косынку и увидела крохотное ухо, она прикоснулась к нему пальцем и вся замерла от нежности: свое, родное... И снова острая жалость к не родившемуся еще малышу пронизала ее. И, может быть, первый раз в жизни, Тося готова была ненавидеть человека, вот эту рыжую, грубую женщину...

Утром Тося проснулась, как и все эти дни, с ощущением счастья, солнце било в окно палаты, играло на омытых ночным дождем листьях. По коридору уже раздавались шаги няни, разносившей ребят. Вот она показалась в дверях со сверточком в руках.

- Моя! – радостно угадала Тося. Няня протянула ей ребенка.

- Ну, как она спала? – озабоченно спросила Тося.

- Хорошо.

И хотя Тося прекрасно знала, что другого ответа не услышит: няня всем говорила так, – ей стало радостно. Она приложила ребенка к груди, ощутила его дыхание, и вся отдалась чувству щемяще-сладкой нежности.

- Милая моя... Маленькая, – прошептала Тося. Няня внесла малышкой Гали и Александры Петровны и тихо сказала, кивнув в угол:

- Ну, и намаялась женщина! Ох, и тяжело ей пришлось. Мало не померла...

Тогда Тося на секунду оторвала свой взгляд от дочки и увидела, что Аглая снова в палате. Запрокинутое лицо ее было бледным, еще резче выделялись на нем пятна и веснушки, еще больше распухли и были заметны искусанные от боли губы.

Около кровати ее на тумбочке горой лежали огромные яблоки, серый кулек. Он раскрылся, и конфеты рассыпались на салфетке.

- Кто это? – кивнула на передачу Александра Петровна.

- Да Паша чуть свет упросила меня на базарчик сбегать. Совсем баба от радости голову потеряла. Всю ночь не спала, пока та маялась. Плакала: только бы живой...

- Молоко-то у нее не успело пропасть? – с тревогой спросила Александра Петровна.

- Нет!

Паша была сама не своя от счастья. Она с утра бродила по палатам.

- С сыном, Пашенька, – поздравляли ее.

Она только голову наклоняла, не в силах говорить от переполнявшего ее чувства, и снова брела к детской, откуда ее уже гнали. Правда, сына ей показали.

- Крепак! Четыре кило триста. Это понимать надо, – одобрительно произнесла няня.

Паша так и впиалась взглядом в лицо мальчика: «А ведь и правда, на Сергея смахивает», – дрогнуло радостью сердце.

- Дай-ка мне его подержать минуточку, – попросила она.

Но няня уже сделала вид, что сердится:

- А ты иди-ка, иди! Увидит тебя Ольга Ивановна, мне же достанется. Вам, мамашам, только волю дай! Вот вечером сегодня принесут его кормить, тогда и посмотришься.

Няня положила ребенка в кроватку и даже двери детской комнаты демонстративно закрыла.

Паша села писать Сергею Максимовичу. Сначала писала по лукавому Галиному совету, а потом стало стыдно, начала новое письмо: пусть знает всю правду да! приезжает скорее.

Аглая проснулась к обходу. Сегодня, кроме Ольги Ивановны, палаты обходил и главный врач. Был он шумным и всегда вносил оживление.

- Ну как, мамаша? – опросил он Аглаю.

Тосе хотелось крикнуть, что нельзя называть ее этим словом, но врачи и сестры заслонили от нее Аглаю.

Доктор окончил осмотр, уважительно поговорил с Александрой Петровной, пошутил с Тосей и вышел в сопровождении всей свиты, шелестящей белыми халатами.

Женщины остались одни.

Еще вчера Тося решила, что и слова не скажет с Аглаей.

Молчали и остальные.

Аглая сама нарушила молчание.

- Чуть не сдохла вчера...

Женщины не ответили.

- Гребенку бы мне, – хрипловато сказала Аглая.

Галя протянула ей гребенку.

Аглая распустила свалевшуюся косу и медленно начала расчесывать волосы. Видно, и правда, трудно пришлось ей вчера: движения ее были медленными и неуверенными.

Она снова заплела волосы в жидкую косицу, свернула ее в узелок и сколола на затылке.

Возвращая гребенку, она с непонятным для Тоси выражением сказала странную фразу, словно отвечала на свои затаенные мысли:

- Было б для чего...

Александра Петровна вскинула голову и пристально посмотрела на Аглаю, но та отвернулась.

Через час зашла Паша. Она присела к Аглае на кровать. Чувствовалось, что обеим женщинам неловко.

Паша заговорила торопливо. Она объясняла, как станет заботиться о мальчике, как любит детей ее муж.

- Только ты теперь забудь о нем, – с внезапно вспыхнувшей ревностью неожиданно закончила Паша, – теперь уж он наш, Кочетов... А я тебя... Ну, от всей души поблагодарю. Вот в город поеду – кабанчика привезу.

- Привезешь? – глуховато спросила Аглая.

- Привезу, – заторопилась обрадованная Паша, – мы с мужем в достатке живем. Он хорошо зарабатывает, тракторист первой руки. Да и я не обсевок... И кабанчика привезу, и картошки по осени. А дитя чего мучить? С него одной матери хватит. О здоровье узнать захочешь – я сама тебе все обскажу.

- Да уж под ногами пугаться нечего, – хмуро согласилась Аглая и, словно отвечая на свои мысли, повторила; – Кабанчика, значит...

Александра Петровна перевела зоркий взгляд с одной женщины на другую.

- Иди-ка ты, Паша, к себе. Аглае отдохнуть надо. Паша заторопилась.

- Я, и вправду, усну, – неуверенно сказала Аглая.

- Спи, спи себе, – кивнула ей Александра Петровна. Аглая отвернулась к стене, но Тося чувствовала, что она не спит. «И пусть себе, – с негодованием подумало Тосе. – Так ей и надо. Пусть ее совесть как следует помучает... И чего это Александра Петровна с ней говорит!..»

В четыре у окна раздался голоса.

- Эй, девонька, – весело обратилась одна из подошедших женщин, – это, что ли, седьмая палата?

- Это, – откликнулась Тося.

- Аглая-то Симакова здесь лежит?

- Здесь, – нехотя ответила Тося.

- Покличь ее.

- Ей вставать нельзя, – оказала, выглядывая из окна, Александра Петровна.

Окно было высоко над землей, но постоянные посетители нагромодили под ним камней и взбирались на них, чтобы поговорить с обитательницами палаты. Освоит эту нехитрую технику и пришедшие, скоро их головы возвышались над подоконником.

Оказалось, что они работают вместе с Аглаей в одной столовой. Женщины принесли передачу, горячо расспрашивали о здоровье.

Аглая отвечала односложно, хмуро.

Да не журишь ты, – наконец не выдержала старшая из ее гостей. – Думаешь, одна на свете? Никто не поможет? Людей вокруг нет?

- Местком уже и деньги на приданое определил, – подхватила младшая. – Вот нам с Анной и купить поручили. Мы только не знали, какое одеялко брать. Ну, раз мальчишка, голубое возьмем. А заведующий сказал, в буфет тебя поставит.

Тося с волнением смотрела на обеих женщин. Они казались такими простыми и ясными, пришли из знакомого Тосе мира, где все прямо и честно.

Тося ждала, что Аглая скажет им правду, но та хмуро молчала, и Тосе со злорадством подумалось:

- Ага, не совсем совесть потеряла. Ну, молчи не молчи -все равно не поможет: узнают люди, как ты от своего сына отказалась».

Наконец, женщины ушли. Снова принесли кормить детей. Александра Петровна опять перепеленала своего малыша, а потом, накормив, даже песенку запела. Тося слушала ее милые слова, старалась запомнить. Вот и она прижмет Светлану к груди и запоеет ей так же ласково: «А баю-баю-баю! Бай малышеньку мою. Баю славенькую да пригоженькую...»

Отдавая сына, Александра Петровна обронила:

- А что, в следующий раз и Паше, поди, сынка принесут?

- Принесу, – улыбнулась няня.

Прошло с полчаса, Аглая, ни к кому не обращаясь, спросила:

- А когда это – следующий раз?

- Что? – не поняла Аглая.

- Когда ребят кормят? – рассердилась Аглая.

- В девять принесут, – спокойно ответила Александра Петровна.

- Чего-то грудь у меня болит, – с нетерпеливой жалобой сказала Аглая.
- Молоко пришло, – так же спокойно объяснила Александра Петровна. – А ты не бойся. Перегорит. Одна боль прошла и эта пройдет.
- Ты чего это? – снова вспыхнул злобный голос Аглаи.
- Ничего. Правду говорю. Вот и все... Стемнело. В прорези дверей мелькнула фигура няни.
- Няня! – внезапно закричала Аглая.
- Ну, чего тебе?
- Позови ко мне эту, как ее... Прасковью, что ли... Паша явилась сейчас же.
- Ты вот что, Прасковья, – тихо заговорила Аглая. – Я его покормить хочу. Один раз...

Паша с тревогой вглядывалась в ее лицо.
- Ты что ж, – растерянно произнесла она, – отбой даешь? Я уж мужу написала. Он уже едет, поди... А ты...
- А я что?.. Разве я от своих слов отказываюсь? Ну, раз-то покормить свое дите я могу или нет?

- Раз?
Аглая даже плонула в сердцах.
- Тьфу, ты! Говорю, раз...
- Ладно, ладно, – поспешила согласиться Паша, но для верности пошла к врачу. Ольга Ивановна выслушала ее внимательно.
- Кто же ей отказать может? Ни вы, ни я такого права не имеем...
Часы висели в коридоре, недалеко от палаты. Их бой хорошо был слышен женщинам. Вот раздался разноголосый писк малышей, которые безошибочно чувляли свое время, а затем девять глубоких ударов.

Аглая, беспокойно нахмуясь, каждый раз вглядывалась в лицо няни. Наконец, та остановилась перед ее кроватью. Спеленатый ребенок лег на правую руку Аглаи.

Тося, не отрываясь, смотрела на нее. Вот губки ребенка несмело коснулись ее груди и вдруг уверенно задвигались. Тося никак не могла понять, что выражают глаза женщины: скорее всего это было недоумение и даже испуг. Вдруг что-то в глазах ее дрогнуло, она быстро прикрыла веки и сверху на закрытых глазах вскипела и быстро скатилась к подушке слеза.

Тося подняла голову. У косяка двери стояла Паша, смотрела, как Аглая кормит сына. Наконец, не имея сил сдерживать все нарастающую тревогу, она шагнула к кровати, протянула руки.

Аглая медленно открыла глаза. Сейчас только Тося заметила, какие большие глаза были у нее.

- Уйди, – глухо попросила Аглая. – Слышишь, уйди...
Паша опустила на стул, стоявший у двери.
- Значит, все? – тихо спросила она.
- Все, – обрубил Аглая и левой рукой прижала к себе ребенка.

Тося почувствовала, что ей хочется разреваться в голос, так, как ревела девчонкой, но Паша, к ее удивлению, не заплакала, только, устало опустив плечи, твердила в горьком недоумении:

- Как же я?.. Как же я теперь буду?
Александра Петровна неожиданно для Тоси прикрикнула горевавшую Пашу.

- А так и будешь. Решила взять ребенка – и бери. Приедет твой муженек, выпишет тебя, и отправляйтесь вместе за мальцом.

Тося еще не разобралась, рада она или нет тому, что случилось. Хорошо ли, что у мальчика матерью будет не милая, ласковая Паша, а угрюмая и грубая Аглая. А может, и Аглая станет другой?

Словно в ответ на ее сомнения, раздался голос Александры Петровны:

- Тебе пока все равно который. А она ему мать. Выстрадала, Плохо ли вышло? То бы у одного мальчика мать была, а теперь у двоих будет.

Ребят унесли. Ушла и Паша. А в палате говорили все, только Тося лежала и слушала.

Говорила Галя, которая сразу и бесповоротно решила, что получилось все правильно.

Говорила самая богатая мать – Александра Петровна, пробуждая в душе Аглаи новые, еще не ясные ей чувства. Говорила и Аглая. И к удивлению Тоси, она вовсе не была такой угрюмой, злой и отвратительной, как казалась вчера. Она даже улыбаться могла, ее бесформенные губы складывались в чуть смущенную улыбку. Сейчас она рассказывала о том, как трудно ей пришлось вчера, и женщины уже сочувственно слушали ее.

Вдруг Аглая приподнялась на подушках, прислушалась. Притихли и остальные. Из детской донесся тихий прерывистый плач.

- Вроде, мой плачет, – сказала Аглая.

- Так уж и твой. Узнала! – усмехнулась Александра Петровна.

Плач затих.

Аглая откинулась на подушки, прикрыла глаза и вдруг засмеялась негромко и счастливо.

- Ой, бабы, братан у меня... Вот рыжий! Башка – чисто подсолнух. Федька... А что? Федькой и назову! Тоже, поди, рыжего колеру будет. У нас вся порода такая...



МИХАИЛ УСОВ

(1905-1990)

Михаил Васильевич Усов родился и вырос на Ставрополье, в городе Георгиевске.

Вся жизнь и творческая деятельность писателя связаны с родным Ставрополем: его горючей степью, долинами кавказских предгорий, а главное, людьми, судьбам которых посвящено все его творчество.

Герои его книг – труженики Ставрополя: председатели колхозов, комбайнеры, чабаны... «Мне довелось услышать о буранах в детстве. Страсть как хотелось попасть в бурные края. И рисовались они мне в самом немыслимом сказочном свете. Не просто степь, а таинственная страна, где и земля, и травы, и солнце, и сами люди необыкновенные», – писал Михаил Васильевич в очерке «Штормовая земля».

Сама жизнь выдвигает темы его первых стихов и рассказов: желание заступиться за обиженных, бесправных, наказать жестокость и несправедливость повергнутого класса эксплуататоров, движет пером молодого автора.

Рассказы «Музыкант», «Мкртыч», «Демобилизованный Пантелей», «Рождение селькора», «Вешки-кресты» – это попытка художественным словом показать рождение новых идеалов, рождение личности нового человека, борца и хозяина жизни.

Уважением к трудовому человеку проникнуто все творчество Михаила Васильевича Усова. Ему посвящены сотни очерков и, наконец, документальная повесть «Горячие степи», изданная Ставропольским книжным издательством в 1976 году.

В 1971 году в московском издательстве «Просвещение» вышла в свет книжка – пособие для преподавателей русского языка в начальной школе. Книга так и называется «Наш родной язык»; опубликованная в ней новелла Михаила Усова о цветущем абрикосовом дереве приведена как образец русского художественного слова, она соседствует со стихами Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Маршака, с отрывками из произведений К. Паустовского, С. Аксакова и других мастеров русской образной речи.

Семнадцать книг Михаила Усова, увидевших свет за полувековую творческую деятельность, свидетельствуют о богатстве и глубине жизненных наблюдений писателя, его трудолюбии и многогранности таланта. Рядом с рассказами для детей – лирические новеллы, полные любования миром.

Военная тема – одна из постоянных тем писателя.

В 1974 году в Ставрополе вышла книга рассказов югославского цикла «Сто дней, сто ночей». В ней писатель рассказал о ратном подвиге советских воинов-освободителей. Работая над документальной повестью «Длинные ружья» (рассказы политика), Михаил Васильевич стремился осмыслить, обобщить ряд вопросов и проблем литературного процесса.

Автор никогда не забывает: художественное произведение только тогда приобретает идейный смысл и социальную значимость, когда судьбы его героев озарены светом любви к Родине-матери. Две повести – «Сто дней, сто ночей» и «Длинные ружья» – написаны о войне, но они служат делу мира, укреплению интернациональной дружбы и солидарности простых людей земли. Рассказывая о своем творчестве, делясь своими замыслами и планами, он повторил чудесные слова Грибоедова: «Пишу, как живу, и живу, как пишу».

Михаил Васильевич – ветеран Великой Отечественной войны. За четыре военных года он побывал политруком роты противотанковых ружей, агитатором стрелкового полка, редактором фронтовой газеты «За Советскую Родину», прошел с боями в составе Южного, Степного, Третьего Украинского фронтов и достиг родных рубежей, затем воевал в Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Награжден орденом «Красная Звезда» и боевыми медалями: «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За оборону Кавказа», «Участнику Великой Отечественной войны», болгарской медалью, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Умер Михаил Усов 12 ноября 1990 г.

Михаила Усова можно по праву назвать писателем и гражданином Ставрополя: природа Ставропольского края, его люди, его история – это естественная стихия творческого мира писателя, не только дающая темы его рассказам, но составляющая его художественный арсенал.

Человек непростой судьбы, интересной биографии, яркой творческой одаренности, Михаил Усов с самых первых шагов привлёк к себе внимание литературной критики. Умение живописать портрет, выразить литературный характер в короткой, лаконичной форме – одна из черт писательского дарования Михаила Васильевича Усова.

Вся жизнь писателя подчинена творческому ритму: постоянные поездки по родному краю дают материал для новых рассказов и новых книг, общение с творческой молодежью – возможность помочь, поддержать молодые дарования словом или делом. Желание помочь, подставить руки, чтобы не ушибся, не убился – пронизывает все творчество и всю жизнь писателя.

Книги для детей – отдельная и важная страница в творчестве М. Усова. Живая природа, энергичная и лирически – задумчивая одновременно, яркая, искрящаяся, озорная и любопытная, участвует в рассказах писателя, помогая ребенку познать мир. Он умеет включить маленького человека в мир так же органично и полноценно, как это делают сами дети.

По рассказам Михаила Усова можно изучать растительный мир степей, мир красочный и звучащий своей особой музыкой; представить себе и сегодняшнюю жизнь Ставрополя, и его историю.

СКАЗ О БЕЛОМ ЛЕБЕДЕ

Еще по старинке зовут село Митрофановкой. Издавна лепятся к его плетням и огородам бело-сизые полыни и никак не могут изойти древним эфирно-горьким духом. А куда ни глянь – степь, словно по линейке захожего сте-

кольщика обрезаемая по окоему острым алмазом. Ни лесных куш, ни речных разливов. И над земной ширию – ширь небесная.

Сколько так жили в том селе – никто не считал.

Потом за околицей, перехватив поперек сухую от века изложину, грузно осела земляная плотина, по-местному – гребня. Талые воды скатывались сюда не одну весну, замачивали тугие блескучие солонцы, прежде чем с краями залили изложину.

Так не сам по себе, а по людской задумке засинел у села пруд. И словно всего прибавилось в степи: и облаков, гонимых ветрами, и серых жаворонков с их переливчатыми трелями, и ярко макового да ромашкового цвету.

А как-то увидели селяне на тихой воде белого лебедя. Сон ли это? Нет – явь! Все село на цыпочках, не подходя близко, любовалось и ахало.

Старухи, придевшись в праздничное, часами стояли, глаз не сводя с залетной красавицы птицы. Старики забывали про кисеты, не дымили самокрутками, не баловались покупными лавочными папиросами. И откуда бралась ястребиная зоркость в старческих очах?! Далеко видели залетную птицу! Теплели сердца, добрели люди. Пели девушки, пели парни, звали громко лебедя, звали прилететь из далекого края сударушку, мил-лебе-душку.

Мальчуганы, как ящерицы, подползали к самому берегу, из-за полыни и бес-смертников, во все глаза глядели и не могли наглядеться на никогда еще не виданную птицу. Как добирались к пруду, так и отползали назад становились на ноги только у сельской околицы.

Не спугнуть, сберечь красу неписаную – вот о чем думали, чего от всей души желали люди. Еще на зорьке всматривались в розовеющую водную гладь и улыбались, видя живым и здоровым лебедя.

Да отыскался среди всех селян один, у кого при взгляде на лебедя вспыхнула не любовь-радость, а волчья алчность и затмила все собой. Таясь, выбрав глухое недоброе время, подкрался он поближе...

Легко держась на воде, отраженный в ней каждым своим чистым изгибом, – лебедь был на виду.

... и хищно впрясь в добычу, поднял малокалиберное ружье. Не красоту он видел, а мясо.

Негромко стукнул выстрел. Как подрезанная, смертно поникла лебединая голова, раздались белые широкие крылья, забились по воде – и побежала волна за волной, тревожно ударила в берег...

Так не стало залетного белого лебедя на степном пруду, погубила алчность красоту неписаную. Лишь память селян навсегда сохранила в себе того лебедя, от дедов и отцов передает этот сказ детям.

ПОСЛЕДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ

Во время августовской грозы надломило акацию. Излом пересек почти весь ствол. Дерево было обречено. Оно по-прежнему возвышалось над улицей, шумело мелкой листвой, но дни его были сочтены.

Глядя на акацию, я думал: «А знаешь ли ты об этом? Чувствуешь ли приближение конца?» Дерево – не человек. Что может оно чувствовать?

И случилось: я долго не появлялся на улице с обреченной акацией, забыв про дерево.

Когда листва уже опадала, когда солнце растеряло свой жар, оказался я вновь возле акации. Бездумно, не вспоминая о дереве, взглянул на него, сразу охватив ствол от основания до вершины. И остановился, и замер. Только гляжу на акацию. На ее обнаженных ветвях в полном цвету белые кисти.

Акация цвела.

И столько красоты было в этом цветении, столько печали, что я снял шапку. Акация прощалась с жизнью. Это ее последнее цветение. У нее не будет больше весны.

РЯБОЙ СНЕГ

Густой иней, осев на ветвях, сделал сад непроглядным. Дворовый песик Шарик забежал за вишни, и его не стало видно. А до инея его можно было увидеть у самой противоположной стороны сада.

Удивительно чистым выглядел в это утро сад: снег и иней преобразили его, как в сказке.

Ближе к полудню потеплело. Иней начал осыпаться. То с одной, то с другой ветки срывалась снежная бахрома. Чем дальше, тем больше. Шорох шел отовсюду.

Что ни минута – тепла прибывало. С веток зачастила капель. Мокрые ветви словно после дождя. И с каждой срывались крупные капли. Падали на белый снег и оставляли маленькую впадинку-рябинку.

Скоро их стало так много, что весь снег в саду порябел.

ЛУГ СО ЗВЕЗДАМИ

Снег еще не всюду сошел. А вечерняя заря не такая, как зимой, особая – с прозеленью.

Солнце опустилось за край земли. Исчезли с неба веселые, как праздничные флаги на ветру, красные и золотые краски заката. Сгущаются сиреневые, синие тона, и сквозь них нежно проступает прозелень. Там, где закатилось солнце, прозелени больше, она выступает ярче, и небосвод представляется широким весенним лугом.

Смотришь на этот небесный луг с проклюнувшимися звездами и не насмотришься, и не налюбишься.

Сколько живу, столько на небо смотрю, пора бы приглядеться к нему, считать его ничем не примечательным, привычным. А вот не могу. Всякий раз, сколько ни смотри, выглядит оно по-новому.

Вот и сейчас.

СВЕТОПОЛЬЕ

Вроде все, как всегда: деревья, снег, морозный воздух. А смотреть, как это делал обычно, не могу. Веки сами по себе сходятся, закрываются. С чего бы это?

Раскрыл глаза, да ненадолго. Так и хлынул отовсюду сияющий свет. Каждый белый сугроб его щедро излучает, каждый похиленный снегом куст, белые поляны. Слепит да и только. Жмуришься, как от пламени электросварки.

Опустил глаза, смотрю под ноги, на чуть притоптанную тропинку, а от нее все тот же сияющий свет. И не могу я на него смотреть. Как до этого, как еще вчера смотрел: плющатся веки.

Теплый, ласковый свет, он переполняет собой все вокруг от дерева к дереву, от куста к кусту, от сугроба к сугробу, все дальше, насколько видит глаз, все выше до источающий свет небесной голубизны.

Вот оно, весеннее светополье.

СКОЛЬКО У ВЕСНЫ СОЛНЦ?

Еще не скоро падут первые росы, далеко еще до первого дождя – пока всюду снег. По ночам потрескивает мороз. Утром за снег не вздумайте браться – кусается. Да и среди дня он такой же недобрый, палец ему в рот не клади. Без зубов, а бойся.

Но со светопольем, с прибавления дня неприметно начал меняться снег, злость свою укорачивать. Куда его жестяная корочка делась! Снег стал мягким.

С крыш зачастила светлая капель: тук да тук, а близко к полудню – откуда у нее голос взялся – зацвиркала, забренчала в желобах, заплескалась из крышных труб. И что ни труба, то блюдечко талой воды под нею, а то и в тарелку не уберешь. До вечера сколько ее прольется!

Посмотришь в такое блюдечко – купается в нем желтое солнышко. И что ни блюдечко, что ни талая лужица – в каждой яркое солнышко. Точь-в-точь, как на бирюзовом небе, только крохотное.

Сколько же у весны солнц? Не подсчитать никому на свете.

ЧУБАТАЯ СОЙКА «ЗАИГРАЛА»

Казалось, у лесной сойки всего-то голоса на один крик хватает. Приметит кого-либо и заорет во все свое извечное: «Ке-е!»

Крикнет сильно, резко. Повторит еще. Вздернет чубатую голову с толстым клювом. С ветки на ветку перепрыгнет, на соседнее дерево перемахнет. Теперь ищи-свищи эту птицу. Ни ее, ни крику. Задалась подальше. И вроде бы у нее иного голоса нет, кроме противного «Ке-е».

Не одному мне так казалось.

Но что это?.. Вот опять...

Не пение, не щебет. Среди ветвей кто-то квохчет, пришепetyвает. Снова квохчет, вроде курлычет негромко, вполголоса, и столько в этом голосе томления, предчувствия желанного, невысказанного.

Кто бы это?

Шагнул раз, другой. Приглядываюсь и, наконец, обнаружил толстоклювовую сойку. То приподнимет, то опустит хохолок, топчется на развилке, давится. Того и гляди начнет пускать пузыри.

Может, и правду неладное вышло, поперек горла крупный желудь стал? Недолго богу душу отдать. Но страхи мои рассеялись.

Не подавилась сойка, а новый голос у нее объявился, и «заиграла» лесная птица по-весеннему.

ПЕРЕД ДАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ

Перед нашим трехэтажным домом часто сидели ласточки на проводах. Не в одиночку, а помногу. Временами, как по сигналу, срывались все разом и со

щебетом рассыпались в воздухе. Но стоило одной присесть, как на проводах появлялись десятки других. Иные, видать, недавно вылетевшие из гнезда, подолгу трепыхали крылышками, прилаживаясь на облюбованном местечке.

Весь август собирались ласточки на проводах по утрам и вечерам. Но, по-прежнему, не засиживались; чуть что – всей компанией взвивались и носились, и реяли над домами. С заходом солнца, едва начинало темнеть, все укрывались в гнездах.

Подошел сентябрь.

В одно утро провода перед нашим домом были унизаны ласточками. Ни одна не срывалась, не покидала своего места, не носилась вокруг. Даже щебет затих.

Что-то строгое виделось в застывших черных силуэтах, в том, что ласточки собрались огромной стаей перед домом, где под карнизами и в углах окон десятки опустевших гнезд.

Я не знаю, сколько так продолжалось. Торжественность минуты передалась и мне.

И вот – словно электрический ток сбросил всех ласточек с проводов, они разом метнулись, их щебет, схожий с журчанием воды, зазвучал над домом, над улицей.

Дальше, все дальше – и затих.

Это было их прощание, последний раз перед дальней дорогой они присели у РОДИМОГО ДОМА.

СИЗОКРЫЛ ОРЕЛ

Казаки пели. Пели на базарной площади, не отходя от бричек и отпряженных коней, от сложенных на сохлую землю мешков с пшеницей, ячменем, просом, картофелем.

Хотя август едва отошел, а солнце пекло по-летнему, – среди белых, серых и черных войлочных шляп виднелись шапки. Бешметы домашней пошивки, а кое на ком еще черкески стянуты у пояса узкими ремешками. Медью отливают загорелые лица, безбородые и бородатые. Суровы эти лица.

Когда хор замирал – начинало сполошно гудеть и постреливать пламя костров. Но опять росла и ширилась песня. Мужские огрубелые голоса, сливаясь, заглушали не только треск коробящихся в пламени веток. Как в немом фильме, кони беззвучно перетирали крепкими зубами овес, беззвучно отфыркивались. Базарные шумы оставляли площадь. А по ней по-прежнему передвигались брички и арбы, спешили люди.

Уж вы, горы мои, да!

Эх, ой, уж вы, горы мои...

Гудели басы. В их низком раскате слышалась человечья тепlinka – так зывают к очень близкому, к очень дорогому, чего не забыть, не отнять от сердца. А тенора и в своем численном меньшинстве не подавлялись басами, не оттеснялись ими нисколько. Со звенящей, хватающей за душу силой они и пронизывали хор, и парили над ним, уносясь дальше, все дальше – к синееющим горам.

Горы вы, кавказские,

Горы вы, кавказские!..

Ни облачка на закатном небе с огненно-красным шаром солнца.

Примолкшие на мгновение голоса вдруг снова воспряли, и хор с былинной величавостью повел свой песенный сказ.

Как под этой под горой, да!
Ге-е-е-ей, ой! Да под этой, братцы,
под горой
Течет речка быстрая,
Течет речка быстрая.
Как над этой над рекой, да!
Ге-е-е-ей, ой! Да над этой
над рекой
Вырос куст ракитовый,
Вырос куст ракитовый.
Как на этом на кусту, да!
Ге-е-е-ей, ой! Да как на этом, братцы,
на кусту
Сидел сизокрыл орел,
Ой, сидел сизокрыл орел.
Басы и тенора слились в сплошном, медленно затихающем звуке.
«Си-зо-кры-ыл о-оре-е-е-ел...»
Огненный шар, плющась снизу и сверху, опускался за лиловый край земли.
Сизые громады казались орлиной стаей, слетевшейся на недолгий ночлег.
Мы, мальчишки, видели только этот внезапно смолкший казачий хор, до которого всего шаг, видели сизые, фиолетовые горы – поди-ка, дойди до них! И необычные, еще не осознанные чувства томили и тревожили нас, куда-то звали. И каждое маленькое мальчишье сердце пело о сизокрылом орле.
С того давнего времени горы и орлы навсегда слились в моем представлении, стали частью единого – Кавказа.

ЗЕЛЕННЫЕ И БЕЛЫЕ ЭТАЖИ

Прошли мои ученические годы, за ними след в след немало других, а горы для меня все так же были недоступны, как в детстве. По-прежнему, не сдвигаясь ни на шаг, они стояли на южной границе земли. И не убавлялась их притягательная сила.

Словно со стороны, часто замечал за собой – стою лицом к горам.

Наконец, поднялся на ближние, отдельно стоящие среди равнины горы у Пятигорска, в безлунную полночь, минута в минуту, взошел на Машук, когда еще не было над нею телевизионной вышки. С опаской карабкался на Змеевую: людская молва приписывала ей множество ядовитых гадов. Стрелял в терновниках Лысой серых куропаток. Как вспомню – сейчас же в ушах рванется их вполосный крик: «Чир-гик! Чир-гик! Чир-гик!»

Эти горы в соседстве с полями были отделены десятками верст от белых исполинов Кавказа.

Чем больше прибавлялось мне лет, тем желаннее казались таинственные вершины, подпирающие небо. Ведь неувиденное и далекое всегда хранит в себе тайну, пусть известную многим, но для тебя сохраняющую всю свою непознанность.

И вышло так, что мне предложили переехать в город близко от Теберды. Жизнь великолепна сюрпризами, без них она многое бы потеряла, стала бы беднее.

Можете представить мое состояние – как по щучьему велению, по моему хотению распахнулась дорога в заветный мир моего детства! Жизнь, что про-

вела горьким резцом не одну мету на моем лице, теперь непостижимым движением сглаживала их.

Глазами и слухом, всеми своими чувствами воспринимаю живые впечатления. И ни на одно мгновение не оставляет меня праздничная приподнятость и одухотворенность.

Каменные стесы. Охряно-красные пласты.

Стремительная бирюза Кубани.

Бурлящая белизна у скал и валунов, дерзнувших оказаться на речном пути.

Тончайшая фиолетовая дымка солнечной дали.

Ничем не замутненная небесная синь. И воздух, которым нельзя надышаться, которым дышат не только легкие – все тело, каждая его неприметная клеточка.

По пути в Теберду и Домбай мне открылась зеленая мощь горных лесов. Деревья стояли на обочине, как отлитые из бронзы, и расходились по ущельям, по распадкам, взбирались на склоны, на скалы – к снегам.

Какое богатство деревьев! Сколько их всяких и разных перед моими глазами!

Светлые листвою, белокорые березы опоясывали поляны. Литые буковые великаны держали на плечах тяжелую крону. Темной сплошной непроглядной чашей громоздился ельник, пихтач. Охряно-желтыми, словно подсвеченными изнутри, вздымались сосны с хвойными ежами на маковках.

Как давних хороших знакомых узнавал я дубы с их богатырскими плечами-ветвями, с их узорчато-резными листьями. Не мог сдержать улыбки при виде дикуши-яблони, а рядом с нею поменьше ростом кизил и орешник.

И тут мне открылись созданные без участия человека вековые этажи.

Первый – зеленый, из всех оттенков леса от подножий и долин, альпийских луговин и пастбищ до снежной границы. Второй – белый, из снегов и льда.

Эти этажи не разделяла точная, на одной высоте грань. Зеленые клинья леса прорывались к вершинам, выбрасывали, как свои десанты, купы деревьев и кустарников. А белые безжалостные кинжалы снега здесь и там пронзали лес. Камнепады не давали поднять головы молодой поросли. Осыпи обезображивали склоны. Гибельные опустошения наносили лавины. Сорвавшись, тысячетонная снежная громада со скоростью пушечного снаряда падала на лес.

Два этажа – жизнь и смерть в их вечном борении.

ЛЕСНОЙ ДЫХ

Прежде чем увидеть оленя, я услышал его голос.

Должен оговориться: до этого приходилось мне рассматривать снимки кавказского оленя, читать описание – как он выглядит, что у него за ветвистые рога. Да мало ли что можно было вычитать об этом лесном красавце! Но то было книжное знакомство, не выходя из дома. Так узнаем мы про нильского крокодила, австралийского кенгуру, индийского и африканского слона.

Теперь же я находился в лесистых горах, где олень жил на воле. Может, под теми купами высоких деревьев? Или вправо от них? Или влево? Может, подальше? Лес скрывал гигантскими зелеными бурками безымянные горы, ущелья между ними выглядели изломанными складками.

Из этого леса, из его зеленых темных глубин и докатился до меня впервые услышанный звериный дых.

Ни одна хвоинка не качнулась, ни один лист не затрепетал – лес стоял недвижно, как горы. Но в том живом вздохе чувствовалась и чащобная мощь, и твердь сокрытых гор, и рев водопада.

Нет в человеческом языке словосочетаний, способных передать этот протяжный, с придыханием звук.

Все во мне обращено к нему, ни с чем не схожему звуку.

И вновь тот же дых, вырвавшийся грозно и страстно, несдержимо, как лавина.

Распадки и ущелья – все внимало, все слушало лесной голос.

Так, не видя оленя, я впервые услышал его в один из октябрьских дней в Теберде. И звук его – где и стон, и зов – живет во мне.

ГЛАЗА, КАК ЧЕЛОВЕЧЬИ

Оленя я увидел за оградой. И, хотя меня предупредили, встреча вышла почему-то неожиданной. Трудно все-таки внутренне подготовить себя к тому, чтобы увидеть оленя как обычного быка.

Медленно продвигался я вдоль изгороди из крепких досок и столбов, обходя деревья и камень. Непроизвольно, словно повинаясь чужой воле, взглянул – и замер: в пяти шагах, подняв голову, стоял олень.

Вздрогнув, мгновенно охватил взором лесного зверя. Ничего схожего с испугом не было в позе будто изваянного из камня оленя. Глаза его – карие, почти черные, бархатные от влажного блеска и ресниц, человеческие, – не мигая, смотрели в мои, не отпуская от себя.

Время исчезло для меня – видел только оленьи глаза.

Человек и зверь стояли друг перед другом, ничем не выказывая враждебности, ничего не предпринимая. Любование и восторг наполняют меня с каждым новым мгновением. Как же красив олень с его суховатой точеной головой, увенчанной ветвистыми рогами! Сколько в нем достоинства, сознания собственной силы.

Мои ноги сделали шаг... второй к изгороди.

Олень, приняв это за вызов, пошел навстречу. Весь он сейчас, от резких копыт до каждого мускула, собран в одно – движение. Склонив голову, с сухим треском ударил рогами об изгородь, разделявшую нас. И в такой позе не спускал с меня чуть вывернутых с пробелью глаз.

Не найдя во мне достойного соперника, олень легко вскинул голову с черными ноздрями, повел ушами, отошел в глубину загона – и затрубил.

Бывает, привлеченные трубным зовом, к самой ограде выходят робкие оленухи. Как завороченные, смотрят они на красавца с запрокинутой в реве головой.

...Пришлось как-то вдвоем с товарищем идти в горы. Осенний лес удивительно тих. Лист, оставляя ветвь, бесшумно и бережно ложится на землю.

Повинуясь тишине, медленно продвигаемся к распадку. Товарищ скрылся за мшистой скалой. Чувство одиночества заставило меня ускорить шаг. Молчаливые деревья настораживали. Все бы оглядывался, словно ожидая опасности со спины. Древнее чувство, роднящее человека со зверем: погоня по следу, скрадывание, прыжок сзади...

Фигура товарища открылась вдруг, вселяя в меня радость. Не успев ее выразить, я ощутил тревогу от того, что он стоит неподвижно. Не оглядываясь, сделал мне еле приметный предостерегающий знак – остановись!

Замер.

Не слышу своего дыхания. Смотрю туда, куда направлен взгляд товарища. Стволы, стволы, сплетение ветвей с редколистьем. Сумрак за деревьями.

Ничего другого, кроме лесной чащи.

И не могу поверить, что-то побуждает меня еще и еще напрягать зрение, всматриваться в каждое дерево...

Стволы... стволы... сплетение оголенных ветвей...

Медленно перевожу взгляд на товарища – рука его теперь поднята. Следую молчаливому указанию.

Готов, кажется, к любой опасности. И тут, словно сняв пелену с глаз, увидел оленя, его силуэт, слитый с осенними красками леса. Но глаза – человечески глаза зверя приковывают мой взор, держат вновь в своей власти.

Безмолвные, не делая ни одного движения, стояли мы – трое, как будто соединенные взглядами. Два человека и лесной зверь.

ЗВЕЗДА НА СНЕГУ

Безлунная ночь. Горы заслонили все, лишили горизонта. Над головой, суженное белыми вершинами, черное просиненное небо. Крупные, ярко блестящие звезды.

Сколько ни гляжу – не могу узнать ни одну. Я привык видеть звезды над степью на своем раз и навсегда определенном месте, а в горах все иначе. Не могу даже отыскать Большую Медведицу с ее семизвездным черпаком.

Первое впечатление неизгладимо. Так и запомнились мне звезды в безлунных горах – черное небо, вздыбленные к нему горы – крупные незнакомые светила, за ними – блестящие мелкие.

Крупные выглядели близко, рядом с вершинами. Одна из звезд касалась гребня, полыхала на снегу, как костер альпинистов. И дерзкая и пугающая мысль толкала вскинуть рюкзак, взять ледоруб и подняться туда, к звезде.

Чувствуешь в себе могучие силы. Пожелай – и будешь там. Никаких сомнений и раздумий, предостерегающих голосов.

Захватывает дух. Восторг и дерзание. Еще мгновение – и ты пойдешь. Глаза не отрываются от звезды, от черноты неба. Ты чувствуешь вселенский леденящий холод, он проник в тебя сквозь одежды, сразу пронзил всего, остановил дыхание.

Полыхает звезда.

Негнущее бездымное пламя на снегу. Что за непонятная сила влечет тебя к далекому гребню с неземным огнем? Что?

Задал себе вопрос – и исчезла, как не была, эта сила, и разрушилась ее власть. Отошел от сердца холод.

Слышишь, как стоголосо шумит по валунам река. Безмолвны горы, наполовину черные от елей, от пихт. Высоко на снежном гребне, как на альпинистском привале, полыхает звезда-костер.

ОЛЕНЬ ВЫШЕЛ К ЛЮДЯМ

По-разному звонят телефоны.

Той ночью внезапный резкий звонок заставил меня вздрогнуть и схватить трубку.

Кто первым увидел оленя – не установишь: на шоссе стоял лесной обитатель.

Едва ли кого здесь можно удивить зрелищем дикого зверя. Не только мужчины, перегоняя овец и коров, кося сено или вывозя древесину, встречались с оленем. Женщины и дети, собирая ягоды и грибы, наталкивались на пасущихся самцов и самок. Лишь во время оленьего рева, когда рогаги готовы наброситься на все живое, что приблизится, люди избегали встречи с ними.

Но это время давно отошло, горы еще не сбросили со своих плеч снег, лес не оглашался свистами певчего дрозда, глуше шумела река. А там, где темнел асфальт, где обычно проносились автомашины – теперь стоял ветвисторогий олень. Его не отпугивал едкий запах бензина и солярки.

Подняв голову, он смотрел вдаль на темное шоссе, на изгороди из тонких древесных стволов и каменные кладки тяжелых оград, на белые дома. Черные влажные его ноздри вздрагивали, ловя запахи печного дыма, приносимого ветром.

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Недвижны небольшие белые облака. Они даже не меняют своих очертаний.

Теплый солнечный свет заполняет все: от этих облаков до темной, кое-где заснеженной земли. Свет – сияющий, лучезарный – во всем и всюду. От этого еще шире раздался мир, стал необъятнее. Этот свет во мне, он вливается с дыханием, вбирается каждой клеточкой тела, его, щедро принимают и излучают глаза.

Чувство слитности с природой пронизывает меня, как этот сияющий свет.

И не верится, что еще зима. Пускай будут метели, будут морозы. Свет прибывает!

БЕЗ СОВЕСТИ

Сайгакам – горбоносым степным антилопам – без степи не жить. Им дай равнину, да непаханую, и чтобы по ней – хоть шаром покати. Всего-то они пугаются, даже самую реденькую лесную полосу издалека обегают.

Но беды, вышло, не избежать. Такой бедой для сайгаков явился буран. Завалил он пастбища снегом, заковал гололедом. Хлынули тогда сайгаки, табун за табун, из глухих прикаспийских степей.

Бегут день, бегут ночь. Мимо кошар. Мимо чабанского жилья. Дальше, все дальше – на юг, на юго-запад.

Кончились Черные земли.

Бегут по полям. Мимо соломенных скирд. Подальше от лесных полос. Через проселки, через грейдерные, с кюветами, дороги – в спасительную сторону.

Один табун, подгоняемый бураном, пошел прямо через село. Хаты, дворы, дощатые заборы и каменные из бута ограды, обмерзшие ака

ОРЛЫ СЛУЖАТ ЧЕЛОВЕКУ

Орлы обитают не только в горах. Немало их в степи. В отличие от горных орлов и зовут их степными.

Сядет такой орел на стог сена – издалека приметен. Темнеет на вершине. Час пройдет – орел все на том же месте, два пройдет – все там же. Будто окаменел. Да что он, заснул?

Двинешься к стogu. Орел молча расправит метровые крылья, взмахнет ими не спеша, а – вон уже где! То в степь к дальним стогам направится, то к курга-

нам. А то без единого маха начнет кругами уходить в поднебесье. Только что огромный, темно-коричневый величаво плыл над тобой, – и уже стал точкой.

Царем среди птиц величали орла в старину. А теперь «царя» заставили слушать человеку.

Проезжаем по степям за Манычем. Редко где заметишь приземистые стога. А это что? Засохшее дерево? Откуда ему здесь быть? Да и ветвей не видно, только всего – неширокая перекладина.

Поодаль еще засохший ствол с перекладиной. А на ней – орел. Да, орел! Его неподвижная темная фигура не меняет своих очертаний.

Неожиданно раздались могучие крылья, и орел, снижаясь, ринулся к земле.

Он ловил сусликов.

Не засохшие деревья стояли в степи, а шесты с перекладинами. Их расставили люди.

Отсюда, как с вышки, вся степь перед глазами. Появится из норы суслик, отбежит в сторону, а орел уже падает на него сверху или перехватывает у входа в подземное убежище.

МОРСКОЙ ВОРОБЕЙ

Удивляйтесь – не удивляйтесь, а встретил я такого воробья: морского.

Отдыхал в Сочи. Проводил время у моря, на пляже. Иду как-то, любуюсь на море, на быстроходные моторные лодки- глissеры. И тут попалась мне на глаза пичуга: всего с малый огурец.

Показалась она мне незнакомой. Вертится у самой воды. Волна с белым гребнем хлестнет на берег, вмиг его прикроет. Тут бы, казалось, и пичуге конец. А она, будто оттолкнулась от волны, – на метр отскочила, стоит себе как ни в чем не бывало.

Ловко, думаю. Ишь отчаюга!

Что же дальше будет?

Волна засипит и отхлынет. А пичуга тут как тут: скок-перескок. Так у кромки воды и толчется.

Волна снова изловчилась – хлесть по пичуге... У меня сердце замерло, где же теперь ей увернуться?! Даже пожалел: мала, да удала.

Глядь, а пичуга – пырх от волны и еще в какой-то миг успела клюнуть что-то среди мокрых голышей. Отскочила и занялась трофеем. Тюк-тюк по нему, тербит клювом.

У моря трофей взяла! Ай да молодчага!

Не хватило у меня выдержки – шагнул я к пичуге. А она от меня деру, а сама по-воробьиному: «чирик-чирик!»

Выходит – не только у элеватора, не только у поля воробей кормится. Кормится он и у Черного моря.

Молодец, бестия! Где хочешь проживет – не пропадет

БАБА-ПТИЦА НА МАНЫЧЕ

Баба-птица?

Есть такая, зовется она еще – пеликан. Ни с какой другой птицей – дикой и домашней – несхожа. Гусь не гусь, индюк не индюк, а сама по себе. Копна

копной, здоровенная. Тем более, когда крылья расправит, – они у нее более чем метровые. А ноги-коротышки, ходит с перевальцем. Лапы с перепонками, как у гуся или утки.

Но главное отличие – это голова с преогромным клювом. Под клювом что-то вроде кожаного фартука или мешка. И на такой большой птичьей голове – маленькие, пуговичные, глазки.

Ну и птица! Чучело огородное. Однако на воде ловка, куда как плавать горазда.

Отправляясь на Черные земли, заехали мы к рыбакам на Маныче. Они только что свежий улов доставили: пол-лодки завалено сазанами. Еще хвостами нет-нет да шлепнут, шевелятся, чмокают.

А за лодкой, на отмели, четыре огромные птицы с длинными клювами, с несуразными кожаными мешками. Шествуют одна за другой, важно так, степенно. Вышли из воды на ил, дальше – ни с места.

- Своей доли ждут! – смеются рыбаки.

Один рыбак выбрал из груды сазана, швырнул его птицам. Брякнул сазан в ил, весь грязью, измазался. Следом еще десятка полтора-два рыбин оказалось возле птиц.

И началось: каждая из них без толкотни, без давки подходит к добыче, важно берет по рыбине и, держа ее в клюве, возвращается к отмели.

«Что это они задумали? – недоумеваем. – Назад в Маныч, что ль, будут рыбу пускать?»

И глаз не сводим с пеликанов. Что дальше?

Каждая из птиц заходит в воду, опускает гибкую шею, окунает сазана и давай его полоскать. Только брызги летят.

Не стерпели мы – хохочем: ай да здорово!

Пеликаны знай свое делают – полощут сазанов. Отмоют добела, ни пятнышка грязи. Тогда схватят рыбину за голову, глоть целиком. После водой запьют.

И снова за очередного сазана. Опять моют – полощут, добела доводят.

Рыбины четыре, а то пяток на брата – пеликаний завтрак.

С поздней весны живут эти дикий птицы у рыбаков. Привыкли к людям. На речных плесах день-деньской, а завидят лодку – сейчас же заторопятся домой, к рыбацкой стоянке. Знают – и на их долю достанется улов. Какой же пеликан откажется от свежей рыбки! Какой из них мимо рта ложку пронесет! Он же – заядлый рыбоед. По длинному клюву с кожаным мешком, куда пеликан рыбу складывает, догадаться можно.

АВДОТКА

По-разному знакомишься с птицами.

В августе, а иногда и раньше, в конце июля, в тихий и теплый вечер вдруг услышишь одинокий возглас, он словно опустится сверху на землю.

Насторожишься – прислушаешься.

Вот опять.

«Ку-у-лик?..»

Словно кто-то спрашивает знакомых и незнакомых, дает знать о себе.

Еще не отгорела вечерняя заря, не сгустились сумерки, переходя в ночь. И тишина, прозрачная, невесомая.

Оглядываешься, небосвод без единого облачка, а если и заметишь какое, то на западе, как прощально вскинутый платок уходящему на покой солнцу.

Пустынна небесная ширь.

И опять:

«Ку-у-лик?...»

Слегка передвинулось влево. Кто-то живой допытывается о живом, затерянном в этом мире. И так по-птичьи потянет на этот негромкий с печалинкой возглас.

Вскинешь голову, кажется, ты готов взлететь, встретиться с теми, кто уже в пути, кто отправляется куда-то далеко.

Пусть еще лето и всюду вокруг теплая земля, а птицы покидают нас, прощаются с гнездами, где они вывели птенцов и обучили их свободному полету.

Не в каждый августовский вечер твоего слуха коснется чье-то птичье приглашение лететь с ними, в одной стае. И совсем редко, как награда, откроется твоему зрению недлинная цепочка пернатых странников. Летят в безбрежности.

И снова этот тревожный протяжный возглас.

«Ку-у-лик?...»

В детстве я допытывался у отца, кто это, какие птицы?

- Кроншнепы, — не сразу отвечал мне отец, — они раньше остальных отлетают от нас.

- А почему так рано, ведь еще тепло?

- Чуют зиму, вот и улетают.

- А как они чувят, а мы нет? — огорчился я.

Сколько лет минуло с той вечерней встречи с птицами! А память крепко держит и протяжный крик в вышине, и цепочку летящих одна за другой пернатых путешественниц, и тепло замирающих августовских сумерек...

После войны зачастил я в командировки к чабанам на Черные земли, в примоздокские буруны — песчаные полупустыни. Всюду оголенные бугры, а где и жесткие кусты перекасти-поля, верблюжьей колючки, песчаного овса, пепельно-сизой полыни, красноватых солянок.

На подъезде к чабанскому жилью заметил как-то незнакомых мне птиц ростом с голубя, может, даже поменьше — с чибиса. Но что привлекло мое внимание — очень шустрыми оказались незнакомцы, словно шарики из перьев перекатываются по буграм, по низинам и вмиг скрываются среди скудной растительности.

Пробовал разыскать, а они как сквозь песок провалились.

«Да не зарылись ли они от меня?» — сам себя допытываю. Но нет, вот метнулся пестрый шарик от куста к кусту, покотился по ложбинке и опять провалился, исчез из глаз.

Поспешил к заприимеченному кусту, подбежал к нему и только чуть не наступил, как выскочила загадочная птица, покатила прочь. Глаза у нее, оказывается, совершенно круглые, как у совы, а вокруг каждого глаза еще ободок. Сразу подумалось, а не ночная ли это птица, иначе к чему ей такие совиные глаза?

Знакомый колхозный бригадир подтвердил.

Днем редко заметишь, может, что вспугнет их, но едва настанут сумерки — откуда они объявятся. Взлетают, гоняются, кружат в воздухе, писк поднимают.

И всю ночь суматошатся, когда-когда уgomонятся, пить-есть им также надо. Где овцы утоляют жажду, там и они напьются.

Чабаны круглоглазых птиц не обижают, относятся к нам, как к скворцам и жаворонкам, обычным здесь птицам, но точного прозвища, имени их не знают, то, мол, ученым известно, может, еще зоотехник скажет.

Зоотехник при встрече лишь пожал плечами: мало ли каких птиц на свете.

Тогда, в ту поездку к чабанам в буруны, услышал я в степных сумерках, переходящих в ночь, знакомый мне с детства печальный птичий возглас: «Ку-у-лик?» Через какое-то время он повторился.

Приметил и цепочку пернатых странников, летящих в безбрежности.

«Так вот оно что, — подумалось мне, — это голос птицы с круглыми совиными глазами, а вовсе, выходит, не кроншнепа».

Зовут диковинных птиц с круглыми глазами авдотками. Впервые услышав, подивился я такому редкостному прозвищу, а почему так их зовут — не знаю.

ВАСЬКИН «ДЕТСАД»

Поначалу намеревался я назвать то, что сейчас пишу — «Васька с чердака». Лучшего названия не приходило на ум. Вроде здесь самое главное, самое существенное в жизни этого обычного домашнего животного.

Да, забыл сказать, что речь идет о коте с неизвестной родословной и мало чем привлекающей внешностью — не черный, не рыжий, а бурый с полосками и пятнами.

Ну что за важность — знакомый не одному мне кот обитает на чердаке?

Но это недавнее место его обитания — сперва он жил в квартире, как говорится, со всеми удобствами: имел широкий подоконник, где приятно припекало солнце, неподалеку стоял мягкий с пружинами диван, питался с тарелочки.

Хозяйка, учительница Зинаида Петровна, всегда находила время пощекотать ему шейку, и выбить подстилку, и накормить Ваську, а когда кормила, то не молчком, а с разговором. Разговор, как вам понятно, вела Зинаида Петровна, на долю Васьки оставалось поводить ушами, настораживать их на хозяйкин голос, иной раз подойдет и головой ткнется об ногу или руку, то молчком, то с мурлыканьем. Засиживаться в комнате не засиживался, чуть что — за дверь. Не только в доме, где жил, не позволял появиться мышам, но и у соседей.

Положительный, с достоинствами кот. Не чета коту у другой моей знакомой. Мышей он не замечал, даже носом, не поведет, не то что понюхать. С этим котом я познакомлю вас попозже, а пока о Ваське.

Все-таки подлинным властелином Васькиных чувств и, надо полагать, дум был единственный сын учительницы — Андрей. Бывает ничем как будто необъяснимая привязанность. Ни одной царапинки от Васькиных когтей не знали его руки, хотя подросток не прочь был опрокинуть кота на спину и щекотать нещадно, а то взять кота за ноги и закинуть себе хомутом на шею, побегать с ним по комнате. Пинков же, тем более трепки, не ведал кот, привык к обходительному обращению.

Случилось непредвиденное: подросток погиб в автомобильной катастрофе. Горе матери не знало предела. Какие-то силы не дали матери лишиться рас-

судка. Все, что принадлежало сыну, было связано с ним, хранилось теперь матерью, оберегалось от всего, что могло нанести ущерб.

Васька бродил неприкаянно, останавливался у кровати Андрея, подолгу сидел или лежал на полу. Посмотреть на него – спит, а глаза приоткрыты, уши приподняты – выходит, что ждет, не может смириться с отсутствием молодого друга.

В ту пору Васька и перебрался на чердак, да не своего дома, а того, что напротив через двор. Зинаида Петровна день его не видела, второй. Забеспокоилась. Дверь в квартиру оставляла полуоткрытой на цепочке, не убирала тарелочку с едой.

Кот не появлялся, словно забыл сюда дорогу.

Зинаида Петровна глянула как-то по привычке в окно и уже не может отойти – нашелся Васька! Выбрался на крышу, лег на брюхо, а голову положил на передние лапы и смотрит на ворота с калиткой.

У матери думы-печали одни – о сыне, потому решила, что Васька его подкидает. Бывало, встретит Андрея, замурлычет и ластится – трется то одним бархатым боком, то другим о мальчишьи ноги.

Заторопилась выйти из квартиры, позвала Ваську, выговорила за долгое отсутствие:

- Пойдем домой, пойдем! Где ты пропадал?

Васька нисколько не одичал, не отвык от хозяйки – подчинился ей.

Дома не кинулся к тарелке, а подошел, как всегда, степенно. Надолго не задержался, снова ушел на чердак.

Время от времени, чаще по утрам, проводывал хозяйку, бесшумно следовал за нею из комнаты на кухню и обратно, терся боками о ноги. Посещение заканчивалось завтраком, затем опять уходил. Двора избегал – торопился скорее пересечь, потому что в него могли бросить камень или палку, а то и криком испугать, захлопать в ладоши. Заступничество Зинаиды Петровны не помогало, вело к перебранке.

Как бы ни была занята Зинаида Петровна проверкой ученических тетрадей, подготовкой к урокам, – да сколько этих забот у любой учительницы! – но мимо окна не проходила без того, чтобы не заглянуть па крышу.

Как-то глянула: Васька, ее Васька показался из чердачного лаза, поминутно оглядываясь, словно приглашает кого-то последовать за собой. Не сразу увидела она котенка, маленький серый комочек, а поотстав от него – еще двух.

Васька дождался, когда все три котенка, пуливно пластаясь, выбрались па крышу, подбадривая, лизнул каждого, кого вдоль спинки, кого в мордашку. Лег на бок – котята к полосатому боку припали.

Зинаида Петровна глазам своим не верит, ведь так котята ведут себя у материнских сосков! А Васька не вскакивает на все четыре лапы, не ощеривается, не шипит сердито на малышей, позволяет им копошиться у своего брюха. Лишь голову приподнимет да глянет, может, что и промурлычет, только Зинаиде Петровне не слышно.

С того дня не одна Зинаида Петровна, но и другие жильцы видели Ваську с котятами. Чаще в солнечную погоду. Васька всегда впереди, котята дичатся, идут с оглядкой на темный чердачный лаз, готовы чуть что дать стрекоча. Не от сладкой жизни это делается, много еще зла вокруг. Вся защита – Васька, и не отхо-

дят от него малыши. Чем он их кормил, никто толком не знал. Были упитаны и пушисты, как положено в их возрасте. Собьются в кучку – разбирай тут, чья лапка, чей хвосток. Разнежятся от жаркого солнца, кажется, не будет конца сну-дремоте. Глядь – возьятся, задними ножками один другого шпыняют, один дру-гого оседлать хотят, подмять под себя. Васька тут же, рядом, благодушествует, поглядывает на шалунишек через глазные щелочки. А то прогулку на крыше устроят. Васька опять-таки впереди, котятя следом.

Взбредет кому-либо из жильцов запустить камень – другие заступятся: на-шел, мол, в кого – в малышей! Это же детский сад из котят!

Пристыдят и одернут.

Васька не забывал старой квартиры, по-прежнему мурлыкал у ног Зинаи-ды Петровны, задира л голову, подставляя шею для щекотанья, не оставлял без внимания знакомой ему тарелки. Считая визит законченным, направлялся к две-ри. Хозяйка его не задерживала, как можно: у Васьки столько забот. К трем котяткам еще один покрупнее прибил, или его Васька привел. Откуда у него страсть к розыску бесприютных малышей, к стаскиванию их на обжитой чер-дак? Каждый требует пригляда, всех надо обогреть и накормить.

Сейчас кстати вернуться ко второму коту у другой моей знакомой. Мало того, что он наперекор своей кошачьей породе не ловил мышей, был к ним глух и равнодушен. Этот кот не выносил детей, а когда они пробовали поиграть с ним – бил их лапами, когтил и кусал их не на шутку. Стоило же ему увидеть котенка, как глаза у него вспыхивали, дыбилась шерсть, а морда вся перекашивалась и что-то дикое из визга и мяуканья несло из ощеренного рта. Все, и взрослые, пугались. Держать такого в семье с детьми было небезопасно.

Почему-то зверовитого кота звали ласкательно Барсик.

Говорят, ночью все кошки серы. Но черных не всякий глаз приметит в темно-те, а белые выглядят как они есть. Еще больше не схожи кошки по своему харак-теру, по тому, как они ведут себя в жизни. Взять хотя бы Ваську и Барсика.

Васька спустя год и спустя два и три продолжал разыскивать брошенных или осиротевших котят, стаскивать их на свой чердак. Подросшие его воспи-танники разбредались, переселялись в квартиры, а Васька возился с малыша-ми, не отвлекался от добровольно принятых на себя забот.

Жильцы, даже те, кто не прочь были запустить камень или палку в кота, смот-рят теперь на него как на дворовую достопримечательность, гордятся Васькой.

ЯНТАРНЫЙ ВЕЧЕР

Вечерняя заря была как из самого чистого балтийского янтаря. Глазу не на-смотреться. Есть что-то завораживающее в желтом закатном небе.

Безмолвно стоят тополя. Янтарь, опав с деревьев, лежит на траве, на дорожке.

Прозрачно-холодный воздух с желтинкой, с отсветом волшебного камня.

Сказочный вечер!

И хочется, чтобы каждый увидел его недолгую красоту. Остановился бы на пороге квартиры, на улице, у окна, и, забыв обо всем, смотрел и упивался чу-десным осенним закатом.

ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ ПЕРЕВАЛЫ

Застал нас октябрь в Алибекском ущелье на Кавказе. Первые бураны уже успели замести перевалы. Путь через них закрыт.

-Что это? – в голосе товарища удивление.

Через поляну, поверх зеленых полей, россыпью летят ласточки. Видно с первого взгляда. Знакомые – черные, с белей грудкой, мчат изо всех сил. Круглые головки вытянуты, острые крылья с каждым махом толкают вперед птичьи тела. Ни одна ласточка не взметнется в сторону или ввысь, не сделают круга в поисках пищи, – все усилия направлены к стремительному полету – на перевалы. Не слышно веселого щебета, летят молча.

Глаза наши вглядываются поверх елей, силятся не выпустить бесстрашных маленьких птиц. Но даль успела их скрыть. Лишь белые громады Эрцога и Сулахат вздымаются к небу. И сюда, на заснеженные перевалы между этих гор. Летят ласточки.

Что их ждет? Морозная тишина? Обжигающий холодом ветер?

Мы долго и молча смотрим вслед умчавшейся стае.

Там, за горными перевалами, – Черное море, теплая земля.



КАРП ЧЕРНЫЙ

(1902 – 1985)

Есть люди, которые живут и работают не для славы и не для денег, не для власти и не для наград. Им интересно и радостно просто делать свое дело – любимое дело. Тогда без особых усилий приходит уважение окружающих и остается добрая память. А если у такого человека есть ученики, то в них живет и воплощается частица души учителя. Таким был Карп Григорьевич Черный.

Он родился 26 октября 1902 года. На годы его юности выпало самое сложное и противоречивое время в жизни нашей страны, одновременно и страшное, и романтическое. Надо было обладать врожденным чувством любви к жизни, чтобы выйти из этого времени нравственно здоровым, сохранив светлые и чистые представления о человеческой личности с ее собственной судьбой и повседневными переживаниями. В молодые годы он, воодушевленный идеями освобожденного труда и счастья для всех, был комсомольцем и красноармейцем, но никогда не испытывал “торжества победителей”, видя несчастье поверженных врагов. Эти свои “неидеологические” переживания он затем вложил в образ Герасима Долгова – героя книги “Мать – доброе сердце” (1983).

Энтузиазм революционного времени увлекал напряженностью чувств, размахом и максимализмом идей, хотя участвовать в революционных боях ему не пришлось. Да и натура его отличалась вовсе не боевым духом, а скорее склонностью ко всеобщему примирению, к мирным, спокойным занятиям.

Еще обучаясь в высшем начальном училище в родной станице Новоджерелиевской Краснодарского края, он влюбился в поэзию, в литературу, особенно классическую. В 1922 году экстерном сдал экзамены за среднюю школу и поступил в Краснодарский педагогический институт на филологический факультет. Дальше – все по биографии страны: работал учителем в разных школах (провинциальная армянская, экспериментально-трудова, опытно-показательная), затем, после окончания аспирантуры в 1933 году, преподавателем только что основанного Ставропольского педагогического института, где тогда было всего четыре “отделения” – факультета. До конца жизни Карп Григорьевич верно прослужил на педагогическом поприще, вырастив сотни воспитанников-филологов, учителей русской литературы. Он был среди тех немногих первых организаторов высшего образования на Ставрополье, кто осуществлял становление вуза и кто вложил в это учебное заведение дух гуманизма, нес стремление к высоким идеалам и принципы глубокой порядочности как среди коллег, так и в отношениях между преподавателями и студентами. Еще до войны он стал деканом факультета, долгое время заведовал кафедрой литературы.

Военные годы с начала и до конца Карп Черный провел на фронте. По слабости зрения он получил “небоевую” должность интенданта. Но на войне не было легких профессий. На отдыхе и в бою, в частях резерва и на передовой он добросовестно обеспечивал бойцов довольствием. Война осталась у него в памяти как тяжелый повседневный труд, где подвиги совершают просто, потому что это необходимо. Военные впечатления стали материалом книги “Звенья” (1972) – рассказов не о стратегии войны, а о “стратегии” обыкновенных человеческих души, удивительных по способности хранить светлые чувства в самом страшном мраке войны. Вернулся Карп Григорьевич с орденами “Красной Звезды” и “Отечественной войны” II степени и медалью “За победу над Германией”.

Карп Григорьевич Черный прожил долгую и на редкость полноценную жизнь. Все, что выпало на его долю, он исполнил с абсолютной отдачей. Писатель, педагог, ученый, он оставил после себя хорошие книги, хороших учеников, серьезные исследования. Он знал, ради каких ценностей жил. Он обладал тем внутренним спокойствием, которое дается только убежденным людям. Он обладал чутьем добра, честности, порядочности, и оно выводило его из состояния рефлексии. Он был коммунистом, но из тех многих миллионов, кто служил не вождям, а идеалам. Об этом говорят его книги. За педагогический труд К. Черный был награжден орденом Ленина, по тем временам высшей наградой после звания Героя.

Через всю жизнь он пронес одну ценность, которая была ему чрезвычайно дорога. Это – литература. Он любил ее чисто и самоотверженно, искренне видя в литературе спасение от многих бед. В произведениях о войне светлые минуты чаще всего связаны с книгой, причем, преимущественно с классической. К.Г. Черному принадлежат книги: «Бабы» (самая ранняя вещь), «Сегодня, завтра, всю жизнь», «Там, вдали за рекой», «Несколько дней жаркого лета», «Звенья», сказка для детей «Путешествие в страну запрещенных улыбок».

И жизнь, и книги писателя связаны с Кубанью и Ставрополем. В Ставрополе он жил с 1933 года, отсюда ушел в 1941 году на фронт и, вернувшись в 1945, работал постоянно в государственном педагогическом институте. Вместе с В. Воронцовым, И. Егоровым, Э. Капиевым, В. Хохловым он был основателем и редактором альманаха “Ставрополье”, который оставался его детищем более сорока лет, объединяя писательские силы региона. Был ответственным секретарем Союза писателей. В культурной жизни Ставрополя Карп Григорьевич был одним из самых активных деятелей. Сразу после войны он долгое время руководил отделом литературы и искусства в газете “Ставропольская правда”.

Три огромных дела, у истоков которых стоял Карп Григорьевич Черный и организатором которых был: создание с “нуля” факультета русского языка и литературы Ставропольского государственного педагогического института, создание Ставропольской краевой писательской организации, основание и издание альманаха “Ставрополье”. Каждого из них в отдельности было бы достаточно для жизни одного человека.

Трудно сказать, что было важнее для Карпа Григорьевича: работа преподавателя, сотрудничество в газете и альманахе или писательская деятельность. Ему было дано многое. По воспоминаниям профессора В. Тамахина,

Карп Григорьевич умел “пробуждать в человеке веру в собственные, еще не испытанные возможности”. Так было с молодыми учителями и с молодыми писателями. У самого же К. Черного особенностью творческого почерка была духовная окрыленность, неистребимое убеждение в том, что человек может в этой жизни очень многое, если правильно выбрал свою дорогу.

Умер К. Черный в городе Ставрополе в 1985 году.

К. Г. Черный писал о том, что видел и пережил сам. Поэтому его книги правдивы и интересны, обладают чувством меры и в изображении детально-бытового фона, и в романтической приподнятости. Идеалы, утверждаемые всей жизнью и творчеством Карпа Григорьевича, в сущности, очень просты. Книги: «И личного счастья», «Мать – доброе сердце», «Каравай» – самым названием подчеркивают самое главное. Они написаны о любви, о молодых мечтателях, о крестьянских заботах, о хлебе, о войне, о труде. Состояние труда для него было органичным, способность к полной самоотдаче в труде являлась критерием оценки человека, так же думают лучшие герои его произведений. Судьбы людей в его книгах всегда не просты. Но они находят в себе силы для преодоления суровых жизненных коллизий, если и не побеждая судьбу, то сохраняя человеческое достоинство. «Жить с достоинством» – было его житейским и писательским заветом. Все, что выпало на его долю, он воспринимал с абсолютной ответственностью. Писатель, педагог, ученый, он оставил после себя хорошие книги, хороших учеников, серьезные исследования. Он знал, ради каких ценностей жил, и искренне видел в литературе спасение от многих бед.

МАТЬ

(отрывок из романа)

Борька взял из рук Матери ломоть хлеба и спросил:

- Почему это люди так хлеб жалеют?

- Почему? Я расскажу тебе сказку. Слушай. Борька ел хлеб, лежа на коленях Матери, а Мать рассказывала:

«Наша земля, она пошла исстари. Люди тогда хлебушка и знать не знали, а кормились только рыбой из рек да лесной дичиной и ягодой. Худо ли, бедно ли, а хватало. И жил на той земле мужик с женой. Бездетные они были и кручинились дюже – и он и она. Богу своему молились. Бог их хоть и был не такой страшный, как нынешний, однако и кормить его, чтобы помогал, надо было. Принесли они копытце от козы и телячью голову под высокое старое дерево. На другой день приходят – ни копытца, ни головки нету. Выходит, бог съел, надо ждать милости. Возрадовались. Ан, гляди, и родилась у них дочка. Мать и говорит мужу: «Иди на дорогу, выйди на перекресток и жди. Как подойдет женщина, ты ее и спроси: «А как тебя зовут, милая?» Какое имя она назовет, такое и дадим своей доченьке». «Ладно, – отвечает муж, – будь по-твоему». Пошел он по дороге, дошел до перекрестка, остановился и ждет.

Вот идет по дороге старуха. Мужик ее и спрашивает: «А как тебя зовут?» Старуха поглядела на мужика и говорит: «А зовут меня Хлебнозернышко». Удивился мужик: «Что ты говоришь, милая? Отроду не доводилось слышать такое имя: Хлебнозернышко».

«Хошь верь, хошь не верь, – отвечает старуха, – а сказала я тебе чистую правду».

Почесал мужик затылок, поразмыслил: а чего это говорить старухе неправду? И пошел домой. Приходит и говорит: «Чудно, жена. Встретил старуху, спрашиваю ее, как зовут, а она отвечает: Хлебнозернышко. Слыхом не слыхал такого имени».

«Да и я не слыхала, – отвечает жена, – ну да коль мы условились, что первое услышанное имя дадим дочери, нарушать не будем».

И назвали они свою дочку Хлебнозернышко.

А дале случилась на той земле, где жили муж с женою, беда. Напал на нее Змей Горыныч. Все сжигал на своем пути огнем поганым – и людей, и дома, и деревья.

А Хлебнозернышко к тому времени выросла и стала красавица красавицей. Увидел ее Змей Горыныч, закричал «Женой моей будешь!», схватил и поволок за собою. Доволок до своего дворца и говорит ей: «Все палаты твои будут, кормить чем захочешь буду, только лоби меня!» А Хлебнозернышко от неприязни слова вымолвить не может. Подождала, когда Змей Горыныч заснул, и убежала. Бежит она, ног под собою не чувствует, а силы на исходе. Вот она встретила ту старуху, что дала ей имя, и взмолилась: «Спрячь меня, бабушка, а то за мной Змей Горыныч гонится». «Спрячу, – говорит старуха, – спрячу, мое дитятко».

И закопала она Хлебнозернышко неподалеку от дома, где проживали бедные люди.

Наступила зима. Снег запорошил землю и то место, куда старуха закопала Хлебнозернышко. А как весна настала, солнышко съело снег, пригрело землю, и увидели бедные люди, что растет неподалеку от них диковинное растение: листки длинные и острые, а цвет у них изумрудный, и растет прямо на удивление быстро. А как завернулось на лето, смотрят – на небывалом растении колос появился, к земле стал клониться, а растение пожелтело, стоит как золотое. Срезал колос мужик, растер на ладони, подул, поворошил – остались на ладони зернышки, взял одно на зуб, разжевал, родные его спрашивают: «Ну, как?».

«Сладко», – отвечает.

Побросали они зернышки в землю, а собрали столько зерна, что хватило на кашу. Едят кашу бедные люди, не нахвалятся.

Прослышали о тех необыкновенных зернышках и муж с женою. Попросили зернышек у бедных людей и тоже посеяли. Урожай собрали. Дознались, что под золотой шкурочкой зернышко белое-пребелое, и давай зерно на камнях молоть да отсеивать всю белынь от желтизны, а из той белыни хлебы печь вкусные да пахучие. Вот только как то зернышко назвать, не знают. А раз за обедом жена как заплачет, мужик и спрашивает: «Ты чего плачешь?»

«Да хлеб такой белый, – отвечает она, – как тело у нашей доченьки».

«Вот и назовем, – отвечает мужик, – зернышко это хлебным – хлебнозернышко, вроде как на память о нашей дочке».

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗАПРЕЩЕННЫХ УЛЫБОК

(отрывок из сказки)

Глава шестая. О том, как Защитник Людей спас Конька-Горбунка от сожжения на костре и Думающего Человека от неминуемой смерти.

У городских ворот скопилась такая огромная толпа, что Защитнику Людей ничего не стоило пробраться незамеченным в город.

В городе царил оживление. Одна за другой мчались машины с Мелкими Плясунами. Везде были развешены какие-то плакаты. Защитник Людей нашел укромное место и стал наблюдать.

Машины с Мелкими Плясунами останавливались у домов и ждали. Если из дома выходил такой же, как они, Мелкий Плясун, его молча пропускали или же он влезал к ним в машину. Но вот распахнулась дверь дома и оттуда вышел вполне нормальный человек. Мелкие Плясуны забросали его камнями, а когда он упал, подняли и стали безжалостно бить в лицо. Потом они связали ему сзади руки и повесили на грудь тяжелую деревянную колоду с надписью: «Думающий Человек».

Это был старик. Защитник Людей явственно ощутил в его взгляде мучительный вопрос: «Неужели вы, люди, не видите, что происходит жестокая несправедливость?». Защитнику Людей стало невыносимо жалко Думающего Человека. Но как он мог ему помочь? С горечью он подумал о том, что рядом с ним нет добрых героев из сказок: ни Ивана-крестьянского сына, ни Храброго Портняжки, ни работника Балды, ни даже Карлсона, с которыми он мог бы запросто разогнать свору злых Мелких Плясунов. А издевательства над Думающим Человеком продолжались. Мелкие Плясуны тянули его за веревку, и он падал навзничь, тяжело ударяясь затылком о каменные плиты. Мелкие Плясуны поднимали его, ставили на ноги, били и плевали в лицо, корча при этом рожи. Человек молчал. Мелких Плясунов это особенно злило, и они орали на него: «Мы будем тебя бить до тех пор, пока ты не перестанешь думать! Нам не нужны Думающие личности! Мы выбьем из тебя способности думать и улыбаться!» И они потащили окровавленного Человека на городскую площадь.

Защитник Людей сторал от негодования. Нет, медлить нельзя ни минуты. Он сорвал плакат, где прославлялся Верховный Страж, завернулся в него и пошел на городскую площадь вслед за толпой Мелких Плясунов. Никто Защитника Людей не трогал. Наоборот, Мелкие Плясуны ему шумно аплодировали, принимая все это за остроумную выходку Мелкого Плясуна и втайне завидуя ему.

Над городской площадью подымался густой дым. Защитник Людей сначала ничего не мог рассмотреть — глаза все время слезились от дыма. Зато Мелкие Плясуны, не замечая ничего, по прежнему неистово кричали, хотя их медные головы покрывались копотью. А над площадью разгорался костер. Защитник Людей протиснулся поближе и к ужасу своему увидел, что высокое пламя поднималось от горящих книг. Неподалеку от костра стояла трибуна, и на ней металось, свивая и развивая спирали рук, существо, похожее на Мелкого Плясуна. Но Защитник Людей ошибся. Это был не Мелкий Плясун, потому что медная голова у него покрупнее, а на ногах были не матерчатые тапочки, а кожаные.

Сердце Защитника Людей исходило кровью. В Большой Стране Согласия его научили горячо любить книги. Он еще не умел говорить, а уже с огромным вниманием слушал сказки, которые ему читала мать. Ах, до чего же это было приятно. Он переносился в великолепное царство воображения, радовался тому, как Мальчик-с-Пальчик умело спас своих братьев от злого Людоеда, как Кот в сапогах проглотил волшебника Зорокастеса, который был очень сильным, но еще более глупым, как наказан был крокодил, проглотивший солнце. Защитник Людей помнил и до сих пор,

как хорошо и спокойно ему спалось, когда после вопроса: «А Красная Шапочка осталась живой?» – мать отвечала: «Конечно, живой. Дровосек же убил волка. Спи, мальчик, спи! Теперь уже Красная Шапочка никогда не умрет!».

Он знал: добрые люди всегда накажут тех, кто делает зло. А теперь Защитник Людей видел, что охапками бросают книги, и они, корчась в муках, со стонами, словно живые, погибают на костре. Средний Плясун на трибуне выкрикивал: «Уничтожили все до одной, какие только есть сказки в мире!». И вслед за его словами в костер летели сказки, которые любят и читают все дети мира. «Чем больше читаешь, тем глупее становишься! Так сказал Верховный Страж!» – снова прокричал Средний Плясун.

Из-за спины Защитника Людей протиснулся с книгой Мелкий Плясун. Книга была большая, в ярком синем переплете, похожем на небо, залитое лучами восходящего солнца. В небе летала лошадка с длинным красивым хвостом и красивой золотистой гривой. Внизу проплывала Земля с большими городами, синими морями, голубыми реками, зелеными лесами и полями, на которых росла густая высокая рожь. Эту книгу Защитник Людей не раз держал в руках, не раз радовался, читая ее и рассматривая картинки.

Мелкий Плясун занес книгу над костром – и Защитник Людей не выдержал: «Стойте, стойте!» – говорю я вам. – «Да ведь это же сказка о Коньке-Горбунке! Любимая сказка всех детей из Большой Страны Согласия!» И он прямо из огня выхватил сказку о Коньке-Горбунке.

Ах, добрый, добрый Защитник Людей! Что ты наделал! Сейчас набросятся на тебя все Плясуны, какие только есть в Стране Запрещенных Улыбок: и Мелкие, и Средние, и Крупные. Вот они уже распустили спиральные руки; своими ножами-пальцами они изрежут тебя, а потом бросят в этот огромный костер. Мне жаль тебя, дорогой Защитник Людей! У меня от ужаса закрываются глаза и замирает сердце! О, если бы мои слезы могли остановить твою казнь!

И вдруг произошло что-то невероятное, до того сказочное, что у меня не хватает слов, чтобы о нем рассказывать. Конек-Горбунок вдруг выскочил из книжного переплета, длинным своим хвостом разметал вокруг Защитника Людей Мелких Плясунов. Это было сказочное мгновение! Защитник Людей вскочил на спину Конька-Горбунка и крикнул ему на ухо:

- Захвати с собой Думающего Человека! Сделай доброе дело, Конек-Горбунок. Нельзя его оставлять Мелким Плясунам! Они его убьют!

- Ладно! – сказал Конек-Горбунок. – Ты спас меня от огня, а я помогу спасти Думающего Человека.

Он, подобно вихрю, закружился над площадью, и не успели Мелкие Плясуны прийти в себя, как Конек-Горбунок вместе с Защитником Людей и Думающим Человеком взлетел к звездам. Его след оставлял за собой огненный след так же, как это было нарисовано на обложке спасенной книжки.

Много ли, мало ли они пролетели, но вот Конек-Горбунок стал спускаться на землю. Он долго кружил над нею, выбирая удобное для посадки место, и Защитник Людей даже не почувствовал приземления, так оно тихо и плавно было совершено.

- Как самочувствие? – спросил Конек-Горбунок.

- Отличное! – ответил Защитник Людей.

- Здесь мы сможем все отдохнуть, – сказал Конек-Горбунок. – Слышишь, как журчит ручей? У тебя есть посуда для воды?

- Есть бутылка для кефира. Пойдет?

- Вполне. Ступай теперь в лес и там увидишь большой камень. От этого камня сверни влево. Найдешь ручей по его шуму.

Думающий Человек лежал без всяких признаков жизни. Маленькими струйками Защитник Людей стал лить воду ему на лицо. И к величайшей радости увидел, как открылись глаза Думающего Человека, как высоко поднялась его грудь, потому что человек жадно втянул в себя свежий лесной воздух.

- Как вы себя чувствуете? – спросил Защитник Людей.

- Хорошо, мой друг! Я чувствую себя здоровым.

- За что они вас так?

- Об этом долго рассказывать, мой друг.

КАВКАЗ ПОДО МНОЮ...

ГЛАВА I

СЕРДЦЕ В БУДУЩЕМ ЖИВЕТ

СТАВРОПОЛЬ

Вот они, ворота Кавказа.

Здесь и впрямь стояли огромные каменные ворота, похожие на иконостас, с которого сняли двери, – так были разрисованы все они ликами святых. Святые глядели на проезжающих с тишайшим озлоблением. Пушкин помрачнел. Святые вкупе с жандармами всю жизнь преследовали его. Он крикнул вознице, поднимаясь во весь рост в коляске:

- Гони!

Коляска рванулась вперед. Из сторожевой будки, стоявшей рядом с воротами, вышел казак и, провожая приезжего восторженно-осуждающим взглядом, сказал, пощипывая с веселой озабоченностью ус:

- Дьявол, суший дьявол!

Пушкин оглянулся, лукаво подмигнул казаку. Ворота потонули в клубах пыли, и оттуда, тяжело громыхая, показывалась уже колымага Мусина-Пушкина. Эту огромную бричку Мусина-Пушкина поэт прозвал Отрадною. В северной ее части хранились вина и съестные припасы. В южной – книги, мундиры, шляпы. Северных запасов в дороге становилось все меньше и меньше. Но это позволяло едущим проводить время как нельзя лучше.

Прошло одно мгновение, и Пушкин забыл об огорчении. Черт с ними, с этими воротами и со всеми святыми. Кругом было изумительно хорошо. Дорога поднималась постепенно в гору, пробиваясь сквозь густую зеленую чащу деревьев. Кончался май, деревья отцветали, источая щедрый аромат свежести. После долгой пыльной дороги это зеленое благоухание, раскинувшееся вокруг, возвращало силы.

Пушкин легко спрыгнул с коляски и, крикнув Мусину-Пушкину: «Жди меня у коменданта!» – направился в сторону крепостной горки.

Здесь раньше, чем возник город, построили крепость, окруженную стеной из неотесанного серого камня. Теперь крепости уже не было. Ровно два года назад

казаки, несшие гарнизонную службу и жившие в станице Ставропольской по восточному склону крепостной горы, были переселены в другие станицы Азово-Черноморской линии – Бар-суковскую, Суворовскую, Баталпашинскую. От крепости сохранилась полуразвалившаяся стена с бойницами, на широкой площадке стояли маленькая посеребренная церквушка, гауптвахта и комиссариатское депо.

Пушкин стал быстро подниматься в гору по узенькой каменной отполированной солдатскими сапогами лесенке. Ступенек было бесчисленное множество. Большими прыжками он одолел их, выбежал на широкую площадку, вдохнул полной грудью и, подняв голову, глянул вдаль.

Вдали, на самом краю неба, голубели неподвижные облака. Они были все те же, все на том же месте, что и девять лет назад, когда Пушкин по дороге на Горячие Воды первый раз, вместе с Раевским, оказался в Ставрополе.

Он стоял и долго и недвижимо, словно боясь оторваться от еле уловимой черты, отделяющей голубое небо от таких же голубых снежных вершин. Кавказ! Милый сердцу мятежный край. Там, в горах, лицом к лицу со смертью жили друзья, товарищи, братья, герои Сенатской площади.

Они вышли на Сенатскую площадь не ради наград и почестей, а ради свободы России, несчастных россиян. Их ждала смерть. Они знали это, знали и не боялись, хотя и говорили друг другу печальные слова: «Ляжем живые в могилы...»

Повешенных декабристов похоронили на острове Голодай. В народе шел глухой ропот: - Николая называли палачом и убийцей. Он понял: нужна великодушная подделка ¹ под милосердие. И вспомнил Пушкина, который по воле Александра жил в ссылке в Михайловском. Царь приказал срочно доставить Пушкина в Москву. В бумаге начальника главного штаба, адресованной псковскому гражданскому губернатору, значилось: «г. Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться к дежурному генералу главного штаба его величества».

Так возили всех неугодных самодержавию, преследуемых по политическим обвинениям. Пушкин не сомневался: как и сосланных только что декабристов, его увозят в Сибирь. Второпях, обнимая плачущую няню, успел сказать ей на ухо: «Сожги бумаги». Нянюшка, роняя слезы, зашептала что-то жалостное и горькое об «укротении духа свирепости владыки». Все сулило Сибирь.

Но он ошибся, его везли не в Сибирь, а в Чудов монастырь – для встречи с царем.

Пушкину не дали даже с дороги умыться и переодеться. Небритый, в длинномолом сюртуке он был привезен к дежурному генералу Потапову. Потапов ждал уже его и немедленно повез к царю.

Николай стоял за столом, опустив на него одну руку, а другую заложив за спину. Он глядел в окно через полуотброшенную в сторону портьеру так, что Пушкину виден был кончик носа, большое красное ухо и рыжая бакенбарда. Высокий воротник мундира затянул шею, и сверху на него сползала тугая красная полоса затылка. Николай стоял, вскинув голову, и странная помесь надменности и нарочитой скорби лежала на всей его фигуре.

Пушкин издал молча поклонился. Дурная подделка Николая под величие бросилась ему в глаза.

Николай быстро вышел из-за стола. Пушкин увидел большие навывкате зеленые глаза царя.

- А, Пушкин! Я очень рад, что твое имя не замешано в злоумышленных действиях. Но скажи мне правду, что сделал бы ты, если бы 14 декабря находился в Петербурге?

Пушкин отступил на шаг. Боль, с которой жил он все эти дни, остро отозвалась в сердце.

Рана кровоточила и никогда не могла зажить – так тяжела и невосполнима была утрата.

В Михайловском мучительно протекали одна за другой бессонные ночи. Не отрывая пера от бумаги, Пушкин рисовал и рисовал, сквозь туманную пелену горя, виселицу с пятью повешенными. Рядом ложились одни и те же слова: «...и я бы мог... и я бы мог...»

А теперь тот, по приказу которого повешены друзья и братья, стоял рядом и спрашивал, где бы он был, поэт, 14 декабря.

Пушкин поглядел в недобрые глаза Николая и почувствовал себя так, будто увидел смерть. Ну и что же! Он много думал о том, что, как и его друзья, не дрогнув, пошел бы на смерть. Пусть поставлена будет сейчас на карту его жизнь, но кривить душой, грешить против истины он не станет.

Чуть побледнев и сдерживая себя, сказал:

- Государь! Я стал бы в ряды мятежников.

Лицо Николая не изменилось. По-прежнему было холодным, жестким, но улыбающимся.

- Надеюсь, сейчас ход твоих мыслей не остался прежним?

Пушкин промолчал. Николай отвел глаза в сторону. Его душило скрытое бешенство.

- Я знаю, чем соблазнило тебя сие скопище непокорных, дерзнувших противостоять общей присяге, закону, власти и убеждениям. Ты думаешь, они исполнили свой долг

любви к отечеству. Но сие чувство чуждо вероломным преступникам.

Пушкин вспыхнул.

Какое бесстыдное кощунство над памятью собственной жертвы! Его величество изволит путать то, что путать невозможно: долг перед отечеством и пресмыкательство перед троном... Он молча сделал несколько шагов по комнате.

На лице Николая выразилось страдание.

- Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал. Но верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться.

Он крикнул голосом, похожим на тот, которым обычно отдают военную команду:

- Ты хочешь величия и славы нашего отечества?

- Клянусь честью, государь...

- Знаю, знаю. Сие есть и моя главная забота: величие и слава утвержденных престолом отечественных законов, порядок государственный... Твоя Муза, Пушкин, могла бы с успехом служить прославлению государственных дел наших. Ты – поэт, и сей высокий дар – есть дар божий.

- Государь! Поэту немислимо творить в России, не будучи льстецом и рабом. Цензура...

- Отныне освобождаю тебя от цензуры. Я – твой цензор!

Николай снова заговорил о тяжком своем самочувствии: его принимают за деспота, в то время как он и не думал искать виновных, а стремился каждому оговоренному дать возможность смыть с себя пятно подозрения, ему было тяжело пролить кровь, но, карая зло, тем самым стремился он из зла производить добро для России.

На лице Николая застыла почти мольба о помощи.

- Брат мой, покойный император, сослал тебя на жительство в деревню. Я освобождаю тебя от этого наказания. Я позволю тебе жить, где хочешь.

Не дожидаясь ответа, он взял Пушкина за руку, вывел в соседнюю комнату и сказал склонившимся перед ним царедворцам:

- Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем. Теперь Пушкин мог жить в обеих столицах... Столичная жизнь угнетала.

Высший свет в Петербурге и Москве подличал. Знатные родственники повешенных и сосланных на каторгу декабристов не только не решались высказать свою скорбь, надеть траур, но даже втайне боялись вспоминать жертвы жестокого царского судилища.

Николай Волконский, встречая жену сосланного в Сибирь брата Сергея – Марию Николаевну, дочь прославленного героя 1812 года Николая Николаевича Раевского, приветствовал ее слабым кивком головы, «без словесного обращения». Все онемело в чудовишной трусости, в робком пресмыкательстве перед царем. Пушкина это приводило в ярость.

Одиночество тяготило и в Москве, и в Петербурге. Из Петербурга он пожаловался Прасковье Александровне Осиповой в Тригорское: «...пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязую на беспристрастие, то скажу, что, если бы мне дали выбрать между обеими, я выбрал бы Тригорское, – почти как Арлекин, который на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным, ответил: «Я предпочитаю молочный суп».

С севера на юг, с запада на восток лежала огромная Россия и плакала кровавыми слезами.

...Спустившись с крепостной горки, Пушкин кружил у высоких дубов, растущих в Бабиной роще. От обилия переплетающихся в высокой голубизне веток в роще стоял странный серый густой полумрак. Пушкину было чуждо все незавершенное. Он не любил ни полусвета, ни полуправды, ни полусчастья. Быстрыми шагами он вышел из рощи на широкую улицу, сплошь заросшую бурьяном. Среди татарника, лебеды, колючек пролегал узкая дорога с пробитыми от нее к низеньким турлучным хатам тропками. Навстречу шел, прихрамывая, солдат. Солдат тащил за собой на веревке козу, она упиралась, размахивала рогатой головой. Солдат тихо ругался.

Набежала туча и закрыла солнце. Внезапно потемнело, словно тут недавно пронесся пожар.

Поэт поравнялся с солдатом.

- Любезный друг!

Он хотел спросить, как пройти к коменданту. Солдат остановился, выпрямился, намереваясь щелкнуть по привычке каблуками, но ничего не вышло. Пушкин опустил голову. Вместо правой ноги у солдата была деревяшка. Солдат поднял руку к бескозырке:

- Рядовой сводного гвардейского полка...

Пушкин вздрогнул:

- Сводного гвардейского? – повторил он вслед за солдатом.
- Так точно, сударь. Слышали о нашей славушке, чай?
- Слыхал, любезный друг...

Он чувствовал, как подступает к горлу жесткий удушающий комок. И не хватало сил, чтобы удержать непрошенные слезы. Он ясно представил себе залитую кровью Сенат-скую площадь, стоны умирающих, их гнев и их беспомощность... Сводный гвардейский полк сформировали из восставших рот лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков. С солдатами этих рот Николай поступил с еще более лицемерным изуверством, нежели с офицерами-декабристами. В «Манифесте» царя говорилось: «Ни делом, ни намерением не участвовали в сих злодеяниях заблудившиеся роты нижних чинов, невольно в сию пропасть вовлеченные. Удостоверяясь в сем самом строгим взысканием, я считаю первым действием правосудия и первым себе утешением объявить их невинными». Но часть этих невинных солдат сослала в Выборгскую и Кексгольмскую крепости, а остальных зачислили в сводный гвардейский полк и отправили: на Кавказ, где их по монаршей воле ставили в персидской войне на первую линию огня, чтобы «вывести в расход». Солдат пристально посмотрел на Пушкина и сказал:

- Слезами, сударь, горю не поможешь!

Слова были теплые, сочувственные, но произнес их солдат так, будто перед ним стоял не взрослый плачущий человек, а малец с поддельным горем, вызванным неудавшейся ребячьей забавой.

Пушкин не мог успокоиться. Его мучил горький взгляд: выцветших глаз солдата, прорезанное глубокими морщинами лицо, деревяшка, заменившая солдату ногу.

Перед Пушкиным стоял искалеченный человек, и все в нем было живым упреком.

- Ты помнишь своего ротного командира?
- Помню, сударь. Командиром нашей роты был штабс-капитан Михаиле Бестужев. За ним вся рота пошла. Да дела-то не вышло.
- Так что же тебе не нравилось в нем?
- Все нравилось, сударь. Смел был, солдат любил, добра: хотел солдатам...
- Ну так что же?
- Не знаю, сударь! А только скажу я вам, в народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет. Не жалея народ, а дай ему свою силушку показать. А у нас тогда вышло все подругому. Ни душе поминовения, ни телу погребенья. Себя сгубили, и народу одно горе.

Пушкину сделалось не по себе. Он стал искать слова, которые убедили бы стоявшего перед ним человека в том, что горе народное не вечно. А солдат перебил его, сказал безучастным тоном:

- Это верно, сударь! Горе – не море. Выпьешь, коль придется, до дна.

И совсем другим тоном добавил:

- А там видно будет!

Пушкин засмеялся. Весь этот тяжелый разговор внезапно обернулся какой-то неожиданно светлой стороной.

- А там видно будет!

Он повторил слова солдата так, будто хорошо понял их тайный и обнадеживающий смысл. На лице солдата разгладились морщины и появилась улыбка.

- И то, сударь, правда! Было бы суслице, доживем и до бражки. А вам, сударь, прямо идти надо, до самой околицы по солнцу. Там и комендант будет.

- Ну, прощай, любезный друг!

Он сделал несколько быстрых шагов и, оглянувшись, крикнул:

- А я Пушкин. Александр Пушкин!

Солдат долго смотрел вслед уходящему Пушкину.

- Пушкин?

Он наморщил лоб. Трудная и напряженная работа мозга отразилась на его лице.

Где-то в далеком уголке памяти будто и жило это имя. Разве мало на свете хороших, добрых людей?

...Еще издали завидев Мусина-Пушкина, Пушкин закричал:

- Куда же ты запропастился? Пора отправляться!

Мусин-Пушкин, стоявший у своей колымаги, посмотрел на поэта кроткими, ласковыми глазами. Он был пьян.

- Едем, немедленно едем.

Небо над городом светилось отгорающим днем. Пушкин запрокинул лицо и минуту стоял, словно насыщаясь дрожащим в воздухе целительным теплом.

Чувство широкое и неудержимое влекло его навстречу тому неведомому, что ждало впереди.

Он сел в коляску, откинулся на спинку, задумался. Начиналась новая жизнь, вернее, новая ее страница. Должно быть, трудная, но новая, смутно ощущаемая, но новая, еще далекая, но новая. Для нее зарождалась в душе сила.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ

Впервые позволил себе Петр Дмитриевич Устинов такую роскошь – прокутить в ресторане всю ночь и лечь спать, когда на восточном склоне неба зарделась утренняя заря и тонкая огненно-золотистая полоска, раздвигая темень, четко обозначила зубчатую линию горизонта. На торжественном ужине, устроенном по случаю удачных выборов гласных и головы в градское самоуправление, местные богачи почему-то подчеркнуто поздравляли его с десятилетней годовщиной службы в роли старшего эконома городской думы. Честь и хвала тебе, Петр Дмитриевич, славно потрудились! И никто, ни единым словом не обмолвился об избрании его, Устинова, на новую должность. Вроде и не голова он теперь городской думы, а по-прежнему занимается подсчетами, выкладками и экономическими прогнозами. Тебе-де предстоит еще показать себя в новом качестве, а мы посмотрим, каков ты на выборном-то посту. Ежели люб будешь – высоко оценим, не люб – шею намылим, под зад коленкой, и вылетишь из управы, как пробка из бутылки...

Петр Дмитриевич разделся в спальном комнате, подошел к зеркалу, в прямоугольнике позолоченной рамы увидел полного сил и здоровья мужчину тридцати девяти лет, голубоглазого, светловолосого. Заметив на своем лбу две упрямые складки, мелкую сетку морщинок под глазами, тревожно подумал: «Начинаю стареть, а сделал-то всего ничего»; Озорно подмигнул себе: «Ничего, проживем еще и кое-что сделаем. Теперь я все-таки градоначальник. А кто будет перечить, пытаться намылить мне шею, тому во!» – и Устинов показал кукиш.

Петр Дмитриевич прилег рядом с женой, но уснуть не мог. В голову лезли разные мысли. Как наяву представилась давность: он, вчерашний студент ком-

мерческого училища, принял дела старшего эконома городской думы. И сразу же оказался в опале: чиновничий мир встретил его холодно и отчужденно: помещик, владелец крупного родового имения, жил бы себе в своей Кононовке, а он, чужак, тратит силы и нервы на городские заботы.

Многим не по нраву пришлось это, что молодой чиновник вместо элегантной шляпы, форменного сюртука, модных узких, в полоску брюк и лакированных штимблет предпочитает носить парусиновый картуз, широкие штаны, свободного покроя пиджак и ботинки.

Устинов нарочито подавлял в себе страсти. Был скромн, не вдавался в кутежи, не играл в карты, берег свою честь в противовес сверстникам своего круга. Он даже не позволял себе использовать свое служебное положение для личной выгоды. Это вызывало недоверие в чиновничьей сфере, пересуды и даже упреки: «Уж слишком ты чистенький, Петр Дмитриевич».

Вечером Устинов возвращался домой взвинченным. Говорил себе: «Надо бросить службу. Зачем она мне нужна? И те полторы тысячи рублей в год, кои уплачивают мне за труд, не такие большие деньги, в своем хозяйстве я смог бы выручить в десять раз больше». Но наступало утро и Устинов снова шел на службу. Был озабочен разными делами, пытался вникнуть в суть отчетов, сводок, таблиц, увидеть в цифрах взлеты и падения городского хозяйства, нащупать пульс экономической жизни.

Он многое замечал. Давал советы купцам, промышленникам, владельцам заведений, как и куда с большей отдачей вкладывать капиталы. Но душа его тосковала по большому и значительному для горожан и города делу. Но чем возвеличить родной Ставрополь? Думая об этом, иногда не спал ночами. Приходило разочарование: видать, напрасно он пять лет изучал экономию — умение предугадывать развитие событий в хозяйстве, торговле, в финансах. И только на третьем году службы с помощью арифметического подсчета и логических рассуждений Устинов вдруг пришел к поразительному выводу: у Ставрополя появилась новая тенденция — поворот от военной жизни к гражданской.

Устинову вначале не поверили: «Да что вы, Петр Дмитриевич! Разве такое возможно? Ставрополь имеет свой особый лик и нутро. Он же центр единственной в России области, во главе коей стоит не губернатор, а военачальник — командующий войсками на Линии. В начале двадцатых годов по причине того, что в Предкавказье не прекращались военные действия и большую часть населения составляли казаки, солдаты и офицеры, Сенат преобразовал Кавказскую губернию в Кавказскую область. За этим последовало другое — контингента-то войск не хватало — Сенат перевел в казачье сословие тридцать шесть крестьянских сел. Область почти полностью оказалась военизированной. Где еще можно встретить такое? Только на воюющем Кавказе. Ведь многие наши гражданские заведения работают на армию. К примеру, кожевенные заводы. Чем они занимаются? Только тем, что изготавливают материал, из коего мастерские шьют солдатские сапоги, сумки для ношения боезарядов, ружейные ремни, седла и другую конскую сбрую. А свечные заводы? Без них чем стали бы освещаться штабы, казармы, лазареты? А местные крестьяне! Кто кормит воинство хлебом, мясом и другим провиантом? Именно мужики. Заключив договор с интендантами полков, они поставляют на воинские склады муку, масло, на бойни — живой скот. Ни в одной губернии России эконо-

мика так тесно не связана с военным делом, как в нашей Кавказской области. Спрашивается, где же ростки новой тенденции – поворот к гражданской жизни?»

Голова городской думы, шестидесятилетний купец Плотииков, человек, топки чувствующий все нюансы жизни, пригласил старшего экономиста на балкон и показал ему на улицу: «Вот флюгер – указка всяческих перемен. Посмотри на тротуары – в какой одежде больше всего людей идет, в пестрой партикулярной или в серой военной? Куда ни глянешь, везде видишь офицеров, унтеров, солдат. И не мудрено: в нашем городе расквартированы штаб войск Линии и Черномории, штабы двух артиллерийских бригад, двух пехотных дивизий, управление корпуса военных инженеров, интендантство и десятки мелких подразделений...»

Устинову не надо было показывать. Он по отчетам знал, сколько и каких людей проживает в городе. Более того, он знал, сколько ежегодно проходило через город воинских команд на Кубань, Терек и в Закавказье. Он видел, как медленно тянулись обозы, нагруженные вооружением, боеприпасами и снаряжением.

Устинову было точно известно, сколько отставных нижних чинов, отслужив двадцать пять лет в здешних полках, поселялись в областном центре и становились швейцарами, ночными сторожами, печниками, плотниками, малярами – людьми сугубо мирных профессий. Сколько оседало в Ставрополе семей генералов и офицеров, погибших в сражениях с горцами, – купив дом, они превращались из потребителей в содержателей квартир. Цифры статистических отчетов бесстрастно показывали заметный рост в городе партикулярного населения и экономики, настраивающей людей на мирный лад. Городские крестьяне (а их было около пятнадцати процентов) больше стали засеивать хлеба, имели в каждом дворе сад, огород и по паре рысистых лошадей для перевозки пассажиров, пару коров, птицу. Выгодно было также предоставлять господам приезжающим квартиры с полным комфортом и хозяйским «столом». Не ускользнуло от внимания Устинова и такое явление: на северной обочине Николаевского проспекта пятьдесят армянских купцов во главе с королем коммерции, черным, носатым Ашотом Балаянцем выстроили целый квартал шикарных двухэтажных каменных домов, где можно было купить все, от иголки до костюма на любой вкус.

Как на дрожжах богатели и русские купцы. Иван Григорьевич Ганиловский, молодой, энергичный купец третьей гильдии, вдруг объявил капиталы на первую гильдию и начал вкладывать деньги в постройку больших каменных зданий и сдавать их в аренду под гражданские учреждения.

После первого удачного хода Иван Григорьевич сделал второй. В верховьях Кубани, у сторожевого поста Хумара солдаты и казаки наткнулись на заброшенные карачаевцами в горе штольни – разработки каменного угля. Ганиловский первым арендовал участок, нанял артель рабочих людей и стал добывать весьма дефицитный вид топлива для продажи в городах, станицах и селах ставропольской безлесной степи. В Хумару кинулись и другие купцы. Но Ганиловский оказался более ухватистым. Если у большинства арендаторов артели горняков гнули спину от зари до зари, получали за это гроши и жили в землянках и саклях, то изворотливый Иван Григорьевич уменьшил рабочий день на час, набросил к оплате за труд пятак в день, построил чистые бараки, в стольные праздники преподносил чарку вина за радение. Таким образом он постепенно переманивал шахтеров к себе. Соседние участки заметно стали хиреть и закрываться. Ганиловский прибрал их к своим рукам и стал доставлять

в Ставрополь ежегодно до ста тысяч пудов каменного угля. Так король домов обрел еще и титул короля антрацита.

Тучный, с оплывшими жиром глазами, купец Иван Меснянкин с сыновьями сделал карьеру на другой доходной статье: по дешевке скупал коров и овец у калмыков, ногайцев и туркмен, на богатых травах пастбищах создал Летнюю и Зимнюю ставки, откармливал там огромные стада, поставляя часть скота воюющей на Кавказе царской армии, а часть скота гнал в Ростов, Воронеж, Москву и даже в Петербург. Довел годовой оборот своих капиталов до двухсот с лишним тысяч рублей.

Но всех переплюнул тощий на вид, с вечно улыбающимся темным, узким птичьим лицом грек Иван Алафузов. Он нашел еще более выгодную статью дохода: построил на левом берегу Мутнянки четыре корпуса под винокуренный завод, скупал у местных крестьян зерно пшеницы, молот

его, превращал в брагу и гнал спирт. Так появился еще один король вина и хлеба с годовым оборотом свыше трехсот тысяч рублей.

Были в Ставрополе короли табачные, кирпичные, колокольные, салотопные, свечные – всех не перечесать. Превращению обычных купцов в промышленников способствовало одно очень важное обстоятельство. До второй половины тридцатых годов ставропольское купечество большую часть своих, в основном сельскохозяйственных товаров вывозило в города России, а оттуда ввозило промышленные. Табуны скота, пригнанные в Ростов, Воронеж, Москву и Петербург, в дороге худели; зерно, мука на возах, попадая под дождь, прели в мешках; фрукты, вино портились. Естественно, цены на эти товары на дальних рынках падали. Чтобы компенсировать свои потери, купцы набрасывали на привезенные из России товары свыше обычного, к примеру, на аршин бязи – гривенник, на шелковую кофту полтину, на шерстяной костюм – пятерку. Покупатели воротили нос: дорого! Товар залеживался на полках магазинов, торговля шла туго.

Видя это, Петр Дмитриевич попросил голову пригласить в думу торговых королей, и когда те пришли, Устинов спросил у них:

- Высокопочтенные господа, не пора ли поразмыслить касательно оздоровления ваших оборотов?

Купцы и ранее знали, что старший экономист видит в коммерции такое, чего не всегда они замечают, и поэтому зачастую приходили к нему за советом.

- Пора-то пора, но как? Ежели затея какая есть, Петро Дмитрич, не томи, выкладывай!

- Предложение хочу сделать, только понравится ли оно вам?... Не гонять скот. Не возить хлеб на сторону. Не ездить за нужными товарами в города центральной России.

Купцы опешили:

- Не возить, не ездить... Без этого как же торговать?

- А так, высокопочтенные – заставить российского купца возить свои товары к нам, в Ставрополь, и здесь покупать наши.

Иван Меснянкин, более всего заинтересованный в том, чтобы не гонять скот в дальние края, спросил, хитровато прищурился:

- А ну-кась, поведай нам, Дмитрич, каким таким манером можно заставить ездить к нам тамошних купцов – кнутом или пряником?

- Кнут не го́ж, пряник нужен. А пряник тот – ярмарки, кои следует учредить в Ставрополе. Скажем, весной – в день Троицы, осенью – в Иванов день, – ответил Устинов.

- Овчинка выделки не стоит. Были же у нас, в Ставрополе лет тридцать пять назад такие ярмарки, да заглохли. Приехали купцы аж с Воронежа, Курска и Екатеринослава. Привезли своего товару тыщ на пять и на столько же нашего купили. Пять тыщ – что за торговля. И вообще, от ентих ярманок выгоды никакой, – сказал купец Тамамшев, который по старости лет никуда не ездил, ничего на стороне не покупал, а только вкладывал свои деньги в мелкие подряды на возведение домов и другие сооружения в городе.

Устинов возразил:

- Не пошло дело тогда по простой причине: не сумели местные власти по-настоящему создать огласку о ярмарках на месте отладить условия для торговли. Ежели с размахом все это дело поставить, да заинтересовать торгующие стороны, то наши местные купцы и промышленники смогут на ярмарке оптом продавать большое количество скота, хлеба, вина, фруктов, угля. Купцы с Волги, юга России привезут к нам свои товары, продадут их у нас и на вырученные деньги купят наши. Оставят в городе сотни тысяч рублей. Сотни тысяч! – поднял Устинов палец, стремясь обратить внимание купцов на крупную сумму денег. – Вкладывай их в оборот, и экономика Ставрополя начнет подниматься, как в квашне тесно, вздобренное дрожжами.

- Да поедут ли купцы из Расеи-то к нам, в таку даль? – не унимался Тамамшев. – У них же своя Макарьевская ярманка близ Нижнего города на Волге имеется.

- А пошто не поедут? – повернулся к нему Иван Месняпкин. – К примеру, скота-то у них маловато да и дороговат он. А у нас – бери скоко хошь и по дешевке. Соображать же надоть башкой!

- А что, ежели попробовать? – поддержали Меснянки-на другие купцы...

«Короли» обратились с прошением в городскую думу. Дума – к начальнику Кавказской области – командующему войсками Линии и Черномории с нижайшей просьбой исхлопотать у Государственного Совета разрешение на учреждение в Ставрополе Троицкой, Иоанио-Предтеченской ярмарок. И такое разрешение было получено. Купцы и промышленники возвели на восточной окраине города, за Тифлисской заставой, огромную ярмарочную площадь,

Каждый по виду своего товара построил склады, лавки, торговые ряды, загоны для скота. Вскладчину соорудили для приезжающих гостиные дворы, харчевни, даже ресторан.

Устинов не жалел сил, собственноручно написал и отослал в разные города России около сотни писем, извещая об учреждении в Ставрополе ярмарок, их сроках, что можно купить-продать. Не забыл упомянуть и о том, что приезжающим есть где хранить товары, жить, питаться и веселиться.

Правда, на первую весеннюю ярмарку приехало из России не так уж много коммерсантов. Да и ставропольцы выставили на нее не большое число образцов своих товаров: из-за холодной, выюжной зимы в тот год скот был не упитан, фрукты попорчены – торговали в основном хлебом и вином. Однако продали почти все – и приезжие остались довольны.

Зато на осеннюю!... Ярмарочная площадь кишела и гудела, как гигантский пчелиный улей. Ставропольские армяне, кизлярские грузины, закупив в Чечне

и Кабарде фрукты, завалили торговые ряды крупными, сочными грушами, душистыми румяными яблоками, гроздьями янтарного винограда, прямо на земле лежали горы полосатых арбузов.

Под дощатыми навесами напоказ были выставлены развязанные мешки с золотистым зерном пшеницы, мукой – возмешь на пальцы, хрустит, будто крахмал.

В загонах – упитанные, с гладкой, блестящей шерстью степные красные коровы, карачаевские овцы, богатые не только густой, шелковистой шерстью, но главное – особо вкусным мясом: шашлык, изготовленный из такой баранины, считался изысканным блюдом. В конском ряду – табуны тонконогих, стройных кабардинских скакунов-красавцев и гривастых, невысокого роста, но сильных и выносливых калмыцких лошадей.

И, как бы состязаясь в показе самого лучшего, в торговых рядах приезжих азовцы и черноморцы открыли бочки с серебристой, красной рыбой, астраханцы – с икрой, стерлядью и воблой. Самарцы выложили на прилавки полотна разных цветов, ивановцы – яркие заманчивые ситцы, воронежцы – сукна, туляки – самовары, чайники и ружья охотничьи с росписью на стволе и прикладе... Боже мой, откуда только ни приехали купцы и чего только они ни привезли! Глядя на все это богатство, у ставропольцев захватывало дух, глаза разбегались.

- Рыба-то с черноморья, царская! Икра-то лососья, астраханская! – облизывавая губы, Иван Меснянкин, повернувшись к старшему сыну, повелел: – Закупи оптом по двадцать бочек рыбы-то всякой. Икры – пять бочек. Себе на весь год, а остатки продадим зимой – с руками оторвут. Сын попытался возразить:

- Не много ли, папаня, по двадцать-то?

Отец сурово глянул на старшего:

- Дур-р-рак! Соображать же надоть башкой! Рыба-то – гольные деньги.

Вместе с коммерсантами на ярмарку приезжали пронырливые комедианты. По всему городу вывешивали объявления, на которых яркими красками были изображены клоуны, шпагоглотатели, силачи с округлыми пучками мышц на руках и груди. Около входа на площадь натягивали большой круглый шатер. У шатра крутился зазывала:

- Господа, не проходите мимо, загляните к нам, за пятак увидите чудеса редкостные, таинства волшебные!

А вечером, как только умолкал гомон на ярмарочной площади и заметно редела толпа, в соседнем ресторане скрипичный квартет еврея Мойши начинал призывно играть вальс. И тянулись туда с пухлыми от денег карманами купцы, предвкушая веселье с мягкотелыми девицами и элегантными офицерскими вдовушками, а потом – карты до утра. Ох, много, очень много оставляли гости денег в Ставрополе!..

Когда в конце года Устинов со своими статистиками подсчитал итоги, то оказалось: в весеннюю Троицкую ярмарку только одного скота было продано на девяносто тысяч, а в Иоанно-Предтеченскую – на сто пятьдесят тысяч рублей...

В думу пришла делегация купцов и промышленников. Иван Меснянкин, улыбочиво щуря глаза, отвесил поклон Устинову:

- Петро Дмитрич, светлая у тя голова, озолотил ты нас! Прими от нашего купечества сей скромный подарок, – и преподнес массивные с брелоком золотые часы.

Коммерсанты окружили Устинова:

- Мы-то раньше думали, ты можешь токмо дать дельный совет по мелкому, на несколько тысконок делу, а тут, как развернулся... на сотни тыщ, аж дух захватывает! Памятник тебе надобно воздвигнуть на середке ярмарочной площади...

Приближался очередной год выборов гласных в городскую думу. Отцы города начали кучковаться, вечерами наносить друг дружке визиты, обговаривать – кого поставить головой. Пошел слух: Петра Дмитриевича Устинова. Чиновники управы, хорошо знавшие своего товарища, спорили между собой:

- Петра, интеллигента? – недоумевали одни. – Он же не столбовой дворянин, не крупный промышленник, не купец первой гильдии. Ежели бы не дед, командир Хоперского казачьего полка, знаменитый на весь Кавказ Конон Устинов, то остальным-то Устиновым вряд ли удалось бы выбиться в помещики.

- В наше время высоко ценится не знатность. Знатных-то сколько в нашей области в трубу вылетело – даже не удержались князья Вяземские, камер-фурер Зотов, вельможи Всеволожские. Теперь в почете светлый ум и деловая хватка, а сих качеств у Петра Дмитрича хоть отбавляй. Никому не взбрело в голову учредить в Ставрополе ярмарки, а он сообразил. Да и до этого сколько добра промышленникам и купечеству чинил, – высказывали свое другие.

2

Устинов жил в небольшом двухэтажном каменном доме, купленном у Тамашева в нижней части Николаевского проспекта после того, как старый, деревянный дом, построенный еще дедом Кононом, в юго-восточном углу крепости сгорел в тридцатом году.

Как первый, деревянный, в котором останавливались Ермолов, Раевский, Пушкин, Грибоедов и Денис Давыдов, так и этот, каменный, по хлебосольной традиции, заведенной еще дедом, был первым пристанищем приезжающих в Ставрополь знаменитых людей Рос-сии.

В гостиной нижнего этажа в тридцать втором году неделю жил приехавший лечиться из тобольской ссылки на Кавказ композитор Алябьев. Здесь он написал и впервые исполнил на стареньком пианино романсы «Узник» на слова Пушкина и «Сижу на берегу потока» на слова Дениса Давыдова.

Спустя два года на квартире Устиновых жил опальный поэт и драматург Катенин, отбывавший срок на Кавказе и приехавший в отпуск из Баксанского военного лагеря. Днем Катенин гулял по городу, к вечеру покупал свечи. Придя в гостиную, зажигал их и садился писать. Петр Дмитриевич обижался:

- Зачем же?... У нас свечи есть.

ВОЗМЕЗДИЕ

(Глава из повести «Мать – Доброе Сердце»)

В 1918 году во время боя с крупной белогвардейской бандой был захвачен в плен командир небольшого красноармейского отряда Петр Долгов. По приказу Рыжого Куранды его приговорили к расстрелу. Но Петру Долгову удалось бежать. Рыжий Куранда об этом не узнал, потому что ему побоялись сказать правду о побеге.

О дальнейших событиях, происшедших уже в 1920 году, и рассказывается в публикуемой ниже главе.

Спустя некоторое время после своего возвращения в Рождественку Петр Долгов – снова станичный военком – шел домой перекусить.

Вдруг он услышал радостно-возбужденный голос:

- Здорово, Старший брат!

Петр остановился: только один человек мог сказать эти слова. И не ошибся: Панкрат.

Тот отпустил бороду, состарившую его лет на десять. Густая светло-рыжая борода и такие же усы сделали его неузнаваемым. Если бы не голос, Петр и не узнал бы Пан-крата, тот бежал от дрожек, повторяя:

- Живой?

Они троекратно поцеловались.

- Ну какой я радый, Старший брат, до чего же я ра-дый!.. Куда бы нам при-ткнуться, в какой закуток? Дело есть, сказать, тайное...

Петр насторожился, знал, Панкрат зря болтать не будет, сказал:

- У Матери. Надежнее места не найти. Я иду домой. Мать удивилась встрече с Панкратом не менее, чем до этого ее первый сын. Все в Рождественке говорили, что Панкрат погиб в бою у Кургана конокрадов, а теперь он стоял перед нею – все тот же Панкрат –нескладный, с длинной шеей и кудлатой головой, виновато улыбающийся, словно его появление в доме Матери кому-то наносило обиду.

- Ты что же это, Панкрат, на глаза не показывался? Ведь живешь, видать, недалеко? – спросила Мать

- Верно, недалеко. На Синицыном хуторе.

Хутор этот находился верстах в пятнадцати от Рождественки. О хозяине хутора Владиславе Синице говорили, будто дед его лет двадцать воевал на Кавказе, не раз в доказательство своей лютой храбрости привозил в мешке головы убитых горцев. К концу службы получил чин подпоручика и, как цареву милость, большой надел земли в Высокопольской области.

Когда Владислав вырос, отец определил его в коммерческое училище, потому что все более и более нуждался в надежном помощнике для всякого рода хозяйственно-коммерческих дел. Сын прожил многие годы в Высокопольске, ссылаясь на то, что не завершил еще образование, а потом вдруг явился на хутор с женой-красавицей, прихваченной в каком-то городском увеселительном месте. Больше с хутора Владислав никуда не уезжал. После смерти отца сам стал заниматься хозяйством, богатств отцовских не умножил, но и не разбазарил до конца, а просто потихоньку проживалжитое.

Жил Владислав Синица вроде как на острове. Летом охотился в плавнях протекавшей неподалеку Камышанки, зимой гонялся со сворой собак за зайцами.

А все остальное время, с тех пор как ушла жена с сыном, пьянствовал или в одиночестве, или с каким-нибудь из своих хуторских фаворитов.

В Рождественку наезжал редко, только по крайней нужде, чтобы запастись кое-какими товарами. Закупки делал сам, но присылал за ними батрака с подводой.

Потом он в Рождественке и совсем перестал бывать. Водку гнал на хуторе из пшеницы, мяса у него было вдоволь.

Панкрат после боя у Кургана конокрадов по неведомой тропе в плавнях добрал до Синицына хутора совершенно обессиленный, свалился на берегу в по-

жухлую траву. Отдышавшись, огляделся, увидел на толоке небольшое стадо бычков. Увидел и пастуха в старой залатанной свитке.

Когда пастух подошел поближе, Панкрат разглядел его лицо, очень, как ему показалось, молодое и горестное.

- Здорово! – сказал Панкрат, не сводя глаз с его торбы.

- Здорово, коли не шутишь, – отозвался пастух. – Есть хочешь? – догадался он.

Снял с плеча торбу, вытащил полбуханки хлеба, кусок старого сала.

- Садись, закусывай!

Панкрат набросился на хлеб и сало, а пастух сидел рядом и удивленно-жалостливыми глазами глядел на него. А когда Панкрат поел, спросил:

- Куда шагаешь, парень?

- Никуда не шагаю, – ответил Панкрат.

- Оно видно и по тебе, что шагать дальше некуда.

- Некуда, – согласился Панкрат. – Слушай, – добавил он после короткого молчания, а что там за хутор? Ты не оттуда?

- Хутор Сеницын. Я оттуда.

- Тебе можно довериться?

- А ты уже, парень, доверился.

- Как так?

- А так. Не я к тебе пошел, а ты ко мне. Верно? Не ты меня кормил хлебом, а я тебя. И это верно? Не я тебя расспрашивал о Сенице, а ты меня. Эх, парень, парень! Давно я уже раскумекал, что неприкаянная ты душа! Так и скажи, податься, мол, некуда. Истрепался, изголодался, измучился.

- Ну!

- Что ну! Пойдешь со мною в Сеницын хутор.

- А ты не обманешь?

- Признаться, думал я, парень, что у тебя больше ума. Да ладно. С переляку глупый вопрос задал.

Панкрат молча перенес выговор, радуясь в душе тому, что напал на такого хорошего человека.

- Ты не обижайся на меня, – сказал он, – у вас такой хозяин, всяко можно подумать.

- Нашего ты не бойся. Он с перепоя так окосел, что счас все ему на одно лицо: хучь ты, хучь я, хучь пятый-десятый.

Разговор с пастухом поднял дух Панкрата, и хотя тревоги последних дней не совсем улеглись, но доверие и расположение незнакомого человека принесли ему душевное успокоение, в котором он больше всего сейчас нуждался.

- Одно, парень, пожалуй, плохо. Ты хоть и голодный, и оборванный, а, видать, здоровый человек, а счас в хуторе одни инвалиды да калеки. Ну да ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Как тебя зовут?

Панкрат назвался.

- Расскажи, откуда заявился?

Такого вопроса Панкрат не ожидал и почти враждебно посмотрел на пастуха.

- Ладно, парень, позже расскажешь. Вижу и так, что из тех, для кого веревку воском натирают.

В душу Панкрата закралась снова тревога. Не опасную ли затеял он с пастухом игру? Спросил:

- А тебя, друг, как зовут? – Зови Поликарпом.
- Поликарпом?! А не тебя ли, друг, лечила Мать – Доброе Сердце?
- Меня, – ответил пастух. Панкрат кинулся к пастуху, обнял его.
- Брат мой! Она и для меня как родная мать! – Панкрат чуть не плакал от радости.

На хутор они пришли в сумерки. Пастух отвел Панкрата к старому конюху Нилычу и сказал: «Пускай человек у тебя переночует». «Пушай живет, – ответил конюх, – место есть, у меня там лишний топчан стоит».

Так он и прижился на Синицыном хуторе. Жил Панкрат довольно спокойно до одного рокового события во владении старого пьяницы.

Поздней осенью в один из субботних вечеров Панкрат услышал через полуоткрытую дверь конюшни лошадиный топот. Он глянул в дверь. По аллее, окаймленной старыми раскидистыми, белолиственными тополями, мчались к парадному крыльцу два всадника. Одним из них был Рыжий Куранда. Панкрат обомлел. Первым желанием его было скрыться, исчезнуть, бежать с хутора куда глаза глядят. Думая так, он между тем стоял, застыв на месте, впившись глазами в Рыжего Куранду. Первая спокойная мысль, которая пришла ему на ум, заключалась в том, чтобы проверить себя: не принял ли он кого-то другого за лютого своего врага? И пока всадники, спешившись, привязывали к дереву лошадей, Панкрат их старательно рассматривал.

Сомнений не оставалось: перед ним был Рыжий Куранда. Панкрат стоял еще очень долго, пока не услышал за собою голос старого конюха:

- Пойду приведу коней, животная тварь ни в чем не виновата, кормить ее надо.

Он вышел и вскоре вернулся с лошадьми, привязал их к яслям.

- А вы, батя, знаете, кто это приехал к хозяину?

- А то! – ответил старый конюх. – Кто же ту занозу не знает, он, почитай, половину Рождественки сгубил. Каждую субботу заявляются к хозяину пьянствовать. Видать, спелись, по душе пришли друг другу.

Панкрат не спал почти всю ночь, думая над тем, оставаться ему на хуторе или смотаться подобру-поздорову, пока не обнаружил его тут Рыжий Куранда. И в то же время что-то, он и сам не мог сказать что, удерживало от побега. Может, близость человека, не скрывающего своей неприязни к Рыжему Куранде, может, вера в то, что жизнь благоволит не Куранде и не ему подобным. И еще возникло у Панкрата желание: свести счеты с Рыжим Курандой, как можно это сделать, он ясно себе не представлял, желание между тем с каждым днем возрастало, и возможности для его осуществления, как ему казалось, дает ему в руки сама судьба.

Мысль о возмездии настолько увлекла, что он твердо решил остаться здесь.

Время шло. На хуторе стали поговаривать: белогвардейцы повсюду бегут от Красной Армии, и Панкрат понял это как знак судьбы.

2

Весна в двадцатом году началась с неустойчивой погоды, но брала свое, хотя и зима, не желая уходить, обрушивалась короткими снегопадами, холодными морозными ветрами.

В последнюю субботу марта Рыжий Куранда, по обыкновению, приехал к Владиславу Синице, и старый конюх по привычке отправился за лошадьми.

Панкрат решил: сегодня Рыжего Куранду живым с хутора выпускать нельзя. Иначе будет поздно. И если он, Панкрат, упустит предоставленную ему судьбой возможность, будет потом всю жизнь проклинать себя.

Когда Нилыч вернулся, Панкрат сказал:

- Ложитесь, батя, спать. Я отведу лошадей Куранде. Первый шаг был сделан, и останавливаться теперь было невозможно; он поведет лошадей, и когда Рыжий Куранда будет садиться на коня, он его и...

Даже в мыслях Панкрат не позволил себе произнести тяжелое и жестокое слово.

В доме Владислава Синицы шла пьянка. Временами оттуда доносились сердитые, раздраженные крики. Панкрат услышал даже несколько выстрелов. Что там происходило, он понять не мог.

Когда Панкрату показалось, что конюх заснул, он поднялся, подошел к столу, вытащил из ящика кинжал и положил себе под подушку.

Лег. Не спалось. Все уже думано-передумано. Только бы не дрогнуло сердце и не потеряла силу рука.

Наконец раздался свист. Это Рыжий Куранда подавал команду вести лошадей.

Панкрат надел ватник, подпоясался, сунул кинжал за пазуху и повел лошадей.

Ночь была безлунная. Рыжий Куранда, выйдя из освеженной комнаты, ничего не видел.

Панкрат напрягся, молча подвел коня. И как только Куранда поставил ногу в стремя, выхватил из-за пазухи кинжал.

Чья-то жесткая рука сжала ему локоть. Оглянулся – Нилыч.

- Чего ты?

- Иди-ка, хлопец спать, я сам провожу гостей. Панкрат мгновенно сник и чуть не плача поплелся на конюшню.

Вскоре вернулся и Нилыч. – Отдай кинжал!

Я его положил на место.

Дурак! – выругался Нилыч. – Геройство задумал сотворить. Тебе геройство, а людям? Ты про людей подумал? После такого геройства они бы на хуторе не оставили ни одной живой души. Панкрат молчал...

С той памятной мартовской ночи Рыжий Куранда на хуторе больше не появлялся. Постепенно о нем стали забывать, как вдруг, уже после того как ушли белые, в глухую летнюю полночь Рыжий Куранда появился на хуторе снова. Вместе с ним было еще два всадника. У каждого по запасной лошади. На этот раз Рыжий явно торопился. Они с хозяином потратили на застолье ровно столько времени, сколько людям понадобилось, чтобы зарезать и освежевать быка. Мясо и мешок муки погрузили на свободных лошадей. С этой добычей бандиты и усаkali.

Вот тогда-то старый конюх и сказал Панкрату:

- Поезжай в Рождественку, доложишь кому следует, а чтоб не было никаких подозрений, возьми на дроги полмешка кукурузы. На базаре сразу продашь, сейчас люди рады кукурузе даже больше, чем лошади. Зверя надо ловить.

... Выслушав рассказ Панкрата, Петр Долгов сказал:

- Важную ты привез новость, Панкрат. Что Рыжий Куранда шастает в здешних плавнях, это я знал, а про то, что заглядывает на Синицын хутор, сведений у меня не было. Теперь, Панкрат, выкладывай все подробнее.

- Дак о чем говорить, Старший брат? Ловить эту контру надо. Повалился за провизией, жди его снова.

- Верно.
- Опять кровопролитие, – с горестью заметила Мать.
- Мы на этот раз постараемся, Мать, сделать все без пролития крови, – сказал Петр.

- Дай-то бог.
- Спасибо тебе, Панкрат, за сообщение. А теперь слушай, что я тебе скажу. Трогать мы его сразу не будем. Пускай еще разок-другой на хуторе повеселится. Втянется, привыкнет. Хутор на отшибе, может, когда и заночует, почувствовав себя как дома. Вот тогда как раз и наступит время, чтобы действовать.

- А какая уверенность, что так и будет, как ты говоришь? – спросил Панкрат.
- Так, я думаю, и будет. Семья его в Рождественке, убежать от семьи, как видно, далеко не хочет. Тут и будет крутиться. Во-вторых, он дерьмовый политик. Он уверен, что повторится восемнадцатый год, и со своей бандой въедет в Рождественку победителем. Но этому, Панкрат, теперь не бывать. Белогвардейские армии начисто разбиты, а вместе с ними и четырнадцать государств, которые им помогали, тоже получили по зубам. Теперь все! Точка! Советская власть победила, навечно победила, а ему, дураку, это невдомек. Он все еще надеется. Вот и крутится тут. В Рождественку теперь он побоится нагрязнать, а на Синицын хутор явится непременно. Соблазн для него там по пьяному делу великий. Ты меня понял, Панкрат?

- А то!
- Но это еще не все. Мать верно говорит: надо всю операцию провести без крови. Это я сделаю один. Он же меня считает покойником.

Увидев встревоженные глаза Матери, Петр продолжал:
- Ты за меня, Мать, не бойся. Сражения с Рыжим Курандой мы устраивать не будем, но в готовности надо быть. Какую-никакую, а банду он успел сколотить. Это надо иметь в виду. Ты, Панкрат, как вернешься, проверни с людьми работенку. А мне сейчас показываться туда не след. Как подготовишь людей, приезжай. Гнать туда... Человек пять вооружим и все. Ясно тебе, Панкрат?

- Ясно.
Когда Панкрат уехал, Петр, видя, что Мать встревожена предстоящей на хуторе военной операцией, сказал, чтобы снять с ее души камень:

- Ты, Мать, не волнуйся. Результат может быть только один. Во-первых, Рыжего Куранды я не боюсь, а меня увидит, так затрясется от страха. Это ж подумай только: явился я за ним с того света.

- Так-то так. Но хитрый он и злой.
- Мать, так ты же этого самого хитрого и злого Куранду тоже не боишься.
Я другое дело, сынок. Я – Мать. А когда матери станут бояться зла, тогда и самой жизни не станет.

- А я твой сын, Мать.
Он стал перед нею, опустив руки по швам, как солдат в строю, вдоль которого проносят опаленное в боях знамя.

3

Как бы возвращаясь к незаконченному разговору, Панкрат спросил, вернувшись из Рождественки, старого конюха:

- Вы, батя, сказали, что надо ловить зверя, а прикончить тогда мне не дали. Почему?

- Ч тебе уже объяснял. Ты хотел его убить во вред людям.
- А теперь?
- А теперь схватить его надо для спокойствия людей. Разницу понимаешь?
- Панкрат подошел к Нилычу совсем близко и заговорил горячо:
- Батя, а батя! А вы ко мне в партизаны пойдете?
- Ты, хлопче, с глузду съехал? Какие счас партийны, счас Красная Армия...
- Я, батя, вполне серьезно говорю. Дело есть по военной части, задание партизанское...

Старый конюх махнул рукой, словно хотел этим жестом показать, что слова Панкрата не заслуживают никакого внимания:

- Буровишь, сам не знаешь чего.
- Да не, батя, не буровлю, правду говорю. Как вы думаете, Рыжий Куранда явится еще на хутор?
- Должно.
- Поймать его, стало быть, надо? А кому?
- А что тебе в Рождественке сказали? – спросил Нилыч.
- Так и сказали: взять Рыжего Куранду без кровопролития.
- Кто сказал?
- Вы, батя, Мать – Доброе Сердце знаете?
- А кто ж ее не знает? Видать ее – я не видал, а слышать приходилось. Сказывали в народе, что сам Куранда ее боится.

- Она и сказала.
- Ну раз она сказала, то другое дело.
- На подмогу приедет ее первый сын – Петро Долгов, мой Старший брат. Мы с ним давно побратались, только я никому не рассказывал.

Старый конюх оживился. По-деловому сказал:

- Для такого дела оружие понадобится.
- Старший брат сказал, что оружие будет, были бы только верные руки.
- И руки будут.
- А кого вы, батя, знаете такого, чтоб был надежный?
- Дак тот же Поликарп. Надежнее и шукать не надо..
- Знаю. Это, Нилыч, тот самый Поликарп, которому Мать – Доброе Сердце спасла жизнь. Ради Матери он все сделает, жизни не пожалеет.
- А ишшо поговори ты с Поликарпом насчет скотника; Семена. Тоже свой, трудовой человек.

Через несколько дней Панкрат привез от Петра четыре винтовки и раздал их старому конюху Нилычу, пастуху Поликарпу и скотнику Семену, за которого поручился Поликарп.

А еще спустя несколько дней Панкрат летел к первому сыну Матери с важным сообщением: на Синицын хутор, прямо к Владиславу в субботу приехала жена Рыжего Куранды.

- Я так соображаю, – рассказывал он Петру, – сегодня ночью на хутор заявится и сам Рыжий Куранда. Каким-то путем он оповестил жену, чтобы встречала.

- Хорошо. Будем брать его. Попытайся и на обратном пути никому не попадаться на глаза. А приедешь, подготовь свою команду.

- А ты?

- Я приеду ночью.

Возвращался Панкрат на хутор уже под вечер.

На нескошенных еще полях перекликались в вечерний час перепела, совсем невысоко проносились над дорогой вспугнутые дрогами горлинки.

На хуторе разыскал Поликарпа, скотника Семена, рассказал им, какие распоряжения поступили от Петра Долгова.

Ночью, когда Стожары чуть-чуть склонились к западу, приехал Петр Долгов, с ним был и Горька.

Горька, узнав о готовящейся операции, заявил, что это и его кровное комсомольское дело, и поэтому он будет в нем участвовать. Петр всячески его отговаривал, но Горька гвердо стоял на своем, и тогда брат ему сказал:

- Ладно, иди разговаривай с Матерью. Разрешит – поедешь, не разрешит – останешься дома.

Мать, к удивлению Петра, сказала:

- Пусть едет, Петя.

Панкрат встретил их на задах, провел садом, и тут, как из-под земли, выросли перед ними Поликарп и Семен. Старый конюх оставался в конюшне. Они тихо поздоровались, и Петр сказал:

- Вот я вам на подмогу привел еще одного вояку. Брательник это мой, Горька, комсомолец. А задача у нас такая: как придет Рыжий Куранда, сосредоточиться у подъезда. Главное – тишина и спокойствие. Ты, Панкрат, предупреди Нилыча.

Ждать им долго не пришлось. Рыжий Куранда тихо подъехал на коне к крыльцу, увитому с обеих сторон виноградной лозой, привязал коня к дереву, растущему тут рядом.

«Неужто один? – подумал Петр. – Надо подождать, убедиться».

Время тянулось медленно. Казалось, ночи не будет конца, все молчали, оставалось ждать Куранду.

Наконец, обозначившись на небе еще ярче, уперлись своим дышлом в горизонт Стожары.

- Скоро будет светать, – сказал Петр, поглядев на него. Я встану с одной стороны крыльца, ты, Горька, с другой. Остальные за Горькой. Выходишь по моей команде.

Петр шепотом спросил у Горьки: У тебя тряпки никакой нету? Зачем, братуха?

- Орать ведь будет. Глотку заткнуть придется. Иначе нельзя.

- Для этого найду.

Он разордал подкладку в ватнике, вырвал большой клоч ваты:

- Возьми, братуха.

- Выйдет Куранда, ты с места не двигайся. Позову. Рыжий Куранда спустил-ся с крыльца, и тут перед ним вырос с наганом Петр.

Рыжий Куранда откачнулся:

- Свят, свят! Откуда ты, нечистая сила?

- Узнал, Куранда?

- Горька, кляп! Вяжите ему руки.

Все произошло быстро, еще до того, как Рыжий Куранда успел очнуться от потрясения.

Потом вывели жену Куранды, Владислава Синецу.

- Нилыч, – сказал Петр, – закладывая лошадей, отвезем граждан по месту жительства.

- Я, Старший брат, сбегаю к воротам, – сказал Панкрат. – Проверю обстановку.

До ворот усадьбы вела тополиная аллея. Старые белолетки настолько разрослись, что их верхушки образовали коридор, в котором в летние дни стояла прохлада, а по ночам еще и крошечная тьма. Панкрат юркнул в этот коридор, мгновенно исчез, а через некоторое время от ворот донеслось несколько винтовочных выстрелов.

- Быстро к воротам, – сказал Петр, глянув на пастуха и скотника, и те побежали по аллее.

- А о вашей жизни, господа хорошие, придется позаботиться нам, – повернулся он к Куранде и Синице...

На руках Поликарп и Семен принесли Панкрата, положили его на те же дроги, на которых несколько часов тому назад он вернулся на хутор.

- Сколько их было?

- Трое. Убежали гады!

- Подойди сюда, Старший брат, – попросил Панкрат. Петр наклонился над ним.

- Вези меня к Матери...

- Мы сейчас тебя в Рождественку, в госпиталь. Они тебя вмиг поставят на ноги. И Мать полечит, потерпи.

... Мать уже давно их поджидала, истомившись от бессонной ночи, но спокойно попросила:

- Рассказывайте, сынки.

Петр встал перед нею, застыл, будто вытесанный из камня:

- Порядок! Горька добавил:

- Был Рыжий Куранда и весь вышел.

- Да, Мать, Рыжий Куранда умолял тебя зайти к нему и тюрьму, – сказал Петр. Ну?

- Твое дело, Мать. Хочешь иди, хочешь не иди. Мать ответила не сразу, а после раздумья:

- Пойду. Человек он плохой, а раз просит выслушать, выслушаю.

Мать с сыном пошли вместе. У двери «холодной» Петр сказал часовому:

- Пропусти Мать. Рыжий Куранда сидел на скамье, склонившись над **ушлом** и крепко сжав руками голову. Владислав Синица лежал в углу на соломе.

- Здравствуй, Лаврентий, – сказала Мать.

- А, пришла! – вскочил со скамьи Рыжий Куранда. – А я думал, не придешь.

- Чего тебе?

- Скажи, меня убьют?

- Не знаю, Лаврентий. Не я тебе судья.

- Нет, ты! Ты судья! Ты и никто больше. И не Ковалев и не твой сын. Шантрапа они, пешки. Я с ними и говорить не желаю. Решаешь все ты. У тебя вся власть. Я-то давно знаю, и ты это знаешь.

- Откуда это ты, Лаврентий, взял?

- Мать, скажи сыну, чтоб он меня отпустил. Скажи! Тебе его не стоит. Ты один раз меня отпускала. Хрипом оптом молю, отпусти, не загуби душу, всех попов за милую молитву за тебя бога!

Он рухнул вдруг на колени, подполз к ней:

- Ты меня в восемнадцатом спасла. Думаешь, забыл? Нет, не забыл. Не будь меня, висеть бы тебе на перекладине. А я пальцем тебя не тронул, доброту

твою не забыл. Ты меня тогда спасла без всякой моей просьбы. А сейчас молю тебя. Ноги твои целовать буду!

- Встань, Лаврентий, не надо передо мною валяться на коленях. Недостойно так. Говоришь, спасла я тебя в восемнадцатом? А я как подумаю, так и зайдусь. Не добро тогда сотворила, а зло. Не отпусти я тебя тогда, ты, может, стал бы человеком. А ты тогда убежал. А куда бежал, спросил себя? Ты хоть сейчас подумал, куда бежал? Нет имени, так я тебе скажу. В могилу бежал.

- Каюсь, каюсь, как перед богом, перед тобою каюсь. Иродом был, людей мучил, беру всю вину на себя. Только спаси мне жизнь. Вериги на себя надену, в монастырь уйду. Злодей я, злодей! Но яви же ты свою доброту. Чего же еще тебе надо?

- Не передо мною, Лаврентий, теперь тебе в своей вине каяться.

- Ага! Вот ты какая! Так какого же черта тебя называют Мать – Доброе Сердце? Камень у тебя в груди. Мне говоришь, что я злодей. А ты чем лучше меня? К смерти приговариваешь? Палач ты, а не Доброе Сердце.

Он в изнеможении упал и стал биться с таким ожесточением, словно хотел размозжить себе голову. И вдруг заплакал.

Мать содрогнулась. В состоянии горького оцепенения глядела она на Рыжего Куранду. «Господи, – думала она, – а ведь родился он, как рождаются все дети, и походил на ангелочка с пухлыми ручонками и такими же ножками, припадал к материнской груди и пил материнское молоко, радозался чистой детской радостью и радовал других. Какая жестокая сила превратила его в волка?»

- Не плачь, Лаврентий. Ни к чему твои слезы. Страшные они у тебя. Все, что могла, я для тебя сделала, и что могу, тоже сделаю. Сейчас пойду и попрошу сына, чтоб отпустил он тебя с матерью попрощаться.

Рыжий Куранда вдруг мгновенно затих, посмотрел на Мать сухими злыми глазами:

- Иди, проси!

Валявшийся до этого молча в углу на соломе Владислав Синица приподнялся, и полулежа, опершись на локоть, сказал:

- В подобных случаях, гражданин Лаврентий Куранда, актеры в древнем Риме говорили: «Рукоплещите, друзья, рукоплещите, граждане, комедия окончена». Это все, мой друг. Мое вам с кисточкой!

- Пошел ты к чертовой матери, задыра, со своими комедиями.

- Рад бы уйти, но... друзей в беде не оставляют. А ты мой ближайший друг..

Петр Долгов, с которым Мать вернулась в «холодную», сказал Рыжему Куранде:

- Сходи домой. Моя Мать тебя проводит. Через двадцать пять минут возвращайся, – и, повернувшись, удалился.

По дороге Рыжий Куранда очень торопился.

В доме оказалось, что мать Куранды лежит в постели. Отца не было. Со вчерашнего дня он находился на старом, где стоял ветхий ветряк и куда старый Куранда ходил все чаще и чаще. В комнату вошла жена Рыжего Куранды с сыном на руках.

Лаврентий!, – закричала она. – Отпустили!

Как же! Жди! Отпустили! Гляди, вон рядом жандарм стоит, – он махнул рукою в сторону Матери. Мать Куранды в постели позвала:

- Лаврентий, подойди ко мне.

- Отвяжись ты, старая. Без тебя тошно.

- Не убивай меня, Лаврентий, подойди. Я скоро умру.
- Я сам мертвяк. Ты рази не видишь? Отчепись, времени на тебя нету. Что ты меня без ножа режешь.

- Лаврентий, – сказала Мать – Доброе Сердце, – подойди к матери.

- Это за для чего? – спросил он.

- Стань на колени. Проси теперь у матери прощения за все обиды, нанесенные ей. Ты для этого, Лаврентий, просился. Матери легче будет, а может, и тебе полегчает.

Рыжий Куранда стал на колени, опустил голову. Рука больной слабо закачалась над головой сына и беспомощно упала на подушку.

Рыжий Куранда быстро вскочил на ноги, повернулся к матери:

- Ну, чего еще тебе нужно? Я все сделал, как ты велела. Говори, теперь долго ты еще меня мучить собираешься?

Солнечные лучи упали через окно в комнату, и все в ней вдруг засветилось ровным розовым светом. Рыжий Куранда стоял, подняв злые глаза на Мать, и на рыжей голове извивались короткие струйки холодного огня.

- Ты думаешь, домой я пришел, чтобы опять идти в неволю. Нет, я не дурак, добровольно в петлю не полезу. Прошу тебя по чести: уговори сына, прикажи ему, иначе прокляну, не сам прокляну, сыном прокляну.

Он выхватил из рук жены двухгодовалого ребенка, тыча его в сторону Матери:

- Погляди на нее, сын. Враг она мне, тебе, всему нашему роду. Вырастешь, вырви у нее сердце и брось собакам за то, что оно у нее чересчур доброе.

Испуганный ребенок громко заплакал, вырываясь из рук Куранды.

- Лаврентий, – сказала Мать. – Отдай ребенка матери, перепугал ты его насмерть.

- Не хочешь? – продолжал кричать Куранда. – Так слушай: не вернусь я в ваш задрыванный ревком, сейчас выскочу в окно и ищи ветра в поле.

- Не выскочишь, Лаврентий.

- Что, стражу кругом расставила?

- Ничего не расставляла. А знаю, что не побежишь. В окно сиганешь – дело нехитрое. А дальше жить как будешь? Опять убивать и вешать? Земля наша стоит долго, а лучшего до сей поры люди ничего не придумали, кроме семьи и детей. Будут семья и дети – будет и все остальное. Ты до того, Лаврентий, очерствел, что про долг свой отцовский забыл. Нет, не мстить я тебе пришла, а дорогу указать. Одна она у тебя осталась, не из чего тебе сейчас выбирать, другой все едино нету, прими ее такой, какая она есть.

Она замолчала, сказавши все, что могла. Каких еще слов ему надо?

Мать и сама не знала, какая Куранду ждет дорога. Одно только ей понятно было: трудная.

Успокоенный матерью, перестал плакать ребенок. Мать Куранды тоже лежала тихо. Страшно это, когда надо решать: жить человеку или не жить? А решать так или иначе надо.

Мать поднялась с места, сказала:

- Пойдем, Лаврентий, пора уже нам. Она вышла из хаты.

Рыжий Куранда за нею. А в ревкоме в это время шел трудный спор. Дверь в комнату Петра широко распахнулась, и на пороге появился разъяренный Ковалев.

- Ты что же, Долгов, под трибунал захотел пойти? Предаешь интересы пролетарской революции?

- Арестовать меня пришел? – спокойно спросил Петр. – Так раньше объясни, да без крика. Я не привык к крику. На меня родная Мать никогда не кричала. А у нее прав на это побольше, чем у тебя, Ковалев.

- Да тебе голову надо оторвать за твое ротозейство. Матерого волка выпустил на свободу. Ты отдаешь себе отчет?

- А-а, ты вот о чем. Отдаю, целиком и полностью отдаю. Рыжего Куранду я не отпустил, а позволил ему пойти проститься с семьей. Мать с ним моя пошла. Мы же не деспоты с тобою, Ковалев? Ты понимаешь, что его ждет?

- Насчет Матери выслушай меня спокойно. Я ей доверяю и не могу не доверять. Я не блудный у нее сын. Да, отпустил! Куранду, отпустил без всякого страха. Понял? Никуда он от Матери не убежит.

- Откуда у тебя такая уверенность, Долгов? Такому ничего не стоит снять голову и с твоей Матери.

- Сто раз Куранда мог снять с нее голову, а не снял.

- Думаешь, Ковалев, не снял! Спросишь – почему? Потому что есть у нее над ним власть. Да, он бандит, головорез, согласен, ненавижу его не менее твоего, а может, и поболее, он чувствует эту власть и боится Матери.

- Какую же она имеет над ним власть?

- Не знаю. А только скажу, что власть Матери посильнее и твоей, и моей. Эх, Ковалев, Ковалев! Хороший ты парень, уважаю я тебя, а понять меня не хочешь. У тебя мать есть?

- Умерла от голода.

- Умерла от голода! Как же мы допускаем, чтобы наши матери умирали от голода?

- Не мы это допускаем. Враги допускают.

- А мы кто? Мы матерям чужие? Нет, брат, получается, что мы для них еще хуже врагов. Раз допускаем, чтобы враги морили матерей наших ГОЛОДОМ?

- Ты, Долгов, стихия. Кончим войну с контрой, и для матерей другая жизнь настанет.

- Почему только тогда? А если они не доживут до обещанного тобою счастья? Ты сегодня как должно оценить, дай ей сегодня не легкую, но уважительную жизнь. Она любую трудность переживет, одного только перенести не сможет: неблагодарности. Эх, Ковалев, Ковалев! Веками матери за нас страдали, слез над нами пролили, что собери их воедино, новый океан на земле разольется. Они нас добру и труду учили. А мы им каким добром за это платим? Тем, что снимаем друг другу головы, сжигаем дома, обрекаем детей, стариков и тех же самых матерей на голод – этим мы занимаемся?

- Не мы этим занимаемся, Долгов. Враги наши сеют смерть, пожары и голод. Это понимать надо. Закончится с контрой, и поедешь ты, Долгов, учиться. Мозги тебе привести в порядок надо.

- Я не против учебы. Поеду и буду учиться. С церковно-приходским образованием далеко не укачешь. Что верно, то верно, возражать не приходится. Но я, Ковалев, о другом, Мать дает нам жизнь, стало быть матери принадлежит и право распоряжаться жизнью. А мы у нее отобрали это право. На каком основании, спрошу я тебя?

За что же мы с тобой, Ковалев, боремся? За жизнь, за хорошую жизнь для всех людей на земле. А мать испокон веков за нее борется: родит сначала, из-

нунив себя до предела, потом выкормит своим молоком, ходить научит, понадобится, от беды собой загородит. Ты это можешь, Ковалев? Никто не может, кроме матери. И получается, что мы в своей борьбе только помощники матери в ее извечной жажде хорошей жизни для своих детей – и больных и малых.

Мудрее и чище, чем мать, никого нет на свете. И для своего отечества мы не нашли более святого имени, чем Мать-Родина. Если у человека нет любви к матери, то откуда у него возьмется любовь к родине? Я, Ковалев, верю в свою Мать. Она не совершит вредного для нас дела. Ты будь на этот счет покоен. Для таких, как ты, я, между прочим, все предусмотрел, так что не бойся. Мои бойцы не будут спускать с Рыжего Куранды глаз.

Все я, Ковалев, понимаю: разбить контру надо, голод побороть тоже надо, справиться с разрухой тоже наша задача. А без Матери сделать это невозможно, потому что только она делает нас людьми, способными преодолевать любые трудности. Все в ее воле, все в ее власти. Матери я буду поклоняться всю жизнь, для нас, рожденных ею, нету иного бога, кроме матери. А ты, Ковалев, хочешь, чтобы я не посчитался с ее волей.

Незаметно как-то Ковалев переместился к окну, а вслед за ним, погода поднялся из-за стола и тоже сел к окну на противоположную от Ковалева сторону Петр.

Ковалев нередко посматривал в окно, но так, чтобы Петр этого не замечал. Петр же делал вид, что далек от каких бы то ни было подозрений относительно поведения председателя ревкома. Наоборот, он дал понять Ковалеву, что подсел к окну по причине неотложного разговора, который и начал, опустившись на стул:

- Давай, Ковалев, посоветуемся.

- Ну? – спросил Ковалев и бросил незаметный взгляд, в окно. Долго на этот раз от него не отрывался, а повернувшись к Петру, весело заулыбался. Петр, увидев неожиданную перемену в лице Ковалева, тоже посмотрел в окно.

По площади, пересекая ее, шла Мать, а за ней – Рыжий Куранда.



ИЛЬЯ ЧУМАК

(1912 – 1967)

Илья Васильевич Чумаков (псевдоним – Чумак) родился 2 августа 1912 года в селе Старая Полтавка нынешней Волгоградской области. В его памяти – гражданская война, безжалостное детство, гонимая беспризорной судьбой юность. Воспитывался и учился в трудовой колонии им. М. Горького,

детской коммуне им. Ф.Э. Дзержинского и других подобных спецзаведениях. Там были незабываемые встречи с М. Горьким, А.С. Макаренко. В юности работал на нефтяных промыслах в г. Грозном.

В начале 30-х годов перебирается на постоянное место жительства на Ставрополье. Первая проба пера – в газете «Голос вышек». С 1934 года сотрудничает в молодежной газете «Молодой ленинец», затем – разъездной корреспондент «Ставропольской правды». Бескрайние ставропольские степи, бессонная журналистская работа. Свои повести, рассказы, короткие новеллы Илья Чумак печатал в газетах, потом уже собирал в небольшие книги, отбирая самое лучшее, наиболее удачное.

В годы Великой Отечественной – на фронте: капитан, старший оперуполномоченный контрразведки «СМЕРШ». Очередь, почти в упор, немецкого автоматчика, и – бесконечные коридоры эвакуационных госпиталей. В 1943 году возвращается в Ставрополь, снова родная газета, прокуренные кабинеты и коридоры «Ставрополки». Оставшиеся живыми, израненные, в застиранных военных гимнастерках, друзья, командировки, ночевки у дымных чабанских костров, пьянящий степной дух полыни и чабреца. Началась бурная мирная жизнь. И ровные карандашные строчки в корреспондентском блокноте. Когда очерк не мог вместить в себя все то, что он видел, слышал, пережил, – рождался рассказ, повесть.

В 1958 году И. Чумак еще более активно продолжив литературную деятельность, стал членом Союза писателей СССР. Его книги: «Атака» (1944), «В начале мая» (1946), «Буруны» (1947), «Степная легенда» (1948), «Марьины колодцы» (1951), «Главный ориентир» (1957), «На Черных землях» (1957), «Парень с широкого поля» (1961), «Доваторцы» (1961), «Золотое руно» (1962), «Прапор» (1963), «Живая россыпь» (1964, 1967), «По волчьим следам» (1966).

Он принадлежал к числу тех, не так уж многочисленных литераторов, которые не преувеличивают значение своего таланта и умеют строго оценить собственные возможности. И. Чумак сам всегда считал себя рядовым армии советских литераторов. Он принадлежал к воинам-бойцам, которые несут службу не за страх, а за совесть, проявляют смелость, инициативу, отдают службе Отечеству все силы и способности, всего себя без остатка.

Один из читателей Ильи Чумака, узнав о его смерти (1967г.), взволнованно писал: «...Почему людям с такой душой, человечностью приходится мало жить?.. Мне кажется, потому, что такие люди не проходят мимо чужого горя, они оставляют частицу своего сердца всем людям...» Это очень верно. Но не только в горе, а и в радости и во всем, в чем проявляются жизнь и человеческая деятельность. Илья Чумак, общаясь с людьми с помощью печатного слова, обращаясь к ним со своими статьями и очерками, повестями и рассказами, всегда и непременно оставлял им какую-то частицу своего щедрого сердца – то с горечью, то с радостью, то со жгучей ненавистью, то с ласковой любовью.

В основе всего написанного Ильей Чумаком лежит подлинное знание жизни.

Он был строгим реалистом, но отнюдь не копировщиком действительности. Его повестям, рассказам и очеркам присуще художественное обобщение, делающее реальные явления жизни рельефнее, красочнее, ярче. Вот почему некоторые его рассказы кажутся очерками, а отдельные очерки воспринимаются как рассказы, новеллы. Эта характерная особенность произведений Ильи Чумака, пожалуй, наиболее осязательно выражена в его «Куряжанских рассказах».

Написанное им явственно делится на три группы произведений, в основе которых лежат: гражданская война, Великая Отечественная война и жизнь в послевоенные годы. К сожалению, многие планы и замыслы писателя остались невыполненными. Но то, что он успел сделать, – сделано добросовестно и оставило заметный след в жизни.

Умер Илья Чумак в 1967 году.

ИЗ КНИГИ «ЖИВАЯ РОССЫПЬ»

I

КУРЕЖАНСКИЕ НОВЕЛЛЫ

ОТЕЦ

У Васи Ивлева не было ни отца, ни матери. Мать умерла от чахотки, еще когда ему было три года, а отец пропал без вести во время гражданской войны.

Как далекий сон, помнил Вася этот печальный день разлуки. Шел проливной дождь. Где-то совсем рядом гремели орудия. Люди бежали на станцию, вместе с ними бежал и Васин отец. В быстром водовороте толпы он потерял Васю. Потом Вася упал и долго не мог встать на ноги, а когда наконец поднялся, увидел лишь сверкающий мокрым асфальтом пустынный перрон.

Но в ту пору Вася не испытывал особой грусти об отце. Почти в тот же день на вокзале ему подвернулись друзья – оборвыши Сенька и Колька, и с ними как-то стало легче и веселее. Вася не заметил, как пролетело лето и настала пора уезжать в солнечный Ташкент, где, по рассказам знающих людей, было много хлеба и вкусных, сладких, как сахар, яблок и дынь.

Но там, на чужой стороне, стала вдруг Васю одолевать смутная грусть. Все чаще и чаще он вспоминал дождливый и ветреный вечер разлуки с Одессой, шумный и мрачный вокзал, на перроне которого он потерял отца. Чтобы скрыть от товарищей слезы, он ложился на насыпь железной дороги и лежал до тех пор, пока совсем близко не раздавался грохот колес товарного поезда. Поезд, не останавливаясь, медленно полз на запад. Устроившись на тормозах, Вася ехал дальше – на запад, на запад!

Когда Вася снова очутился в родных краях, его охватила радостная надежда: а вдруг где-нибудь среди толпы незнакомых людей он встретит отца. Вася был уверен, что узнает его сразу, стоит только увидеть его, взглянуть на его плечи и руки, длинные и тяжелые руки одесского грузчика.

Но сколько Вася ни встречал мужчин с большими мозолистыми руками, ни один из них не обратил на него внимания. Когда он останавливался перед ними, робко, искательно улыбаясь, они удивленно глядели на него, и Вася сейчас же отходил прочь. Он понимал, что отец не мог на него так глядеть.

И вот однажды, когда Вася сидел на перроне вокзала в городе Харькове, ожидая поезда на юг, он вдруг почувствовал на себе чей-то долгий и внимательный взгляд.

У открытого окна вагона стоял незнакомый человек в роговых очках и не спускал с него глаз. На его загорелом лице проглядывали усталость и мягкая грусть. На вид ему было лет сорок, он был здоров и крепок, а руки, положенные на подоконник, напоминали ему руки одесского грузчика. Руки были, как у отца, но это был не отец. Вася видел этого человека первый раз в жизни.

Смутившись, Вася отвернулся, медленно отошел в сторону. Неясная тревога охватила его. Он прожил на свете четырнадцать лет, но никто еще не смотрел на него таким взглядом.

Но вот ударил звонок, и поезд, вздрогнув, медленно поплыл мимо станции. Взглянув еще раз на перрон, незнакомец убрал руки с перил и плотно захлопнул окно. Вася посмотрел ему вслед и, сорвав с головы свой рваный капелюх, помахал им в воздухе, словно провожал кого-то близкого и родного.

И вдруг ему пришла мысль, сразу овладевшая всем его существом: а что, если это отец? Ведь Вася не видел его много лет, он мог забыть и его лицо, и его имя.

Через мгновение он исчезнет за поворотом, растает в дыму, и Вася никогда больше его не увидит.

Вася быстро сбросил с ног тяжелые рваные боты и, прыгнув с перрона, ринулся вслед только что проскользнувшему мимо него вагону. Вот он уже настиг поезд, схватился за поручни и, едва не попав под колеса, вспрыгнул на ступени вагона. Поезд умчался вдаль, вместе с ним умчался и Вася...

На станции Рыжево человек в очках сошел на перрон, и Вася, завидев его, тоже вышел из вагона. Выпив в вокзальном буфете фруктовой воды, незнакомец быстро ушел куда-то за станцию. Вася украдкой направился следом за ним. Он шел за ним долго, не решаясь нагнать, скрываясь от его взгляда в придорожных кустах. И только когда тот вошел в большие ворота незнакомой усадьбы, Вася выбежал на дорогу и крикнул с безнадежным отчаянием:

- Дяденька!

Человек в очках замедлил шаг и оглянулся. Его лицо скрывалось в тени ворот, и Вася не различил его выражения. Он хорошо только видел его освещенные солнцем руки, большие и тяжелые руки одесского грузчика.

Преодолевав волнение, Вася подошел к нему вплотную.

- Дяденька, – повторил он дрожащим голосом, – скажите, вы в Одессе когда-нибудь жили?..

Человек в очках удивился.

- В Одессе? – переспросил он. – Нет, в Одессе не жил. Но то, что ты пришел к нам в колонию добровольно, хвалю. – И вдруг протянул руки и крепко обнял Васю за плечи, как можно обнять только родного сына.

II

КОРОТКИЕ НОВЕЛЛЫ

БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

Его поставили в нашем парке, и я часто видел, как незнакомая мне седая женщина, присев на ближайшую скамейку, долго-долго не отрывала от него своих грустных, а иногда и заплаканных глаз. «Мать, – заключил я. – Переживает потерю до сих пор».

Однажды мне пришлось присесть рядом с ней: свободных мест на других скамейках в тот час не оказалось. Вначале женщина не обратила на меня никакого внимания, но потом, заметив, что и я задерживаю взгляд на бюсте, тихо спросила:

- Не знаете, бронза не блекнет от непогоды?

Я обрадовался ее вопросу. Мне давно хотелось сказать ей что-нибудь теплое, отчего бы она могла разглядеть на лице скорбные морщины. Ей нужно не плакать, а гордиться!

И я ответил:

- Бронза, может быть, и поблекнет, но какое это имеет значение? Ваш сын – дважды Герой Советского Союза, и уж это ни от чего не поблекнет и никогда.

- Вы так думаете! – неожиданно для меня усмехнулась соседка. – Сын... Нет, не сын, он – муж мой.

- Как?

Я спохватился, конечно, но слишком поздно. Когда я, наконец, оторвал свой изумленный взгляд от бюста, женщины возле меня уже не было. Она поднялась и пошла.

Она ушла раньше, чем я мог сообразить, что мертвые не стареют. Какими они умели, такими и остаются навечно.

ОБИДА

Наша переписка оборвалась много лет назад. Я начал стесняться писать ему письма: прослышал, что в Москве сразу после войны он стал довольно крупной персоной. Теперь ему было не до меня. Потом и адрес его затерял. Наверное, точно так же, как затерял он мой.

Но, оказавшись в столице, я все-таки подумал: а не позвонить ли ему? Не мог же он совсем позабыть о нашей бывшей фронтовой дружбе! Ведь столько лет мы с ним, как говорится, пили из одной кружки и ели из одного котелка.

Навел справки, набрал нужный номер.

Телефонную трубку сняла женщина, по-видимому, жена. Прежде чем ответить на мой вопрос, дома ли Андрей Петрович, она поинтересовалась, кто я такой, откуда сам, а потом попросила минутку подождать. От телефона она отошла недалеко: я отчетливо слышал, как она назвала мою фамилию и сообщила, что я в Москве проездом. Донесся до моего слуха и мужской голос:

- Объясни ему, Маша, как к нам доехать...

Но мне уже не нужно было объяснять, как к ним доехать. Вот это друг! Не захотел даже подойти к телефону! Во мне закипела такая гневная обида на Моргунова, что я чуть не разбил трубку, когда кинул ее на рычаг.

Прошел месяц, я вроде стал забывать про этот злосчастный разговор по телефону в Москве, как неожиданно получил письмо.

Писала жена Моргунова.

«Знали бы вы, как он ждал вас в тот вечер! Заплакал, когда понял, что вы так и не придете. А сейчас его уже нет – вчера мы нашего Андрея Петровича похоронили. Отстрадался, бедняжка: больше десяти лет пролежал парализованным – из-за старых фронтовых ран...»

ИРОДЫ

Жила Прасковья Ивановна одна-одинешенька. На сыновей она не обижалась. Знала, что у обоих давно свои семьи. Ранило одно: чтобы вырастить их, билась в своей вдовьей доле изо всех сил, – а они, ее дорогие сыночки, в помощь до сих пор не прислали даже рубля. А ты, Ивановна, зря молчишь, – говорили соседи. – Возьми и подай на них в суд.

- Да я уже думала, – отвечала Прасковья Ивановна. – Но у них же детей много. Так продолжалось долго-долго. Год, два, три, может быть, и все десять.

- Подавай, Ивановна, подавай! Они обязаны, и закон такой есть!

И когда она все же согласилась, в суд пришли целой толпой. Чтобы подтвердить правду.

Какое решение вынес суд, до сознания Прасковьи Ивановны вначале не дошло. А когда наконец дошло, закрыла ладонями лицо и горько-горько запричитала: Да что вы наделали, граждане судьи! Неужто у вас души нет? Да разве можно отнимать у них из зарплаты каждый месяц по пятнадцать рублей! Ой, что вы наделали, ироды!

СТРАННАЯ

Дни шли, а Маша по-прежнему не могла утешиться. От постоянных слез она стала неузнаваемой: из красивой и статной женщины превратилась едва ли не в дряхлую старуху. Ей уже и жить не хотелось, – зачем жить, когда Коли, ее единственного сына, ее радости и надежды, больше нет на свете. Лучше лечь в могилу рядом с ним, чем перенести такое несчастье.

Что делать с женой, Иван Тимофеевич не в силах был придумать. Нелепая гибель сына потрясла и его, но он был мужчиной, он умел крепиться. А вот что было делать с Машей?

Тогда-то и остановила его на улице по дороге на службу одна старушка. Легко тронула своей вишневой клюшкой за рукав и с тихой задушевностью в голосе сказала:

- Слышала, слышала. Вот и решила сходить к вашей жене. Как не сходить, когда в доме такое.

Кто она, эта старушка, Иван Тимофеевич не знал. Он никогда с ней не встречался. Да не помнилось, что и Маша была с ней знакома.

Теперь к душевной боли прибавилось какое-то беспокойство, и Иван Тимофеевич едва дождался обеденного перерыва. Сомнения не было, что эта странная старушка своим утешением еще больше растеребит сердце Маши. Побывать дома надо было непременно.

Он ступил на порог родного дома уже через пятнадцать минут: Маша, Машенька, где ты? Или по-прежнему сидишь на диване с влажным платком в руке? Уж прости, что не нашел в себе воли тогда, утром, сказать той старухе, чтоб поворачивала назад.

- Ох, хорошо, что ты пришел, – откликнулась Маша из-под занавески над окном. – Иди сюда – она еще видна, еще не скрылась. Ну, иди же скорее.

А потом, когда прижала свою щеку к щеке Ивана Тимофеевича, с тяжким вздохом сказала:

- Вот мы с тобой переживаем, а каково ей? Каково ей, бедной? Я ахнула, когда увидела в ее руках похоронные. На всех семерых сыновей...

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Сказала, что приехала навсегда, но вот не прошло и недели, как засобира-лась в обратную дорогу.

- Не пойму я тебя, мама, – не сдержался Андрей, – то богом просила взять тебя ко мне в дом, а теперь... Ну, чем тебе плохо у нас?

- Что и говорить, – ответила мать, – прожила я у тебя, сынок, эти дни, будто в земном раю. На всем веку своем такой благодати не видела. Сам знаешь, что довелось мне...

- Ну, так и оставайся, кто тебя гонит?

- Нет, сынок, не хочу. Вернусь в свою Котляревку.

Андрей задумчиво почесал бровь. Ох, и трудное это время, когда сыновний долг в конце концов заставляет тебя всерьез подумать о судьбе родной матери! К такой поре, как обычно, личных житейских забот по завязку, а тут еще и она со своими вздохами да попреками. Ведь что, казалось бы, нужно его матери – одета, обута, а постель? Это же чисто королевская постель. Да и с обеденного стола бери, что душе твоей пожелается.

Зло на мать стало особенно сильным, когда определилось, что час ее отъезда именно, как на зло, совпал с часом воскресного выезда на охоту. Пришлось, конечно, от всего отказаться и вечернюю зарю встречать не в камышах загородных плавней, а на вокзале.

Уже на вокзале с билетом в руках уговаривать мать образумиться было незачем, но должна же она сказать, почему не захотела остаться жить у Андрея? «Ну почему, почему, мама? Хотя в эти последние минуты не мучь, не терзай, мама!»

- Нету этой причины, сынок, – тихо вздохнула мать. – Просто мне у тебя холодно.

- Холодно? – удивился Андрей. – Да мы и зимой не закрываем форточек – настолько у нас всегда тепло. «Тепло, да не в сердце», – хотела сказать ему мать, но из-за того, что Андрей опять посмотрел на часы, так ничего и не сказала.

БАБУШКИН ГОСТИНЕЦ

В воскресный день вдруг неожиданно-негаданно пришла мать. Переступив несмело порог, она с любопытством оглядела обстановку и убранство нового жилья Егора и сказала:

- Ну, здравствуй, сынок! Что – жив-здоров?

Егор отложил в сторону недочиненный детский ботинок и не спеша поднялся ей навстречу. Значит, все же не утерпела – пришла. А ведь она так же, как и отец, гневно кричала ему вслед, что здесь, где он теперь живет, и ноги ее не будет. Она, как и отец, была убеждена, что он, Егор, поступил самым безрассуднейшим образом. Ну, мыслимо ли решиться на такую женитьбу: двое своих и трое у нее, этой Глаши, и все мал-мала меньше. То, что Егор любил ее еще с молодости, еще девушкой, еще до того, как ее просватали за ныне покойного Алешку Климова, для стариков, похоже, значения не имело. В том возрасте своя любовь уже забывается.

- Один дома? И деток почему-то не вижу. Куда ж они запропали, твои детки-то?
- Кто знает, куда они сейчас запропали – на дворе ведь лето. Глаша ушла на огород, ну и они, наверное, все пятеро, увязались за ней. Скоро вернутся.
- О нет, родимый, я долго ждать не могу: мне надо в больницу. Я зашла мимоходом, чтобы передать деткам гостинец. Вот, скажешь, от бабушки.

И на скатерть стола перед Егором осторожно легли два магазинных розовых пряника.

Только два пряника – ни одним больше.

Может быть, Егор так ничего и не сказал бы матери, расстался с ней молча, если бы в этот момент во дворе не зазвенели приближающиеся детские голоса. В хату вот-вот должна войти Глаша, а с ней и дети. И Егор не сдержался. Наливаясь обидой и гневом, он крикнул:

- Убери, убери свой гостинец, немедленно, не то выброшу его. В окно. Убери, пока не поздно!..

ГОРЬКИЙ КОМ

Я ехал из Сибири в родные края. Дорога была дальняя, и душа просила попутчика, с которым можно избавиться от нудной, томительной скуки в вагонном купе. Кто б он ни был, – лишь бы хороший, дружеский разговор, и только.

Но мне не везло. До Ачинска ехал со мной какой-то заготовитель, просидевший в вагоне-ресторане почти до конечной остановки, а в Ачинске на его месте расположилась старушка со скорбным и туманным лицом. Сколько мы ни сидели друг против друга, она не проронила ни слова.

Странная старушка промолчала даже тогда, когда я пожелал ей спокойного сна.

Удивительная старушка! Не прилегла на постель всю ночь. Как вчера устроилась в окно глаза, так и не отвела их до утра.

Сейчас я уже не скажу, как я провел новый день, но помню, что почти не заходил в свое купе. Дверь его открыл лишь глубокой ночью. И когда открыл, был просто ошеломлен: моя спутница продолжала сидеть – сидеть в одной и той же позе.

- Мамаша, – не выдержал я, – да разве можно так? Вы же уморите себя. Почему не ложитесь спать? Людям в вашем возрасте только и спать.

- Эх, сынок, – тихо ответила она, как и прежде не отрывая глаз от окна, залитого ночной чернотой. – И рада бы уснуть, да не могу. Не в силах...

- Бессонница?

- Нет, сынок, не она. Обида, такая обида, сынок!

И не ожидая, когда я спрошу ее, что за беда начала рассказывать, рассказывать торопливо, поспешно, будто боялась, что я перебыю ее, до конца не дослушаю. Приехала она к сыну, к своему единственному сыну Васятке (к кому же еще ей пригорнуться на старости лет), а он не принял, сказал: уезжай обратно. Теперь у него своя семья, свои заботы и нужды. Да и не слишком понравилось все это распрекрасной его жене...

Она умолкла не скоро, но как-то неожиданно, вдруг, не досказав даже фразы, и я, поняв, что это и есть конец, спросил:

- А кто такой ваш Васятка? Где он живет и кем работает?

Но старушка мне не ответила.

Она не ответила и после того, как я повторил свой вопрос.

Она спала.

ИЗ ПОЛУИСТЕРТОЙ ТЕТРАДИ

Она не могла уснуть, не увидев Большой Медведицы. Кто-то сообщил ей, что муж находится в окружении, ясно, что в такие часы и он глядел на это созвездие. Чтобы не сбиться с пути, а возможно, и для того, чтобы через самую малую ее звездочку передать домой привет, утешение и любовь.

* * *

- Верьте – не верьте, а я раньше всех узнал, что началась война, – сказал один солдат на привале. – С вечера жена поставила на комод букет свежих пионов – и что ж вы думаете – осыпались они за ночь до единого лепестка. Взглянул на пол и даже вздрогнул: он весь оказался будто в крови.

* * *

Он долго не получал ни от кого писем. Завидев солдата, разносящего по ротам почту, бросался ему навстречу как ошалелый. Но, увы, его имени тот по-прежнему не окликал.

Но вот, наконец, и его имя. Сияя от радости, схватил письмо и, присев в углу блиндажа, жадно впился глазами в густо исписанный карандашом тетрадный листок. Не похоже было, чтоб он прочел все до конца. Вдруг зажал письмо в кулаке и, клоня голову, безутешно заплакал.

Мы не стали его утешать. Зачем? Есть несчастья, для которых не существует таких слов...

* * *

А ну, подвиньтесь, – грубо сказал мой ординарец, пытаюсь найти в забитом солдатами блиндаже хоть малость места для нас двоих. – Ишь, разлеглись!

Что они его не слушаются, он понял лишь тогда, когда, наконец, взглянул им в глаза: почти у всех, поблескивая в сумраке холодным стеклом, они были открыты.

* * *

Его труп обнаружили, когда растаял снег. А кто-то ждал, всю зиму ждал от него весточки; быть может, ждет до сих пор...

* * *

- Спрашиваете, как живем? – ответила во время войны женщина-колхозница. – Да сухой хлеб не едим.

- С чем же вы его едите?

- Со слезами, милый! Только с ними...

* * *

Пословица:

Когда волк попадает в яму, он говорит козлу: брат мой!

* * *

В нагрудном кармане убитого лейтенанта нашли конверт крепко склеенный из куска плотной бумаги. «Отослать по указанному адресу только в случае

моей смерти, – было написано на нем сверху. Стоило взглянуть на мертвого лейтенанта, чтобы можно было сразу определить, что это был именно его почерк; прямой и твердый, решительный и красивый.

Что же в конверте? Прощальное письмо? – так не похоже. Из такого парня вздохов и слез было не выбить.

Там лежала единственная фотография. Его самого, кудрявого и гордого юноши со взглядом степного орлана. И на ней тем же почерком, наискось: «Вот так и забывают меня понемногу».



ГЕОРГИЙ ШИЛИН (1896-1941; декабрь 1938)

Жизнь Георгия Ивановича Шилина была недолгой, но очень насыщенной, сначала благополучной, но с трагическим концом. Автор многих рассказов, повестей, романов полюбился читателям не только за живость и увлекательность изложения, но и за свою человечность по отношению ко всем, кто нуждался в защите.

Родившись в семье железнодорожника 2 ноября 1896 года в небольшом городке Георгиевске Ставропольского края и, прожив всего сорок пять лет, Шилин посвятил свою жизнь людям, пройдя нелегкий путь от подсобного рабочего до известного писателя.

Учился Георгий в городском училище, по выходе из которого служил то в магазинах, то в конторах на должностях помощника конторщика.

Печататься начал в 1914 году во владикавказской газете «Терек», и с тех пор – профессиональный журналист. Работал в северокавказских дореволюционных газетах... В 1915 году мобилизован и отправлен в город Алашхихе (Закавказье), в запасной полк. Затем служил в Ораниенбауме, в пулеметном полку, оттуда – путь на германский фронт рядовым солдатом. С 1916 года – в окопах, непосредственно участвовал в ряде боев. В начале 1917 года, после Февральской революции, направлен на учебу в Иркутск, в школу прапорщиков, по выходе из которой был произведен в прапорщики (лето 1917 года).

В 1917 году служил в одном из запасных полков, в городе Георгиевске. Одновременно сотрудничал в газетах... Был фельетонистом и очеркистом газеты «Трудовой Батум», секретарем газеты «Труд» в городе Баку, разъездным корреспондентом «Бакинского рабочего», корреспондентом «Известий» в Азербайджане, «Ленинградской правды» и других. В 1928 году переехал в Ленинград, работал очеркистом в «Красной газете» и других.

В 1934 года Шилин стал членом Союза советских писателей.

С Северным Кавказом и Ставрополем Георгия Шилина связало многолетнее творческое сотрудничество. В редакции газеты «Терек» Г. Шилин начинал в качестве рассыльного. Его литературные способности заметил и поддержал С.М. Киров, который в эти годы работал на Северном Кавказе, и молодой человек начал печататься в газете. Началом литературного пути писателя были стихи, очерки и рассказ «Клюев». Вернувшись с фронта, Г. Шилин выпустил первую свою книгу – сборник стихов «Красное знамя», активно включается в литературно-просветительскую деятельность – редактирует газеты «Известия Георгиевского совета», «Красный Терек». Мирная жизнь становится для него возможностью проявить себя в качестве разъездного корреспондента центральных газет. Постоянно бывая по заданию редакции в Дагестане, Азербайджане, Грузии, Карачае, Черкесии, городах и селах Ставрополья, он знакомит

читателей с тем, что дала новая экономическая политика крестьянам и рабочим, как изменяются при этом взаимоотношения людей. Накапливается новый жизненный материал, становится более отточенным литературное мастерство. В водовороте становления и утверждения Советской власти в казачьем крае было необходимо четкое определение идейных позиций: с кем идти? Шилин связал свою судьбу с большевиками, был членом Коммунистической партии. Он редактировал на Северном Кавказе советские газеты, руководил отделами печати и искусства в родном городе.

В литературном наследии Георгия Шилина особое место занимает его роман о прокаженных. В свое время он вызвал огромный читательский интерес и необычностью материала, и остротой социальных проблем, и своими литературными достоинствами.

Г. Шилин был единственным советским писателем, так глубоко проникшим в жизнь и быт прокаженных, в область борьбы с чудовищной и «загадочной» болезнью, борьбы, которую мужественно и новаторски вели советские врачи.

Чтобы написать «Прокаженных», Георгий Шилин подолгу изучал жизнь в лепрозориях, прочитал большую специальную лепрологическую литературу, повествующую и об истории борьбы с проказой, и о методах ее лечения. Он участвовал в работе съезда врачей-лепрологов, проходившего в Москве, он консультировался по медицинским вопросам с видными лепрологами-практиками (доктором Гюбертом, доктором Штейном).

В статьях и заметках, посвященных творчеству Г.И. Шилина, подробности о его смерти не сообщались, названа только дата: 27 декабря 1941 года. Работники Георгиевского филиала Ставропольского государственного объединенного краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пправе в результате долгих поисков нашли новые сведения. По свидетельству Н. Ильичевой, младшего научного сотрудника музея, Г.И. Шилин 20 октября 1936 года был арестован и осужден на десять лет лишения свободы. Обвинялся он в том, что «ставил своей задачей свержение Советской власти и восстановление в СССР капиталистического строя». Эта совершенно абсурдная формулировка была тогда в большом ходу. Отбывал наказание писатель в Ухтпечлаге НКВД в Коми АССР, был на земляных работах. Уже находясь в лагере, он, очевидно, чем-то не угодил начальству и был осужден вторично. Теперь Г.И. Шилин обвинялся в том, что являлся инициатором организации в лагере контрреволюционной группы, ставившей задачей подготовку вооруженного восстания. Постановлением тройки НКВД по Архангельской области от 21 декабря 1938 года писатель был приговорен к расстрелу. Приговор не замедлил исполнить – 29 декабря 1938 года Г.И. Шилин не стало...

В 1956 году Г.И. Шилин был посмертно реабилитирован и восстановлен в правах члена Союза советских писателей. Правда восторжествовала.

Имя Георгия Ивановича тесно связано с городом Георгиевском, где он родился и провел детские и юношеские годы. В 1981 году в связи с 85-летним юбилеем со дня рождения писателя на доме по ул. Луначарского была открыта мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1896 году родился и жил до 1922 года наш земляк, писатель Шилин Георгий Иванович. 1896-1941 гг.»

ПРОКАЖЕННЫЕ

Книга первая (отрывки из романа)

1. ОБИТАТЕЛИ СЕМИ БЕЛЫХ ДОМОВ

Рано утром, с восходом солнца, на дворе появился доктор Туркеев.

Население семи домов, никогда не терявших своей великолепной белизны, еще спало. Только козлиное семейство одиноко бродило возле цветника с очевидным намерением проникнуть в него да пес Султан, заметив Сергея Павловича, глупо заулыбался и побежал навстречу.

Сегодня в пять часов вечера Сергей Павлович поедет в город к жене и дочери. Он не видел их с прошлого понедельника. Жена опять будет бояться – как бы зараза не проникла в дом. Она заставит его принять ванну из раствора сулемы, сменить белье, одежду и только тогда выпустит в столовую или спальню. Она не любит его работы и считает Туркеева фанатиком. Так же, как всегда, Сергей Павлович молча выполнит все ее требования, а завтра опять, стараясь смотреть в сторону, наметнет ей о переезде из города рано утром, с восходом солнца, на дворе появился доктор Туркеев население семи домов, никогда не терявших своей великолепной белизны, еще спало. Только козлиное семейство одиноко бродило возле цветника с очевидным намерением проникнуть в него да пес Сулда, в поселок, в степь. И снова жена равнодушно назовет его «сумасшедшим», и опять он поедет к месту службы один.

Доктор свыкся с безнадежностью переезда семьи так же, как свыкся со своей работой в этом поселке, одно название которого нагоняет страх на самых отважных людей...

Вслед за доктором Туркеевым встала Лидия Петровна. Она постояла у зелени, окутавшей веранду и облитой ночным дождем, поправила оборвавшиеся гириланды ползучих цветов и вышла во двор. Доктор Туркеев устремил свою острую бородку туда, где стояла девушка, и сказал, щурясь на ее полузаспанное лицо:

- Как же это вы, батенька, проморгали такое прекрасное утро? Ну, скажу вам, и восход был сегодня... А вы спаньем занимаетесь. Бить вас надо.

Она обрадовалась хорошему настроению доктора и погладила подбежавшего к ней Султана.

- А подружка ваша еще дрыхнет?... Нет, – сказал он, подумав, – если вы так будете спать, из вас не получится хороших врачей. Да-с. Ваша Вера Максимовна отродясь не видела, вероятно, настоящего солнечного восхода и видеть не желает... Это, батенька, не годится...

Лидия Петровна и Вера Максимовна работали лаборантками при амбулатории. В прошлом году они обе кончили медицинский институт и по собственному желанию выбрали работу в поселке, находящемся в этой глухой степи. Они, конечно, скучали, по городу, по театрам, по знакомой, привычной среде, а радио-концерты, которые слушали они каждый вечер у себя в комнате, не могли удовлетворить их, так же как не удовлетворяли работы по вышиванию, как не могли удовлетворить книги и письма, приходящие из города один раз в неделю.

Но они были молоды. Чувство долга и любопытство торжествовали над всем остальным.

Лидия Петровна обожала доктора Туркеева, как обожают маленькие дети взрослых. Ей льстило, когда он первый начинал с нею разговаривать. Она считала его величайшим мастером своего дела, и во всем, что бы ни говорил он,

девушка искала какой-то таинственный смысл, на который она никогда сразу не могла подобрать достойного ответа, и всегда смущалась.

- Ну, если хотите, поедьте сегодня в город, – сказал он.

- С радостью, Сергей Павлович... – и не знала, о чем говорить дальше.

Ее выручил подошедший Пыхачев. Его сорокапятилетняя лысая голова блестела на солнце, глаза улыбались. По должности заведующего хозяйством, ответственного за урожай, Пыхачев больше чем кто-либо был в восторге от прошедшей ночью грозы. Великолепие

утра его нисколько не интересовало. Дней через десять можно начать покос. Только одно обстоятельство беспокоило его: хватит ли на уборку людей?

Он поправил на высокоом, круглом животе шнурок и потрещал самодовольную морду Султана, успевшего тщательно обнюхать его белый костюм.

- Этот подлец вчера загнал куда-то в овсы барана. До сих пор нет. Вздумал, мерзавец, поиграть... Шуточки... Где баран, негодяй?

Султан снисходительно сунул морду в руку Пыхачева и тем самым дал понять, что вчерашнее событие с бараном его нисколько не интересует.

- Выдрать, – посоветовал доктор.

- Пусть его, – добродушно сказал Пыхачев, – отыщется.

Четвертым на дворе появился аптекарь Клочков. Он был, как всегда, утрюм и не замечал ни солнца, ни неба. Дело в том, что Клочков считал аптеку нудным бременем, зачем-то взваленным судьбой па его плечи. На спую «кухню» он смотрел как на скучную книгу, тысячи рам прочитанную, выученную наизусть и тем не менее (вставляющую читать себя снова и снова – каждый день. Надо читать она дает хлеб. Вот перепелки...- иная штука. За ними – будущее! Это не мази и микстуры, не возня с вонючими жидкостями. Это – путь непрерывных, совершенно исключительных достижений. Одним словом – проблема.

«Перепелиная проблема» заключалась в следующем: Клочков изумительно мог подражать перепелиному пению. Сидя в просе, с расставленными сетями, он настолько искусно выводил трели, так подлаживался под птичий голос, что Томилин пламенный последователь Клочкова, обманывался, а птица бежала как угорелая на предательскую трель и глупо погибала в сетях.

По-видимому, там, в просе, и зародилась у Клочкова Мысль превратить поселок в «перепелиный совхоз». Он ил же разработал целый план, в котором фигурировали инкубаторы, скрещивания птичьих пород, экспорт, валют, экспорсии со всех концов Союза и, как итог,- всесветная слава.

Однако замысел этот не встретил нигде должного сочувствия благодаря, как думал Клочков, некультурности бухгалтера-счетовода Белоусов а и хозяйственной ограниченности Пыхачева. Поставленный на обсуждение хозяйственного совета «перепелиный план» не нашел ни у кого поддержки, тем более что Белоусов с цифрами в руках доказывал всю абсурдность замысла Клочкова. За это бухгалтер раз и навсегда был лишен права на перепелиное блюдо, которым время от времени, по великодушью автора проекта, наслаждались остальные обитатели здорового двора.

Но Клочкова не покидала надежда. Он верил в торжество идеи. Пусть только уберут Белоусова...

2. БОЛЬНОЙ ДВОР

В восемь часов утра в амбулатории начался прием больных. Они шли оттуда, со своего двора, и радовались послегрозовому солнечному утру ничуть не менее, чем обитатели семи белых домов.

Здоровый двор стоял на вершине косогора. Больной – внизу. Между ними сорок сажень пустыря и маленькая аллея из лип.

Какую цель преследовала эта аллея: имела ли она назначение сделать здоровый двор менее доступным для прокаженных, стремилась ли скрыть от него боль и тоску обитателей больного двора или была насажена как некая предосторожность против заноса бактерий, – сказать трудно.

Во всяком случае дворы разделялись не аллеей и не пустырем, а проказой. История не только не помнит, когда эта болезнь положила грань между людьми, но она также не знает, когда и как началась сама проказа.

Еще в 484 году до нашей эры жители Персии, как свидетельствует Геродот, одержимые проказой, приравнивались к безумным. Прокаженных объявляли умершими. Над ними совершались обряды отпевания, затем их наряжали в особые одежды, снабжали трещотками и, взяв клятву – не нарушать при встречах со здоровыми людьми предписанных правил, – изгоняли из среды живущих. Им отводили убежища в глухих, безлюдных местах, где они нередко умирали от голода. Трупы их оставались непогребенными. Во всех странах закон панически трепетал перед проказой. В 1453 году французский парламент принял постановление: здоровая жена, сожительствующая с прокаженным мужем, несет наказание у позорного столба, а потом изгоняется из общества. По предписанию корана, всякий правоверный, встретившись с одержимым проказой, должен бежать от него, «как от дикого зверя».

Первые лепрозории возникли по почину ордена святого Лазаря, учрежденного крестоносцами в Иерусалиме в 1134 году. Орден взял прокаженных под свое покровительство. С этого времени началась проповедь о милосердии к одержимым «черной немочью». Их больше не жгли на кострах, как сжигал Атилла, не изгоняли в пустынные места и не ставили в условия, при которых неминуема голодная смерть. Им предоставляли приют, им оказывали помощь. В 1329 году в Париже был учрежден лепрозорий для больных придворных дам. В Англии и Норвегии были созданы убежища «для народа», и уже в 1500-х годах в Европе насчитывалось свыше девятнадцати тысяч лепрозориев. Конечно, все они являлись скорее местами заточения, чем лечебницами.

Пятьдесят лет, отделяющие нас от средних веков, не изменив формы болезни, не отыскав пока средства для ее ликвидации, превратили современные лепрозории не только в лечебные учреждения, но и в места, где, по словам одного ученого, больные могут найти «успокоение и облегчение от ноющих язв». Костров больше нет. Нет отпеваний, позорных столбов и особых одежд. Осталось деление: здоровый двор и больной.

На больном дворе было восемнадцать зданий. Одно было занято кухней и прачечной, другое – клубом. В остальных жили прокаженные – женщины, мужчины, дети... Всего семьдесят восемь человек. Они жили замкнуто, стараясь в покое своего жилья спрятать от всех и (вою боль, и свою непотухающую, как болезнь, тоску. Оживление возникало редко – обычно при появлении на дворе новых больных.

Даже известие о войне не вызвало у прокаженных никаких волнений. Да и какое отношение могла иметь к ним война или они к ней? Какие изменения вносила она в их жизнь?

Только у двух человек это известие вызвало некоторое беспокойство: у Аннушки, сын которой служил в солдатах и вот уже полгода как не писал ей писем, да еще у старика Татошкина. Первая была уверена, что ее Яшеньку убьют, а второй желал

отправиться «на германца» добровольцем и показать теперешним войкам, как надо воевать. В 1914 году ему пошел шестьдесят девятый год. Татошкин выглядел очень старым. Он едва держался на ногах. Над ним смеялись, и старик сердился.

Кроме этих двух больных, война никого и никак не интересовала.

Иное дело — исцеление! Надежда на него таилась в сердце каждого прокаженно-го. И странно, у некоторых она была так безмерно велика, что никакая самая безнадежная действительность не могла ее поколебать. Каждый больной, вступая на землю больного двора, считал себя временным гостем. Вот придет срок, и он уйдет, обязательно уйдет здоровым, очищенным, его никто не посмеет удержать здесь.

Впрочем, никто из них никогда никому не высказывал своих предположений. Они все хранили их про себя.

Так шли дни, месяцы, годы, и в этих годах прокаженные строили свою жизнь. Они старались быть похожими на здоровых людей — в пище, в домашней обстановке, в одежде, в работе... Среди них имелись хорошие мастера — сапожники, портные, столяры. Все они стремились работать в лепрозории так же, как «там», стараясь выполнить свою работу аккуратно, «по совести».

Некоторые лежали в постелях. Болезнь отняла у них силы, здоровье, возможность работать, но оставила единственное сокровище — надежду. Поднимались они редко и лежали молча, не жалуясь никому ни на боль, ни на одиночество.

В тот день, когда над степью пронеслась гроза, доктор Туркеев работал с особенным увлечением. Он сиял. Предстоящая поездка в город, по-видимому, являлась причиной такого настроения. Он шутил с больными, был словоохотлив, больные улыбались ему. Они любили его, особенно вот таким, как сегодня. Доктор хотел предупредить больных, что он берется выполнить в городе их поручения, но опоздал — еще рано утром Лидия Петровна обошла с этой целью больной двор.

- Ну, конечно, — громко болтал доктор, — я всегда и везде опоздаю. Куда мне тягаться с молодежью! Ох уж эта молодежь! На ходу подметки режет.

Больные, слушая его болтовню, чувствовали, что в том человеке бьется хорошее, горячее человеческое сердце.

- Николай Васильевич, — продолжал Туркеев, — ты стал лучше выглядеть. Со всем молодцом. Лечись, только аккуратно лечись, не ленись, батенька, ручаюсь: нам придется с тобой расстаться. Неужели ты уедешь от нас? И тебе не жалко? А ты, Анисья, почему такая кислая? Квашеной капусты наелась с утра? Нехорошо. Во сие свадьбу видела? Не верь, батенька, снам, пустое дело. Вот скоро мы выдадим тебя за Трофима — мужик он дельный, умный, и хотя охочий до чужих жен, но ты накрути ему хвост. Трофим, ты возьмешь ее в жены? Анисья, я приду к тебе сватом от Трофима. Чего ты отворачиваешься? Приду, вот увидишь — приду. А ты, Настенька, все по мужу непутевому плачешь? Не стоит он твоих слез. Раз на другой бабе женился — кончено, все одно что отрезанный ломоть. Вот подожди немного, подлечим тебя и выдадим за орла. Посмотри-ка на Мотю, какая веселая да розовая, будто только что из бани или со свиданья. Ты, Мотя, в кого влюблена? А? Э-эх, сбросить бы мне десятка полтора, приударил бы я за тобой...

В таких разговорах проходил осмотр. И если бы какой-нибудь посторонний заглянул сюда в эту минуту, он ни за что не поверил бы, что здесь идет врачебный осмотр тех самых людей, которых сторонится человечество, «как диких зверей».

Но чудесное настроение Сергея Павловича было внезапно испорчено почти невероятным событием.

Во время осмотра к нему подошел Протасов – один из обитателей большого двора. Уставившись на доктора так, будто он выпил сулемы вместо воды, Протасов сказал:

- Сергей Павлович, несчастье... Такой случай... И скажите на милость...

Доктор Туркеев умолк и сверкнул на Протасова очками.

- Ты чего хочешь?

- Да Строганов – там у себя... Что Строганов?

Повесился Строганов, Сергей Павлович... Ну что вы скажете – такая беда!

- Вот тебе раз. Да ты, батенька, кажется, вздор несешь... Как это так?

Среди больных кто-то ахнул. Доктор тяжело уронил свою бороду на халат. Веселость будто сняло рукой. Он озабоченно протер очки, потом снова принялся выслушивать больного, но не дослушал и передал стетоскоп Томилину.

- Нуте-ка, займитесь вы.

И вышел.

- Ну да, ну да, – твердил он сам себе, спеша на больной двор. – Как же иначе? Ясно. Реалист. Не верил в выздоровление. За тридцать лет ни одного самоубийства, и вот – пожалуйте.

...Строганов висел на веревке, и лицо его было странно спокойным, будто заснул он в петле. На столе горела керосиновая лампа, зажженная еще его рукой. Около лампы лежала клеенчатая тетрадь.

Доктор Туркеев остановился на пороге, взглянул на самоубийцу и покачал головой... Потом подошел к труп, пощупал пульс и вдруг, повернувшись к Протасову, гневно закричал:

- Прежде всего ясность: в чем дело? Зачем он сделал это?

Не получив ответа, он шагнул к столу, взял тетрадь и, открыв дрожащими руками обложку, прочел на первом листе:

«Доктору Сергею Павловичу Туркееву – врачу и человеку».

- Вот тебе н-на!

Он перевел взгляд на мертвого, будто спрашивая его – что означает сия надпись, и снял очки. Протирал он их долго, со всей тщательностью, хотя в том не было никакой надобности. Потом сказал Протасову:

- Пойдите, зовите людей. Надо же его снять. – И, обратившись к Строганову, тихо произнес:

- С чего это ты, батенька? Ай-яй-яй...

Доктор только сейчас вспомнил, как недели две назад приходил к нему Строганов. О чем он просил? Ах, да... Как глупо. «Чудак, ненормальный, – думал Сергей Павлович, стоя у стола и рассматривая висящего покойника. – Как глупо. Больше того, это, батенька, просто возмутительно. Безволие. Слабость...»

Люди пришли и начали снимать тело.

Доктор Туркеев пошел к выходу и в дверях столкнулся с Лидией Петровной.

- Мы нынче, батенька, не поедem в город, – сказал он сурово, не глядя на нее.

Между заведующим лепрозорием, стоящим сейчас в дверях, и утренним Сергеем Павловичем не было ничего общего.

3. О ЧЕМ МОГ ПИСАТЬ ЧЕЛОВЕК С «ЛЬВИНЫМ ЛИЦОМ»

Доктор Туркеев уселся поудобнее и придвинул поближе к себе лампу.

«Мне кажется все это чрезвычайно странным, – так начинался дневник, – вот я очутился в маленькой светлой комнате, из окна которой видна такая ровная, такая хорошая синь, и дальний курган...»

Странно! как будто бы ничего не произошло. Вот и стол придвинут к стене, как был он придвинут в моей комнате, там, в селе, в школе, где остались мои ребята. И койка почти такая же... Обстановка как будто ничего не говорит о чудовищном изменении в моей жизни. И только зеркальце всякий раз, как я замечу его, возвращает меня к действительности. Шесть лет здесь жил Карташев, а потом ушел. Выздоровел... Выздоровел ли? Доктор Туркеев говорит: это – неправда. Карташев вовсе не выздоровел. Она лишь притаилась у него. Через пять лет она может вернуться. У него взяли письменное обязательство – являться каждые три месяца на освидетельствование к ближайшему врачу. Карташев – мышь, попавшая в зубы kota и думающая, что она еще может спастись.

Предположим, если со мной произойдет такой же курьез, значит, с меня возьмут подобную расписку? Нет, я этого не хочу. Я не желаю быть мышью...

Если существовал Христос и на самом деле нес бремя креста, он был счастливее прокаженного, ибо знал, что скоро последует смерть. Если каторжанин несет бремя каторги, он знает: оно не вечно, а я моему бремени не вижу конца. Если верить доктору Туркееву, я могу протаскать свою проказу через весь срок положенной мне жизни и затем умереть от малярии. Какая дикая логика!..

11. ПРОШЕДШЕЕ МИМО

Люди, ничего общего не имевшие с лепрозорием, посещали его редко. За много лет своей работы в поселке доктор Туркеев помнит несколько случаев таких посещений. Обыкновенно посетители приезжали исключительно за тем, чтобы посмотреть, как живут прокаженные и кто они такие. Одним из первых посетителей был журналист, сотрудник одной большой газеты. Он привез с собой фотографический аппарат и попросил разрешения снять больных. Журналист снял несколько групп, потом отдельных прокаженных и удивлялся, что они снимались чрезвычайно охотно. Удивил его особенно один больной с изрытым язвами лицом. Этот человек принарядился, причесался и все спрашивал его – хорошо ли получится?

«Неужели ему приятно сниматься?! – впоследствии удивлялся журналист. – Неужели такая карточка может доставить ему или кому-нибудь хоть какое-нибудь удовольствие?»

Журналист уехал, пообещав доктору Туркееву прислать карточки, и не прислал. Спустя два месяца от него получили письмо: негативы испортились, из снимков ничего не получилось. На больном дворе это известие было встречено с большим огорчением.

Вскоре после отъезда журналиста доктор Туркеев как-то ночью принял двух молодых людей. Загорелые лица цвели здоровьем. За спинами их висели походные мешки. Одеты они были в трусики. Станный вид гостей несколько озадачил Туркеева. Они представились: «путешественники по Советскому Союзу». Они шли из одного города в другой и попросили пустить их на ночлег.

- Как же называется ваш совхоз, товарищ заведующий?

Доктор Туркеев посмотрел на них так, будто они шутили с ним, и сказал:

- Никак не называется... Это не совхоз, а лепрозорий.

- Лепрозорий? – спросили они разом, ошеломленные ответом доктора.

Оба внезапно стали похожи на цыплят, которых ловят для кухни.

- Значит, тут живут прокаженные? – осведомился один из них, и голос его упал.

- Да, прокаженные.

Они предусмотрительно отошли к двери.

- А вы... вы, значит, тоже прокаженный? – спросил один из них, взглянув на доктора Туркеева глазами, открытыми до отказа.

Доктор Туркеев улыбнулся.

- Нет, я не прокаженный. Я – врач.

- Гм... странно!

Путешественники посмотрели друг на друга и поняли друг друга без слов.

- Скажите, пожалуйста, доктор, сколько еще верст осталось до города?

- Двадцать три.

Они подумали и пришли к заключению: расстояние, в сущности, пустяковое, и они быстро одолеют его.

- Что ж, я вас не удерживаю, но и не гоню, – сказал Туркеев, – как хотите.

Они все-таки ушли, хотя были очень усталые и у них слипались глаза. Провожая «путешественников» за ворота, доктор Туркеев размышлял: «Да, вот так думают о нас все...»

Ему почему-то горько стало и за больных, и за себя, и за этот нелепый человеческий страх, и за это отношение к прокаженным. «А глаза-то какие у них стали... Глаза-то... И усталость словно ветром унесло... Эх, люди, люди...» – думал доктор Туркеев, возвращаясь к себе.

Впрочем, не все попадавшие в лепрозорий походили на этих двух путешественников. Встречались и другие, относившиеся к прокаженным совсем иначе. Но их насчитывалось очень мало, и они редко приезжали в поселок. Вообще же, кто бы ни приезжал сюда, делал такие глаза, будто его вынуждали прыгать в пропасть. В лепрозории помнят только один случай, когда приезжие люди были лишены страха и отвращения к больным. Это был единственный в своем роде эпизод.

Произошел он очень давно, когда не было еще Туркеева, не было революции, когда лепрозорий представлял собой не лечебное учреждение, а собрание жалких бараков на больном дворе, когда на здоровом обитал только один фельдшер да два санитаря. Свидетелями этого эпизода остались четыре-пять прокаженных, но, несмотря на давность, они помнят его так ясно и отчетливо, будто произошел он вчера...

Как описывают его оставшиеся в живых обитатели лепрозория, эпизод этот происходил в следующей обстановке.

В тот год, хотя больной двор и насчитывал у себя уже около сорока прокаженных, поселок представлял собой зрелище все-таки крайне жалкое и убогое. Под косягом жались друг к другу несколько бараков, походивших скорее на сараи, чем на человеческое жилье. Внутри бараков не было почти никакой обстановки, кроме грязных нар и грубых столов. Прокаженные жили «на казарменном положении», то есть в одном бараке ютилось несколько семейств. Тут всегда стояли дым и чад, всегда были грязь и теснота. Жилища походили скорей на тюремные камеры, чем на палаты, в которых пребывают больные люди. Прокаженные были предоставлены почти самим себе. Всякий режим отсутствовал, присмотра не было никакого, охраны – тоже. Они могли уходить отсюда куда угодно и когда угодно, ибо их никто не

проверял, ибо люди, ведавшие лепрозорием, были уверены, что отдаленность от жилых мест не позволит больным отлучаться. На самом деле прокаженные отлучались, особенно те, которые не имели ни родных, ни знакомых, которым никто не оказывал помощи. Они ходили в город и ближайшие села нищенствовать, собирать куски хлеба, всякое подаяние, и снова возвращались назад.

Люди, ведавшие лепрозорием, очень мало заботились о прокаженных, хотя и получали жалование за то, чтобы о них заботиться. Правда, лепрозории имел своего заведующего — врача. Но он приезжал всего один раз в неделю, выслушивал доклад фельдшера, обходил больной двор, по заведенному порядку — обедал у кого-нибудь из прокаженных и снова уезжал в город. И опять лепрозорий жил прежней жизнью, и снова на больном дворе по-прежнему было грязно и неприветливо.

Лепрозорием фактически руководил фельдшер Токмаков. Он считал, что в такое «погибельное место» могут сослать человека только за тяжкое преступление. Преступления он как будто бы не совершал и потому считал себя чем-то вроде мученика или героя. Сочувствия себе он не находил ни у кого и почти каждый день напивался до потери сознания. В такие минуты он ругал всех, начиная с доктора и кончая прокаженными, неведомо почему свалившимися на его ни в чем не повинную голову. Он появлялся на больном дворе шатающийся, свирепо размахивающий руками, кричал и грозил, что отныне он бросит лепрозорий, уйдет отсюда, наплюет на всех, в том числе на доктора, и «пусть живут больные как хотят», а ему все это — надоело. Токмаков доказывал в припадке пьяной и буйной фантазии, что доктор ничего в медицине не понимает и даром получает жалование заведующего, а он, Токмаков, работает круглые сутки, фактически ведет все дела и за все это получает только сорок пять рублей в месяц. Так куражился он иногда целыми ночами, а наутро поднимался мрачный и молчаливый. Он не помнил, что говорил накануне, и, вызывая по списку больных, которых, по его мнению, надо было осмотреть, казался злым и ожесточенным.

Этот Токмаков являлся единственным представителем медицины в лепрозории и лечил больных всякими средствами, которые приходили в голову. Он давал им генокардиево масло — внутрь и для растирания, но масло было отвратительно, и не всякий больной мог переносить его. Нередко Токмаков практиковал лечение неочищенным керосином, прописывая его как для втирания, так и для приема внутрь, и, по свидетельству самой древней обитательницы лепрозория Феклушки, такое лечение помогало. Иногда он прибегал к наиболее радикальному способу лечения — прижиганию раскаленным железом лепрозных инфильтратов. Он выжигал бугры и узлы самым решительным образом, и они исчезали, как свидетельствовала та же Феклушка, навсегда. По-видимому, Токмаков не останавливался ни перед какими опытами и способами лечения. Он, например, вырезывал язвы и достигал благоприятных результатов: язвы исчезали, уступая место безобразным и неизгладимым на всю жизнь рубцам. Он был, по рассказам, весьма смелый и решительный лекарь, и если бы ему взбрело в голову вынуть мозг из головы прокаженного, он вынул бы. И не случайно поэтому смертность, наравне с некоторыми успехами лечения, при Токмакове достигала потрясающих размеров. Прокаженные умирали чуть ли не каждую неделю.

Это нисколько не трогало его, так же как не трогало наезжающего сюда время от времени врача... Токмаков не боялся заражения, ибо верил в незаразность проказы. Кроме того, он считал: водка — вернейшее средство против заразы.

Таких токмаковых в истории проказы было много, но их превзошли «ученые люди» из врачебной управы Астраханского казачьего войска, имевшие дипломы докторов медицины. Они увековечили в 1825 году свои имена исключительным по своему содержанию документом, посланным казачьей администрации в ответ на запрос о необходимости перевода прокаженных в больницы.

«Таких больных с лучшей удобностью, – писала врачебная управа, – оставить можно на попечение родственников, если оные не откажутся их держать у себя, и сие удобство – потому более, что оная болезнь не прилипчивая».

Далее врачебная управа писала:

«Причина этой отвратительной болезни есть, кроме внутреннего предрасположения всех соков тела и готовности оного к принятию болезни, еще – жаркий климат, где кровь и все соки направляются к поверхности кожи, на которой собирается пот и всякая грязь и при неопрятности и нечистоте делается острой и всасывается обратно в тело. Еще же более к проведению сей болезни способствует пища – грубая, острая, фосфором изобильная, каковую составляет рыба. Далее, при недостатке одежды, при каковой одна и та же одежда и мокнет и высыхает на бедном человеке. При сей отвратительной болезни следует соблюдать предосторожности: 1) Остерегаться внезапного перехода от жары к холоду, вспотевши не купаться, в жаркое время меньше работать. 2) Сколько меньше употреблять рыбной пищи, более употреблять пищу молочную, растительную и животную. 3) Мыться в банях, приготовленных из пшеничных отрубей и еще же лучше – с молоком. 4) Пить травяные чаи из трефоля, корки вязозой и розмарины. 5) Употреблять легкие слабительные из огуречного рассола с медом, квасом или солью. 6) Пить в летнее время отвар из корней татарника, песочной осоки, мыльной травы и лопушника, а ежели кто в состоянии – из сассапариллы. Употребляя сии средства, означенная болезнь не только может уменьшиться, но, если она недавно еще открылась, даже совершенно уничтожиться».

Система Токмакова была схожа с системой, рекомендуемой Астраханской врачебной управой. Разница состояла только в том, что там были врачи, здесь – фельдшер, там была «теория», тут – практика.

Так шли дни за днями – такие серые, такие похожие один на другой, тоскливые и безрадостные, как вой шакалов в степи.

И вот однажды сюда приехали двое: мужчина и женщина. Оба они были молоды и оба, как свидетельствовала Феклушка, красивы. В тот день Токмаков объявил прокаженным, что это – музыканты, но он не сказал, зачем они приехали. Они пришли на больной двор. И странно было видеть их здесь. Девушка была одета в синее шелковое платье, будто собралась на большой праздник, и казалась такой чистой и светлой, что прокаженные стыдились приблизиться к ней. Они словно боялись показать ей свои лица, будто опасаясь загрязнить се язвами, – такая, по описаниям Феклушки, была эта девушка. Они обошли все бараки и в каждом из них оставили подарки: одним – книги, другим – сладости, третьим – бельевой материал. Они подолгу просиживали в каждом бараке, разговаривали с прокаженными, расспрашивали о болезни, о родственниках, о том, как им живется, и еще о многих простых и понятных вещах. Больным было приятно видеть их. Им приятно было сознавать, что вот такие прекрасные люди не погнушались ими, не побоялись их и пришли к ним с такою сердечностью и простотой. Почему они приехали сюда – никто не знал. Может быть, в первый раз за все время больные почув-

ствовали в этих пришестьцах хороших, добрых людей, приехавших сюда не посмотреть прокаженных, как зверей, а просто так, в гости. Им приятно было сознавать, что вот эти два здоровых человека так сердечно разговаривают с ними и не похожи на всех остальных, приезжавших сюда с удивленно-испуганными глазами.

Вечером того же дня Токмаков собрал всех обитателей большого двора и объявил: приехавшие из города «музыканты» будут устраивать концерт.

Наступили уже сумерки, когда прокаженные высыпали на площадку. Было тихо. Все население принарядилось, все, кто мог, надели праздничные платья и стояли тесной, молчаливой толпой. Скоро пришли «музыканты». В руках у молодого человека была скрипка. Прокаженные расступились и дали им дорогу. Молодой человек стал рядом с девушкой. Он настроил скрипку и приготовился. Девушка подняла голову и словно задумалась. Молодой человек что-то шепнул ей. Она, как птица, взлетевшая с земли, вдруг вскинула свой голос и запела:

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал!
Молодцу плыть недалечко...

Такая знакомая, такая простая песня! Она звучала для больных каким-то откровением, будто возвращала их назад, к утраченной жизни. Слова ее приобрели иной смысл, которого ранее не понимали они:

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил, -
Ожил я, волю почую.

Прокаженные стояли молча, не шевелясь, они впитывали слова и звуки, казавшиеся приветом оттуда, из того мира. Девушка продолжала петь. А кругом лежала степь – покойная, засыпающая. На много верст вокруг не было ни одной человеческой души, кроме тех, кто пел и кто слушал это пение...

... Так или иначе, но память о давно прошедших трех днях еще и сейчас хранится среди прокаженных, будто странный концерт был еще вчера, будто между ним и сегодняшним днем не лежит серая тоска многих пустых, беспомощных лет.

12. ЧЕЛОВЕК, ТРЕБУЮЩИЙ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОКАЗЫ

Среди немногих больных, в памяти которых еще сохранился давний приезд артистов, был Андрей Колосов. Тот приезд произвел на него столь сильное впечатление, что в течение многих лет он не переставал мычать мотив: «Отворите окно, отворите...» – романс, который некогда пела артистка.

Когда под открытым небом происходил этот странный концерт, Колосов слушал этот романс и тихо плакал.

Он решил: смысл романса всецело относится к нему. Да, ему оставалось недолго жить. Крышка. Это про него она пела.

- Смертный приговор жизни меня поджидает уже давно, – говорил он тогда Плисову, а после, спустя много лет, и Протасову.

Но «смертный приговор жизни», по-видимому, не торопился исполниться. Все прежние товарищи Колосова давно уже ушли на кладбище, а он продолжал жить. Это обстоятельство нисколько не изменило его убеждений: он верил в «приближающуюся катастрофу» и продолжал мычать мотив своей лю-

бимой песенки. Он мычал тихо, но «с душой и чувством», мычал, плакал, нередко от жалости к самому себе.

Колосов любил цветистые фразы, или «образность», как он говорил. Он рожден был трагиком, ему надо было играть на сцене, а «непреложные законы судьбы» сделали его в свое время приказчиком скобяного магазина и затем «втиснули в мрак и пепел».

И именно потому, что в его натуре сидел трагик, он ждал своей смерти каждый день. Он говорил: «Кровожадная лапа небытия уже занесена надо мной». Он был готов лечь под ее неотразимый удар».

Он заранее облюбовал себе место на кладбище и однажды привел туда Протасова. Указывая на бугорок, сказал:

- Вот тут спрячьте меня от жизни. Тут, понял?

К этому облюбованному им бугорку он ходил почти каждый день.

Дни текли за днями, шли месяцы, тяжело и нерадостно тащились годы, а он все жил.

- Нет, брат, не я тебя, а ты меня, видно, хоронить будешь, — раздраженно говорил ему Протасов. — К черту твою хандру. Надоело.

Колосов имел еще одно свойство, которое затмевало все остальные: он пил. Но и тут его трагическая натура не находила ничего радостного и веселого, — у него отсутствовали партнеры.

И поневоле он вспоминал те времена, когда вместо кирпичных домов здесь красовались «собачьи конуры» и когда с Токмаковым они пили «до полного забвения сердец».

- Вот когда было время, — говорил он, — были люди... Вот это был человек — Токмаков. Есть о чем вспомнить. Жаль только, что умер, теперь скоро умру и я...

Напивался Колосов всегда неожиданно, и зачастую больной двор узнавал об этом только по громкому пению его любимого и единственного романса: «Отворите окно, отворите». Он разгуливал по лепрозорию, размахивал руками, потом падал где-нибудь посередине двора и рыдал, жалуясь неизвестно кому на горькую свою судьбу. Затем приподнимался на руках и начинал ругать доктора Туркеева, Пыхачева и даже старого своего друга Протасова. В пьяные минуты Колосов пытался убедить всех в том, что он вовсе не прокаженный. Какой он прокаженный?! Доктора просто не умеют распознавать как следует болезни. Лечить его надо не от проказы, «а совсем по-другому».

- Чего ж ты тогда живешь здесь? Если у тебя нет проказы, уходи, нечего канителиться! — замечал кто-нибудь.

Он прислушивался к этим словам и кричал пьяным криком: все равно его поймут, вернут и будут возвращать до тех пор, пока не признают другой болезни.

Будучи трезвым, Колосов иногда робко и неуверенно спрашивал доктора Туркеева — не сифилис ли у него? Тот только отмахивался.

Один раз Колосов сказал зашедшему навестить его Протасову:

- А ведь он знает... Он все знает,

- Кто?

- Туркеев.

- Что он знает?

- Э... э, не тебя мне учить. Только я говорю тебе: он знает.

- Да что ж он знает-то? – Знает, как лечить проказу, но боится... боится испробовать. А вдруг не получится? Я чувствую, он дошел почти до точки – все нашел, что искал... не хватает только одного корешка, – далеко тот корешок растет, в Индии или в Китае... И помани мое слово – будет он когда-нибудь лечить прокаженных! Вот тебе крест! Протасов делал равнодушное лицо.

- Чудак.

- Туркеев-то?

- Ты. И откуда ты взял все это?

- Знаю, брат. По нем видно. Он много думает.

Однажды Колосов вручил Пыхачеву письмо для передачи на городскую почту. Адресовано оно было в Москву, в Кремль, на имя... «гражданина и председателя Совнаркома» Владимира Ильича Ленина.

Пыхачев повертел странный конверт в руках, посмотрел на свет и ничего не понял.

- Что это ты пишешь?

- Пишу.

- О чем же ты пишешь? Жалуешься, что ль?

- Нет, не жалуясь.

- Так о чем же? Знакомый он твой, что ль? – И незнакомый.

- Гм... Так зачем же ты ему пишешь?

- Так. Захотелось – вот и пишу. Разве мне нельзя писать Ленину?

- Я не говорю, что нельзя, но все-таки странно.

- Ничего странного нет.

- О чем же ты ему все-таки пишешь?

- А вот пишу.

- Да вижу, что пишешь! Чего ты твердишь, как попугай, пишу, пишу, я тебя спрашиваю – о чем ты пишешь?

- Об одном деле.

- Какое же это такое дело у тебя к Ленину? Неужели ты думаешь, что он станет читать твои писания?

- А как же? Раз пишут, значит, должен читать.

- Вот чудак. Ну хорошо, письмо я, конечно, сдам, но интересно знать – о чем может писать Ленину прокаженный?

Тогда Колосов взял из рук Пыхачева письмо, разорвал конверт и подал ему аккуратно сложенный и мелко исписанный лист бумаги.

В этом письме, столь изумившем Пыхачева, Колосов писал о «горькой жизни прокаженной», описывал боли и веру больных в выздоровление, которое должны получить «люди, ввергнутые в черную бездну небытия». Далее следовало повествование о том, как он, Колосов, заболел, как попал в лепрозорий и сколько лет живет здесь, и сколько лет надеется на выздоровление, хотя час «катастрофы приближается все более и более». А так как в России окончательно совершилась революция, то прокаженные обращаются к нему, Ленину, с ходатайством – прийти на помощь, ибо среди всех угнетенных и несчастных самые угнетенные и несчастные они, прокаженные. Угнетает их не буржуазия, не капитал, а самая страшная болезнь. Тут же Колосов спешил заметить, что в лепрозории прокаженным живется хорошо, власти и доктора заботятся о них «как полагается», нужды они не имеют никакой, но есть одна нужда – значительное всех человеческих нужд – в

здоровье. Товарищ Ленин должен помочь. «Собственноручно» он, конечно, не в состоянии сделать этого, – прокаженные знают, но во власти его заставить «расшевелиться» науку, найти такие средства, которые на вечные времена «похоронили бы проказу в могиле прошлого так же, как похоронен царизм».

Все доктора, по мнению автора письма, думают и заботятся обо всем, только не о «самой страшной болезни – проказе». Разве мало во всей России докторов и профессоров, которым «ничего не стоит найти меч для обезглавливания на все сто процентов стоглавой гидры»? Прокаженные удивляются: почему не найден этот меч? Прокаженные не понимают: почему ученые так хладнокровно относятся к ним и столь долго медлят с проказой, откладывая столь великое дело?

Надо созвать всех профессоров, всех ученых людей и приказать им найти средство от этого «бича человечества». Прокаженные верят: средство такое будет найдено, и тогда «взойдет над миром солнце счастья и радости». Так писал Колосов Ленину. Пыхачев долго смотрел на него, долго вертел письмо в руках, а потом поморщился.

- Ты – чужак. Разве Ленин может отдать такой приказ науке? Разве наука – армия? Разве ученые – солдаты? И как ты додумался до такого письма? Ленин назовет тебя дураком.

Колосов взглянул на Пыхачева недружелюбным взглядом и сказал:

- Ну вот, я так и знал. Вам не надо было показывать письма. Теперь вы не отправите его. Конечно, у вас оно не болит, а что касается до Ленина, то он его прочтет. Он должен дать ответ, ежели обращаются по такому делу.

Пыхачев пожал плечами:

- Мне-то что, я отвезу и отправлю, только ничего не выйдет из этого дела. Ты – чужак.

Пыхачев действительно повез письмо. Он действительно сдал бы его... Но в тот день, по приезде в город, он узнал: человек, которому адресовал Колосов свое письмо, скончался... Узнав об этом событии, Колосов долго рыдал, валяясь на снегу.

Время от времени он опять возвращался к навязчивой мысли, что доктор Туркеев ошибается. Проказы у Колосова нет. Есть другая болезнь, ничего общего не имеющая с проказой.

Впрочем, Колосов не без основания возвращался к этой мысли.

В течение многих лет проказа, сидевшая в нем, не претерпела никаких изменений. Бугры на лице оставались долгое время такими же, какими они были в момент поступления в лепрозорий. Иногда они чуть вскрывались, потом снова зарубцовывались. «Ни у кого так лениво не двигается лепра, как у него», – говорил доктор Туркеев. Другая причина, приводившая Колосова к отрицанию проказы, крылась в давнем диагнозе Токмакова. Тот *однажды*, под пьяную руку, сказал ему:

- У тебя, брат, не проказа, а, наверное, сифилис.

Фраза эта не была опровергнута Токмаковым ни тогда, ни впоследствии, и Колосов запомнил ее на всю жизнь. После попок он несколько дней лежал обильно разбитый и изнуренный. Тогда к нему являлся Протасов.

- Что, брат, пьешь? Хочешь скорей на покой отправиться?

Тот туго смотрел в пол и молчал.

- Ты брось пить. Начни лечиться как следует... Кто знает, может быть, еще и кадриль танцевать будешь...

- Да, надо бросить, – соглашался Колосов.

И действительно, на некоторое время он переставал пить. Но трезвость длилась недолго. Убеждения Прогасова не достигали цели. Они оказались напрасными даже тогда, когда общее состояние его здоровья начало резко ухудшаться. В последний раз Колосов напился до того, что даже потерял речь. Он пришел в себя только на третий день и почувствовал мучительные боли в желудке. У него давно уже что-то болело в середине, и это «что-то» доктор Туркеев назвал раком.

Спустя пять месяцев он скончался. Его похоронили на том месте, которое облюбовал он еще при жизни.

20. БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО

Эту мысль Сергей Павлович обдумывал давно и наконец решил претворить в жизнь.

Текущий год принес обильный урожай. Пшеница дала восемьдесят пудов с гектара, овес – шестьдесят, ячмень – семьдесят один пуд.

Пыхачев не знал, куда ссыпать излишки. Для вывоза к ближайшему элеватору, находившемуся в двадцати семи верстах, требовался значительный транспорт, которым лепрозорий не располагал. Пришлось мобилизовать всех быков и даже некоторых коров. В конце концов с излишками все-таки справились.

Но урожай явился как бы побочной причиной для осуществления мысли Сергея Павловича. Главное, на большом дворе должны были состояться две свадьбы: Зины Кузнецовой со Степаном Кадыбановым и Марии Величкиной с Михаилом Лихачевым.

В один и тот же день они заявили Туркееву о желании пожениться и просили «записать».

До того женитьбы в лепрозории проходили совершенно незаметно: оба двора узнавали о них лишь после того, как «молодые», фактически уже давно живущие супружеской жизнью, переселялись в общие, так называемые «семейные» комнаты.

Тут-то и пришла в голову Сергею Павловичу оригинальная мысль – праздновать браки, придавать им торжественное оформление, чтобы это были настоящие праздники для всего лепрозория.

- А то поженятся, а через неделю разбегаются – какие это браки, – с неодобрением говорил Сергей Павлович.

К тому же ему хотелось внести в серую, монотонную жизнь лепрозория хоть какое-нибудь оживление, хоть капельку подкрасить ее новыми красками, повеселить оба двора, встряхнуть, заставить всех порадоваться сообща.

Он начал с того, что объявил парам отказ в записи, не разрешил им переселяться в семейные комнаты и приказал «немножко повременить» с бракосочетанием, вызвав тем самым необыкновенное удивление у «молодых». Но тут же объяснил – почему все это, и те согласились.

Когда закончены были хозяйственные хлопоты с урожаем, он вызвал Пыхачева, поделился с ним своей идеей, но тот не совсем охотно принял эту выдумку. Тогда Сергей Павлович категорически приказал ему выделить одну неудойную корову, шесть баранов, два десятка кур. Все это должно пойти в «праздничный котел». Пыхачев не мог прекословить и принял к исполнению распоряжение Туркеева, показавшееся ему если не нелепым, то во всяком случае очень странным.

Сабурову Сергей Павлович приказал организовать музыкально-вокальную часть, на что тот охотно согласился. Когда-то Сабуров страстно любил играть на домашних сценах, и не только на домашних... Он выступил однажды на сцене театра одного маленького провинциального городка, в доказательство чего свято хранил афишу, где мелким шрифтом и в конце перечня других артистических имен была напечатана и его скромная фамилия. Одним словом, Сабуров тотчас же ухватился за мысль, поданную Сергеем Павловичем, и быстро составил программу вечера, обещавшего быть чрезвычайно интересным.

Недели две длились приготовления, в которых приняло участие решительно все население лепрозория. Всем хватило работы, начиная от Феклушки и кончая Ромашкой Питейкиным. За две недели Феклушка склеила тридцать разноцветных фонариков, изготовлением которых были заняты все женщины и которые предназначались для «иллюминации».

Мылся, чистился, приводился в порядок клуб, белились дома, подметались дворы. За два дня до наступления долгожданного утра Маринов отрядил в город подводу за зеленью. Со взрослыми увязался и Ромашка. Он вернулся из города необычайно важный.

Поджидавший со страшным нетерпением его возвращения маленький его брат, Андрюшка, бросился к нему навстречу узнать про таинственный город, но тот отстранил его и важно заметил:

-- Ты сперва нос вытри, а потом спрашивай о городе.

Мечта Ромашки исполнилась – он торжествовал. Но это обстоятельство вызвало у Андрюшки нескрываемую обиду – почему его не взяли в город? Почему Ромашке можно, а ему нельзя?

В тот же день под предводительством Пети Калашникова все ребята – Ромашка, Андрюшка, Лиза, Нюрочка и Дуняша – отправились в степь рвать цветы для украшения помещений, в которых должны происходить торжества. Цветов натащили много – не знали, куда девать. Одним словом, подготовка к празднику вызвала у всех оживление необычайное.

И вот, в последних числах августа, желанный день наступил.

И на больном и на здоровом дворах всюду были развешаны разноцветные, склеенные из бумаги фонарики. Длинная их цепь тянулась со здорового двора на больной, как бы символизируя их соединение. Кругом полоскались разноцветные флажки, красные полотнища.

Уже в начале дня выяснилась программа вечера. Силами любителей, частью с больного, частью со здорового дворов, ставился одноактный веселый водевиль. Репетировали этот водевиль недели две.

Во второй части вечера «оркестр народных инструментов», состоящий из трех гитар, четырех балалаек и двух мандолин, под управлением страстного мандолиниста Ромки Козлова – недавно поступившего в лепрозорий парня лет двадцати трех – и при аккомпанементе Пети Калашникова, должен был исполнить ряд вещей, намеченных заранее.

В заключение для всех собравшихся устраивался ужин. Специально для этой цели был оборудован большой и вместительный сарай на здоровом дворе, где обычно стояли экипажи, валялся разный хлам. Сарай преобразился – украшенный зеленью, цветами, он выглядел чрезвычайно уютно и привлекательно.

Сейчас же после обеда в сарай принесены были столы, скамейки, стулья, белоснежные скатерти, комнатные цветы. Меню, тщательно составленное самим Сер-

геем Павловичем при помощи повара Каблукова, предусматривало целый ряд весьма вкусных блюд. При этом все рассчитывалось так, чтобы люди ели «сколько пожелает душа». Одним словом, Сергей Павлович не пожалел для праздника ни сил, ни средств. В последнюю минуту он распорядился даже отпустить к ужину по бокалу красного сладкого вина. Приказ хранился в тайне, так как вино должно было послужить неожиданным, сюрпризом при поздравлении новобрачных.

Примерно за неделю до наступления этого высокаторжественного дня Сергей Павлович послал специальное приглашение Семену Андреевичу – прибыть «вместе с супругой» на праздник и получил немедленный ответ: Семен Андреевич обещал обязательно приехать. И действительно, часа в три, когда весь здоровый двор заканчивал подготовительные хлопоты и валился с ног от усталости, в ворота въехала линейка. На ней сидели Семен Андреевич и Лилия.

Зрелище, представшее их глазам, очень понравилось «шефу». Он вообще был растроган самой идеей праздника.

Лилия тотчас же побежала на больной двор повидать Катю. На этот раз встреча была дружественной, радостной – Катя давно уже успокоилась и торопливо расспрашивала о всех подробностях Феденькиной жизни, ни разу, к удивлению Лилии, не намекнув о своем желании повидать ребеночка. Из этого Лилия сделала вывод, что Катя окончательно примирилась со своим положением. Когда Лилия собралась уходить, Катя, слегка задержав ее, вдруг заволновалась и, точно стесняясь чего-то, проговорила, страшно торопясь:

Вы меня простите, ради бога... И не сердитесь за это... Но как бы это сказать вам, моя хорошая, моя дорогая... Вот и не знаю, как сказать, – задумалась она. – Меня эта мысль начала волновать только недавно... Ну, вот, предположим на одну только минуточку, ведь это может случиться, правда?... Как будет, если я вдруг поправлюсь... выздоровлю? Вы мне отгадите Феденьку? – И заметив, как Лилия смутилась, ухватила ее за руку. – Нет, нет, не волнуйтесь, не отчаивайтесь. Это я так спросила... Я ведь не выздоровлю, хотя и начала усердно лечиться... Нет, нет, даже не думайте об этом... Не поправлюсь я, не поправлюсь... Сегодня вечером праздник, улыбнулась она. – Вы будете в клубе? Я тоже буду. Как я рада, что вы приехали... Главное, вот о чем, едва не забыла, – она покраснела и потупилась. – Главное, передайте вашему супругу, что я на него не сержусь совсем... И даже благодарна ему, пусть и он на меня не сердится... Ведь он на меня не сердится, правда? – Да за что же? – улыбнулась Лилия.

Вот и чудно, – обрадовалась Катя, – а я думала – он ненавидит меня...

Едва только наступил вечер, как весь лепрозорий засветился множеством разноцветных, веселых огоньков, казавшихся чрезвычайно красивыми на темном-бархатном фоне степи и неба. Зажглись фонари, вспыхнули гирлянды фонариков. Оживление всюду было необычайное. По-праздничному одетая молодежь обоих дворов сутилась около клуба, с нетерпением поджидая начала.

Празднество всколыхнуло больных необычайно: в клуб явились все «стоящие на ногах». Явились даже те, кто никогда не приходил туда, считая редкие спектакли, устраивавшиеся в клубе, за «пустую забаву». Пришла и Феклушка, много лет не уходившая дальше своей скамеечки, тяжело опираясь на палку, в своей нарядной длинной юбке, которой насчитывалось лет тридцать и в которой выходила она когда-то на дорогу встречать дочь, забывшую ее окончательно. Явились даже три слепые пары, никогда не покидавшие своих бараклов. Они тоже

радовались, им тоже интересно было «посмотреть», что будет твориться в клубе. Принесли и Макарьевну.

Одетые в чистые белые халаты, на передних скамьях уселись все здоровые; позади – больные, некоторые с детьми на руках, многие – перевязанные. В рядах выделялись то там, то тут чистые лица выздоравливающих.

Семен Андреевич с Лилей уселись на стулья переднего ряда и с молчаливым любопытством посматривали на синий занавес, скрывавший сцену.

Перед рампой появился Маринов. Он был выбрит, причесан, в новых сапогах, весело водил глазами по залу. Улыбнулся, произнес краткую, замечательно бодрящую речь. Поздравил «молодых». Аплодировали ему долго, тепло. Но вот из-за занавеса показался Сергей Павлович. Шум, стоявший в зале, мгновенно утих.

Туркеев обвел взглядом собравшихся, затем снял очки, протер их и опять приладил к глазам.

- Граждане, – прозвучал его слабый голос, – сегодня у нас, как вы знаете, торжественный День...

Он взглянул поверх очков в ту сторону, где на специально приготовленных скамейках сидели новобрачные, и продолжал:

- Прежде всего я хочу поздравить от имени всех больных и работников лепрозория Зину и Марию, а также. Лихачева и Кадыбанова по случаю их бракосочетания и пожелать будущим их семьям всякого преуспевания и счастья.

Раздались аплодисменты. Зал оживленно зашумел. Остренькое лицо Зины Кузнецовой осветилось радостной улыбкой. Она покраснела. Кадыбанов сидел неподвижно, с величавым достоинством слушая приветствие. Маленькая фигура Лихачева колыхнулась, он почесал голую, без единого волоска бровь и принялся вертеть по сторонам русой головой, точно не допуская мысли, что приветствие относилось к нему. Маша Величкина слегка вспыхнула, поправила на голове красивый голубой платок, прикрыла им на щеке густо-лиловое пятно. Наклонившись к Лихачеву, она принялась что-то шептать. Тот одобритительно закивал головой.

- Мы им желаем, – продолжал Туркеев, улыбаясь, – пусть они скорее-выздоровливают и подарят нам здоровых ребят, будущих энергичных работников...

Тут Зина уже явно смутилась и прижалась головой к груди мужа. Зал принялся аплодировать.

- Вот... – задумался Туркеев, точно не зная, о чем говорить дальше. – В честь наших новобрачных мысегодня и устраиваем праздник. Пусть повеселятся они, да и все вы повеселитесь, потанцуйте, порадитесь, и за урожай тоже порадитесь... Нынче он выдался у нас замечательный благодаря хорошей погоде и вашей энергии... Кроме того, повеселитесь и порадитесь за тех, кто вылечился, кто ушел в этом году от нас, стал здоровым... В прошлом году мы вылечили...

- Семерых! – подсказали ему из зала.

- Верно – семерых, – улыбнулся он. – А нынче мы вылечим десяток, а то и больше... десяток-то уж наверное, – твердо сказал он, и при этих словах в зале слышалось сочувственное оживление. – Еще далеко не кончен год, а мы уже вылечили шестерых... Шестеро получили здоровье! – воскликнул он с гордостью.

Но в этот момент в зале зашевелились, и кто-то спросил:

- А шестой кто?

Туркеев умолк, уставился в ту сторону, откуда последовал вопрос:

— Как кто? Считайте: Перепелицын, Калашников, Рыбакова, Голубков, Филиппов... — и, неожиданно опустив глаза, смутился. — Верно, не шестеро, — поморщился он, — а пятеро... Почему-то я все время считаю эту... эту... как ее, — уставился он на Веру Максимовну, — да, почему-то я все время припугиваю в это число эту... Олю Земскову, — и он с досадой махнул рукой, заметив, как Вера Максимовна побледнела и сидит с закрытыми глазами. — Она ведь излечилась еще в прошлом году. Думаю, граждане, что число излечившихся у нас с каждым годом будет возрастать, и когда-нибудь у нас исчезнет совсем надобность лечить людей от проказы. Но помните одно: недостаточно надеяться на одних врачей, на одну науку. Как бы сильна она ни была, как бы горячо и энергично ни стремились мы победить недуг, никаких сил не хватит, если не поможете нам вы сами. Помогите же и вы нам бороться успешно с болезнью прежде всего аккуратностью в лечении и выполнением предписания врачей. И главное... пусть каждый из вас не только желает вылечиться, но и верит в это... Если не сегодня, то завтра, если не через год, то через два, но каждый из вас должен вылечиться несомненно! Плох тот больной, который не верит, что он станет здоровым! Феклушка, — и его очки неожиданно остановились на ней, — Феклушка, ты веришь в свое выздоровление?

— Ох, батюшка, — послышался ее обеспокоенный голос, — мне ли думать о том, мой дорогой? Поди, одной ногой уже там... Мне-то, поди, и осталось только радоваться... как другие...

— Вот и плохо, очень плохо, — укоризненно сказал он. — Оттого-то, батенька, и упрямится твоя проказница, что ты верить не хочешь. А если б захотела, да так, чтоб во сне и наяву видела и каждое утро поджидала — не удалилась ли она, не выздоровела ли, дескать, сегодня, то, может быть...

— Куда мне, батюшка! — вздохнула она. Несколько человек засмеялись.

— Ну, ладно, — продолжал Туркеев шутливо, — если сама не хочешь, тогда постараясь мы...

— И трудиться даже не надо, батюшка... Все равно ничего не выйдет. Мне уж пора туда, где все будут — и здоровые, и больные, — махнула она рукой.

— Ишь ты, — погрозил ей пальцем Туркеев, — сама «туда» собирается, а спроси по совести — так еще двести лет захочет прожить?

В зале снова засмеялись, на этот раз громче, оживленнее.

Феклушка смутилась, умолкла.

— Еще раз желаю вам, товарищи, всем полного счастья... Порадуйтесь, повеселитесь сегодня, а завтра опять с новой силой примемся за работу. Ну, а теперь — пьеса, — поклонился он под дружные аплодисменты и сошел со сцены в зрительный зал.

Занавес раздвинулся, глазам зрителей представилась уютная комната, в дверь которой кто-то стучал. Сидя на кровати, молодая женщина нервничала, прислушивалась к стуку. Из-под кровати чуть высывались ноги, обутые в мужские сапоги. Водевиль носил название «Простодушный муж».

Содержание пьески сводилось к тому, как ловко обманула хитрая жена простодушного, глуповатого мужа. Но главное было не в пьесе, а в актерах. Играли всего три человека: Людмила Книжникова — в роли жены, Иван Иванович Разуев — в роли мужа и Кондратий Терехов — в роли «хорошего знакомого» жены. Все три роли проведены были так хорошо, с таким веселым подъемом, что зал то и дело сотрясался от хохота и рукоплесканий. Даже Сергей Павлович смеялся, а Семен Андреевич громко хохотал на весь зал, не обращая внима-

ния на строгие замечания Лили – держать себя «прилично». Даже Феклушка – и та изобразила на изуродованном своем лице подобие улыбки. Словом, Сабуров, сидевший во время спектакля в суфлерской будке, поработал на славу, создав хоть пустыньский, но веселый спектакль.

Но вот Петя сел за рояль, пробежал пальцами по клавишам. Ромка Козлов с необычайно серьезным видом посмотрел на зал, откинул пышные темные волосы, поднял руку. Оркестр грянул марш.

Час концертного отделения пролетел, как минута. Публика была в восторге. Целый ряд вещей оркестр повторил па «бис». Кланяясь с достоинством настоящего маэстро, Козлов казался торжествующим победителем.

Концерт кончился «Маршем Будённого». Тут же затопили на ужин. Все, довольные, шумной толпой отправились в сарай.

Стол для здоровых накрыли там же, только поодаль от стола больных. Оба стола были совершенно одинаковы и ничем не отличались один от другого – ни скатертями, ни цветами, ни приборами, ни посудой, ни меню. Работали исключительно здоровые подавальщицы. Одетые в белоснежные халаты, с бутоньерками, приколотыми на груди, – тоже мысль Туркеева, – они выглядели настоящими именинницами.

Во время ужина поздравляли новобрачных, желали им счастья, вспоминали выздоровевших, было произнесено несколько речей. Говорил Сабуров, Вера Максимовна, Катерина Александровна и Протасов. Кто-то в шутку подбил даже Макарьевну произнести речь. Но у нее ничего не получилось. Сидя, она окинула тусклыми старческими глазами присутствующих и расплакалась от охватившего ее волнения. «Спасибо, милые... Спасибо, отцы родные...» – только и вырвалось у нее, и тут же она принялась вытирать слезы.

Доктор Туркеев сидел рядом с Лилей и Семеном Андреевичем. Он все время ожидал, что Орешников не утерпит и произнесет речь. Но Семен Андреевич молчал.

Ужин проходил весело, но окончательно он был оживлен внезапным эпизодом.

Сидевшая за здоровым столом Оля Земскова, украшенная цветами, эффектная, красивая, выпив бокал вина за здоровье новобрачных, вдруг поднялась и, подойдя к больному столу, где сидел Земсков, попросила подвинуться. Молча сев рядом с мужем, она обняла его, поцеловала.

Много месяцев подряд она не показывалась на больном дворе, заявив официально доктору Туркееву, что Земсков «больше не муж» ей. Все знали, как Земсков страдал от разлуки с женой, стремясь хоть украдкой, хоть издали видеть ее, но не смел показаться на глаза. Всем он часто говорил, как бы оправдываясь:

- Какой же я муж ей... С ним соглашались:

- Действительно, какой ты ей муж!..

И вот она села рядом с ним да еще поцеловала.

Земсков так и вскочил. Необычайно потрясенный, он заволновался, заморгал, принялся потирать руки и не знал, как себя вести.

- Ты сиди и ешь, – сказала она мягко, с грустью рассматривая его.

- Оля... Оленька... – страшно заволновался он, весь просиявший. – Садись, родная моя... Господи, голубушка-то!.. Ах ты, радость какая! Вот это истинно... это вот верно – праздник! Оленька! – опять засуетился он возле нее.

- Сядь, – сказала Оля и улыбнулась хорошей, теплой улыбкой. – Сядь, – повторила она, – ужинай. – И смотрела на него ласково, слегка склонив в его сторону лицо.

Все усталились на нее.

- Ну, побаловались, и будет, – сказала она серьезно и, посмотрев на мужа, погладила его по голове, как маленького. Затем поднялась, поправила цветы на груди, заговорила нараспев: – Нынче две свадьбы, – сказала она смеясь. – Очень приятно, доктор, – повернулась она туда, где сидел Сергей Павлович, – а я придумала еще одну: венчайте уж и нас, – и посмотрела на Земскова нежно. – Один раз развенчали, а теперь опять венчайте. – И зарделась.

Земсков снова вскочил, радостный и возбужденный. Его безбровое, пятнистое лицо так и потянулось к ней. Он хотел вымолвить что-то, но не смог, так как присутствующие грянули такими аплодисментами, какими не награждали даже актеров и музыкантов.

После ужина публике было объявлено, что в клубе начинается бал. Приглашались все желающие.

Тут опять произошло маленькое, но приятно изумившее всех обстоятельство: выяснилось, что Сергей Павлович умеет танцевать. Больше всех удивилась Вера Максимовна, когда под звуки вальса, сыгранного Петей Калашниковым, к ней подошел Туркеев и пригласил открыть бал.

Но в эту минуту вошел Лещенко, дежуривший по лепрозорию, и что-то сказал Сергею Павловичу. Тот нахмурился, виновато повернулся к Вере Максимовне.

- Простите, но я, к сожалению, не смогу, – вздохнул он и вышел из клуба.

Десять минут назад, как оказалось, привезли нового больного, тяжелое состояние которого требовало, чтобы его осмотрел Сергей Павлович...



ГЕОРГИЙ ШУМАРОВ (1932-2010)

Родился Шумаров Георгий Михайлович в селе Маис Пензенской области. Окончив в 1956 году Ленинградский медицинский институт, он приехал в город Орел, где стал первоклассным хирургом. На рассказы Шумарова обратил внимание писатель Н.И. Родичев. Их опубликовал журнал «Смена». А через короткое время Н.И. Родичев помог напечатать первый роман «Круглый стол на пятерых» в издательстве «Советский писа-

тель». С 1964 года жизнь писателя связана с г. Ставрополем.

В разные годы в городах Орле, Москве, Ставрополе выходили книги: «Люди молодые» (1961), «Парень, живи!» (1963), «Круглый стол на пятерых» (1966), «Письма идут медленно» (1970), «Ни эллину, ни варвару» (1980), «Такой ты мне должна присниться» (1983), «Сезон на Черном плесе» (1985), «Дороги бортхирурга Басова» (1988), «Хирурги» (1991), «Гвозди в скрипичном футляре» (1998). Некоторые произведения автора переведены на иностранные языки.

Темы произведений ставропольского прозаика весьма многообразны, однако на протяжении лет сложилась своего рода трилогия, герои которой, как и сам автор, связаны с медициной (трилогия «Хирурги»). Действие романа «Круглый стол на пятерых» происходит в начале 60-х. Его герои веселы и оптимистичны, остроумны и готовы служить своему благородному делу. Однако жизнь (увы!) доказала, что само по себе дело, даже изначально по сути своей благородное, еще не гарантирует идеальной нравственной чистоты исполнителей. В романе «Ни эллину, ни варвару» Шумаров показывает нам медицину изнутри. И ее психологическая изнанка являет ту же зараженность недугами, которыми давно уже страдает все общество: коррупцией и приспособленчеством, некомпетентностью и равнодушием. Но как же жить? Как выстоять? Ответ прост: честно делать свое дело. Так можно сформулировать кредо главного героя третьего романа трилогии «Дороги бортхирурга Басова». Настоящий врач, настоящий человек – таков хирург Басов. Именно таким людям труднее всего всегда... В произведениях писателя все обозначено очень точно – с кем он и против кого. Он объявляет беспощадную войну приспособленчеству, лицемерию, потребительскому отношению к жизни.

Своеобразие и яркость стиля писателя украшают любое его произведение, делают его ярче и глубже, наконец, оно становится просто лаконичнее, ибо отпадает необходимость пространно выражать свою мысль. Часто человек, предмет, пейзаж изображаются в нескольких словах, в нескольких строчках, которые дают живую, яркую картину. Особенно внимателен Георг-

гий Шумаров к мелочам, когда дело касается людей. Будничный малоприметный жест является для него ключом к раскрытию какой-то черты в характере героя, а иной раз и для прояснения его сущности. Прозу Георгия Шумарова отличает ярко индивидуальный стиль, прекрасный язык, чувство юмора.

Умер Георгий Шумаров в 2010 году.

ЧЁС

(отрывок из рассказа)

I

Задолго до того, как дорожные рабочие стали для безопасности надевать оранжевую форму, оранжевую куртку напялил на себя поэт Андрей Вознесенский: чтобы издали было видно, чтобы ни с кем не спутали. Но и мы, писательская мелочь, пыль Млечного Пути соцреализма, тоже не прочь выделиться. Когда нас узнают, мы с охотой относим это к своей популярности. А дело всего-навсего в том, что на тебе оранжевая куртка.

Поезд подошел к перрону славного города, который собирал писателей для вхождения в народ. Праздник официально назывался Днями российской литературы. На перроне я огляделся. Ко мне подошли две девушки с цветами, поинтересовались, не писатель ли я такой-то. Вот она, оранжевая куртка с плеча Андрея Вознесенского! На привокзальной площади нас ожидал автобус. Местный писательский секретарь Доронкин (мы уже встречались с ним на каком-то значительном форуме) познакомился за руку с приехавшими и пригласил всех в салон машины. Приехали человек десять, но Доронкин сказал, что и утром приедут, а из Москвы генералитет прибудет самолетом, и скоро надо ехать в аэропорт. По радио повторили объявление, чтобы писатели, прибывшие на Дни российской литературы, выходили на привокзальную площадь, где их ждет автобус.

Минут через пятнадцать поехали. Доронкин, сидевший на вертушке рядом с шофером, время от времени говорил о местных достопримечательностях, но главным образом о магазинах, к сведению женщин. Их было в автобусе три гостийки. С одной из них я сидел и разговаривал. Это была Аня Пестова, поэтесса из старинного города Раздола. Она попросилась на место у окна, и мне пришлось уступить ей.

- Знаете, почему ребенок в автобусе просится к окну? – спросил я и сам ответил: – Потому что у него девять месяцев недогляда, когда он был в утробе. Вот он и компенсирует.

- Поэты – как дети, – согласилась она.

Иные поэтессы представляются мне нимфами в плескательном бассейне. В поэзии плескательных бассейнов не должно быть – только плавательные. О характере бассейна, облюбленного Аней, я узнаю на выступлениях, а также на вечеринках, когда хмельные поэты завывают, изможденно прикрывают глаза и хватают руками воздух, словно у них душа на отлете. Ведя с Аней распознавательную беседу, я мысленно рисовал картину, как голая поэтессочка прикрывается прозрачными стрекозиными крылышками... Что-то в духе Дега.

Замелькали дома, справа и слева. Вольготно обосновавшиеся после войны на пустырях заводы «Дормаш» и «Трансмаш» со временем были зажаты эти-

ми домами-высочками, и из окон автобуса удавалось разглядеть лишь ворота. А раньше, когда я тут начинал, от вокзала сплошняком шли заборы. От слова «забор», на мой взгляд, сильно отдает штакетником. Так вот, штакетника тут не было, а была каменная ограда с ажуром колючей проволоки по верху.

Местный писательский вожак Доронкин, сидя на вертушке в передней части салона, рассказывал о вехах в истории своего города: вот здесь полтора дня жил Георгий Марков, а вот в этом ресторане Леонид Соболев выпил свои сто пятьдесят граммов «пречистой».

Аня по моей просьбе стала читать свои стихи, а когда прочла несколько коротких стихов, возник вопрос, к какому ряду отнести ее вклад, и мне пришлось признаться, что, когда поэзия достигает больших высот, любые обвинения ее бездоказательны. Я с удовольствием наблюдал, как она хлопала непревзойденными ресницами, пытаясь осмыслить мое поучение. В сущности, поэт – тот же стриптизер в своем желании раскрыться перед читателем. Он желает обнажиться, желание это неумолимо, и ему за это даже платить не обязательно.

Доронкин пообещал, что писателей хорошо устроят в общежитии института усовершенствования учителей.

- Звездная шкала заграничных отелей к общежитиям, конечно, неприменима, но она неприменима и к водке, – со значением сказал он, давая понять, что не все достоинства предмета можно измерить в коньячно-гостиничных звездах.

Мне захотелось пройти к Доронкину, взять у него микрофон и рассказать об одном моем молодом собрате по перу, который, чтобы не терять вдохновения в период, когда он не был влюблен, купил себе с гонорара небольшой телескоп и навел его на созвездие Девы. Мы недооцениваем роль звезд! Но я не стал подходить к Доронкину. Когда автобус остановился и Аня пошла к выходу, я увидел, что она прекрасна и спереди, и сзади – точь-в-точь как Эрмитаж в Ленинграде! Конечно, поэзия – непронумерованное чудо света, но хорошенькие поэтессы тоже не пылятся на стеллажах.

Мне достался номер на двоих. Напарник уже поджидал меня: прозаик из Пригожинска, пухлый бородатый человек.

- Кирилл Бортовой, – представился он, протягивая руку. – Одиннадцать романов и повестей, двухтомник в «Худлитературе», переведен в Болгарии, представлен в одной из хрестоматий...

Когда я слышу, как писатель хвастается количеством написанных книг, хочется сказать словами Корольева: «Подумаешь, бином Ньютона!» Я весь напрягся, называя свою фамилию. По молодости мне удалось издать всего семь книжек, из них только три в Москве, во второстепенных издательствах. В плотном перечне достоинств музы Бортового я обнаружил лишь одну слабину, один щелевидный зазорчик, которым и надлежало воспользоваться. Я назвал три московские книги – это работало на мою скромность, хотя у писателя излишняя скромность торпедирует популярность и потому к несомненным писательским достоинствам не принадлежит.

- По данным ЮНЕСКО, мои книги заняли первое место в рейтинге цитирования среди политических деятелей, – сказал я, с удовольствием наблюдая, как в непроходимо узкие щелочки глаз Кирилла проникла зависть. Черная зависть не где-нибудь, а на белом свете процветает. – Знаете ли, двум писателям одного политика цитировать неловко, а двум политикам цитировать одного писате-

ля – в самый раз. Что касается двухтомника, то у меня был приятель, у которого и жену, и любовницу звали Томой. Я прозвал его двухтомником...

Мы договорились с Кириллом курить, не выходя из комнаты, хотя нас сразу предупредили, что курят здесь исключительно в отведенном месте. Я тут же воспользовался договоренностью, открыл балконную дверь и закурил. Кирилл куда-то засобиравшись, стал прилаживать галстук к жиреющей груди, а я, покурив на балконе, достал записную книжку с телефонами и стал названивать. Дозвонился только до художника Федора Ивановича Живцова, старого своего приятеля. Он сказал, что много воды утекло, но у него даже телефон не изменился! Я пообещал к нему заехать, когда налажусь в обратный путь.

Уходя, Кирилл поделился, что внизу есть буфет, а там бывает пиво и масло.

- Как в капстранах, – сказал Бортовой. – Но у них там давит теневая экономика, тяжко.

- То ли дело – теневая любовь! – предложил я в альтернативном порядке.

- Это что? Любовь в тени? Под тентом? – спросил прозаик из Пригожинска. Я пояснил:

- Теневая любовь – это любовь с деятелем теневой экономики. На Багамах. Впрочем, с таким же успехом это может быть любовь на стороне. Не обязательно на теневой. Если же говорить именно о теневой стороне, то тут предполагается теневая сторона Луны. Ну и, естественно, теневая любовь – это когда женщина и тени с лица не успела смыть...

- Ну, у тебя и программа! – восхитился Бортовой и вышел.

Чудный город! Иногда в поездках выпадает тебе новый город, и ты глядишь на него за бутылочкой из окна вполне приличной гостиницы, а город тебе не нравится, и все тут! Ты и напитки меняешь, и собутельников, и гостиницы, а все равно не прикипаешь душой к месту, куда тебя занесло. А бывает, что для вечной любви к новому месту даже женщины не нужно – вполне достаточно, чтобы там продавали пиво.

Я сбегал вниз. Конечно, Кирилл сильно преувеличил гастрономические достоинства города моей молодости. Вспоминаю, что здесь никогда не переводилась килька, но с пивом всегда было плохо. Однако, если уж на то пошло, я никогда не верил в пивное разливное изобилие России. Ракеты – да, пиво – нет. Не приучен думать иначе. Просто-напросто ракеты не киснут, в отличие от пива. В моем городе все встало с головы на ноги и так и осталось.

Вернувшись в комнату, я вспомнил, как наспех собирался в поездку. Так получилось, что в очередной раз от меня ушла жена. Или я от нее – это всегда трудно определить. А собирать в дорогу должна непременно женщина, иначе до места доберешься без зубной щетки и так далее. Потерю жены я перенес спокойно – не впервой, но помянул ее недобрым словом, когда сейчас не обнаружил в сумке носков на смену. Одновременно подступили сразу два одинаково неразрешимых вопроса: стирать или покупать? С одной стороны, нет мыла, а с другой – почти нет денег. Снова спустился вниз, вышел на улицу и крадучиво попросил в киоске небольшой... можно без упаковки...

- Меняю шило золотое на мыло хозяйственное, – пояснил шепотом.

- Простите, молодой человек, вы откуда свалились? – спросила меня дебая, со следами былой притягательности киоскерша. – С седьмого этажа или вообще с Луны?

- Марсианские мы, марсианские! – отозвался я.

Вид у меня, должно быть, все-таки не тянул на марсианский. Киоскерша хмыкнула и, исчезнув на время под прилавок, достала печаточку детского мыла. Я едва не заплакал от радости и бегом вернулся в свою комнату. Снова в передовые фигуры вырывается продавец, магазинщик, товаровед. Впрочем, вознесенные сталинской эпохой писатели никогда их и не опережали, так что я подумал о «передовиках» из чистой зависти, а не потому, что в какие-то времена писатели были властителями дум. Спросите-ка бабу Машу, доярку, встающую ежедневно в четыре утра, что она читала за свою жизнь? Откуда взяла, что у нас самая читающая публика?

Пока не было Бортового, я открыл в ванной комнате воду и постирал носки. Не надо стирать грани, давайте просто стирать. Поскольку смены у меня не было, а вечером предполагались сборы и застолья, я должен был срочно высушить носки, для чего приладил их на подоконнике и зажал приоткрытой створкой окна. На крашеной жести подоконника носочки мои созревали, как бугряная земляника в моем родном селе: споро и радостно. Помощник Луначарского Иван Рукавишников писал (или говорил), что настанут такие времена, когда у поэтов и у прозаиков будут умывальники с никелированными тазами.

Если бы нам дано было глядеть всякий раз дальше собственного носа, мы не только много интересного углядели, мы бы опыт свой обогатили, научились шаги свои просчитывать и избежали бы множества неприятностей.

Итак, я хорошо прищемил свои носки оконной половиной, но того не сообразил, что когда зайдет Бортовой, сквозняк качнет раму и вышвырнет мои галантерейные изделия на улицу. Когда пахнуло сквозняком, я замычал, как от зубной боли, но Бортовой ничего не понял, пока не подошел к нашему широкому окну и не выглянул наружу. Почему-то я надеялся, что носки упадут, в худшем случае, на машину директора института усовершенствования учителей – мне по-прежнему очень хотелось легкой жизни. Когда хохочущий Кирилл уступил мне место, я увидел мои полосатые носки аккуратно висящими на одном из проводов. Если бы он знал, что у меня нет смены, он бы, может, и не смеялся. Но я ему об этом не сказал и не скажу, чтобы меня по-прежнему цитировали политики и политологи всего мира.

Я погрузился в тяжкую думу и не заметил, как опять ушел Кирилл Бортовой, прославленный прозаик из Пригожинска. Получалось, что мне снова надо обращаться к киоскерше. Обращаться к ней ох как не хотелось! Вдруг из разговора ничего не выйдет? А я тонконервный: все меня ранит, все меня уязвляет. Но делать было нечего, и я в туфлях на босу ногу прошагал по длинному коридору общежития, слава Богу, пока темному, но уже довольно населенному. С собой я прихватил единственную свою надежду – собственную книжку. Не за красивые глазки, но за красивые строчки!

Киоскерша узнала меня и откровенно обрадовалась:

- Впервые вижу мужчину, который предпочел мой киоск водочному магазину!
- Не совсем так, – возразил я. – Вечером я непременно пройдусь и по этой части. А еще я вам скажу, что в соревновании двух торговых точек выигрывает та, где лучше хозяйка...

Кому из увядающих женщин не придется по вкусу даже самая грубая лесть?

- Будет, будем вам! – пробурчала она, вполне довольная. – Верно, когда-то и я была товарной массой...

Воспользовавшись ее благодушием, я наклонился к амбразуре и спросил:

- А как в вашей лучшей торговой точке с мужскими носками?

Она покачала головой:

- Добро бы с женскими, ну, в крайнем случае, с детскими...

Я запустил руку в свою папку и достал книжку под названием «Душа навсегда», поставил фамилию и протянул доброй женщине, у которой в глазах метнулось озарение. – Вот, – сказал я. – Сам сочинил. Про большую, безразмерную любовь...

- А сорок пятого размера носочки подойдут? – вкрадчиво поинтересовалась она. – Вы крупненький в кости...

- Беру! – быстро определился я. – Носки должны соответствовать созданной мною любви. Хорошо бы произошла эксгумация!

- Что, что? – испуганно спросила она.

- Эксгумация – это когда жена из ГУМа возвращается. Часто она мне отдавала носки приносила. Но, во-первых, я приезжий, а во-вторых, разведенный...

Я протянул деньги, она вернула мне сдачу и сверточек, отдающий свежей типографской краской. Надо думать, в местную газетку были завернуты носочки сорок пятого размера местной фабрики. Я поблагодарил мою спасительницу.

Избегая встреч со знакомыми, я пошел в свое престиже-вместилище – это слово я придумал исключительно для своего употребления, чтобы вырасти в собственных глазах. Что бы ни говорили о булгаковском Мастере, а началось у него с облигации в сто тысяч рублей. Может быть, мне далеко до таланта Мастера, но более всего мне далеко до его богатства.

Такой уж сегодня день: я шел по скучному коридору общежития и думал о своей несчастной доле. В Библии очень мало мыслей, которые со временем устаревают. Осмелюсь предположить: одна из таких мыслей – возведение в добродетель нужды. Эту мысль почему-то охотно подхватили славяне, русичи и, в особенности, строители коммунизма, которые из нищеты, то есть из добродетели, никогда и не вылезали. Нужда не делает людей добрее, открытее. Богатый человек шире, а значит, щедрее, добродетельнее. Правда, при одном условии: если у него не отбирают его добро. У нас в России так: от бездумия к безумию. Если исчезнут или сместятся пятна на солнце, как основная причина перемен, вполне возможен возврат от безумия к бездумию. И недавно бряцавший железом караул начинает подремывать и скручивать сигарки. По базовой своей профессии я – журналист. У меня довольно рано стали выходить книги. Стоит эту мысль впустить под своды черепа, как случится то, что сильно напоминает выход воды на пойму: ни ходить посуху, ни плавать взаправду. Удобно разве что с крыши на скрипке людей удивлять. Выход книги – дело неверное, зыбкое, непрогнозируемое. Успеешь жене насулить пальто да шубу, да костюм, да сапоги чудного дизайнера, а книжечка взяла и вылетела из плана. И не совсем сама по себе. И вовсе без гарантии выйти в следующем году. Я нацело лишен задатков хищника: долго и притановато выглядывать, как резвится где-то в издательских зарослях теплотворный гонорар, а потом метнуться на него и рвать когтями и зубами. Скорее, я травоядное, спокойно жующее свой авансовый листочек. Но, независимо от наклонностей, деньги от книг идут скромные, непостоянные. В конце кон-

цов, мне, перешедшему на профессиональное положение, пришлось подстраховаться ночной работой в районной котельной. Теперь, если кто-то встретит в моем городе Кенчуре богатого человека, то это будет не чуж-чужанин-забугрянин, а я, работник районной котельной.

Талант – это очень удобно: всегда с собой. Но и с выраженным талантом прожить трудно. Тем более, мне надо платить алименты. Хорошо, что не все мои жены поспешили ответить на мою любовь рождением детей. А тут еще у меня начался, как у коровы, стойловый период: ничего не пишу, только жую.

Зайдя в комнату, я первым делом примерил носки. Если хотите испытать разочарование в жизни, купите себе носки в магазине «Великан». Вам придется подвернуть носок, засовывая ногу в обувь, и очень скоро образовавшаяся складка начнет давить и сделает вашу жизнь почти невыносимой. Вы вынуждены будете для пробы завернуть избыток ткани наверх и не сразу почувствуете, что это еще хуже. Вам придется дерзать дальше и перетянуть избыток ткани с носки на пятку. Будучи ученым, то есть проученным, вы уже не станете подворачивать ткань под пятку, а завернете ее наверх. Теперь избыток ткани будет сзади выглядывать поверх туфли. Если вы станете ходить с закатанными штанами (мало ли – взманилось!), люди могут обратить внимание именно на носки, а не на закатанные брюки. Поэтому лучше не закатывать их – это я вам точно говорю.

Я походил по номеру, пробуя, ладно ли ногам. Ладно, ладно! Теперь можно расслабиться и позвонить друзьям. Более всего мне хотелось услышать голос Славы Крюкова, с которым мы когда-то работали в городской газете. А когда я его услышал, то потерял желание звонить другим знакомым. Слава мне был ближе других. Он узнал меня по голосу, хотя не встречались мы несколько лет.

- А, это быстрый разумом Невтон? – спросил он буднично. – Как в общем дела?
- В общем – ропщем!
- Здоровье?
- Здоровье сначала пошаливало, потом стало озорничать, а теперь и хулиганить!
- А как насчет богатства? Добился чего-нибудь или все еще впереди?
- Завтра я могу проснуться богатым, – допустил я. – Но для этого надо хотя бы, как минимум, проснуться.
- Сочувствую. Просыпаться – это действительно трудно!
- Все дело в том, что моя нервная система систематически нервничает, и вообще, ты же знаешь, все падает на нервную почву.
- Сочинил какую-нибудь китчагу?
- А как же?! Это мой стиль жизни. Он заключается в том, чтобы раствориться без остатка, а потом непременно выпасть в осадок!
- Сложный стиль жизни!
- Да нет, ничего! Хожу себе с кольцом в губе – для веревки, за которую меня тянут то к кормушке, то к поилу.
- Во дает! – восхитился Слава. – А ты помнишь, что при царе Алексее Михайловиче скоморохам ноздри рвали?
- У вас, часом, в городе не расклев? – спросил я.
- Что это такое?

- Эх ты, темнота-мешшора! Это когда курам не хватает витаминов, они клюют друг друга в зад. У начальства тоже частенько не хватает душевных витаминов. Или еще чего-то. А ведь уже тыща девятьсот девяностый год на дворе!

Похоже, Слава решил выволочь мой венок из опасной обочины. Когда-то он бывал у меня в доме, поэтому спросил:

- А как твоя Лариса?

Неприятный вопрос. Я закашлялся, но делать было нечего, пришлось отвечать.

- Видишь ли, писатель-профессионал, живущий в условиях провинции на содержании жены, напоминает кога, который время от времени добывает крупную мышь, но в основном живет подачками хозяйки – так оно надежнее. Когда я слышу: «Этот писатель сейчас котируется», – я думаю именно об этом. И я однажды не выдержал и ушел куда глаза глядят...

- Значит, Лариса виновата в том, что ты редко ловил крупных мышей? Или все-таки дело в том, что она недостаточно часто баловала тебя подачками величиной с крысу? – поинтересовался Слава с придыханием, что свидетельствовало о его волнении.

Он не понял, что я прячусь за болтовней. Я вообще болтун. Когда у писателя плохо с глубиной, он пытается достать читателя зеркалом разлива.

- Знаешь, у жены писателя должно быть три рода обязанностей, – пояснил я. – Во-первых, она обеспечивает мужу эмоциональный комфорт. Во-вторых, она должна создавать комфорт на его рабочем столе, то есть убирать. И в-третьих, самое главное, она должна поставлять ему сюжеты. Не знаю, как ты, а я такой благодати от своей Ларисы не добился. – Помолчал, послушал шелест бороды о трубку с той стороны. – Ты же знаешь, она была пианисткой и все время убажала меня музыкой, а более ничем не убажала: на завтрак – Чайковский, на обед – Гречанинов, а в постель – вообще Скрябин. – Я опять послушал шелест его бороды и поменял тему разговора: – Ладно, ты придешь сегодня в ресторан? Он тут через дорогу. Я его успел прозвать «быдлодромом», хотя еще и не заходил туда. Быдлодром – это особенность души моего народа, когда он гуляет.

- Приеду часиков в семь, – пообещал Слава, когда выяснил, о каком именно ресторане я говорю.

Я положил трубку и посмотрел в окно. Отсюда открывался спокойный вид на город. Вдали возвышалась Андреевская церковь с золоченым куполом. В мое время купол красили буднично, без дорогих верхолазов: краном стягивали его в церковный двор, покрывали сусальным золотом и через короткое время нахлобучивали на церковное темечко. Когда купол лежал во дворе, а голова была голая, это сильно напоминало скидывание шапки оземь по дикому велению народной души.



ТИМОФЕЙ ШЕЛУХИН

(род. 1927)

Тимофей Семенович Шелухин родился в 1927 году в станице Баклановской Ставропольского края. С ранней юности работал комбайнером. В середине пятидеся-

тых годов стал студентом заочного отделения Ставропольского педагогического института. В 1955-м получил воинское звание старшего лейтенанта. Занимался комсомольской и партийной работой. В 80-х годах становится членом союза писателей Ставрополя. По нынешний день писатель состоит в этой организации и пишет новые книги.

Биографический фактор, а точнее сказать территориальный, сыграл огромную роль в формировании языковых особенностей Тимофея Семеновича, на этом фоне прослеживается самобытный, просторечный по своему существу язык его произведений. Главной, и как многие считают единственной, в его творчестве была тема села. Отсюда крестьянская основательность, непохожесть, лаконичность и, вместе с тем, простота его речи; метапоэтические данные, выявленные нами в текстах бесед и интервью.

В редакции «Ставропольской правды» состоялся «круглый стол», участники которого обсуждали сегодняшнее положение в отечественной словесности «Роль литературы и литератора в современном российском обществе». Среди собеседников были: поэт Семен Ванетик, прозаик и издатель Виктор Кустов, прозаик Тимофей Шелухин, поэт, председатель Ставропольского краевого отделения союза писателей России Валентина Сляднева, прозаик Владимир Бутенко, публицист, преподаватель отделения журналистики Ставропольского государственного университета Галина Туз.

Т. Шелухин следующим образом комментирует состояние современной литературной ситуации, относительно литературы в целом и собственно творческой системы: «По моим наблюдениям, наша литература не ищет себя. Основной писательский корпус деморализован. Как писать сегодня реальную жизнь? Не понимаются... Наступает время приусадебной литературы – это образ, конечно. Но, вспомним, Толстой, Тургенев, Успенский сидели в своих усадьбах и писали. А рядом жили их герои, про которых они все знали и понимали». Не являясь сторонником профессионально дипломированных писателей, он считает, что это рынку нужны «профессионалы», «...а писатель... пусть самостоятельно зарабатывает на жизнь и пишет. И уж если выйдет на большую литературную орбиту, то ...».

В речи каждого человека обязательно отражаются его личностные качества. В связи с этим необходимо подчеркнуть истинную интеллигентность Тимофея Семеновича, его неизменную доброжелательность, простоту в общении, жажду показать родной край...

Притягательность его очерков, рассказов, повестей и романов не убывает с течением времени. Потому, что Шелухин – замечательный художник, ревностный защитник природы, земли и людей, работающих на ней. За страстями его прозы – своеобразие личности, стиля, языка.

Сам же Тимофей Семенович называет себя «приусадебным писателем». Всю жизнь он работал рядом со своими героями и неустанно писал. Автор доподлинно знаком с жизнью Ставропольского края. Такое уж ремесло у писателя, если он честен и смел: «высказывать личное отношение к различным сторонам жизни своего народа, в его прошлом и настоящем, а не служить власти».

В то же время в его книгах во всей своей полноте находит отражение советская эпоха – эпоха его молодости, его становления как человека. Его герои рядовые люди советского времени, которые живут и поныне: хлеборобы, председатели колхозов, бригадиры. Между первой публикацией Шелухина – небольшим очерком 1958 г. – и недавно вышедшей очередной книгой пролегла почти полувековая историческая полоса. С 1963-го по 2006 год нашли своего читателя книги: «Люди нашего колхоза», «Зарево в ночи», «Торопится солнце к человеку», «Конец Андреева детства», «Там, где лебязжи острова», «Отчая земля», «Белокониха», «Отцова радость», «Прощенный день», «От Кубани до Чограя», «Жизнь на ничейной земле», «Как стать государем», «О чем звонят колокола». Вышла новая книга – «Февральские окна».

Известный ставропольский прозаик-деревенщик Тимофей Шелухин пополнил список своих произведений новым изданием – «Одиссея Андрея Чурикова». Книга написана в жанре документального повествования о судьбе человека, посвятившего жизнь родному Ставрополю.

Старейшина нашей литературы Тимофей Шелухин – признанный мастер жанра: в его книгах гармонично переплетаются богатый событийный материал, лирические описания природы, глубокие философские размышления о предназначении человека.

ПРОЩЕННЫЙ ДЕНЬ

(отрывок из романа)

С годами звезда Васюки как первого в хуторе человека, красного партизана и большевика со стажем, начала затухать и уже не слепила всем глаза. Слава изнашивалась вместе с его конармейской формой. Давно повылиняли гимнастёрка и обыкновенного покроя шинель с потрёпанными красными шевронами на рукавах. Тускнел от времени орден, как ни драил его суконкой хозяин, и нельзя уже было разобрать на нём изображения: то ли это был, согласно статусу, красноармеец с винтовкой, то ли сам владелец награды – колхозный объездчик с кнутом в руке.

Всё же по праздникам орден сиял на выстиранной гимнастёрке, подновлённой белым подворотничком.

Будто молодец и сам Васюка, подстриженный, с гладко выбритыми щеками и подкрашенными невесть какой тёмной краской усами (приём, заимствованный у бравого митрофановского генерала Книги, а то и у самого Будённого, с кем Васюка, случалось, хоть раз в три года, а видался). В его несколько сугулой и располневшей фигуре появлялась воинская выправка; особенно она становилась заметна, когда Васюка садился на поджарую, чистой масти, фондовскую лошадь Каховку, с гиком поддевал её единственной своей шпорой на левой здоровой ноге и кричал непонятные для хуторских мальчишек слова кавалерийской команды: «Волыт налево – ариш!».

Вообще в дни Октябрьских праздников и Первого мая, когда в хуторе начиналось столпотворение – в местной школе непрерывно дудели в пионерский горн и барабанили, а в нардоме проводили торжественное собрание с обязательным спектак-

лем про красных и белых, — Бирюков всегда садился за кумачовый стол или поднимался на такую же кумачовую трибуну, с ярким боевым орденом и шашкой в инкрустированных ножнах. Произносил, как и полагалось, пламенную речь и в конце её уже ослабевшим голосом запевал: «Вставай, проклятьем заклеймённый!».

Песню подхватывали находившиеся по уговору поблизости члены партийной ячейки Верёвкина и Незнам. От них старался не отстать Гришута Мишутин, когда бывал трезв и держался на ногах. Ранее он врывался пьяным звонким тенором, да Васюка отучил его от таких фортелей и велел, если уж включаться в пение гимна, то с «тверезовой» головой. «Ты рази не понимаешь сути пения «Интернационала?» — ругался Васюка. — Это то же молебствие, только не религиозное, а революционное, и потому участвовать в нём с пьяной мордой, хоть ты и большавик, воспрещается!»

Всего гимна ни сам Васюка, ни его соратники, конечно, не знали. Отдельных слов и даже целых фраз не разумели или разумели по-своему, например, слово «заклеймённый» произносилось ими не иначе как «заклинённый». Обычно пение обрывалось на втором куплете, на словах: «Ни бог, ни царь и не герой», и тут же в который раз подхватывались слова припева: «Это есть наш последний и решительный бой!».

После этого Васюка, с суровой печатью на лице и всё ещё продолжая петь, сходил со сцены вниз, протискивался к Незнаму и Верёвкиной, а будь трезвым Гришута, пробирался и к нему, обнимал каждого и крепко расцеловывал на виду у всех хуторян. Потом оборачивался уже ко всему народу и произносил здравицу в честь победоносного шествия мировой революции. Её с азартом подхватывали комсомольцы и пионеры и долго кричали «Ура!».

С годами революционный пыл у Васюки будто остуживался. Всё реже раздавался его властный неукротимый голос. Только что миновавшая война и связанные с ней события как бы заслонили полыхавшие знамёна гражданской войны.

На всём Приречье каждому участнику гражданской войны выдавалось удостоверение красного партизана. То в загородном лесу, если стояла тёплая пора, то в бывшем здании кадетского училища дважды в году собирались лихие рубаки. Вспоминали походы, пели про конницу Будённого и красных героев. Попойки бывших конармейцев длились по несколько дней. Во время них возникали споры и острые стычки, доходившие до мордобоя, — поделить славу, раздуваемую с каждым годом поэтами-песенниками и пионерами, было не так просто.

Сборища красных партизан, которые, как всегда, начинались в Краснокумске и потом перекидывались в памятные места боёв — Кевсалу, Кисту или Медвежье, никогда не обходились без участия высших воинских чинов. Бывали на них маршалы Клим Ворошилов и Семён Будённый, генералы Иосиф Апанасенко и Василий Книга.

Васюка не пропускал ни одного сбора красных партизан, всегда исправно навещал Краснокумск. Приезжал оттуда с опухшим от похмелья лицом. Отходил лишь на третий или четвёртый день. И только тогда приступал к обязанностям объездчика.

После войны на первой встрече партизан, окольными путями дошедшим в хутор слухам, произошла самая большая за всю краснопартизанскую историю драка, унёсшая несколько жизней. По указанию, скоро последовавшему из Москвы, сборы красных партизан запрещались, чествование их должно было приурочиваться ко дню Советской Армии и проводиться по месту жительства.

С того времени Василий Васильевич Бирюков в Краснокумске не появлялся, разве кого из сослуживцев по Первой Конной навещал на хуторах Спорном и Вольном.

Ездил и в большое село Ладовское, расположенное от Дальнего в восемнадцати верстах. Там почти каждый мужик, способный держать оружие, сражался на стороне красных. В Ладовском гостил по несколько дней, возвращался домой обязательно в пионерском галстуке и с пачкой дорогих папирос «Северная Пальмира». К себе же в гости никого из бывших конармейцев не приглашал: пребывание в «сплошь белогвардейском хуторе» сулило гостям мало доброго.

- Не бойсь, бригадир. Не проболтаюсь я. А хожу к Домоседке со смыслом. Скажу тебе по секрету, как своему бригадиру и радетелю, бабы меня завсегда к ней посылают. Чтобы дружбу с Домоседкой держала для отвода глаз.

- Какие такие бабы?

- Да маво же звена.

- Вот как?! – смекнул Ивакин об истинной подоплёке отношений Пекарихи с женой колхозного объездчика. – И то верно, что беду от баб отводишь. Да только в большие долги не заходи.

- С Домоседкою, что ли?

- Вообще, со всеми Бирюковыми. Век потом не рассчитаешься. Уже такой у них волчий норов.

- Пока долгов мы, бабы, не имеем, если не считать чего нами самими украденного с вороха или, по твоему же указанию, взятого из бункера.

- Про воровство хлеба чтоб боле не слышал! – нервно дёрнулся Ивакин и потянул к себе вожжи, чтобы поскорее оборвать неприятный разговор и, больше не прохладаясь, скакать на межи.

На своём дворе Васюка появлялся за редкой теперь надобностью повидаться с Федосей, хотя и не старой летами, побыть с нею да поговорить, взяв в толк что-нибудь от общения с женой, обладавшей странной способностью предугадывать события. Да ещё потрепать за крутой загривок Волчка, по которому тоже скучал.

Дворнягу он давно присмотрел на бригадном таборе среди прилудившейся своры. Целыми днями собаки холодовали под вагоном да под низкими полками вышедших из строя косилок. Они терпеливо выглядывали добычу в виде обглоданной мосолыги, которую кто-либо из конюхов бросал им со стола. Чаще всего это делала сама повариха Омпиада, всегда делившая сваренное мясо на равные порции.

Когда случался дождь и бабы застревали в степи, а то и на дальних межах, откуда уже не поспевали на табор к солнцу, Омпиада вылиwała остатки заки-савшего кондёра в корыто. Тогда вся свора выбегала из укрытий и набрасыва-лась на простывшее варево. Порою, поленившись соскresti прикипевшую кашу, она снимала деревянную крышку с котла и звала псов. Те наперебой в несколько минут вылизывали боковины и дно котла до матового блеска, и не нужно было его потом драить. В обычное погожее время такого удовольствия четвероногим не доставалось. Среди кормачей и погоньшей шла своя живая очередь, согласно которой остатки пищи всякий день тщательно выскребались.

В нраве державшегося особняком приземистого серого кобеля с гладким свернутым в бублик хвостом Васюка угадывал что-то похожее на неприятнь к другим псам, видно, не родственного ему происхождения. Тот всякий раз оскорблялся, когда кто из них ложился рядом, пытался его обнюхать. Серый сразу свирепел, на нём вздыбливалась короткая шерсть. Он ощеривал клыкастую пасть и издавал злобный рык, и тогда пришелец, чуя неладное, уходил прочь. Не тер-

пел серый и жадности своих собратьев, когда те вихрем, сбивая друг друга, подсакивали к котлу или корыту и ели, захлебываясь. Он же неторопливо приближался к вареву, широко расставляя ноги, чтобы его ненароком не отпихнули от корыта, и старался не разминаться на похлебку, а ухватить гущи, а то и кусок.

Серый приглянулся Васюке, он приручил пса и больше уже с ним не расставался. Вскоре перевел серого, уже как сторожевого пса, на довольствие и, пока тот помогал ему в поле, выписывал для него махан, который варил на тагане за током, а для звонкости лая затребовал от правления колхоза куриных яиц четвероногому по норме, которой снабжался племенной жеребец Интер.

Впоследствии объездчик, по настоянию Федосьи, перевёл собаку на своё подворье. Якобы объявились в Лягушачьем броде воры. С таким доводом жены нельзя было не считаться. В самом деле, было довольно рискованно оставлять двор без собаки. К тому же, как разумел Васюка, нелишне было держать на дворе Волчка и по другой причине, не только и не столько связанной с появившимися в округе ворами, которые, будто волки, как водились во все времена, так и будут водиться, и не в одних только зарослях Лягушачьего брода, где всадник с головой мог скрыться, таким высоким вымахал камыш, — аив самом задичавшем за войну хуторе или в глубоких ярах, что находятся по луговине за огородами.

Защита нужна была и от другой напасти. Хутор полнился слухами о том, что вернувшиеся с войны мужики здорово путали своих жён с чужими. Вполне могло статься, что кто-либо из них, зная о частом отсутствии в хуторе Васюки, держал его Федосью на примете. И хотя тот был уверен в её супружеской верности, на эту тему у них не однажды возникал разговор: как думал Васюка, баба есть баба, и от неё всякого можно ожидать. При мысли, что к его Федосье будет красться по ночам Митроха Дёмин или кто другой, потом вкрадчиво стучаться в двери или, скорее всего, в окно (в этом месте приходили в голову слова песни: «Стукну, грякну милой об окошко»), у Васюки холодело в душе и до судороги сводило челюсти.

Особенно терзался, когда думал о прославившемся на весь хутор своими подвигами Митрохе Дёмине. Лёшку же Петиша — тоже, на его взгляд, потаскуна, — а также председателя колхоза Серебрякова он не опасался. Первый был таким молодым стрепетом, ещё зелёным, чтобы вожжаться с его заматерелой Федосьей. Петишев метался между дородной Омпиадой и пригожей звеньевой Воробыхой; по чьему-то меткому определению, не знал, на какой ему ветке удавиться. А второй был совсем никому, как говорится, не родня — степенный и очень осторожный, каждого куста боится, как подтрунивали над ним языкастые бабы. Хотя и о Серебрякове поговаривали: в тихом болоте черти водятся. Однако все имели в виду одну и ту же Лину Георгиевну, приезжую медичку, с которой, как появилась на хуторе, у председателя началась история и которую тот, кажется, серьёзно любил.

Ивакин был у Васюки вне каких-либо подозрений, касающихся его Федосьи. Тот, как и сам Бирюков, пропадал в степи или в своём околотке, появлялся на Голоштановке лишь на восходе солнца, чтобы потормозить баб перед выходом в поле. А оседал в хуторе с поночёрками разве только в большие холода, когда приходила всамделишная зима. В ту пору и объездчик дома ночевал. Потом, подкулачный бригадир (в присутствии надёжных людей он только так и называл Иваки-

на) живёт какой-то непонятной жизнью. «Всё преданность свою советской власти показывает! Но она тебе никогда не верила и не поверит, хоть ты и воевал, и в партию пролез!» И до баб, Васюка тоже знал, Ивакин не выказывал своего стремления, если не считать запутанных его отношений с Воробыхой, с которой бригада не то был в самом деле повязан суровой ниткой, не то только делал вид.

Возможно, она, малахольная, сама на себя напускает славу, будто тягается с Ивакиным. Их, баб, попробуй нынче раскуси! Война всех вымуштровала и под какую-то непонятную веру подвела, нет от них никакого спасения. Вон лихость стали какую проявлять: по ночам разворовывают хлеб! Видано ли когда было за всю историю, чтобы баба, обыкновенная русская баба, вечно боявшаяся и греха, и чёрта, в крошечную темень по степи, поросшей бурьянами с расплывшимся в них зверьём, блукатила одна с украденной сумкой зерна, чтобы не попасть в руки активистам и милиционерам, посевшим на перекрёстках дорог?!

Но не в том ещё дело. Кража хлеба – это одно, а вот бить клинья под чужого мужика – это совсем другое. Хотя, думал Васюка, в таком деле лихость нужна. И откуда ей взяться у той же Воробыхи, ведь при смущении всегда бывает, когда её обыскиваешь. К тому же больно в религию ударяется.

С тех пор редко в какую ночь на голом подворье Васюки не раздавался громкий лай собаки.

Детей Васюка не имел. Первая его жена, Устинья, страдала тяжёлой аритмией сердца и не могла выносить в утробе ребёнка до полагающегося срока. Федосья же, привезённая им в хутор в краснопартизанский праздник лет уже как двенадцать, нутром своим была здорова, однако детей рожать не пожелала, чтобы, как она потом говорила, не связывать себе и мужу руки в строительстве новой счастливой жизни. Несколько раз моталась в свой хуторок к одной знахарке, чтобы выкрести зародыша, пока не испробовала придуманного той же знахаркой сильного снадобья, настоящего на большой дозе креолина, уплатив при этом немалую в те времена цену: два пуда рушенной кукурузы.

Совсем не знаясь Васюка и с единственным своим братом Кузьмой Бирюковым, имевшим в прошлом срок за невыплату займа. Васюка, как и многие другие члены партии, порывал всякие связи с «помаранной роднёй».

Первым из всего хутора порвал и с религией. На страстной неделе и перед разговеньем, по призыву Союза воинствующих безбожников, сжёг иконы. Совершив это, Васюка страшно перетрусил и слёг в постель, потом, очапавшись от сильной душевной судороги, целую неделю пил горькую. Выступал перед мужиками и бабами, ездил по всей степи и даже заходил в школу, повсюду показывал свою грудь без нательного креста и стучал по ней кулачищем, приговаривая: «Я готов идти в коммунию! Ни веры в бога, ни имущества! А вы, ежели вас попытать, готовы?!».

Икинджи, уполномоченный из района, весьма одобрительно отнёсся, как он выразился, к «миссии большевика Бирюкова». Только посчитал непозволительным заходить в нетрезвом виде к пионерам.

Содержание

Предисловие	4
<i>Авраменко Нина</i> (род. 1941)	10
<i>Бабаевский Семен</i> (1909–2000)	20
<i>Баев Георгий</i> (1929–2006)	29
<i>Байдерин Виктор</i> (1916–1979)	44
<i>Белоконь Сергей</i> (1952-2000)	59
<i>Бойко Сергей</i> (1932–2008)	65
<i>Бутенко Владимир</i> (Род. 1952)	74
<i>Грязев Василий</i> (1925-2002)	81
<i>Губин Андрей</i> (1927-1992)	97
<i>Кожевников Владимир</i> (Род. 1940)	127
<i>Колесников Виктор</i> (1938-2004)	138
<i>Кузнецов Иоаким</i> (1917-2007)	142
<i>Ляшенко Николай</i> (Род. 1945)	151
<i>Маляров Владимир</i> (Род. 1946)	155
<i>Панаско Евгений</i> (1946-2003)	160
<i>Первенцев Аркадий</i> (1905-1981)	177
<i>Пухальская Галина</i> (1944-2004)	182
<i>Сургучев Илья</i> (1881–1956)	198
<i>Туз Галина</i> (1958)	242
<i>Туренская Валентина</i> (1913-1964)	248
<i>Усов Михаил</i> (1905-1990)	259
<i>Черный Карп</i> (1902–1985)	277
<i>Чумак Илья</i> (1912–1967)	307
<i>Шилин Георгий</i> (1896-1941; Декабрь 1938)	316
<i>Шумаров Георгий</i> (1932-2010)	338

Редактор Т.Б. Кузнецова,
Компьютерная верстка П.Г. Немашкалов

Подписано в печать 11.10.10		
Формат 60х84 $\frac{1}{16}$	Усл.печ.л. 20,46	Уч.-изд.л. 18,94
Бумага офсетная	Тираж 100 экз.	Заказ 78

Отпечатано в ООО «РБК-Сервис».